

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1968

3



1968



М. Горький

(Портрет работы Валентины Ходасевич, 1918 г.)

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 3

Март, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>К 100-летию со дня рождения А. М. Горького</i>	
ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК	3
ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ — Таким я знала Горького	11
РАСУЛ РЗА — Скажи глазам твоим, стихотворение. Перевела с азербайджанского М. Павлова	67
ФЕДОР АБРАМОВ — Две зимы и три лета, роман. Окончание	68
С. НАРОВЧАТОВ — Три стихотворения	133
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ГЕОРГИЙ ШТОРМ — Поиски продолжаются (Новые страницы из книги «Потаённый Радищев»)	137
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Д. А. ДРАГУНСКИЙ — В конце войны. Окончание	150
А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — «Культурная революция» с близкого расстояния (Записки очевидца). Окончание	181
ДАНИИЛ ГРАНИН — Два лика (Заметки писателя)	214
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ВИНОГРАДОВ — На краю земли	227

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	248
В. Келдыш. Новые письма Горького.— Ф. Левин. Добро вам, люди!— Иван Дзюба. Подлинность слова и жизни.— Г. Макаров. Ноль информации.— Л. Черная. Непримиримость.	
<i>Политика и наука</i>	266
Р. Баландин. Наука—техника—производство—общество.— О. Знаменский, В. Старцев. История февральской революции.— В. Кулиш. Подвиг и его истолкование — Ю. Рюриков. Инфляция дефиниций.	
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Дубинский. Летопись памятных дней.— «Сибирские огни». Указатель содержания. 1922—1964 гг.— В. А. Ачаркан. Государственные пенсии.— Матвей Грубиян. Лодка и течение.— Письма фронтовые.— Ефим Дорош. Живое дерево искусства.— Пьер де Лягиль, Жан Ривуар. С небес в пучины моря.— Древнерусская литература и ее связи с новым временем.— И. Аугуста. Великие открытия	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК

Исполнилось сто лет со дня рождения великого русского писателя Максима Горького. Этот юбилей с радостью и гордостью отмечает не только многонациональная советская литература, но весь советский народ, все передовое человечество. Известность Горького потому так широка, что в эпоху небывалых социальных потрясений, в эпоху гибели мира капитализма и рождения мира социализма он воплотил в себе творческий размах русского народа, его волю к борьбе и мужество.

Начало литературной деятельности Максима Горького совпало с новым этапом, новой могучей волной русского освободительного движения. Центр мирового революционного движения переместился в конце XIX века в Россию. Русский пролетариат выдвинул тогда из своей среды вождя социалистической революции — В. И. Ленина. В области искусства в это же время выступил Горький — родоначальник новой, социалистической литературы. «Огромное, исключительное значение Горького,— утверждает А. В. Луначарский,— заключается в том, что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс, которому суждено, спасая себя, спасти все человечество, впервые осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине».

Первые рассказы М. Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Коновалов» и другие) привлекли к себе внимание всей читающей России. Последующие произведения (роман «Фома Гордеев», пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники») принесли писателю не только всероссийскую, но и мировую славу. Популярность Горького в России была неслыханной. «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике» знала наизусть вся революционная молодежь. «По силе влияния на нас среди русских писателей не было ему равного,— читаем мы в недавно опубликованных воспоминаниях о Горьком А. К. Воронского.— Он заражал нас ненавистью ко всем видам мещанства и житейской пошлости, самоотверженностью и героизмом. Он широко распахивал перед нами новый мир свободлюбивых, насмешливых бродяг, протестантов, озорников, искателей новой правды,— необъятный, живописный, низовой мир околиц, предместий, ночлежек, подвалов, приморья, степей. Он пробуждал в нас острое тяготение к этому «низовому» человеку, к его внутренней жизни, запросам, к его творческим силам, придушенным отвратительным гнетом».

В те годы у Горького завязываются личные отношения с Л. Толстым, Чеховым, Короленко — крупнейшими представителями классического реализма. Вокруг Горького и организованного им издательства «Знание» группировались писатели-реалисты нового поколения: Серафимович, Вересаев, Куприн, Бунин, Л. Андреев и многие другие. По словам В. И. Ленина, сборники «Знания» стремились «концентрировать лучшие силы художественной литературы». Горький возгла-

вил борьбу за передовое, демократическое искусство, за упрочение и развитие реализма в русской литературе и выступил как наследник лучших традиций литературы XIX века.

Горький не ограничился освоением традиций классической литературы. В произведениях, написанных им еще перед Октябрьской социалистической революцией («Мать», «Враги», «Сказки об Италии», «Детство», «В людях»), впервые в литературе нашла отражение революционная борьба рабочего класса и такие черты и явления эпохи, которые свидетельствовали о неизбежном крахе буржуазного общества и грядущем торжестве социализма.

Представление о действительности как революционном процессе, несущем неизбежную гибель Руси маякинской, окурловской и самгинской и непреложную победу России рабочей, революционной, социалистической,— умение Горького выявить и раскрыть в искусстве главные тенденции времени определили значение писателя как основоположника социалистического реализма.

Горький создал образы героев, которых не знала предшествующая литература. Это пролетарские революционеры, исполненные пафоса преобразования мира и социалистического созидания. Восприняв от старого реализма принцип социально-исторической обусловленности личности, Горький развил его в соответствии с характером нового искусства, которое утверждает «бытие как деяние».

Историческое значение романа «Мать» и состоит в том, что в нем писатель впервые в мировой литературе дал широкую картину революционной борьбы рабочего класса и нарисовал образы революционных пролетариев — таких, как Павел Власов и его товарищи. В романе показан подъем социалистической революции, готовой смести с лица земли устои самодержавия и буржуазного строя, а рядом с этим дана картина пробуждения и роста личности матери Павла Власова — Ниловны, преодолевающей рабскую покорность и забитость. По достоинству оценил роман «Мать» В. И. Ленин, прочитавший его в рукописи: «...книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они читают «Мать» с большой пользой для себя». «Очень своевременная книга». Слова Ленина оказались пророческими: вскоре после выхода в свет роман был переведен на многие языки и стал настольной книгой пролетариев различных стран мира.

Большую роль в развитии творчества Горького сыграла его кровная связь с рабочим классом и партией большевиков. Еще в начале 900-х годов Горький сблизился с «искровцами» и стал деятельно помогать большевикам. «Подлинную революционность,— писал Горький,— я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним».

Ленин и Горький впервые встретились в 1905 году, и с тех пор — до самой смерти Ленина — их связывали отношения тесной близости и дружбы, взаимной любви и уважения. Ленин очень высоко ценил Горького как крупнейшего художника, роль его творчества в революционном движении и борьбе за социализм. Он заботился о писателе, оберегал его от ошибок. Даже критикуя Горького, Ленин не переставал подчеркивать его значение как великого художника пролетариата. «Горький — безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать», — писал Ленин в 1910 году. «Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению», — утверждал он в 1917 году.

Художественное творчество Горького после Великой Октябрьской социалистической революции стало особенно глубоким и всеобъемлющим. Революция обогатила исторический опыт писателя.

В большей части произведений, написанных после революции, Горький возвращается к темам и образам своего дооктябрьского творчества, продолжает и завершает свои прежние замыслы, подводит итоги своим размышлениям и наблюдениям. Но события и люди, изображенные в этих произведениях, озарены светом современности, победой революции. Судьбы героев, социальные драмы, исторические противоречия — все прямо или косвенно связано с судьбами и борьбой народа и находит разрешение в революционном взрыве и переломе.

Еще на Капри до революции Горький рассказал о замысле «Дела Артамоновых» В. И. Ленину. «Отличная тема, — ответил Ленин, — конечно — трудная, потребует массу времени, я думаю, что вы бы с ней сладили, но — не вижу: чем вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы». Конца книги я, разумеется, и сам не видел», — вспоминает Горький. Конец книги «продиктовала» революция. В пооктябрьских произведениях Горького она часто является итогом событий и развязкой, обусловленной самой историей.

В своих романах, пьесах, воспоминаниях двадцатых — тридцатых годов писатель явно тяготеет к крупным повествовательным формам, к эпосу, дающему возможность показать жизнь героев на широком общественном фоне, в связи с движением истории. Так в трех поколениях Артамоновых, в характерах различных представителей этого рода, Горький раскрыл историю русской буржуазии — историю ее появления, распада, вырождения и неизбежной гибели. К укрупнению художественных масштабов, к эпичности тяготеет и драматическая диалогия Горького: «Егор Булычов и другие» и «Достигаев и другие». В. И. Немирович-Данченко писал Горькому о «Егоре Булычове...»: «Это цельное драматическое произведение, — но больше *пьесы*». И действительно, ветер революции врывается в особняки Булычова и Достигаева, придавая разыгрывающимся там личным и «частным» драмам глубокий социальный смысл.

Воспоминания Горького о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом, В. Г. Короленко и других революционерах и писателях также полны обобщающего исторического смысла и «больше» своего жанра. В них Горький показывает поразительную талантливость и безграничные творческие возможности русского народа. Воспоминания о Толстом примыкают к знаменитым статьям Ленина о творчестве гениального автора «Войны и мира». Горький показывает величие разума, жизнелюбия, реализма и народности Толстого и полную неубедительность, бессилие его философии «непротivления», религиозных исканий.

Сложную — и эпическую по сути — задачу поставил перед собой Горький в воспоминаниях о Ленине. В них вождь социалистической революции выступает как великий руководитель масс, политический деятель нового типа. Ленин тесно связан с народом, ему чуждо стремление возвыситься над массами, он прост, скромен, демократичен. «Живой у Вас Ильич», «живой весь Ильич», — писала Горькому по поводу его воспоминаний Н. К. Крупская.

Завершением творческого пути Горького является грандиозная эпопея — четырехтомный роман «Жизнь Клима Самгина». По широте и насыщенности исторического содержания, по небывалому количеству живых, пластично выписанных персонажей, по глубине и остроте философско-политической проблематики мировая литература XX века не знает ничего равного. Главная тема романа — крах буржуазного

индивидуализма. Главный его герой — Клим Иванович Самгин — «интеллигент средней стоимости» (по определению самого писателя), воплощение безудержного эгоизма, душевной пустоты и убожества, ненависти к революции и народу. Самгину и другим персонажам самгинского толка противопоставлены революционеры-большевики, прежде всего Степан Кутузов. Они олицетворяют энергию, волю, ум трудового народа, они ведут страну вперед, к революции. Луначарский назвал «Жизнь Клима Самгина» «движущейся панорамой десятилетий»; повествование о «пустой душе» стало эпическим произведением о судьбах русской интеллигенции, о великом движении России к революции.

Особое место в творчестве Горького советского периода занимают очерки «По Союзу Советов», «Рассказы о героях», публицистика. Основная их цель — показать советского человека, строителя социализма. «Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства», — говорил Горький. Подлинным героем нашей страны он считал рядового советского труженика. «Героем наших дней, — писал он, — является человек из «массы», чернорабочий культуры, рядовой партиец, рабселькор, военкор, избач, выдвигенец, сельский учитель, молодой врач и агроном, работающие в деревне крестьянин-«опытник» и активист, рабочий-изобретатель, вообще — человек массы!»

В публицистике Горького одной из важнейших тем была борьба против империализма, фашизма и поджигателей войны за мир, демократию и социализм. К слову великого советского писателя прислушивалось все человечество. На весь мир прозвучало известное обращение Горького «С кем вы, «мастера культуры»?», призывавшее передовую интеллигенцию Запада активно выступить против реакции и войны и стать в грядущих битвах на сторону социализма и Страны Советов.

Горький никогда не считал себя «исключительно литератором» и всю жизнь занимался общественной деятельностью. Известно его активное участие в русском революционном движении начиная с девяностых годов прошлого столетия и до 1917 года. После Октябрьской революции — особенно после возвращения на родину из Италии — его многообразная общественная деятельность в Советском Союзе развернулась в самых широких масштабах. Особенно многим обязаны Горькому советские писатели, советская литература. В. В. Воровский назвал Горького «наседкой современной русской литературы». Л. Леонов утверждал, что «все мы, нынешняя литературная генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава». Речь шла не только о влиянии творчества Горького, которое в той или иной форме и степени испытывали все советские писатели, не только о близком участии великого мастера в их творческих исканиях, в их работе над своими произведениями, но и о непосредственной заботе Горького об организации литературного дела в Советском Союзе, о положении наших литераторов.

Более тринадцати тысяч писем Горькому от советских писателей хранится в Архиве А. М. Горького, ни одно из них наверняка не осталось без ответа. Один за другим возникают у Горького замыслы различных литературно-издательских начинаний: «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», «История молодого человека», «Библиотека поэта», «История деревни», «День мира», «Две пятилетки». «Жизнь замечательных людей» и т. д.

Горький был убежденным сторонником коллективных изданий, книжных серий и вообще внесения планового начала в общую литературную работу. Но, конечно, он видел опасность регламентации художественного творчества, понимал особенности и пределы планирования в литературе и хорошо знал напоминание Ленина о том, что «в этом

деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию». Когда Горький познакомился с планом одного из томов пятитомника «Две пятилетки», разработанным группой писателей, то сделал следующее существенное замечание: «Образ есть синтез, но, заранее намечая границы и пределы синтеза, вы рискуете исказить материал, «обескрылить» вашу свободу отбора деталей... План — детальный — необходим для построения здания или машины, наша задача — шире и сложнее».

Много сил отдал Горький разъяснению сущности и утверждению в советской литературе социалистического реализма. Он определял его как «реализм людей, которые изменяют, перестраивают мир», как «реалистическое образное мышление, основанное на социалистическом опыте», и был решительным противником натуралистической пассивности, равнодушного описательства в литературе. «В основе своей искусство есть борьба за или *против*, — писал Горький, — равнодушного искусства — нет и не может быть, ибо человек не фотографический аппарат, он не «фиксирует» действительность, а или утверждает, или изменяет ее, разрушает».

Еще при жизни Горького (и еще более после его смерти) его представлениям о социалистическом реализме пытались придать упрощенно-догматический характер и истолковать их в духе «приподымания» и приукрашивания действительности. Подобные попытки искажали взгляды Горького на литературу. «Писатель обязан все знать — весь поток жизни и все мелкие струи потока, все противоречия действительности, ее драмы и комедии, ее героизм и пошлость, ложь и правду», — утверждал Горький. «Литература есть область правды». «Литература — дело великое своей правдой».

И ставя вопрос об издании журнала «Наши достижения», Горький выступал против не оправданной жизнью кригической односторонности в печати и литературе, но вовсе не стремился затушевать недостатки, имеющиеся в нашей жизни, и был сторонником справедливой критики. «Изложение материала должно быть проникнуто объективностью, не имея «ура-патриотического» оттенка и трезво отмечая те ошибки и недочеты, которые мешают нам идти дальше успехов, уже полученных», — писали Горький и А. Халатов в «Записке о журнале «Наши достижения». «У многих чувствуется тот фальшивый восторг, который справедливо называют «казенным», — критиковал Горький присланные ему материалы первого номера «Наших достижений».

В 1931 году в статье «Наши задачи» Горький писал: «Нам прикрашивать нечего. Мы хорошо чувствуем свои пороки, недостатки, ошибки, мы видим, как они мешают нам жить, и мы ежедневно беспощадно обличаем их... Нам нет нужды припудривать своих героев пылью красивеньких слов. Наши герои — не романтичны, они — просто герои».

В творчестве Горького советских лет утверждение советского строя и нового человека было неразрывно связано с беспощадной критикой чуждой идеологии, мещанства, проявлений отсталой морали и быта, «вождизма», бюрократизма и других недостатков, имевшихся в нашей стране. Некоторые публицистические статьи Горького поднимаются при этом до уровня острой сатиры: «Механическим гражданам СССР», «О мещанстве», «О солитере», «О цинизме» и другие. Острым критическим пафосом полны и многие речи (например, заключительное слово на Первом съезде писателей) и письма Горького. Приведем лишь один пример.

Все знают, как любил и высоко ценил Горький советскую литературу. Но он очень трезво смотрел и на ее недостатки и слабости и пола-

гал, что все, от кого зависит качество и уровень нашей литературы, должны проникнуться духом скромности и самокритики, а не настроениями чванства и бахвальства.

Двадцать девятого сентября 1935 года в «Правде» была помещена «Беседа с секретарем правления Союза советских писателей тов. Щербаковым». В этой «Беседе» А. С. Щербаков говорил о подъеме советской литературы и ссылаясь на большое количество новых произведений прозы и драматургии. По его словам, наши авторы «чеканят» свои произведения и можно сказать, что некоторые их романы и пьесы будут «выдающимися литературными событиями». В письме к Горькому Щербаков объяснял, что считал необходимым свое выступление в газете, чтобы прекратить «разговорчики» о «кризисе» и ободрить писателей. Горький остался очень недоволен «Беседой» Щербакова, полагая, что «количество — не гарантия качества». «Очень меня смущает и огорчает Вы оптимизмом Ваших оценок текущей литературы, — писал Горький Щербакову. — Я не стал бы протестовать против них, если б оценки эти ограничивались Вашими письмами ко мне. Но Вы публикуете их, адресуя «городу и миру», возбуждая в советской общественности надежды и ожидания, которые едва ли сбудутся. Мой скепсис основан на чтении тех рукописей, которые особенно подчеркнуты Вами, как явления весьма значительные».

Горький проявлял огромную заботу о повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. История советской литературы и культуры знает множество фактов, свидетельствующих о заинтересованном внимании Горького к работе своих товарищей по перу, о всесторонней помощи, которую он оказывал им, о его гуманизме.

В свое время Горький взял под свою защиту от вульгарной критики Бабеля, резко выступил против отнесения Маршак и Чуковский к «буржуазному течению» в детской литературе, поддержал Шолохова в его стремлении печатать шестую часть «Тихого Дона» без изъятий и сокращений (на чем настаивали некоторые деятели РАПП, усмотревшие в ней оправдание вешенского восстания казаков), осудил жестокие слова А. С. Серафимовича о поэтах «Кузницы» Герасимове и Кириллове. «...А. С. Серафимович решительно говорит о Герасимове и Кириллове: «Погибли», — писал Горький. — Думаю, что старый писатель слишком торопится вычеркнуть из литературы этих талантливых поэтов-рабочих. Столь суровое заявление — уже не критика, а что-то похожее на «смертный приговор». Я нахожу, что так швырять людей нельзя и что такие приговоры — дурной пример для молодых критиков».

Со всею определенностью порицая публикацию Пильняком «Красного дерева» в зарубежной печати, Горький в то же время протестовал против поведения «разных бойких ребят», обрадованных скандалом и раздувающих его ради того, чтобы «подпрыгнуть высоко, вскочить на видное место». Он возражал против того, «чтобы швырять ко всем чертям и отталкивать от себя людей», чтобы относить к классовым врагам тех писателей, которые хотя и «плохо слышат героическую музыку творимого нового» и более внимательны «к шуму и воплям разрушаемого», но не любят старого мира, не сожалеют о его гибели и вовсе не питают ненависти к растущему новому миру.

Для Горького всегда была характерна принципиальная непримиримость к антикоммунистическим идеям, к поведению, несовместимому с моралью советского гражданина. Вместе с тем его отличала забота о сплочении всех литературных сил, которые могут служить делу социалистической культуры.

Важную роль в литературе Горький отводил журналам. «По самому существу литературного дела,— писал он,— редакции литературных органов должны являться основными звеньями непосредственной связи и работы с писателями. Редакции журналов и издательства, занимаясь практически и каждодневно литературной продукцией, имеют большую, чем какая-либо другая организация, возможность ставить творческие вопросы на конкретном литературном материале, идейно и художественно воспитывать писателей на живом деле, дифференцированно, учитывая все своеобразие дарования, подходить к каждому писателю,— оперативно проводить в области литературы политические задачи».

Недаром Горький с таким увлечением и энергией занимался своими журналами: «Наши достижения», «СССР на стройке», «За рубежом», «Литературная учеба», «Колхозник», альманахи «Год XVI», «Год XVII», «Год XVIII», «Год XIX». Л. Сейфуллина всю эту совокупность журналов Горького удачно назвала: «Горьковский литературный комбинат».

Опыт Горького — редактора журналов, его понимание целей и задач журналов сохраняет свое значение и до сих пор и заслуживает самого пристального изучения. Здесь можно выделить несколько моментов.

Прежде всего Горький считал, что журналы должны быть тесно связаны с жизнью и современностью и публиковать произведения и материалы, которые имеют дело с живыми и яркими фактами, а не с отвлеченными теориями и готовыми выводами. Именно поэтому Горький придавал большое значение очерку. Он был уверен, что богатые фактами очерки и статьи могут сделать журналы более интересными и полезными для читателя.

Горький полагал также, что журналы должны адресоваться к массовому читателю и опираться на сотрудничество «людей массы». Он иронизировал по поводу «премудрых» журналов, осуждал любые проявления журнальной узости и отъединенности. В одном из писем редакции «Литературной учебы» он сетовал, что «вы, столичные, считаетесь главным образом со столицей, ее ближайшими окрестностями и с родственниками по духу. Это — ошибочно. «Россия — государство уездное» — все еще, все еще! И внимание должно быть направляемо не на друзей и родственников». «Работая каждый в своем уголке, с излюбленным штабом симпатичных сотрудников,— мы умнеем очень медленно, если вообще умнеем», — утверждал Горький в другом письме.

Особо опасным врагом журналов Горький считал «злейшую кружковщину», «вредную замкнутость в тесных квадратах групповых интересов»... В статье «О мешанстве» он указывал на прямую связь, которая существует между узколитературными распрями журналов и невниманием их к массовому читателю. При этом Горький вовсе не отрицал возможности литературных разногласий и необходимости полемики между журналами и споров между критиками или писателями. Но он постоянно выступал против разногласий узкоцехового характера, против литературных дискуссий, кончающихся «устранением», против полемики озлобленной и личной.

Наконец, очень важной задачей литературных журналов (именно литературных!) Горький считал ознакомление читателей с завоеваниями, достижениями и открытиями науки и техники. Популяризация и распространение в массах научных знаний — вообще одна из излюбленных идей Горького. К сотрудничеству в своих журналах он усиленно привлекал не только литераторов, но и ученых, стремясь соединить их под одной крышей. В журнале «Наши достижения» Горький поставил отдел науки на первое место и ввел в редакцию журнала академиков

А. Е. Ферсмана и О. Ю. Шмидта, профессоров Н. К. Кольцова, Л. К. Мартенса, В. Р. Вильямса.

Нет нужды доказывать сейчас, насколько актуальной является задача популяризации завоеваний науки и техники и привлечение к тесному сотрудничеству ученых разных специальностей. Нисколько не утратил своего значения для наших журналов и весь богатейший опыт Горького, руководителя «Горьковского литературного комбината».

В конце 1927 года, когда наша страна готовилась отметить шестидесятилетие Горького, он писал А. Халатову из Сорренто: «До меня доходят слухи, что предположено чествовать Горького. Похлевать с хорошими товарищами хороших щей я, конечно, готов. Но — тихо. Меня уже начали «чествовать», каждый день получаю телеграммы, а одна 137 слов! Чего же смотрит Рабкрин?»

Лучшей наградой, «о которой может мечтать литератор», Горький считал «награду непосредственного общения» с читателем. Этим он уже в те годы был награжден в полной мере. С годами известность и слава великого писателя росли и крепились.

Прекрасный и необыкновенно богатый творческий путь прошел Максим Горький. До конца дней оставался он верным девизу своей молодости: «Вперед и выше», до конца дней боролся за величие родной литературы, за счастье народа, за его прекрасное будущее. Великий художник, борец, наставник советских писателей — Горький и ныне остается знаменем советской литературы, примером беззаветного служения народу, делу партии, коммунизму.

Столетие со дня рождения Алексея Максимовича Горького — праздник советской культуры.



ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ

★

ТАКИМ Я ЗНАЛА ГОРЬКОГО

Автор этих воспоминаний об А. М. Горьком — Валентина Михайловна Ходасевич, известный советский художник. Ее кисти принадлежат талантливые и своеобразные портреты (среди них портрет Горького, воспроизведенный в настоящем номере нашего журнала), а также много работ в области книжной графики. Впоследствии она стала видным театральным художником. В течение двадцати лет В. М. Ходасевич была одним из близких друзей А. М. Горького и его семьи. Ныне она работает над книгой о своей жизни.

В 1916 году на выставку в Художественном бюро Н. Е. Добычиной, в Петрограде, где я выставила много своих живописных работ, пришел Горький. Мои работы его заинтересовали, и он хотел купить большой холст, изображавший улыбающуюся девушку в черемисском костюме, стоящую под деревом, — вдали поля, холмы, небо. Девушку звали Саша, ее я писала с натуры у себя в мастерской, а пейзаж был выдуманным. Вероятно, Горького прельстили в этой вещи декоративность, веселость красок и этнографичность. Но «Саша» к Горькому не попала, так как была уже куплена молодым коллекционером В. Ясным.

После истории с «Сашей» прошло несколько месяцев, и я о ней забыла. Но однажды телефонный звонок из издательства «Парус» заставил меня вспомнить о ней. По поручению главного редактора издательства Горького звонил мне Александр Николаевич Тихонов, работавший в издательстве, и просил, если я не имею ничего против, в ближайшее время прийти в редакцию для разговора с Горьким по поводу работы. На следующий день я уже неслась «на всех парусах» в издательство «Парус», с Васильевского острова на Петроградскую сторону, где на Монетной улице (ныне улица Скороходова) и находилось это издательство и редакция журнала «Летопись», неутомимым работником которых был А. М. Горький.

В редакции меня встретил А. Н. Тихонов, познакомил со своей женой Варварой Васильевной Шайкевич, секретарем редакции, и повел меня в кабинет Горького.

Удивительно, до чего же сложившееся у меня еще с детства представление о Горьком (благодаря разговорам, которые часто возникали в доме моих родителей, и фотографиям, которые я видела в журналах и газетах) не соответствовало облику того Горького, который меня встретил в редакции! Передо мной был высокий тонкий человек с упрямо посаженной на туловище небольшой, по отношению ко всей фигуре, головой, отчего он казался еще выше, чем был на самом деле. Сразу поразили пристально вникающие, необычайно внимательные, думающие, детской голубизны глаза. Рука, протянутая мне, была ласковой, мягкой и доброжелательной. Движения неторопливые, походка скользящая, легкая, неслышная. Ничего деланного. Необычайная простота и естественность. Ничего от «знаменитости». Очень хорошо сшитый серый

костюм, ловко и непринужденно сидящий на нем, рубашка голубая (почти совпадающая с цветом глаз) с мягким воротником. Удивило отсутствие галстука. (Галстуки Алексей Максимович не любил и никак не мог привыкнуть быстро завязывать их.)

Редакционный кабинет Горького занимал большую комнату, обставленную удобной мебелью делового типа. У окна стоял письменный стол и кожаные коричневые кресла. В глубине — большой полированный стол, окруженный стульями, — очевидно, для собраний и заседаний. У стен стояло несколько шкафов с книгами и папками. Алексей Максимович предложил мне сесть в кресло у письменного стола, сам сел напротив. Он вспомнил о том, как ему не удалось приобрести мою «Сашу», и перешел к разговору о предлагаемой мне работе. На первый раз мне было предложено сделать иллюстрации к сказке «Глупый король» К. И. Чуковского для детского сборника «Елка». Я сразу же согласилась. «Ну вот, очень хорошо! Поработаем вместе. Мы и в дальнейшем на вас рассчитываем, а сейчас познакомлю вас с автором». Алексей Максимович вышел из кабинета и вскоре вернулся с таким же худым и высоким человеком, как и он сам, но моложе его, с прядью темных волос, перечеркнувшей наискось его лоб. Это был Корней Иванович Чуковский, который тут же передал мне свою рукопись — «Сказку о глупом короле».

И Горький, и Чуковский, и Тихоновы, и вся атмосфера редакции мне очень понравились, и я возвращалась домой, уже обдумывая новую работу.

Прошло несколько дней. Углубившись в рисунки к «Глупому королю», слышу телефонный звонок. Подхожу. Очень приятный, но актерски поставленный женский голос говорит: «Валентина Михайловна? Здравствуйте! Я Андреева Мария Федоровна — жена Алексея Максимовича. Он мне рассказал о знакомстве с вами, и мы оба очень хотели бы, чтобы вы пришли к нам в гости послезавтра вечером. У Алексея Максимовича будут друзья — хотелось бы видеть и вас в их числе».

Я все еще не могла после Москвы окончательно привыкнуть к Петрограду и казавшимся мне чопорными петроградским художникам. Бывая у них, чувствовала себя неуютно и как-то чуждо. Получив приглашение от Андреевой, я сразу решила, что не пойду, и, поблагодарив, сказала, что, к сожалению, я не смогу быть, так как этот вечер у меня уже занят. «Как жалко, — очень искренне воскликнула Мария Федоровна, — а у меня на вас были виды!» — «Какие виды?» — спросила я. «Народу будет у нас много, и я, опасаясь, что не хватит ножей и вилок, надеялась, что вы меня выручите и привезете из вашего хозяйства». И эти «ножи и вилки» как-то сразу заставили меня почувствовать, что мне нечего бояться чопорности в доме Горького. Мне очень захотелось пойти на этот вечер. И я как-то наивно-быстро сказала Марии Федоровне: «Ах, если вам нужны ножи и вилки, я, конечно, приеду и привезу все, которые имеются в моем хозяйстве». — «Запишите наш адрес, — сказала Мария Федоровна. — Кронверкский проспект, дом 23, верхний этаж. Так, значит, мы вас ждем послезавтра!»

На вечере я была, вилки и ножи привезла, меня опекали и радушные хозяева и Тихоновы. Там я познакомилась со многими певцами, балеринами и художниками. Вечер был шумный, дымный, в одних комнатах горели свечи и шли беседы и споры, в других ярко горел электрический свет. Столы были разбросаны по разным комнатам, и гости пристраивались ужинать где хотели и кто с кем хотел. Веселились, танцевали, пели — до утра. Мне тоже было интересно и весело. Мария Федоровна и Алексей Максимович были внимательными и любезными, но не надоедливыми хозяевами.

Я следила за Алексеем Максимовичем и заметила, что он как-то незаметно переходил от одной группы гостей к другой, а часто стоял один, с папиросой в руке, прислонившись к чему-нибудь, наблюдая за происходящим. Лицо его то выражало почти детское любопытство, то он ласково улыбался, то делался очень серьезным и почти гневным. Видно, жил он какой-то своей, углубленной жизнью. И всегда в дальнейшем я замечала, что он, бывая среди большого количества людей, любил в какой-то момент предоставить их самим себе, а сам делался сторонним наблюдателем, но делал это так деликатно, что мало кто замечал, как он «выходил из игры».

Знакомство наше шло скачками. Алексей Максимович был раза два у нас гостем на Васильевском. Уже приближался бурный 1917 год. У каждого была своя насыщенная работой жизнь, но встречи с Алексеем Максимовичем приближали меня неуклонно к большой дружбе с ним и его близкими.

В Коктебеле

Весной 1917 года я договорилась с поэтом Максимилианом Александровичем Волошиным о том, что его мать, Елена Оттобальдовна, сдаст мне комнату в их коктебельском «Обормотнике» (так в шутку называли их дом). Тихоновы просили меня, если в Коктебеле окажется хорошо, и для них присмотреть какое-нибудь помещение.

Там оказалось так хорошо, что я сразу же договорилась с Пра (так называли прародительницу «Обормотника» — мать Волошина) о сдаче мне еще двух комнат — одной для Тихоновых, другой для моего друга художника Ивана Николаевича Ракицкого и друга моего мужа пушкиниста Михаила Дмитриевича Беляева. Приехали Тихоновы, им очень понравились тишина и малолюдье Коктебеля, они письмом сообщили об этом Алексею Максимовичу и советовали ему тоже приехать отдыхать в нашей компании. Он сразу же ответил согласием.

У Волошиных все помещения уже были заселены, и мы нашли для Алексея Максимовича комнату с большим комфортом, чем в «Обормотнике» — на даче детской писательницы Манасеиной, — его там будут и кормить. Да и состав живущих у Волошиных (кроме нашей компании) — Осип Мандельштам, Ася Цветаева (сестра Марины) с малолетним ребенком и приятельницей, мой дядя поэт Владислав Ходасевич с женой (сестра Г. Чулкова) и ее сыном и танцовщица-пластичка под Дункан, имя которой было Юлия Цезаревна, — связывал бы и Алексея Максимовича и их, да и прозвище «Обормот» совсем не подходило к Горькому.

Алексей Максимович приехал в начале августа и сразу же оценил Коктебель. В нашу компанию он влился как старший товарищ. Приехал он полубольным, усталым, но, как всегда, много работал. До послеобеденных часов мы его и не видели. Только после обеда, часа в три, когда мы, разморенные купанием, отдыхали, он тихо появлялся на нашей террасе, затененной крышей (на нее выходили все три занимаемые нами во втором этаже комнаты), садился на табуретку, и я слышала, как он приглушенным баском с кем-то разговаривает. Вскоре в щелку двери я увидела, что на поручне перил террасы сидят разные мелкие птицы, Алексей Максимович кормит их хлебом и что-то говорит им, то вежливо поучая, то советуя, а иногда и пробирая. Птихи пристально слушают, вглядываются и отвечают чириканьем или щебетом, а рассердившись или испугавшись, улетают, чтобы вскоре вернуться опять. Беседы такого рода бывали иногда очень содержательными и касались даже политических тем.

После дневного зноя, когда солнце уходило уже за Кара-Даг, мы гуляли по берегу моря, иногда шли в деревню на холме, но это — редко, так как Алексей Максимович задыхался при ходьбе в гору. Ужинали в ресторанчике грека Синопли, который имел на самом пляже однокомнатный деревянный домик со ставнями, весь расписанный в предыдущие годы жителями «Обормотника» смешными картинками и стихами. Под тентом, прикрепленным на шести столбиках, врытых в песок, стояло несколько небрежно сколоченных из досок столиков, табуреток и скамеек. Все это зыбко качалось на песке. У Синопли можно было получить вкуснейшие чебуреки, яичницу, огурцы, помидоры и коньяк — другого ничего не было. Синопли был ленив, а маленький шестилетний сын его еще больше — он втыкался головой в песок и, вытянувшись во весь рост, часами стоял вверх ногами, глядя в море. Не знаю, что из него получилось впоследствии.

Вечерами светила луна, мерцали звезды, шагах в тридцати от нашей террасы плескалось море. Все мы были немного или много влюблены и собирались на нашей террасе. За неимением достаточного количества табуреток, да и для уюта стаскивали с кроватей тюфяки и располагались на них. На спиртовке варили кофе по-турецки, ели фрукты...

Остывающие после дневного зноя дикие степные травы — полынь и чебрец — делали воздух пьянящим, пронизывающим все тело. Трещали цикады. Луна превращала амфитеатр коктебельской выгоревшей земли и холмов в подобие пейзажа из льда, а бухта моря (бывший кратер вулкана) и небо сливались в одну черную дыру, и это было даже страшновато. Только громада Кара-Дага очерчивалась бликами, как исполинская кулиса.

Ракицкий заводил своим теноровым безголосом украинские (он был родом из Ахтырки) грустные, но больше смешные песни, тут же сочинялись новые, и мы не очень складно подтягивали, много ерундили, смеялись, но иногда разговоры переходили и в серьезные. Алексею Максимовичу все это очень нравилось. Иногда мы засиживались за полночь, и Тихоновы шли провожать Алексея Максимовича.

Редко к нам заходили Волошин или мой дядя — у них были свои, сугубо поэтические интересы.

Ракицкий — человеком весьма незаурядным, с некими, правда, никому не мешающими странностями — Алексей Максимович сразу же заинтересовался им, когда мы уезжали, пригласил Ивана Николаевича обязательно прийти к нему в Петрограде.

Так и было — Ракицкий пришел на Кронверкский проспект в сентябре, прямо из Петергофских казарм (по возвращении из Крыма он был мобилизован), в военной форме нижнего чина. Его встретила Мария Федоровна, очевидно, знавшая о нем от Алексея Максимовича, и, оглядев, спросила: «Вы из казармы? Вероятно, там очень грязно? Может, и насекомые есть? Знаете, я устрою вам сейчас ванну, и вы переоденетесь в чистое белье и костюм Алексея Максимовича». Все это было сделано. К вечеру, когда Ракицкий хотел уезжать, Мария Федоровна сказала, что она его не отпустит, жить он останется у них, а завтра она уладит его военные дела.

Иван Николаевич, любивший все необыкновенное, слабо протестовал и остался в доме Алексея Максимовича... на всю жизнь. Умер он в 1942 году в Ташкенте, куда эвакуирован был вместе с Надеждой Алексеевной, вдовой Максима Пешкова, и ее двумя девочками — внучками Алексея Максимовича — Марфой и Дарьей, которые тогда были еще школьницами. Иван Николаевич, конечно, был настоящим чудачком.

Алексей Максимович всегда был готов любым способом помочь человеку, особенно если это оказывался человек искусства или науки. В первые трудные годы революции многим помогал он добрым словом, советом, деньгами, одеждой, обувью, очками, пайками, внимательно вникая — кому, где и что нужно. Помогал он как-то волшебным-деликатно, чтобы не смутить человека и не обидеть. Он отлично понимал, что нелегко быть «облагодетельствованным».

В конце 1917 года я заболела туберкулезом, и мы с мужем временно переехали к моим родителям в Москву. Весной 1918 года в первый день пасхи сын Алексея Максимовича Максим, живший с матерью в Москве, с которым я еще не была знакома, принес мне письмо от отца.

Вот это письмо:

Искренне уважаемая Валентина Михайловна! Невзирая на малое мое знакомство с Вами, — преклонные лета мои, солидное всеми одобряемое поведение и также пагубная склонность к добродетели позволяют Вам, полагаю, отнестись к этому моему посланию доверчиво и внимательно, на что весьма надеюсь.

Сударыня! По слухам, дошедшим до меня, состояние Вашего здоровья и настроенья требует серьезнейших забот, и Ваши друзья — к числу коих желал бы принадлежать и пишуший сие — крайне встревожены. Известно им, что Вы потеряли 19 или 29 фунтов веса и что от Вас осталось не очень большое количество разной формы косточек, обтянутых довольно некрепкой кожей. Жить в таком виде — значит оскорблять Всеблагую природу, кот[орая], создав нас, несомненно предполагала, что мы будем заботиться о здоровье нашем внимательно.

Отбросив шутки, — позвольте вполне серьезно и обдуманно предложить Вам следующее: переезжайте в Питер. Вы сможете прекрасно устроиться здесь в том же доме, где квартирует д[октор] Манухин — на углу Сергиевской ул[ицы]... У Вас будут две хорошие комнаты, где Вы можете спокойно работать. Если Вам требуются деньги, разрешите — предложить их Вам в количестве, какое Вас устраивает.

Здесь о Вас будут дружески заботиться Ив. Ник. и Вар. Васильевна — люди, которые любят Вас, почитают Ваш талант и желают ему пышного расцвета. Поверьте, — будут приняты все меры для того, чтобы Вам жилось удобно и легко.

И — Вам необходимо полечиться у Манухина. Итак? Я был бы рад, если бы вместо ответа на сие письмо встретил Вас лично в Петрограде.

Сердечно приветствую и очень прошу Вас — приезжайте!

А. Пешков.

Итак, благодаря инициативе Алексея Максимовича я стала пациентом Манухина. Он применял ко мне курс своего лечения дважды — зимой 1918 и в 1919 году, после чего я навсегда избавилась от туберкулеза.

Теми комнатами, о которых мне писал Алексей Максимович, мне не пришлось воспользоваться. Моя тетя предложила нам жить на время лечения у нее.

На Кронверкском

Портрет Горького я писала летом 1918 года в его новой квартире на Кронверкском проспекте в доме 23, квартира 7. четвертый этаж. Алексей Максимович был очень «заинтересованной» и терпеливой моделью, но, чтобы он меньше утомлялся, я решила писать его сидящим за небольшим столом. Писала я его в натуральную величину, маслом.

Позировать, конечно, в любой позе и утомительно и надоедливо. Мне самой приходилось предлагать ему делать перерывы для отдыха. Он говорил: «Ничего, ничего, сударыня. Вы только пишите, обо мне не беспокойтесь...» Так что я иногда, заметив, что моя модель как-то «тускнеет», сама притворялась уставшей и говорила: «Не могу больше, давайте отдохнем недолго». — «Ну, пожалуй», — соглашался Алексей Максимович. Единственная вольность, которую он себе позволял и заранее оговорил, было курение. Когда он затягивался и как-то украдкой выпускал дым изо рта, он каждый раз извинялся.

Позировал мне Алексей Максимович раз восемь—десять, но не каждый день. Сеансы длились часа два — два с половиной.

В то время я чувствовала себя опытным и бывалым портретистом (я уже много написала заказных портретов), и храбрость молодости мешала мне долго задумываться и мучиться над работой.

Во время сеанса Алексей Максимович, стараясь не менять позы, рассказывал мне интереснейшие подробности своих молодых лет — разнообразные истории о людях Нижнего Новгорода, о быте и нравах именитого купечества, о ярмарках, духовенстве, монастырях, об Арзамасе и Америке, Италии, Финляндии и многом-многом другом.

Это был поток интереснейших рассказов. Поражали точно найденные слова для характеристик людей, городов, пейзажей. Передавая диалог разных людей, он никогда не прибегал к имитации их интонаций и жестов. Но в этом и не было надобности — такими убедительно найденными словами они были охарактеризованы и таким типичным было их поведение. Они получались живыми и абсолютно правдоподобными. К сожалению, я не всегда достаточно внимательно вслушивалась в эти рассказы, так как мне приходилось вникать в свою работу. Я знала, что Алексей Максимович это замечал, но он не прерывал своих рассказов, во-первых, из деликатности, всегда присущей ему, чтобы внезапным молчанием не разрушить моей творческой напряженности, а во-вторых, он ведь рассказывал не только для меня, а и самому себе. Наблюдая мою реакцию на рассказы и выверяя на слух, как неутомимый и взыскательный профессионал, эти свои литературные заготовки, он дорабатывал отдельные куски своих будущих рассказов и романов, а иногда подготавливал новую редакцию старых. Это я поняла уже позднее, когда многое из рассказанного мне встречала в его новых творениях. Я ужасаюсь до сих пор, понимая, какие духовные и литературные ценности так щедро предлагались моему вниманию и что я теряла (и не только я!) из-за того, что невнимательно слушала и вникала в рассказы, вовлеченная в свой творческий процесс. Быть бы мне тогда лучше стенографисткой!

Обычно до завершения работы свои я никому не показывала — особенно портреты. У меня был какой-то суеверный страх того, что, показав начатую работу, я не смогу закончить ее.

Позднее я поняла, что понятие «законченности» в искусстве — весьма относительное понятие и со зрелостью к художнику приходит постоянное чувство неудовлетворенности своей работой и желание все больше ее совершенствовать. Но в то время, когда я писала портрет Алексея Максимовича, мне еще мало были знакомы «муки творчества».

И вот настал день, когда портрет был закончен. Надо было его показывать, и, конечно, прежде всего Алексею Максимовичу. Мне было очень страшно. Алексей Максимович тоже заметно волновался. Когда он увидел портрет, лицо его выражало огромное любопытство. Наконец, после мучительной паузы я услышала, как он приглушенно (от волнения, вероятно), но с интонацией какого-то облегчения сказал: «Вот это здорово! Молодчина! Ловко вы меня задумали! — и глаза голубые, и

рубашка голубая, и куски неба... вот жаль, что я не покрасил усы в голубой цвет, ну это уж в другой раз изобразите, а это — мне нравится!»

Алексей Максимович всегда очень чутко и внимательно относился к всяческим поискам нового в искусстве, и, если даже ему что-то и не нравилось, он готов был часть вины приписать своему непониманию.

Работая над портретом, я не старалась во что бы то ни стало создать что-то новое и, всматриваясь в натуру, искренне видела все те граничения плоскостей, которые я изобразила. Я писала с натуры все, кроме фона. Фон я писала в дни, когда Алексей Максимович не мог мне позировать, и он был задуман мной как декоративное панно, изображавшее какие-то отголоски и фрагменты рассказов Алексея Максимовича, услышанных мной во время сеансов, вольно трактованных и вкомпонованных в портрет в чисто декоративных целях.

В то отдаленное время в изобразительном искусстве бушевали разные течения — и пуантилизм, и кубизм, и футуризм, и супрематизм, и лучизм, а многие искали и других «измов». Я же упрямо работала в рамках декоративного реализма, если это можно так назвать.

Вскоре после того, как портрет был закончен, Комиссия по улучшению быта ученых, основанная по инициативе и стараниями А. М. Горького, приобрела у меня этот портрет, и он многие годы висел в Ленинградском Доме ученых, пока не попал в Литературный музей Ленинграда (Пушкинский дом), где и находится теперь.

Осенью 1918 года, будучи в Москве, я получила второе письмо от Алексея Максимовича:

Дорогая Валентина Михайловна!

Предполагается издать штук 100—150 моих и переводных рассказов Франса, Вольтера, Ибаньеса и т. д. Для каждого из этих рассказов требуются обложка и «картинки».

Не желаете ли взять на себя часть этой работы?

О Вашем решении сообщите возможно скорей.

Назначьте гонорар.

Желаю всего доброго!

Поклон В. семье.

А. Пешков.

Не помню точно, что я ответила Алексею Максимовичу, знаю только, что обложек и картинок к рассказам Франса и других я не делала.

...К началу 1919 года мы не только сдружились с Алексеем Максимовичем и его женой Марией Федоровной Андреевой, но так случилось, что они предложили нам с мужем переехать жить к ним в большую квартиру на Кронверкском проспекте. Мы согласились и жили там с ними до отъезда Марии Федоровны и Алексея Максимовича за границу в 1921 году.

В квартире было двенадцать комнат. В них жили: Алексей Максимович, Мария Федоровна, Иван Николаевич Ракицкий, Петр Петрович Крючков, Мария Игнатьевна Бенкендорф-Закревская, Мария Александровна Гейнце (приехавшая из Нижнего Новгорода учиться в Военно-медицинской академии) и я с мужем. Питаться приходили живущие в верхней квартире этого же дома дочь Марии Федоровны с мужем и ее племянник Женя Кякшт с женой. Образовалось нечто вроде «коммуны». Все мы работали в разных учреждениях (муж, Ракицкий и я — в Экспертной комиссии Внешторга, Мария Игнатьевна — секретарем в

издательстве «Всемирная литература», Крючков — помощником Марии Федоровны в отделе театра и зрелищ), получали скудные пайки, которые приносили домой в «общий котел», и плохо, но как-то питались. Общее хозяйство «коммуны» вела пожилая, но очень энергичная женщина Анна Фоминична. Часы досуга мы проводили вместе и так как были молоды, то ничуть не унывали и даже бывало веселились. Алексею Максимовичу такое окружение нравилось.

Четыре маленьких проходных комнаты в общей квартире были владениями Алексея Максимовича. Первая — библиотечка, следующая — спальня, третья — кабинет и четвертая, почти без мебели, только с шкафчиками и витринками — для коллекций китайских и других восточных вещей. Комната, в которой библиотека, — длинная, с одним окном, в ней, кроме полок с книгами, стоявших вдоль стен, и полок, стоявших к ним перпендикулярно, был небольшой стол у окна, два стула и треногая жардиньерка, а в ней горшок с каким-то растением. Один из углов комнаты был срезан кафельной печкой, выходившей в следующую комнату — спальню — и коридор. Перед печкой — низкое кожаное кресло. Это — рабочая библиотека Горького, и он относился к каждой книге в ней, как к старому испытанному другу — бережливо, с любовью и уважением. Книги никому навывнос не давались.

Исключение было сделано для Виктора Шкловского. Он появился на Кронверкском с Украины неожиданно в конце 18-го или в 19-м году и стал часто бывать у нас. Сижу как-то у себя в комнате — рисую. Деликатное постукивание в дверь — это Алексей Максимович. Просит прийти к нему в библиотеку. Следую за ним. Он показывает мне на стол и на что-то непонятное, лежащее на нем. Больше всего это похоже на ворох небрежно сложенных газет, но немного меньшего размера. «Вот посудите сами, можно ли выпускать из дома книгу, да еще уважаемую и редкую книгу? — вот во что превратил ее Шкловский! — гудел мрачным басом Алексей Максимович. — Выпросил-таки для работы, а я, дурак, ему поверил, что вернет быстро и в полном порядке. Какое безобразие — полюбуйтесь!» Это была книга «Сентиментальное путешествие» Стерна, без переплета. Между страницами в большом количестве торчали рваные куски бумажек с пометками, — книга разбухла невероятно, брошюровка разорвалась, углы страниц завилась стружками в разные стороны. «Уму непостижимо, как можно было довести книгу до такого состояния. И о какой работе над такой книгой могла идти речь, если и разобраться-то в ней уже нет никакой возможности. Страницы перепутаны, просто хоть выбрасывай! — продолжал возмущаться Горький. — А возвращая мне эту бывшую книгу, Шкловский благодарил и сказал, что великолепно поработал». Я не могла удержаться от смеха, глядя на эту «работу» Шкловского. Наконец рассмеялся и Алексей Максимович. Шкловского он в ту пору любил.

...Времена были в бытовом отношении очень трудные. Разруха в стране. Пайки мизерные. Снабжение города продовольствием было судорожным: то выдавали только яблоки, то воблу, то селетки, то капусту полугнилую. Однажды выдали конопляное семя, и мы все принесли его домой, но не знали, что это такое и что с ним делать! Алексей Максимович сказал, что это великолепный корм для канареек. Канареек у нас не было.

Большим домам разрешено было «питаться» маленькими деревянными домами и заборами. Мы узнали об этом с опозданием. Ночью кто-то уже разобрал и раставил два деревянных домика и еще не очень трухлявый забор, соседствовавшие с домом, где мы жили. Это было для нас большим огорчением.

Иногда какие-то анонимные почитатели Марии Федоровны или Алексея Максимовича приволакивали на спине, а зимой на санках дрова и доски. Однажды это были доски мореного дуба. Мы их еле распилили — они как костяные,— работали в очередь, но зато когда Алексей Максимович разжег их в своей печке, мы были вознаграждены необычайным зрелищем: в печке вспыхивали и расцветали огромные яркие синие васильки, из которых вырывались языки горящего голубого газа. Кто не видел, и представить себе не может, до чего это было неправдоподобно красиво. Пока порция этих досок не прогорала, мы даже и разговаривать не могли. Молча грелись и наслаждались. Алексей Максимович сказал: «Хоть неловко — они ведь, конечно, ворованные, но замечательно хороши!» Мы называли его огнепоклонником. Он не любил гасить огонь и даже спичке, от которой раскуривал папиросу, давал догореть до конца, пока огонь не обжигал ему пальцы. К кострам у него было особо благоговейное отношение. Даже в пельешнице он устраивал маленькие костры и, складывая спички колодцем, поджигал их, подбрасывая бумажки, и когда кто-нибудь предупреждал его, что может загореться стол и скатерть, он спокойно говорил: «Ну и отлично! Полюбуйтесь!» Я помню несколько случаев таких небольших пожаров.

Бывало, что подача электроэнергии прекращалась на много дней. Вечерами мы жгли лучину в камине комнаты Ивана Николаевича Ракицкого, куда все собирались из-за вынужденного бездействия. Часто приходил Федор Иванович Шалапин с женой Марией Валентиновной, оба огромные, красивые, великолепные. Федор Иванович услаждал нас песнями и романсами, да и рассказчиком он был прекрасным и с большим юмором. Приводили они с собой любимого бульдога, белого с коричневыми пятнами, до смешного похожего на Федора Ивановича. Когда ему говорили: «Милиционер пришел!», он падал как подкошенный на бок и делал вид, что умер, даже дыхание задерживал. Шалапин очень его любил, обучал разным трюкам, гордился им и говорил: «Способный — неплохой артист из него получится. С ним мы по миру не пойдём!»

Одно время трамваи не ходили, и мы пешим ходом, преодолевая огромные петроградские проспекты и мосты, добирались кто куда на работу. Работали мы зверски, не жалея сил, и странно — но сил оказывалось много.

В 17—19-м годах открылись в большом количестве «По-ко-ко» (посредническо-комиссионные конторы). Там продавалось всякое барахло, но можно было найти прекрасные и редкие антикварные вещи.

Алексей Максимович имел пристрастие к старинным китайским вещам из нефрита и других камней, из резного красного лака, майолики, к разным восточным богам из бронзы и резным чудесам из слоновой кости. У него образовалась уже довольно большая коллекция, которую он пополнял по мере возможности в «По-ко-ко». Перед отъездом в 1921 году за границу он принес всю эту коллекцию в дар Этнографическому музею.

Иван Николаевич Ракицкий был большим любителем давать прозвища людям. Сам он тоже, еще в Париже, в 1911 году был прозван Соловьем. Тогда же он прозвал своего приятеля, впоследствии моего мужа, Андрея Романовича Дидерихса, Диди (французы произносили Дидерихс как Дидиришс). Алексею Максимовичу, когда мы жили «коммунной», дано было прозвище Дука ди Кронверко (герцог Кронверкский), Марии Федоровне Андреевой — комиссар МФА. Меня прозвали Купчихой, так как однажды, когда было очень холодно в квартире, я появилась в столовой, надев на себя ярко-зеленую пушистую кофту,

поверх которой закуталась с головой в старинную купеческую шелковую шаль с вытканым многоцветным богатым рисунком; на руках у меня были яркие, вязанные из шерсти варежки, а на ногах зеленые валенки. Увидев меня, все ахнули, а Алексей Максимович сказал: «Ну прямо кустодиевская купчиха, только телесами не вышла». (Я была тогда очень-очень худой и заморенной.) Соловей предложил отныне так меня и называть. Петра Петровича Крючкова нарекли Пэпэкрю; Марию Игнатьевну Закровскую — Титкой (Соловей уверял, что по-украински это все равно что «мадам»); восемнадцатилетнюю Мусю Гейнце за миниатюрность — Молекулой; Варвару Васильевну Шайкевич — Душечкой (она приходила часто к Алексею Максимовичу, всегда искала свою сумку и говорила: «Алексей Максимовичч, поищите, где моя ссумочка». Буквы с, ч и щ она произносила с повторением и ударением); Якова Львовича Израилевича — Жаком; Криммера Фридриха Эдуардовича — Бородой (у него была роскошная ассирийская борода); Константина Михайловича Миклашевского — Самогоном (он приносил нам иногда для веселья самогон, который сам и выпивал, — мы не могли).

Марии Федоровне наименование «комиссар МФА» или «наш комиссар» дал сам Алексей Максимович в связи с тем, что она была комиссаром петроградских театров и зрелищ. Однажды наш комиссар вышла к обеду очень красиво причесанной и представила нам идущего за ней мужчину: «Знакомьтесь, это Борис — волшебник в области женских причесок,— и, обращаясь ко мне, добавила: — Ведь важно сделать женскую голову легкой...» Но тут Алексей Максимович все испортил, сказав деланно-мрачно: «А вы уверены, что так уж хорошо делать головы комиссаров легкими?»

Мария Федоровна укоризненно посмотрела на Алексея Максимовича, мы все рассмеялись, а Борис безумно испугался.

Алексея Максимовича влекло к шутке, к эксцентрике, и он любил чудаков, их необычайные поступки — серьезные и шуточные. В одной из книг «Чукоккалы» он записал: «Уж если всегда говорить только умное — это тоже — глупость». И это нисколько не мешало важным делам Алексея Максимовича, которые он затевал, организовывал и проводил в жизнь, постоянно совершая нелегкие в то время поездки в Москву.

Теперь, раскапывая в памяти и записывая, как мы жили на Кронверкском, понимаю, до чего же мы, «молодежь» (впрочем, не такая уж и молодая), были непростительно малограмотны политически, хотя и полны революционного энтузиазма. А с точки зрения Алексея Максимовича, мы были частицей той интеллигенции, которую он считал необходимым сохранить для Страны Советов.

Даже трудно передать, как многим я обязана Алексею Максимовичу! Он мне специально ничего не преподавал, но его поступки и разговоры помогли мне понять многое, над чем раньше я и не задумывалась. А люди, которые бывали на Кронверкском! Присматриваться, слушать их — как много давало это мне, человеку молодому и любопытствующему. Вот некоторые из людей, бывавшие при мне у Алексея Максимовича на Кронверкском: Ленин, Дзержинский, Красин, Луначарский, Коллонтай, Лашевич, Бакаев, Зорин, Дыбенко, И. Ионов, Суханов, Г. Суханова, И. П. Ладыжников, А. П. Пинкевич, З. И. Гржебин, Н. Е. Буренин, Федин, Груздев, Шкловский, Пильняк, Лариса Рейснер, Н. Венгров, Левберг (переводчица), Десницкий, Слоновский, Н. Тихонов, Чуковский, М. Д. Беляев, мой дядя Владимир Ходасевич, Герберт Уэллс, Зошенко, А. Бенуа, Митрохин, Добужинский, Щуко, Фомин, Альтман, Шаляпин, Монахов, Шуванов,

Марианна Пистелькорс-Зарнекау, Борисов (московский артист), Генриетта Роджерс, С. Радлов...

У нас в квартире важное событие: Марии Федоровне удалось раздобыть финскую переносную печку, облицованную зелеными кафелями. Печка не совсем в порядке — внутри разбились кирпичи и завалили повороты дымохода. Должен прийти печник для исправления, он же подведет трубу к дымоходу большой печи, которую топить не придется — жрет слишком много дров, а эту хоть щепками — «и грей или живот, или спину», как говорит печник. Мария Федоровна просила меня быть дома и присмотреть за печником, чтобы не развел много грязи, да и Алексей Максимович один дома — все остальные ушли на работу.

Сижу в столовой на тахте с книжкой. Печник (он в фартуке, вооружен молотком) бормочет, что финны не дураки — печка с умом сделана, но и у нас башка работает... Машинально слушаю... Звонок. Не успеваю вскочить с тахты, как слышу торопливые шаги Алексея Максимовича. Проходя в переднюю через столовую, он на ходу бросает мне: «Не вставайте, я сам открою». Кого-то впускает. Из передней доносится разговор — не вникаю и уже вижу человека небольшого роста; блеснул выпуклый лоб, одна рука в кармане брюк, пиджак оттопырился назад, походка стремительная, резкий наклон туловища вперед. Быстрый взгляд по комнате и слова: «Извините, товарищи, я вам помешал, кажется?» И ясно, что это сказано машинально, по привычке к вежливости, а мысли заняты другим... Так вот и пронесся, а Алексей Максимович за ним... Все было мгновенно, но, конечно, я узнала и лишь от неожиданности не осознала сразу, что вот впервые увидела Ленина.

Как только они прошли, около печки раздался грохот чего-то падающего — застывший печник стоял с растопыренными руками, с вопрошающим взглядом. Охрипшим, поперхнувшимся голосом он шептал: «Кажись, Ленин, а у меня, когда понял, вот и руки отнялись...» Спустя некоторое время вышел в столовую Алексей Максимович и сказал: «Владимира Ильича я выпустил черным ходом. Так, на всякий случай... Вы понимаете? Л-е-н-и-н», — сказал он с расстановкой и ушел к себе. Вскоре ушел и печник.

Когда вернулась домой Мария Федоровна, я ей все рассказала. Она очень разволновалась и строго сказала: «Вот и оставь вас с Алексеем Максимовичем одних — ведете себя бездумно, как дети. Как же это Алексей Максимович не предупредил меня, что у него будет Владимир Ильич? Хорошо, что печника я знаю — он надежный, но все-таки...»

Было это, вероятно, в 1919 году. Алексей Максимович, который ставил науку чуть ли не выше, чем искусство, почитал И. П. Павлова как гениального ученого, знал его научные труды и очень интересовался его опытами над собаками. В то время Павлов добился ошеломляющих результатов этих опытов, подтверждавших его дерзновенные теоретические предположения.

И вот настал день, когда Алексей Максимович посетил Павлова в его лабораториях.

Вернувшись домой, он взволнованно сказал: «Знаете ли, я был сегодня у Ивана Петровича Павлова — видел там чудеса! Но кончилась наша встреча весьма странно — не знаю, как и быть... Видите ли, великий старик, очевидно, обиделся и разозлился на меня...»

Не помню точно рассказа Алексея Максимовича, но помню его растерянный и удрученный вид. А суть в следующем: потрясенный виденным, Алексей Максимович сказал Павлову, что он преклоняется перед его разумом и знаниями, но не может увязать это с тем, что, как гово-

рят, Иван Петрович очень религиозный человек, верует в господа бога и бывает в церкви... Павлов гневно ответил: «Да, верую!» — на что Алексей Максимович заметил, что если и существуют всемогущие боги, то один из них безусловно в данное время стоит перед ним в образе великого ученого Ивана Петровича Павлова, и таковому богу он тоже готов поклониться, и он низко поклонился. Едва дослушав, Павлов как-то взвизгнул, сжал кулаки, затопал ногами, уничтожающе глядя на Алексея Максимовича, который от неожиданности растерялся, просил Павлова успокоиться и, откланявшись, ушел. Павлов его не задержал.

Алексей Максимович сказал мне, что, когда перед ним лежит чистый лист бумаги и он берет в руки перо, накопившиеся мысли, как бомбы, взрываются у него в мозгу, а писать ему нужно петиции, докладные записки и проч., адресованные учреждениям, и... «представьте себе — я сажаю на бумагу кляксы, имеющие вид чернильных взрывов»...

Однажды утром раздался звонок у входной двери, и когда Соловей открыл дверь, в переднюю ворвалась молодая женщина и, плача, требовала, чтобы ее пустили к Горькому. Соловей сказал, что Алексей Максимович работает, беспокоить его нельзя, и просил ее назвать себя. Она оказалась поэтессой Наталией Грушко, рассказала, что у нее грудной ребенок, что у нее нет молока и она пришла просить Горького, чтобы он похлопотал о регулярной выдаче молока ее ребенку. Говоря это, она окончательно расстроилась и громко зарыдала. Ракицкий понял, что ее надо отвлечь от горя чем-нибудь. Он принес из кладовой щетку, совок и тряпку и предложил ей в ожидании Алексея Максимовича подмести переднюю, а заодно и его комнату, а также вытереть пыль. Это было неожиданной, но удачной мыслью: Грушко как-то сначала растерялась, но потом взяла щетку и принялась за уборку.

Когда появился Алексей Максимович, сделавший перерыв в работе, Грушко уже была «в порядке» и толково все рассказала ему. Он написал и дал ей адресованное к кому-то из товарищей, ведавших распределением продовольствия Петрограду, письмо. Причем для большего успеха дела он написал, что речь идет о его незаконном ребенке, но он просит сохранить это в тайне. Грушко ушла, роняя слезы благодарности. Соловей просил ее как-нибудь зайти и рассказать, дают ли ей молоко, а заодно убрать его комнату — уж очень хорошо она это делает! Этим он довел ее даже до улыбки. Молоко Грушко получала.

Еще много женщин приходили с теми же просьбами. Алексей Максимович, желая им всем помочь, писал письма, усыновляя в письмах их детей, пока, наконец, товарищ, которому адресовались письма, не сказал, что, к сожалению, он не в силах снабдить молоком такое количество «детей» Горького. А мы смеялись над Алексеем Максимовичем и стыдили его: «В вашем возрасте... в вашем положении... как-то неловко... столько детей, да еще от разных матерей!» — «Вот черти драповые! Клянусь — больше никогда не буду!» — говорил Алексей Максимович и смеялся до слез.

Бабахают вдали пушки — наступает Юденич. Город готовится к обороне. В то время я работала в Экспертной комиссии при Внешторге, которая помещалась в доме Салтыковой, выходящем и на набережную и на Марсово поле. Опаздываю я, поэтому почти бегу через Александровский парк. Меня останавливают балтфлотцы, дают в руки лопату и объясняют, что надо рыть окопы. Оглядевшись, вижу, что вплоть до моста много людей копают землю. Говорю, что мне надо на службу. «Служба подождет, а вот Юденич — нет», — говорит мне давший лопату. Копаю, пока не кончатся силы. По Каменноостровскому мчатся грузовики.

груженные какими-то станками, матрацами, и даже самовар кто-то спасал от Юденича. Поняла, что паника. Стало тревожно. Мой муж и Ракицкий тоже работали в Экспертной комиссии, они продолжали ходить туда, а я по просьбе Марии Федоровны сидела дома, чтобы Алексея Максимовича не оставлять одного.

Домой, как узнала от Алексея Максимовича, приходили к нему то товарищи из Смольного, то какие-то странно одетые люди. Товарищи уговаривали его уезжать в Москву. Говорили: «Многие уже уехали, а для вас есть распоряжение насчет специального вагона». Уверяли, что, если белые займут город, Алексея Максимовича повесят на ближайшем фонаре около дома. А странно одетые люди шепотом говорили: «Наши уже на Лиговке, но вы не бойтесь — как только зайдем город, поставим охранять вас к дому вооруженных солдат. Так что не паникуйте и оставайтесь здесь».

От всего этого Алексей Максимович осунулся, озлился и беспрестанно кашлял. Мария Федоровна вернулась с работы и сказала, что была в Смольном — никого не застала. Она долго была у Алексея Максимовича и, уйдя вечером из дома, не вернулась ночевать.

Мрачное утро. Все ушли на работу, кроме Алексея Максимовича и меня. Дома — никого. Звонок. Открываю. Вижу Леонида Борисовича Красина. Он торопливо идет в переднюю, снимает пальто на ходу, здоровается, очень сосредоточен: спросив, дома ли Алексей Максимович и Мария Федоровна, устремляется по коридору к Алексею Максимовичу. Я иду к себе, — дверь в большую комнату Соловья открыта. Вскоре слышу там глухой, тяжелый кашель Алексея Максимовича и слова Леонида Борисовича: «...прямо в Смольный и потом к вам». Странно... Вхожу — может, предложить чаю (морковного) Леониду Борисовичу? Оба стоят неподвижно рядом, повернувшись к окнам. В мою сторону никакого внимания, столбенею и я поодаль и тоже смотрю в окна, выходящие в Александровский парк. Медленно, лениво падают задержавшиеся на деревьях листья, дальше территория Петропавловской крепости и Нева. (Не помню — вижу я это или знаю.) Волнуюсь — что происходит? «Уже скоро...» — говорит очень бледный Красин. Я вижу, что он вынимает из жилетного кармана большие открытые часы, смотрит и снимает их с цепочки. «Ну, теперь слушайте и смотрите». Леонид Борисович сжимает в ладони часы, и мне кажется, что мы перестаем дышать... Потом далекий глухой звук пушечного выстрела, и вскоре вдали, поверх голых веток деревьев, медленно подымается облачко дыма. Я думаю: неэффектно, и почему надо было этого так пристально ждать? Дым вдали рассеивается, я слышу, что-то падает на пол. Леонид Борисович говорит: «Точно сработали!» — и я вижу его разжатую ладонь, с которой капает кровь, а на полу — бесформенные, скореженные часы, которые он раздавил от волнения и ожидания выстрела. Алексей Максимович взволнованно говорит: «Важно вынуть все осколки стекла. Ну, Купчиха, действуйте!»

Проводив Красина (с забинтованной кистью руки), Алексей Максимович зашел ко мне и, видя меня недоумевающей, сказал, что Леонид Борисович приезжал из Москвы специальным поездом, чтобы предотвратить ужасные события, и что теперь, надо надеяться, все пойдет хорошо. Я призналась, что все же я ничего не понимаю.

Тогда он рассказал, что в Москве стало известно, что Зиновьев распорядился заминировать мосты через Неву и взорвать по его приказу, когда части войск Юденича будут входить в Петроград. Снарядили Красина со всяческими полномочиями по разминированию мостов и усилению военных действий против Юденича, который был уже чуть ли

не в Пулкове. Первый пушечный выстрел, который с таким волнением ждал Красин, был знаком исполнения привезенного приказа из Москвы. После того, что сообщил Алексей Максимович, я представила себе всю ситуацию, и мне стало очень страшно.

Девятого января 1920 года в Железном зале Народного дома в Ленинграде открылся театр Народной комедии. Худруком и главным режиссером был С. Э. Радлов, а главным художником — я. От дома № 23 на Кронверкском проспекте, где мы жили, театр был в десяти минутах ходьбы. Несколько раз на спектакли приходил Алексей Максимович и, уступив настойчивым просьбам Радлова и актера Народной комедии акробата-клоуна Дельвари, согласился и написал одноактную злободневную пьесу «Работяга Словотеков». Словотекова изображал Дельвари.

Артистам Горький предоставил право добавлять к тексту пьесы импровизации на злобу дня их собственного сочинения. «Работяга Словотеков» — это острый шарж на тип лентяя, который вместо работы все время митингует и произносит речи.

Дельвари (клоун — любимец публики), потеряв в погоне за успехом чувство меры, на премьере так переигрывал, а импровизации его были так грубы и вульгарны, что получалось совсем не смешно. Мы с Радловым замирали от ужаса, поглядывая на ложу, где сидели руководящие ленинградские товарищи и Алексей Максимович. Кончилось очень плохо: «Работягу Словотекова» приказано было снять и больше не показывать. Даже Алексей Максимович сказал, что, возможно, он чего-то недопонял, когда писал эту вещь. «Видите, как товарищи строго отнеслись — а им и карты в руки!» Видно было, что все это ему очень неприятно. Еще бы! Он долго сидел за столом, подперев подбородок левой рукой с дымящейся папиросой, а правой дробно барабанил пальцами по столу. Редко я видела его таким хмурым. А я-то, грешным делом, думаю, что в запрещении этого спектакля сыграло роль и то, что некоторые узнали себя в Словотекове и обиделись.

У меня хранился эскиз моей декорации и текст пьесы. Я отдала и то и другое в Архив А. М. Горького.

В конце сентября 1920 года в Петроград приехал Герберт Уэллс со старшим сыном Джипом. Приглашенные Алексеем Максимовичем, они поселились в нашей «коммуне». Решено было предоставить им комнату, в которой жили Титка и Молекула. Комнату мы постарались обустроить и украсить. Титка переселилась на тахту в комнату Соловья, а Молекулу устроили на запасном ничейном матрасе в нашей комнате.

Развлекать сына Уэллса было поручено мне. Я с ним объяснялась на французском языке, так как тогда еще не знала английского. Зная, что Джип студент-зоолог, я решила повести его в Зоологический сад, тем более что он расположен в конце Кронверкского. Было чудом, что порядочное количество зверей еще было живо, но на многих кожа висела складками и казалась «с чужого плеча». Очень грустные глаза были у льва, которому при нас принесли в бадье какое-то вегетарианское месиво из муки и овощей: понятно, что загрустишь! Я старалась что-то прививать Джипу, уверяя, что это «разгрузочный день», да и не всегда в Петрограде бывает свежее мясо. «Да-да, я понимаю», — говорил Джип. Обойдя все экспонаты, мы поняли, что меню у всех одно. Очень понравился Джипу слон. Служитель нам демонстрировал его особые способности: он принес несколько кусков хлеба и положил в клетке поодаль от слона, который издал какой-то трубный звук, подмигнул служителю и просунул хобот нам между прутьями клетки. Служитель объ-

яснил, что он дает слону хлеб только за деньги. Было очень смешно, когда хобот, забрав у нас бумажку, подносил ее близко к глазу, рассматривал и, если это были «годные» деньги (не помню, как они назывались), передавал служителю и получал хлеб. Если же мы давали керенки, — уже неходовые, он злобно бросал их на землю и топтал ногами. Мы много раз проверили слона: да, он разбирался в деньгах! Джип очень смеялся и почти ежедневно просил меня зайти с ним опять к слону.

Алексей Максимович веселился, как ребенок, когда я ему рассказывала, как я развлекаю Джипа. Ну, конечно, я показала Джипу и главные красоты города.

Наши мужчины и приходившие к нам не всегда были чисто выбритыми: лезвий для бритв нельзя было достать — скреблись тупыми. Уэллс это заметил и сказал, что он, уезжая, отдаст все свои оставшиеся лезвия, и добавил, что его поразили на улицах скульптурные изображения Карла Маркса, так как он никогда не видел его в изображениях и фотоснимках с такой огромной бородой, сливающейся с невероятно пышной шевелюрой: вероятно, у него тоже не было лезвий, да и ножниц? Уэллс был очень оживленным и веселым. В длинных беседах его с Алексеем Максимовичем переводчицей была Мария Игнатьевна.

Еще до отъезда Марии Федоровны в Берлин (она уехала туда весной 1921 года вместе с Ракицким и Крючковым по делам торгпредства) шли разговоры о выезде Алексея Максимовича тоже за границу — лечиться. Уже и Владимир Ильич уговаривал его, но сначала Алексей Максимович сопротивлялся. Здоровье его ухудшалось, и понятно было, что ему необходимо, чтобы поправиться, уехать. Конечно, мы, оставшиеся с Алексеем Максимовичем, — мой муж, я, Молекула и Анна Фоминична — понимали это и тоже уговаривали его уезжать. Но как нам было грустно и даже страшно так осиротеть! Время шло, вопрос был решен, и Алексей Максимович понемногу начал собираться. Сын его Максим уже уехал в Берлин, чтобы подготовить все к приезду отца.

Вот и последний вечер — 15 октября 1921 года. Наутро отъезд. Алексей Максимович едет через Финляндию в Берлин. Собралось много народу, плохо помню, кто именно. Положение такое, что никто не знает, кто с кем и когда свидится, а тем более с Алексеем Максимовичем, но для него и ради него все играют в бодрость и веселье. Сам он был и весел, и очень грустен, и казался даже немного чужим. Мы с Молекулой боялись посмотреть друг на друга, чтобы у нас не полились слезы. Алексей Максимович тоже посматривал на нас украдкой и сразу прятал глаза. Шумели, пели, были и артисты... Да, тягостная была ночь, спать не ложились, а утром кто-то сказал: «Ну, пора! Лошади поданы». Я выбежала на балкон нашей комнаты и увидела стоящих перед домом несколько черных экипажей — ландо! В них впряжены разномастные, довольно убогие лошади по паре на экипаж. «Хорошо, что разномастные, а то бы, как на похоронах...» — подумала я и дала волю слезам. Кто-то кричал: «Где же Купчиха? Надо присесть на дорогу — по русскому обычаю»... Я выбежала в столовую. Все сидели в тишине. Из коридора появился с портфелем под мышкой, очень делово, насупившись, бледный, очень худой, в черном пальто и черной фетровой шляпе Алексей Максимович, присел на стул, снял шляпу, куда-то посмотрел вдаль, взмахнул рукой с шляпой, как крылом, встал и быстро пошел к открытой уже двери. Мы, «свои», сели в один экипаж с Алексеем Максимовичем. Когда экипажи двинулись в направлении Финляндского вокзала, стало окончательно горестно, а кто-то кричал вдогонку: «Поправляйтесь скорее и возвращайтесь!»

Вскоре я и Молекула получили извещение Внешторга о том, что нам пришла посылка от А. М. Пешкова из Гельсингфорса, просят за ней явиться. Мы отправились. Нам выдали ящик, большой и такой тяжелый, что мы вдвоем еле его тащили. На половине дороги мы уже изнемогли и растерянно на него сели. Вид у нас был, вероятно, такой жалкий, что около Народного дома нам предложил подсобить морячок-балтфлотец. Мы не отказались. Посылка была очень обдуманна: необычайные вкусности — апельсины, шоколад, сгущенное молоко — и очень нужные обутки и вязаные шерстяные перчатки, чулки и свитеры Молекуле, мне и Андрею Романовичу. Но больше всего, конечно, обрадовало нас то, что Алексей Максимович о нас помнил, и даже письмо ласковое было вложено в посылку. Письмо — пропало. Радость — осталась.

В Саарове

Двадцатого ноября Алексей Максимович писал мне из Берлина:

Милая Купчихонька, хорошая моя — как живете? Поверите ли, что без Вас — скучно, что не хватает так хорошо знакомого, всегда куда-то быстро бегущего человечка и не ловко так долго не слышать голоса, который немножко капризно зовет: «Диди!»

Мы трое — Мак, Соловей и я — вспоминаем Вас ежедневно, — уже так повелось! — то и дело раздаются возгласы: эх, если бы Купчиха! Вот бы Купчиха! Хорошо бы Купчиха и т. д. Я не преувеличиваю, — особенно часто эти возгласы вызываются попытками молодых немцев имитировать современную русскую живопись. Обложка одного немецкого художн. журнала нахально ярко свидетельствует, что автор ее знаком с Вашими работами, — это не только мое мнение.

Я еще более уверенно, чем говорил в России, говорю теперь: Ваши работы, выставка Ваших рисунков имела бы здесь солиднейший успех и крупное значение. Посему: М[арии] Ф[едоровне] поручено всячески вывозить Вас сюда, — она весьма усердно «прошена об этом», как говорят по-русски.

Достопочтенная птица Соловей чувствует себя не совсем плохо; он очень солиден и довольно сносно играет роль папаши при Максиме и жене его, именуемой — Тимофеей.

Купил краски, ищет ателье, собирается работать, а сейчас — третьего дня уехал в Шварцвальд, дабы подыскать там санаторное депо, куда меня отправят для большого ремонта — как паровоз, — ибо оказалось, что я разносторонне нездоров [...]

Не стану писать и о здешней жизни, — это потребовало бы очень много времени и места. Скажу только, что Берлин шуцманов и деревянных солдат, Берлин самодовольных бюргеров и гонористого офицера — не существует. Он стал обыкновенным грешным, распутным и легкомысленным городом по внешности, а внутренне — в нем всюду чувствуется напряженная работа, отчаянная работа, — ею и победят немцы, как побеждали раньше легкомысленные французы и ротозейство россиян. Революцией — не пахнет, наоборот: отовсюду крепкий запах реакции. Жалуются на утрату веры, на отсутствие в обиходе души крепких идей и — очень много внимания уделяют Востоку, особенно — Индии, иогизму, теософии и прочему в этом духе.

Но — все это Вы почувствуете сами, приехав сюда, во что верю. Да, да, Вам следует выбраться в Европу, — это необходимо [...]

Писать о Максиме — трудно. Он находится около своей жены, стараясь держаться как только можно ближе к ней — будто все еще не

уверен в реальности своего брака и Тимошина бытия. Тимоша — славная штука, очень милая.

В Финляндии видел Марию Игнатьевну — в крепких башмаках и теплой шубе. Похудела, стала как-то милее и — по-прежнему — все знает, всем интересуется. Превосходный человек. Она желает вылезти замуж за некоего барона: мы все энергично протестуем, пускай барон изберет себе другую фантазию, а эта — наша! Так? В Шварцвальд я уезжаю дня через три. Мой адрес: st. Blasien, Шварцвальд. Сердечный привет А. Р. и — будьте все здоровы! Напишите!

Крепко целую Вашу руку

А. Пешков.

20/XI-21.

В ноябре 1922 года по приглашению Алексея Максимовича я поехала к нему в гости в маленькое местечко Сааров — в двух часах езды от Берлина. Там с ним жили: только что женившийся Максим, Соловей и наездами появлявшаяся Мария Игнатьевна — Титка, тогда уже Будберг (барон осуществил все же свою фантазию).

Сын Алексея Максимовича — Максим — был разносторонне одаренным человеком. Он очень многим интересовался и многое знал. Умел быть очень хорошим, преданным другом. Отзывчивость к людям воспринял он от отца и от матери своей Е. П. Пешковой. Он был членом ВКП(б) и всегда с энтузиазмом выполнял разные поручения партии, одним из которых и была его жизнь около отца с 1921 по 1934 год. Не так-то легко было быть сыном Горького. Жизнь Максима в ту пору в основном была подчинена нуждам Алексея Максимовича, он был и его секретарем, и ведал хозяйственными делами. Зная хорошо европейские языки, он также бывал и переводчиком. Ум его был острым, веселым, быстрым и эксцентричным. Он с легкостью сочинял стихи, пародии, каламбуры. Максим жаждал романтических и героических дел, но жизнь около Алексея Максимовича не давала к этому повода. Он любил спорт, хорошо играл в теннис, прекрасно водил машину и даже участвовал в автомобильных гонках в Италии, что скрывал от Алексея Максимовича. Внешне он был очень привлекательным, почти красивым — похожим на мать.

Не будучи художником-профессионалом, Максим очень много рисовал акварелью необычайно причудливые по форме и мыслям композиции. Иногда это были претворенные в рисунки фантастические образы его снов, а иногда наблюдаемые им картины из жизни, в которых он очень остро высмеивал и обличал всякие пороки человечества в какой-то очень своей, особой манере. Фантазия его была сродни Питеру Брейгелю-Старшему и Иерониму Босху, но на современном материале. Жизнь в Германии и Италии 1921—1932 годов давала множество тем его жестокому сарказму и горькому юмору.

Алексею Максимовичу очень нравились рисунки сына, и после неожиданной смерти Максима в 1934 году он подготовлял и хотел издать сборник памяти Максима со статьями его друзей и репродукциями его произведений. К сожалению, он не успел осуществить этого замысла.

Сааров — летний грязевой курорт. Много санаториев. Зимой они не функционируют. Все же владелец одного из таких учреждений соблазнился и сдал Горькому второй этаж, но целиком. Согласились, тоже с условием, чтобы больше в доме никого из посторонних постояльцев не было. Комнат — в изобилии; кажется, десять (с запасом на гостей). У Алексея Максимовича спальня и кабинет, очень похожий на все его

рабочие комнаты. Где бы он ни поселялся, сразу же столяру заказывался письменный стол, аскетически простой, но чуть выше нормального, его покрывали куском нетолстого сукна. Остальное писательское подсобное хозяйство кочевало с Алексеем Максимовичем, и он сам все расставлял и раскладывал на столе, и никто не должен был ничего трогать.

Конечно, были и полки с книгами, и несколько стульев, и два кресла. Спальня и того аскетичнее. Во всех комнатах выходящая на балкон стена так сконструирована, что можно открывать или отдельные фрамуги, или всю стену, и так все пригнуто, что никакой ветер и мороз не попадают в комнату, если все закрыто. Удивительная точность работы. Алексей Максимович этим восторгался.

Хозяин — средних лет стандартный провинциальный немец, почтительно относится к Горькому, но каждую неделю увеличивает плату за помещение и еду. Кормит экономно. Приходится докупать самим. Штат прислуги состоит из кухарки и горничной. Отоплением занимается сам хозяин. До двенадцати дня он не показывается, но аккуратно, во время обеда, появляется и произносит значительно: «Mahlzeit». Одет в черный старомодный сюртук, крахмальный стоячий воротничок и из рукавов — белоснежные манжеты. Он высокий, худой, масть черная, горизонтальные усы. Мы называем его Жердь-в-сюртуке.

Алексей Максимович ведет размеренную жизнь, почти не отрываясь от работы. Пишет с упоением — дорвался! Со здоровьем еще неважно. Часто вижу его грустно гуляющим с палкой среди редких сосен, на фоне скучнейшего плоского пейзажа. Кроме воздуха и тишины, ничего хорошего. Он очень озабочен судьбой все более ожесточающегося в противоречиях человечества. Бывало его очень жалко, и мы все старались дуракаваляньем развлечь его, на что он поддавался.

Близ сааровского вокзала — почта, рядом с ней — гостиница «У почты» — маленький трехэтажный домик. В эту гостиницу по совету Алексея Максимовича переселились из Берлина мой дядя Владислав Ходасевич с молодой женой поэтессой Ниной Берберовой. Они уехали из Петрограда еще раньше Алексея Максимовича, по командировке А. В. Луначарского. Конечно, почти ежедневно мы объединялись.

В эту же гостиницу из Берлина приезжал очухаться и пожить в скуке сааровского спокойствия Андрей Белый. Алексей Максимович был рад возможности общаться с Владиславом и Белым. Трем таким разным писателям было о чем поговорить, хотя не всегда они могли и хотели понять друг друга.

Об Алексее Максимовиче не забывали разные люди — знакомые и незнакомые. Среди знакомых вспоминаются Виктор Шкловский, К. М. Миклашевский, Лида Шаляпина, Натан Альтман, появившийся с Эльзой Триоле. Мы с ней сразу же подружились. Бывали из Петрограда знакомые партийные товарищи, а однажды занесло незнакомого поэта-коммуниста из Японии. Он подарил Алексею Максимовичу необычайно изящные полупрозрачные носовые платочки, искусно вышитые разноцветными бабочками. Как только он ушел, Алексей Максимович сказал, что ему даже как-то неловко смотреть на столь изящные гадости, и мы решили подарить их горничной: она была невестой. Ее восторг превзошел все наши ожидания. Какое-то время прожил французский поэт Андрэ Жермен. Он добивался получить от Горького монопольное право на переводы и издание его произведений во Франции. Жермен был одним из главных владельцев банка «Лионский кредит», очень богат, но делал вид, что в делах наивен и не от мира сего. Это был крохотный, щедушный эстет. Роскошно издавал маленькие сборники своих грамотных, но отвратно-красивых стихов с иллюстрациями в духе опошленного

Бердслея. В плохую погоду он надевал волосяную накладку на лысину, а в хорошую появлялся без нее. Путешествовал он со своим лакеем, который его холил, мыл и одевал. Мы приобщили его к коллекции чудаков, которые всегда и везде попадались на пути Алексея Максимовича. Хорошо, что Максим и Мария Игнатьевна вовремя предотвратили подписание договора с ним. Он имел наглость предложить Алексею Максимовичу получать 35 процентов гонорара, а 65 процентов — ему. Очевидно, что банкиром он был более талантливым, чем поэтом.

Иногда невозможно было не смеяться над тем, как Титка говорит по-русски. Владея с детства несколькими европейскими языками, она, вероятно, думала все же по-английски, а когда говорила по-русски, то как бы переводила с другого языка. Вот, например: возмущившись тем, что Алексей Максимович ей возражает, она говорит ему: «Вы опять сели на ваши большие лошади!» — на что Алексей Максимович спокойно ей отвечает, что у него нет лошадей, да никогда и не было. Она потом объясняет, что так говорят в Англии и это значит: возгордиться, заупрямиться или быть высокомерным. Утром за кофе Титка обычно взасос читает газеты, около нее стоит кофейник, и, если Максим, не дождавшись, когда она ему нальет кофе, берет кофейник, она строго говорит: «Максим, не вмешивайся в кофейник!» Раздается общий хохот, и она заявляет, что мы невозможные люди, что с нами очень трудно, и сама начинает хохотать. Характер у нее очень легкий.

Вторым забавным посетителем был поэт-футурист Илья Зданевич. Он возник вечером, когда мы ужинали. Представился Алексею Максимовичу и нам: «Поэт-футурист — Илья Зданевич». Его радушно усадили ужинать. Он сразу же сказал, что после ужина будет читать стихи. Мы торопились кончить с едой, и так как поэт сказал, что ему для стихов нужен большой стол, все было быстро убрано, мы остались в столовой и приготовились слушать стихи. Зданевич сказал: «Я прочитаю вам мои новые стихи, но для этого мне нужны две колоды карт — от тузов до двоек. Найдутся?» Максим принес карты, и Зданевич, как фокусник, тасовал их как-то особенно залихватски — то фонтаном, то веером. Собрал карты в ладонь, сказал: «Внимание! Начинаю!» Оглядывая нас всех, он начал читать стихи в страшно быстром темпе и одновременно раскладывая на столе карты, как в пасьянсе, иногда он вращался с дикой быстротой на одном месте, вдруг обегал вокруг всей комнаты, и все это, не прерывая ни стихов, ни раскладывания карт. Мы за ним внимательно и изумленно следили. Карты двух колод в каком-то необыкновенном распорядке легли на стол, и одновременно с последней картой закончилось стихотворение. Зданевич спросил: «Хотите еще?» — «Пожалуйста», — сказал Алексей Максимович. Карты собраны, тасуются и опять раскладываются или издали бросаются на стол, и в новых темпах и ритмах читается новое стихотворение. И так — много-много новых. Включается бег, приплясывание, чечетка, повороты — почти танец со стихами.

Очень все это сложно, и видно, что эти приемы не импровизация, а все это разучено и так мастерски исполняется, что мы ошеломлены (или одурачены? Нет, потому что все это очень музыкально и артистично). Но о чем стихи? И стихи ли? Ответить на это трудно. У Алексея Максимовича наивно-удивленное лицо, он аплодирует и говорит: «Браво, браво!» — и спрашивает: «А это очень утомительно, должно быть?»

Когда уже кончилась слякоть, установилась зима и Алексею Максимовичу стало легче дышать, он предложил нам всем поехать в Берлин

и «предаться разврату», а заодно и делами ему не вредно там заняться. Их накопилось — хочешь не хочешь — до черта! И мы поехали.

После берлинских развлечений (цирк, зоо, кино, музеи и т. д.) мы больше оценили тихую жизнь в Саарове. Максим и я, вернувшись, фиксировали наиболее поразившее нас в берлинском распутстве в рисунках. Максим — акварелью, а я — свинцовым карандашом с подкраской цветной тушью. Только Соловей не изменял своим любимым темам — и продолжал делать пастелью чудные картинки с обезьянами в тропических джунглях. Эти наши занятия радовали Алексея Максимовича. Он терпеть не мог безделья.

Приближалась масленица, и мы обсуждали, как нам ее отпраздновать. Алексей Максимович сказал, что блины, конечно, нам не осилить — кухарку-немку еле научили делать котлеты и щи, на нее рассчитывать не приходится, — и он предложил пельмени. Тесто и фарш он сделает сам и вообще будет руководить, а женщины (Тимоша, я, Берберова и Галина Суханова, которую нужно вызвать из Берлина) будут помогать. Мы все одобрили его предложение и просили сделать список, что нужно купить для этого экзотического для немцев кушанья. Подсчитали приглашенных гостей из Берлина — человек двадцать наберется со своими; надо было прикинуть, сколько пельменей делать. Уж не меньше чем пятьдесят штук на человека, уверял Алексей Максимович. Сделаем тысячу пятьсот штук — ведь надо угостить и хозяина, и кухарку, и горничную.

Продукты закуплены. Будем делать пельмени за день до пиршества — их необходимо еще проморозить. Суханова приехала, и после утреннего завтрака мы спускаемся в полуподвальный этаж, где находятся кухонные угодья. Алексей Максимович относится ко всему затейному, как к веселой игре, но понимает и всю ответственность своего положения. На нас покрикивает, чтобы примечали и учились, снимает пиджак, засучивает рукава, надевает клеенчатый фартук и на огромном специальном столе замешивает и раскатывает тесто, очень ловко — прямо хоть в повара! Поодаль стоят хозяин, кухарка и горничная с открытыми ртами от удивления и временами предлагают свою помощь. Алексей Максимович отказывается и говорит нам, что разве эти проклятые немцы понимают что-либо в нашей российской еде! Он очень веселый и даже помолодел. Тесто и фарш готовы, очередь за нами, женщинами, — надо делать пельмени. Конечно, Алексей Максимович нам показал что и как, но поначалу нам влетало, так как у нас никак не получалось так хорошо, как у него. Все же мы лицом в грязь не ударили... В разгар всей процедуры наш немец-хозяин вдруг вызвал Максима в коридор, откуда вскоре послышался повышенный и сердитый голос Максима. Уже когда пельмени (тысяча пятьсот штук!) унесли на досках в ледник и мы пошли к себе наверх, Максим рассказал, что он чуть не избил хозяина. Тот, оказываясь, вполне серьезно предложил Максиму устраивать время от времени (и он даже возьмет расходы на себя) пельмени с участием Горького, а он, рекламируя свой санаторий, напишет, что сам «великий Горький» делает у него «russische Pelmeny». В таком случае он не будет увеличивать цену за проживание в гостинице... «Вот жалко, что раньше не уговорились и не было фотографа, чтобы сделать снимки с Горького, работающего на кухне», — сказал он. Вот тут-то Максим и взорвался. Алексей Максимович хохотал и говорил сквозь кашель: «Вот это нация! Учиться надо!»

В 1923 году в мае я уехала домой, в Ленинград, а в августе получила от Алексея Максимовича следующее письмо из Фрейбурга:

Милая Купчихонька,
проснулся я сегодня часов в 6 утра, лежу и думаю: Купчиха-то уехала и точно соскочила с земли в безмолвие Вселенной! А в 9—почтальон подал Ваше письмо. И стало мне архиерейски приятно [...]

Судя по тону письма Вашего—будто не плохо? Это меня искренно радует. И еще более—приятно узнать, что какая-то Ваша работа показалась Вам—наконец!—не плохой. Работать Вам надо бы много и вовсе не для театра, а для Вашей неудовлетворенной души. Для хорошей, очень требовательной души Вашей.

Как живем мы? Живем в красивой, зеленой тени под Фрейбургом и намерены остаться здесь на зиму. Интересна здесь растительность, интересна именно в декоративном смысле, а не только по цветам, а и по формам. Превосходные туи, кипарисы, обилие разнообразных хвойных и много цветов. Мягкий, горный пейзаж. Впрочем, Вы пейзажа, кажется, не любите.

Жанр—скучный. Хотя здешние немцы лучше пруссаков, но все-таки есть в них что-то недоделанное, грубоватое. Господи,—что только они вытворяют у нас в отеле по субботам! Обнимет герр толстоногоую фрау, крепко прижимает ее к себе, водит по залу и пинает коленями в нижнюю часть живота. Они уверены, что это—танец. Если смотреть в окно—музыки не слышишь и, видя это безмолвное хождение, думаешь о различных приемах истязания женщин, чувствуешь нечто садическое и хочется закричать неудобно сказуемые русские слова. Здесь не мало каких-то маленьких китайцев студентов, очень любопытные людики. Максим обыгрывает их в теннис. Он все нации обыгрывает. Иностранцев—много, есть интересные. Соловей пробует работать. Я работаю часов по десяти в день.

Второй № «Беседы» будет выслан Вам, «Зоо»—тоже, а Вы передайте мой поклон Микл[ашевскому] и попросите его прислать мне книгу, им написанную. Он не совпадает во взглядах на искусство с М. Левидовым, сотрудником «Лефа»?

Если Вы видите Липу—мой сердечный привет ей, милой женщине. Славная она. И Молекуле—привет. И Ан[дрею] Ром[ановичу]. И вообще всем людям, которые приятны Вам, помнят меня.

Вы ни слова не написали о В[ашем] здоровье—это как надо понять? Хорошо? А куда Вы приедете? На зиму? Честное слово—здесь не плохо. А Фрейбург—очень красив. Колокольня какая! Волостоки на Кафедрал'е! Очень неприличные есть. Целую Вашу лапу. Обе.
Все кланяются.

17/VIII-22.

А. Пешков.

Письмо нуждается, пожалуй, в некоторых примечаниях. Нельзя, например, не отметить, что дата письма обозначена неправильно! Оно было написано не в 1922, а в 1923 году. Затем: «Беседа»—это журнал, который в то время издавал Горький в Берлине, «Зоо»—роман В. Шкловского, Константин Михайлович Миклашевский—актер, режиссер и автор книги «Комедия дель арте», Липа—Олимпиада Дмитриевна Черткова, фельдшер-акушерка, человек, смолоду близкий Алексею Максимовичу. Имя ее будет часто мелькать в письмах Алексея Максимовича ко мне.

Сорренто

В 1924 году, в начале лета, мой муж был командирован Внешторгом как знаток антикварных вещей в Лондон и Париж. Я ехала как переводчик.

По окончании дел мы хотели отдохнуть у Алексея Максимовича в Сорренто. В июле я послала ему письмо из Лондона с просьбой выхлопотать нам итальянскую визу.

В ответ я получила следующее письмо:

Милай Купчиха — рад!

Сегодня привожу в движение П. П. Муратова и других визотворцев. Вы будете жить на вилле Масса, которая стоит с одной стороны среди пальм, а с другой — над морем, куда и должна будет свалиться.

Лондон? Пхэ? Вы посмотрите Неаполь. Это второй город в мире по количеству уличных несчастий. Пойдем в Музей, и Муратов нам расскажет интереснейшие домыслы свои о барокко. Вино будем пить разное. Ах, Господи, как это хорошо! Вы напишете мой портрет в купальном костюме и на вороном коне...

Все, живущие со мною, тоже рады, хохочут и намерены кормить Вас фруктами. Привет Андр[ею] Ром[ановичу]. Будем покупать его в настоящей морской воде. Будьте здоровы!

19.VII-24.

А. Пешков.

Дела задержали нас в Лондоне и Париже. Мы попали в Сорренто только к встрече нового, 1925 года, но уже не на виллу «Масса», а на виллу «Иль Сорито» (что значит «Улыбка») на Капо ди Сорренто. Улыбалась нам не только вилла, но и все обитатели ее и радовались нашему приезду. Конечно, улыбались и мы. Жили там в то время с Алексеем Максимовичем его сын Максим с женой Тимошей, Соловей, Титка и Владислав Ходасевич с женой Ниной Берберовой. Нам так там было хорошо, что всегда при воспоминании почги до боли щемит сердце.

Нацеловавшись и наулыбавшись, мы пошли вымыться и переодеться. И когда мы появились освеженные, на нас набросились наши друзья и требовали, чтобы мы подробно «отчитались» в нашей командировочной поездке — Стокгольм—Лондон—Париж.

Нам было что порассказать. Всякое бывало: и трудно, и смешно, и что-то нравилось, а что-то возмущало, и мы очень устали, но в конце концов наши дела благополучно завершились, моего мужа премировали довольно большой суммой денег и дали отпуск — два месяца. Наш рассказ дошел наконец до описания наших развлечений в Лондоне, и я сказала, что мы были в специальном театре эксцентрики, трюков и фокусов (целые пьесы на этом построены) и что это было очень интересно. Алексей Максимович так позавидовал нам, что замрачнел.

Эксцентрика была «больным и уязвимым местом» Алексея Максимовича. Он еще в Берлине говорил с тоской в голосе: «Написал бы я пьесу для эксцентриков, да думаю, судя по «Словотекову», — не выйдет, я вообще плохой драматург, а эксцентрика — это вещь серьезная и очень нужная людям».

После завтрака идем на балкон комнаты Алексея Максимовича, с которого открывается ошеломляющей красоты вид на залив, Неаполь, Везувий... и от этой красоты все мы на время замолкаем.

Алексей Максимович проникновенно и восторженно воспринимал красоты Неаполитанского залива, и ему всегда хотелось ими похвастаться и приобщить к ним всех посещавших его гостей. Неаполитанский музей, вид с горы Вомэро на Неаполь, Помпеи были основными поводами «хвастовства» отчасти и потому, что в этих экскурсиях он мог участвовать сам и быть гидом. Более отдаленные красоты Италии были ему уже не под силу из-за здоровья, а также оттого, что он очень много писал в те годы и не мог надолго отрываться от работы.

Популярность Горького у неаполитанцев была столь велика и любовь к нему так экспансивна, что идти с ним по улицам почти не было возможности. Многие из проходящих мимо или увидавших его из окон магазинов и учреждений бросались на улицу, хватали его руки, пожимали и целовали, на ходу становились перед ним на колени и прикладывались к подолю его пальто. Во время одной из поездок в Неаполь, чтобы спастись от этих смущавших Алексея Максимовича сцен, мы, увидев извозчика, сели в пролетку, но не тут-то было — экипаж был окружен народом, кто-то уже выпрыгал лошадь, и несколько человек схватили оглобли и легкой рысцой потащили экипаж. А кругом бежали «охранявшие покой синьора Горького». Вокруг крик стоял невообразимый. Поклонники и поклонницы во весь голос кричали: «Viva Gorky! Caro! Carino! Che bello!» Многие вскакивали на подножку пролетки, чтобы хоть на секунду приблизиться к любимому «illustrissimo» — писателю. Мы уже не слышали друг друга, и Максим, хорошо говоривший по-неаполитански, умолял сжалиться над отцом и поскорее отвезти в гостиницу «Континенталь» на набережной, где всегда, будучи в Неаполе, бросал якорь Алексей Максимович.

Передохнув от бурных сцен восторженных поклонников, Алексей Максимович говорил: «Ну, Максим, раздобывай автомобиль, влезем в него, задернем занавески окон и таким образом всех обманем, в том числе и самих себя, ибо ничего не будем видеть. Поедем в музей, там все же потише и поспокойнее, а я на всякий случай надвину шляпу до самого носа».

Неаполитанский музей Алексей Максимович очень любил и знал там буквально каждую вещь. Особенно его восхищала «Психея» Праксителя, мозаика, изображавшая битву Александра Македонского, и портрет папы Павла III с сыном и внуком работы Тициана. Он показывал нам все экспонаты с гордостью и сиял, видя, что и мы восхищаемся вещами, которые он любит.

Он поощрял и составлял маршруты наших поездок с Максимом по побережью Неаполитанского залива и рассказывал подробности того, что мы увидим и на что надо обратить внимание. Он говорил Макс: «Смотри, не позабудь им показать...» — и называл, что именно. «Знаешь — это там, сразу за поворотом налево»... А как взволнованно он встречал нас после поездок, требуя подробно рассказать — что и почему понравилось.

Первый год жизнь наших друзей на Капо ди Сорренто протекала сравнительно уединенно. Но уже при мне поток людей, русских и иностранцев, желавших попасть к Горькому, все увеличивался.

Алексей Максимович и с ним живущие решили издавать журнал «Соррентийская правда». Девизом журнала было: «Долой профессионалов — дорогу дилетантам». В номере первом журнала от редакции сообщалось, что ни одно профессиональное произведение не будет допущено. До нашего приезда было выпущено два или три номера и готовился материал для следующего.

Надо сказать, что «выпускать» этот журнал было нелегко — он был рукописным и богато иллюстрированным. Хорошо еще, что тираж его был небольшой — один экземпляр. Больше всех доставалось Максиму — он и редактор, и один из художников, да бывал и автором многих литературных произведений. Оформление журнала роскошное. Бумага — ватман, формат — $\frac{1}{4}$ листа. В журнал принимались опусы любой литературной формы: роман, повесть, рассказ, очерк и стихи. В нем был отдел «Светская жизнь» и страница объявлений.

Конечно, и Горькому, и Владиславу Ходасевичу, да и Берберовой

трудно было избавиться от профессиональных признаков, но они очень старались и скрывались за псевдонимами.

Все же Алексей Максимович был уличен редактором, и в журнале появилась гневная заметка о бесчестном поступке профессионала М. Горького. Сообщалось, что разоблаченная рукопись выброшена в мусорную корзину.

Около столовой висел на стене ящик наподобие почтового с надписью: «Для рукописей». Ключ — у редактора.

Все участники скрывали друг от друга свое участие в журнале, и только уже в готовом виде оно делалось достоянием всех и вызывало много смеха, обсуждений и споров. Авторство нескольких произведений так и осталось нераскрытым.

Конечно, журнал нам очень понравился, но принять в нем участие мы не могли: настолько были замучены командировкой, что хотели только «Dolce far niente» (сладко ничего не делать).

Совсем незаметно подкрался день отъезда моего мужа из Сорренто. Кончался его отпуск и надо было возвратиться на работу в Ленинград. Алексей Максимович убедил его и меня в том, что я должна еще пожить в Сорренто, да и повидать многое в Италии, благо я вольная птица и работаю в театрах по договору. Посоветовавшись, мы согласились, что я проживу еще в Сорренто, но сначала поеду с мужем в Рим, где он сможет пробыть дней десять. В Риме я задержалась и после отъезда мужа: делала эскизы декораций и костюмов для одной из постановок театра Пиранделло.

Получаю письмо от Алексея Максимовича:

Посылаю Вам, милейшая Купчиха, два письма, марки которых срезаны мною в возмещение убытков и по приказу сына моего.

С отъездом Вашим начали мы жить тихо, беспорочно и даже до того, что приглашаем в гости католических священников и пытаемся вести с ними на разных языках — включая арабский — душеполезные беседы. Впрочем, — священники к душеспасительному тяготения не обнаруживают, предпочитая играть на пианино музыкальные пьесы Грига и прочих. Играют — прескверно, в остальном же интересны и на женский пол взирают весьма бойким глазом.

Идут ли у Вас дожди? У нас — идут.

Дует ли у Вас широко? У нас — дует, хотя мы этого и не заслужили, ибо, повторяю, живем благопристойно и никаких наказаний не заслуживаем.

Из новостей — нет ничего, кроме болгарской революции и массы разнообразнейших цветов.

Если Ваш почтенный супруг А. Дидерихс — надеюсь, Вы не забыли имя его? — пишет Вам что-либо интересное, не поленитесь сообщить уважающему Вас, за что Господь наградит Вас чем-нибудь.

И будьте здоровы. Жму лапу Вашу.

25.IV-25.

А. Пешков.

Соскучившись без моих «соррентийцев», я покинула Рим и вернулась на Капо ди Сорренто.

Вскоре уехали в Париж мой дядя Владислав и Берберова.

Приезжали в Сорренто, жили в гостинице «Минерва» и посещали Алексея Максимовича: З. Н. Райх и В. Э. Мейерхольд, Зоя Лодий с мужем профессором Антониановым, певец бас Дровяников с женой, Николай Бенуа с женой, П. А. Марков, Н. Р. Эрдман, поэт Вячеслав Иванов, писатель Андрей Соболев, гитарист и баянист Ф. Е. Рамша, да

всех и не вспомнить. Все эти люди примечательные, и каждый жил, чувствовал, мыслил по-разному — иногда полярно противоположно, и работали они в разных областях и возрастов были разных, да и говорили каждый о своем, в своей манере и своими особыми словами.

Но я заметила, что Алексей Максимович понимал всех — даже Вячеслава Иванова, даже Андрея Белого, а уж до чего же были мудрецы эти вожди символизма!

Понимать-то их Алексей Максимович понимал, но были они ему очень чуждыми идейно. Как разновидности человеческой породы, они, конечно, были интересны для наблюдения, да и талантов их он не отрицал.

В любой области человеческих деяний проявление таланта вызывало в Алексее Максимовиче такие сильные эмоции, что у него навертывались слезы на глаза (он немного стеснялся этого и, опуская низко голову, начинал сморкаться и кашлять), а уж от музыки — особенно. Он хорошо ее знал и остро чувствовал.

Ленинградская певица Зоя Петровна Лодий с мужем профессором Андриановым приехала на отдых в Сорренто после занятий в Милане у своего старого знаменитого учителя пения.

Жили они через дорогу от виллы «Иль Сорито», и Зоя Лодий часто приходила по вечерам к нам и пела. Репертуар у нее был огромный. В ту поездку в Италию она откопала в архивах и разучила необыкновенной красоты итальянские песни и романсы средневековья и Возрождения, которые она впервые исполняла. Конечно, уж тут приходилось Алексею Максимовичу почти все время сидеть, опустив голову...

Однажды после пения Зои Петровны Алексей Максимович сказал ей: «Приходите завтра вечером — я попробую отомстить Вам,— может, и мне удастся довести вас до слез...» Это ему удалось. Он прочитал тогда свой рассказ «О безответной любви».

Мария Игнатьевна постоянно уезжала навестить своих детей в Эстонию. Алексей Максимович говорил: «Хоть бы привезли их когда-нибудь сюда, если они не миф, как утверждает Максим». И вот свершилось — вернулась Мария Игнатьевна с детьми и их воспитательницей — старушкой-англичанкой. Дочке Тане (очень похожа на мать) лет восемь, сыну Павлу — десять лет и племяннице Марии Игнатьевны — Кире — лет тринадцать.

Дети ухоженные, хорошенькие и веселые. Алексей Максимович был рад, что они не миф. Ему приходилось даже участвовать под вечер в играх, которым научили нас дети. Любимой игрой была немецкая — «козлики». Мы все были козликами, а Таня овцой. На ее истощный крик: «Козлики! Козлики! Бегите домой — серый волк за горой!» — мы бежали через всю площадку перед домом к Тане, а волк — Павел — бросался ловить не успевшего вбежать в дом; ловил, и тот делался волком, и все повторялось вновь и вновь, пока у Алексея Максимовича не начинался кашель и одышка. Таня была неутомима и беспощадна. Вторая игра была менее утомительной и называлась «наполеонский гроб». Таз с водой и большой губкой ставили под стол, покрытый скатертью до самого пола. Таня или Павел, залезши под стол, кричали: «Здесь наполеонский гроб, здесь очень страшно! Посмотрите, пожалуйста!» На голову любопытного выжимали мокрую губку, усиленно обливали водой лицо и лили воду за шиворот. Дети считали, что это самая веселая игра, и дико хохотали. Нас это забавляло, а Алексей Максимович смеялся тоже и готов был по нескольку раз заглядывать в «наполеонский гроб».

От всех этих игр у него усилился кашель и припадки астмы. Наконец врач запретил ему эти развлечения.

Однажды, спускаясь по лестнице вниз, Алексей Максимович, наткнувшись на углубленного в книгу Павла, сидевшего на ступеньке лестницы, спросил: «Что это ты читаешь?» Павел пробасил: «Маму» Горкаво — очень интересно!»

Алексей Максимович сказал: «Странно. Горький никогда не писал «Маму».

Мне очень нравилась Таня. Я написала ее портрет, но, как всегда, я осталась недовольна своей работой и никому ее не показала.

Перед отъездом детей в Эстонию Алексей Максимович решил доставить им, да и нам всем, включая Зою Лодий и баяниста Рамшу, удовольствие и просил Максима организовать поездку на моторном катере по Неаполитанскому заливу, вдоль берега Соррентийского мыса, на Капри, оттуда мимо островов Иския и Прочида к Позилиппо и в Неаполь, где дети пересядут с англичанкой на пароход и поедут в Сорренто, а взрослые будут ужинать в ресторанчике у «тетки Терезы».

Это была дивная поездка, и столько мы видели красот, что рассказать про все я не берусь. Таким радостным, веселым и приветливым я давно не видела Алексея Максимовича.

Катер отошел из Сорренто часа в три-четыре дня, а в Неаполь мы пришли уже после заката солнца, когда еще не совсем стемнело, но уже зажглись фонари. Причалили у самого ресторанчика. Он помещался в деревянном бараке на приподнятой и выложенной каменными плитами площадке, о которую шелестели и хлопали мелкие набегающие волны. Под укрепленным на столбах тентом было расставлено штук двадцать небольших столиков и стульев. Владелицей этого довольно популярного ресторанчика была тетка Тереза — «Zia Teresa» — пожилая, жилистая женщина в бриллиантовых серьгах, прилично одетая — в черное платье моды начала века. При виде Алексея Максимовича она пошла ему навстречу, вся растворяясь в улыбке, а потом стала пятиться задом, приглашая идти за ней, тут же покрикивая на своих двух официантов, чтобы готовили скорей лучший стол для «illustrissimo scrittore Massimo Goroku» (знаменитейшего писателя Максима Горького). Алексей Максимович говорил Максиму: «Скажи этой тетке, чтобы не создавала ни мне, ни себе рекламы — пусть замолкнет!»

«Тетка» славилась неаполитанскими кушаньями из всяческих рыб и «frutti di mare» (плодов моря). Все это покупала она при вас у подплывавших с уловом в лодках рыбаков, нещадно торгуясь и взывая к святой деве Марии и прочим святым. Можно было не опасаться, что вас накормят чем-нибудь несвежим. Нельзя не подивиться этой старой тете — так расторопно и ловко вела она свое дело.

У нее были и свои постоянные «бродячие музыканты». Среди них — поразительный певец-неаполитанец. Алексей Максимович хотел, чтобы его послушала Зоя Петровна.

Певец молод, в лице ни кровинки, низкого роста, необычайной худобы и, пока не запоет, почти урод. Страдальческие огромные черные глаза. Трагическое выражение лица — неподвижного, как маска, даже когда он пел, а пел он поистине поражающе, доводя людей до глубоких переживаний. Голос? Он с хрипотцой, его почти нет. Но артистичность и выразительность его пения заменяли и звучность и академическое умение петь. Его можно было слушать часами — он пел все знаменитейшие — от старинных до получивших премии в последние годы — неаполитанские песни. Содержание: любовь, ревность, измена, страсть, объятия, поцелуи и убийства, совершенные в припадке безнадежной любви... Темы, волнующие всех людей, и нас в том числе, а неаполитанцев — особенно. Мы иногда, приезжая в Неаполь, говорили: «Пойдем

поужинать и поплакать к тетке Терезе!»... На этот раз все было волшеб-но неправдоподобно, и думалось мне: «Какая же я счастливая!» К концу ужина появился наш знакомый певец. Он тихо сказал Максиму, что это его последний вечер в Неаполе: на заре он отправится на север, за ним уже установлена слежка, и жить дальше в Неаполе он не сможет — его арестуют фашисты. «Но сегодня я хочу вам петь, как еще никогда не пел. Можно?» Максим сказал, что мы будем счастливы, тем более что с нами знаменитая русская певица — она-то сможет по-настоящему оценить его пение.

Певец запел. Зоя Петровна, сначала довольно безразлично слуша-вшая, стала вскоре вся внимание. Ее все больше захватывал этот само-бытный талант. После каждой песни она разговаривала с ним, хвалила и давала советы. Сказала, что, если бы он мог приехать в Сорренто, она спела бы ему и русские и итальянские произведения. Он был очень растроган, проводил нас на катер, мы с ним расцеловались и грустные отплыли домой в Сорренто. Максим дал ему порядочную сумму денег, чтобы он на первое время, пока устроится на севере, мог поддержать свою семью — мать и двух маленьких сестер.

Алексей Максимович, конечно, вытирал слезы, нервы его были в беспорядке по многим-многим причинам. Мы все его бурно благодарили за дивно проведенный день.

Когда Алексей Максимович хорошо себя чувствовал и погода была неплохая, мы все ходили с ним на прогулку по извилистой пыльной сор-рентийской дороге, проходящей мимо виллы «Il Sorito» — она без подъ-емов, да и любит Алексей Максимович ее за то, что она круто изви-вается и за каждым поворотом, возможно, таит какой-нибудь сюрприз: или пройдет горделивой поступью босых ног крестьянка с огромным кувшином или кладью на голове и скажет: «Buon giorno signor Gorky», или верхом на крохотном ослике (ну просто с собаку) проедет толстый священник в черной сутане, которому приходится подобрать ноги по-выше, а то они окажутся на земле — зрелище очень смешное, — он тоже скажет: «Buon giorno signori!», а то вдруг, еще не видно, но из-за пово-рота послышится грохот, звон бубенцов, то гневные крики и ругань, то песня — это едет двухколесная высоченная арба, груженная или камня-ми, или овощами, или сеном, а бывает, и домашним скарбом. Наверху сидит возчик и обычно еще где-нибудь примостившийся мальчуган, или он бежит рядом. Арбу везет тройка: лошадь, осел и мул, и каждое жи-вотное украшено лентами, цветами, перьями на голове, в хвостах и гри-вах. Такие встречи приводили Алексея Максимовича в восторг; особенно эти упряжки, заставляющие вспоминать античные времена, — до чего же хороши!

А вот еще встреча: нас нагоняет черный закрытый роскошный ли-музин. Из бокового окошка высовывается пухлая бледная кисть руки и привычным жестом двоеперстия благословляет нас, и вдруг судорожно-быстро, недоблагословив, рука скрывается внутрь автомобиля, белая занавеска в окне задерживается, машина убыстряет ход, обдает нас пылью и скрывается за поворотом. Алексей Максимович смеется и гово-рит, что произошла неприятная ошибка — «не тех благословил!». А Мак-сим добавляет, что это кардинал такой-то из Неаполя, он объезжает и ревизует свои угодья (подопечные церкви), а по дороге спасает души. Наши — не захотел. Его роскошную машину Максим знает.

Тимоша была беременна, и доктор Сутер — главный врач Интер-национального госпиталя в Неаполе — договорился, что Тимоша будет родить у него. Беременность проходила нормально, и роды ожидалась

через месяц, не раньше. Мария Игнатьевна уехала в Эстонию. Однажды под вечер после прогулки возвращаемся с гостями домой. Собираемся пить кофе, вдруг я вижу, что Тимоша бледнеет, подбегаю к ней, она еле шепчет: «Начинается... пусть уйдут...» Я говорю, что синбора Тимоша немного устала от прогулки, ей нужно отдохнуть. Прошу всех перейти в сад. Я ничего в родильных делах не понимаю, ищу Максима — он, конечно, в гараже,— сообщая ему о происходящем. Соловей уже сообщил о случившемся Алексею Максимовичу. Все ужасно волнуемся. У Алексея Максимовича как-то странно, ходуном ходит нижняя челюсть и точно из него всю кровь выпустили — он серо-белый. Говорит Максиму, чтобы немедленно на мотоцикле ехал в Сорренто и раздобыл врача-акушера.

У Максима вид отчаяния. Он не может произнести ни слова, безмолвно убегает, и вскоре с дороги слышен гудок его мотоцикла. Дельные указания сразу же дает Алексей Максимович. Говорит, что, как он понимает, нужно подготовить много кипяченой воды, какие-либо стерильные мягкие тряпки — нужны будут пеленки... Он просит меня сообщить ему сразу же о приезде Максима с врачом и уходит, очень сильно кашляя, вверх по лестнице, в свою комнату. Гости, конечно, разошлись.

Выясняется, что в воскресенье и горничная и кухарка уехали на праздник в Неаполь. В доме ни у кого нет чистого белья — все приготовлено для стирки. В буфете несколько скатертей и салфеток. Соловей из скатертей нарезает пеленки, отрезает швы от салфеток, прибирает и чистит Тимошину комнату. Я помогаю то тут, то там, то бегу к Тимоше, то в кухню — время тянется очень медленно, как и полагается в таких случаях... Комната Алексея Максимовича над комнатой Тимоши и Максима, и я слышу, как он гулко ходит взад и вперед наверху по кафельному полу — без остановки... Наконец тарахтит мотоцикл, приехал Максим, помогает выгрузиться очень маленькому старикашке; я беру из его рук старомодную кожаную сумку (такая была у моей бабушки), она открывается, и я вижу какие-то большие щипцы и другие орудия пыток... Максим ведет старика в дом, к Тимоше, вспоминаю об Алексее Максимовиче, а он уже спускается по лестнице вниз и очень взволнованно и строго спрашивает меня: «А вы уверены, что это не настройщик роялей?» Я говорю, что видела в сумке блестящие большие щипцы... Вопрос Алексея Максимовича был смешным, но нам было не до смеха. Привезенный оказался профессором-гинекологом.

Профессор говорит, что, очевидно, роды будут тяжелыми и ему необходим ассистент, и пока придется мне взять на себя роль помощника. Все было очень страшно: схватки длились всю ночь. Наконец, уже к утру, Максим привез из Сорренто какого-то бородача, который не хотел мыть грязнущие, как нам казалось, руки; Максим вылил ему на руки большой пузырек йода и втолкнул в комнату к Тимоше. Я вышла из комнаты пыток. Не знаю, кто больше волновался — Максим или Алексей Максимович. ...Наконец появился профессор и сказал, что все обошлось сравнительно благополучно. Все мы радовались. Так появилась на свет первая внучка Алексея Максимовича — Марфа Максимовна Пешкова.

Алексей Максимович спрашивал Максима, скоро ли в Неаполе отпустят детей из школ и появятся Сара и Илья Вольновы. Вскоре они приехали. Это жена и сын писателя Ивана Вольнова, который еще в каприйские времена влюбился в Сару на Капри и женился. Родился сын Илья. Сам Вольнов жил в Советском Союзе, а семью оставил в Неаполе. Алексей Максимович их опекал и всячески заботился о них. Илье в 1925 году было лет двенадцать: очень шустрый, смысленый, симпатичный и хорошо воспитанный мальчик, не по годам развитой и ро-

мантически настроенный. По-русски он говорил с неаполитанским акцентом и даже с неаполитанскими словами. Все очень любили его, да и я тоже поддалась его очарованию. Максим был для него «и царь и бог», и безусловно заслуга Макса в том, что Илья стал комсомольцем, хотя много претерпел из-за этого в Неаполе. В конце концов Алексею Максимовичу и Екатерине Павловне Пешковой удалось вывезти сначала Илью, а потом и Сару в Москву. Илья — талантливый химик, женился, имеет двоих детей — теперь уже самостоятельных прекрасных людей.

Многим Алексей Максимович помог найти свой путь в жизни, формируя их сознание и помогая материально. Таких людей сотни, а воспитавшихся на его произведениях — миллионы.

Из приехавших и довольно долго живших в «Минерве» русских запомнила писателя Андрея Соболя. Он был какой-то странный. Алексей Максимович знал его раньше и немного сторонился. Соболев ходил с нами гулять по извилистой соррентийской дороге и часто, встав на каменный парапет дороги, говорил спокойно: «Вот отсюда удобно броситься вниз и разбиться». Эту фразу он повторял ежедневно, а то и по нескольку раз в день, находя удобные для самоубийства места. При этом лицо и глаза его делались очень серьезными. Однажды, когда таким местом оказалась скала над морем, а он встал на самый край и, взмахнув руками, как крыльями, нагнулся... мы испугались, и Максим сказал: «Бросьте эти штучки!..» — а дома рассказал Алексею Максимовичу о странном поведении Соболя. Оказалось, что Алексею Максимовичу было известно о его многократных попытках самоубийства, и он просил нас организовать круглосуточное наблюдение за Соболевым (дней через десять он собирался уехать). Мы распределили между собой дежурства и решили не выпускать его из вида. Так и сделали, и он живой покинул Сорренто. Позднее узнали, что вскоре после приезда в Москву он повесился у себя в комнате на Тверском бульваре.

Всего не перескажешь. В общем — блаженные времена! Уже поспел виноград, окрестные крестьяне делают вино — празднуют, приглашают. На большом балконе комнаты Алексея Максимовича (во втором этаже) каждый вечер сидим допоздна, вооруженные молодым вином и морским «дальнобойным» биноклем, любимся разнообразным огненным спектаклем, который устраивает видный нам через залив Везувий, усиливший свою деятельность.

Алексей Максимович ласково на всех нас смотрит, глухо покашливая иногда. С ним всегда хорошо и мудро интересно.

Я «кормлена, поена, и дети не плачут», кое-какие деньги на отъезд домой отложены, и я не беспокоюсь.

Еще весной я получила от Татьяны Павловой, директора театра, гастролировавшего по городам Италии, предложение сделать эскизы декораций и костюмов к известной в свое время пьесе Юрия Беляева «Псиша». Эскизы готовы, отосланы в Милан, понравились. Сообщают, что в ближайшее время вышлют деньги. Все хорошо... Но судьба, очевидно, не хочет, чтобы я «всерьез и надолго» освоила «Dolce far niente». Чувствую, что уже хочу домой. Опять меня уговаривают остаться, побыть еще.

Все решает неожиданное письмо из Ленинграда от режиссера Сергея Эрнстовича Радлова — предлагает интересную постановку в Мариинском театре. Если согласна, надо выезжать как можно скорее. Телеграфирую согласие.

Назначаю себе день отъезда, радуюсь, и одновременно мне очень-очень трудно и грустно расставаться с дивной жизнью у Алексея Максимовича, где я знала наверное, что все меня любят. Но ведь есть у меня родина, муж, дом и интересная работа.

Письма

Мы не виделись с Алексеем Максимовичем до марта 1928 года. Шла переписка. Некоторые строки писем Алексея Максимовича станут более понятными, если учесть, что за это время и в его и в моей жизни произошло немало разных событий.

У Алексея Максимовича подросла Марфа и появилась вторая внучка — Дарья. Вышел отдельной книгой роман «Дело Артамоновых» и начал печататься, как шутит Алексей Максимович — в двадцати семи изданиях, «Клим Самгин». По-прежнему Алексей Максимович много работал, часто болел (сообщает он мне об этом почти всегда полумористически), по-прежнему проявлял трогательную заботу о людях. Достаточно было мне, например, упомянуть в письме о бедственном положении М. А. Кузмина, как он сразу принимается изыскивать способы помочь поэту.

У меня в декабре 1925 года умер отец. «Утешать Вас не стану. Не умею, разучился», — пишет мне по этому поводу Алексей Максимович. Дядя мой Владислав Фелицианович, уехав из Сорренто в Париж, начал там сотрудничать в эмигрантских изданиях и вскоре на их страницах стал так «преувеличивать», что Горький прекратил с ним всякие отношения. Я тоже возмутилась, написала дяде письмо, и мы больше никогда не встречались. Я в те годы много работала в театрах Ленинграда, и в 1927 году издательство «Academia» выпустило небольшую книжку обо мне. «Неплоха, но можно бы лучше», — отозвался о ней Алексей Максимович.

Очень огорчалась я иногда, что не могу поехать в Сорренто. Приходилось довольствоваться письмами Алексея Максимовича. Из писем того времени сохранилось двенадцать.

1

Уважаемая Купчиха Валентина-Роза-Ходасевич-Дидерихс!

В ответ на пересланное мною Татьяне Павловой письмо Ваше я получил от некоего сутулого человека — Лаврова или Львова — указание, что 1000 л[ир] была им — Л. или Л. — передана в январе м[еся]це через адвоката Благодарение Богу, а по-итальянски Грациа Деи — в Римское консульство USSR.

Немедля и строго написал существующей в этом консульстве Галине Сухановой: «Отдай чужие деньги!»

На что получил невразумительный ответ:

«4. Деньги Ходасевич уже отправлены». А кем, когда и куда — неизвестно.

И — вот. А пишу «через» Федина, потому что скуп стал, марку жалко.

Б. з. В. х. А. Пеш.

2

Милая моя Купчиха, — очень обрадован Вашим письмом, а особенно — бодрым тоном его. И тем, что у Вас много работ, а значит, будут деньги и это обеспечивает Ваш приезд в Италию. Не плохо!

У нас — тоже не плохо. Все здоровы, кроме нижеподписавшегося, который, по причине раздерганных и раздергиваемых нервов, кажет-

ся — сходит с ума. Не совсем еще сходит, но вполне готов для отъезда в санаторию нервных больных, что, видимо, и придется ему сделать.

17-го сентября полиция Сорренто произвела у меня обыск, а затем густо обставила шпионами. Марию Игнатьевну обыскали на границе, по пути в Берлин на операцию сына ее Павла. Отобрали у нее мои письма. На все сие я пожаловался главному лицу страны, но до сего дня ответа не имею. Очень зол. Так-то вот. Глупо...

Внучка моя растет не по дням, а по часам. У нее синие глаза. Не капризна. Нужно видеть Максима, когда она у него на коленях. Это столь же трогательно, как и уморительно.

Был наконец Добровейн. Играть он стал лучше, но очень зазнался, относится к людям свысока и, видимо, очень избалован женщинами. Общая участь талантов. А он — весьма талантлив.

Все разъехались, кроме Рамши, наивнейшего человека. Соловей лежит. Я хожу по комнате из угла в угол. Это очень утомительно. Тимоша становится все более заботливой матерью. Что еще сказать? Нечего.

Прилагаю две открытки, полученные на Ваше имя. Да, — был однорукый и хромой Зиновий Пешков, очень интересно рассказывал, как дерутся в Марокко. Хорошо дерутся. Я посоветовал ему все-таки отказаться от этого дела и жениться на богатой американке. Вот и все.

Целую Вашу лапу, друг мой. «Милому и бритому» Диди — сердечный привет. Агавы, посаженные им, растут.

Превосходная погода. Цветут осенние розы, анемоны и акация. Собирают виноград. Мы его едим пудами.

Очень жаль, что Вас нет, я так привык видеть Вас!

Передайте мой поклон милой Липе, скажите, что очень люблю ее.

Будьте здоровы, дорогая. Пишите.

А. Пешков.

8.X-25 г.

3

20.XII-25.

Милая Купчиха, утешать Вас не стану. Не умею, разучился. Крепко и ласково жму Ваши руки.

Не отвечал Вам так долго потому, что все ждал Вашего письма, но до сего дня не получил его. Дело в том, что Екат[ерина] Павловна послала это письмо по адресу Римского посольства на имя Керженцева. Зачем? Сие недоступно разумению моему.

Разрешите просить Вас повторить это письмо и послать его мне по новому адресу моему. Если Вы это сделаете — буду очень тронут.

Живем в Неаполе, в Posilippo. Переехали сюда как раз месяц тому — 20 ноября. Все время — дожди и лишь вчера да сегодня солнечные, жаркие дни. Я, разумеется, схватил бронхит, Соловей — тоже. Но бронхит — пустяки, а вот бессонница и т° одолели меня. Лечусь.

Живем скромно, новостей — нет. Марфа растет, смеется над чем-то или над кем-то, начинает бормотать. Очень спокойная девочка. Тимоша начинает увлекаться ею.

Максим пребывает в гаражах и кинемо. М[ария] И[гнатьевна] — в Эстонии.

У нас хорошая квартира. Что еще? Я — великодушен, я скажу, что все хорошо. И хотя бессонница заражает меня мизантропией, скажу, что и это не худо.

В[ладислав] Ф[елицианович] действует в «Днях». Сия газета мною не получается, но Осоргин и Лутохин одинаково пишу мне, будто бы В. Ф. «преувеличивает». Очень жаль. Искренно жалею.

В «Воле России» М. Цветаева напечатала свои воспоминания о Брюсове. Это нечто «сильно комическое» по силе влюбленности автора в свою собственную персону и почти отвратительное по степени злобы на Брюсова. Цветаева даже Гиппиус презинадила, на мой взгляд.

Читали Вы «Дневник подростка»? Интересно.

Ну, будьте здоровы, Купчиха! Всего доброго.

Привет Ан[дрею] Ром[ановичу], Липе, если Вы ее видите. Желая Вам веселиться на святках. А в новом году искренно желаю радостей, бодрости душевной и всяческих успехов.

Летом увидимся?

А. Пешков.

Napoli Posilippo.

Villa Gallotti.

Все кланяются Вам, узнав, что я посылаю письмо.

4

13.I.-26.

Дорогая моя Купчиха — умоляю: пришлите мне статью Бориса Лавренева о Есенине. Очень благодарю Вас за присланные вырезки — буду благодарить еще больше за Лавренева, ибо человек этот меня интересует.

Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, до отчаяния, но я всегда, т. е. давно уже, думал, что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком «несвоевременна» была голубая, горестная, избитая душа его.

А когда я прочитал, что в числе прочих — гроб Есенина нес Сობоль, — подумал «грешный», как бы и Сობоль не удавился, но этот, конечно, по другим мотивам.

Да, «Дневник подростка» — книга интересная, это подлинный дневник девочки 11—14 лет, венки, т. е. жительницы г. Вены. Прочитайте, стоит.

И прочитайте «Кюхлю» Ю. Тынянова, еще более стоит.

И спросите М. Беляева — кому я должен писать о передаче архива моего Дому Пушкина?

И выпал здесь, вчера, снежище в пол-аршина толщиной, а сегодня жарко.

Что же касается меня, так был я нездоров и 28 дней не вылезал на улицу. Угнетал меня бронхит, самый лучший в Европе. И сейчас кашляю, точно стадо баранов. Оттого и пишу плохо. Портрет писать собираетесь? Чей? Написали бы карикатуру на Горького и прислали ему, для развлечения, а то живет человек и никаких радостей.

Мы все здоровы. Но были и нездоровы: Соловей сначала, затем воспитанница его Марфа Пешкова. Я — не считаюсь, нездоровье становится моим «перманентным» состоянием. В общем — все очень тоскливо. Будьте здоровы, Купчиха милая, и того же весьма желаю А[ндрею] Р[омановичу].

А. Пеш.

Лавренева пришлите! Липице поклон, сердечный привет.

5

Многоуважаемое чадо души моей!

Да возблагодарит Вас Творец всего видимого и невидимого за Ваши неутомимые заботы о просвещении моем, сам же я обещаюсь и клянусь добыть Вам визу на въезд в очаровательную Италию и, кстати, сооб-

щаю, что Борис Григорьев отлично написал мой портрет в окружении отвратительно рыжих морд из «На дне».

Оный Григорьев хотя и не Аполлон и стихов — не сочиняет, критических статей не пишет, но — талантлив удивительно. Голова же у него — путаная. Но это — ничего.

Купчиха! Умоляю Вас: пришлите мне список стихов, написанных Есениным Айседоре Дункан: сие — необходимо. Такого тона стихи у меня есть, но — мне их мало, а стихи о Дункан — особенно важны.

Все, что написано о С. Есенине, я — благодаря главным образом Вам — имею. Все, что напишут — буду иметь. Мне чудится, что, кончив роман, я попробую написать повесть о поэте, т. е., вернее, о гибели поэта. Нечто очень дерзкое и фантастическое.

Итак — пришлите стихи, умоляю еще раз и еще 20 раз.

Живем тихо и спокойно, хотя это не правда. Ибо посещает нас множество девиц различных национальностей и в их числе — Татьяна Шалапина, артистка труппы Татьяны Павловой, которая Татьяна имеет здесь оглушающий успех на итальянском языке.

Труппники ее — все итальянцы, но превосходно обучены русским «матерным» словам и говорят их очень просто и четко — как «si» и «по».

Так что, списывая стихи Есенина, Вы не смущайтесь, я тоже слова эти знаю издревле.

Засим — до свидания и посылаю Вам «Дело Артамоновых» в переплете, и даже с подписью. Будьте здоровы.

25/II-26.

А. Пешков.

Napoli.

Все кланяются, хотя ушли в кино вместе с Григорьевым.

А. П.

6

10.III-26.

Дорогая моя Купчиха —
Христос Воскресе!

Раньше я не успел написать Вам об этом. Я вообще никуда и ни в чем не успеваю. Жить здесь, в Неаполе, уже стало нельзя. Гости. Граммофоны. Фокстроты и фокстерьеры. Бульдоги. Грызня, лай и вой. Все обижены. Я — тоже. Англичанами и американцами с аппаратами. Придут, сядут и спрашивают:

— Дуетс в спик инглиш?

— Ноу,— говорю,— онли рошен дюю.

Не верят и всячески стараются надуть, чемберлены!

Через некоторые дни едем в Сорренто, где все готово уже: лимоны, шпионы, лоун-теннис под окном у меня. Читали Вы: старушка из пистолета ноздрю прострелила Бенито Муссолини? Вот оно,— правильно говорят: «Гони природу в дверь, а она в окно влезет». Хотя, кажется, эта пословица в данном случае не применима.

Хотя — как понять, что к чему и когда применимо? У Вас, там, весна? Счастливы. Здесь дышать нечем. Африка. Широко. Чернила сохнут.

Ехали бы Вы в Америку, право! Вот Б. Григорьев уже продал туда Тимошу за большие доллары. И меня продаст. И Вы бы написали меня, да и продали. Seriously. Эх, Вы не практическая.

В Париже известный политический кашевар Петр Струве стряпает нечто Всероссийское. Знали бы Вы, как это жалко, как бездарно, как гнусно.

А «Кюхлю» читали? Очень хорошо.

Спасибо Вам, милая, за Ваши заботишки обо мне, старике 58 го-

диков. Когда снимался для Григорьева, так волосы себе подкрасил и щеки надул. Вышел на фотографии — моложе. Месяца на три.

Скоро, кажется, умру от негодования на недостаток времени для жизни.

Будьте здоровы. Приветствую родных и знакомых.

Когда выйдут стихи Есенина и кто их редактирует — не знаете? Вдруг — Борис — или Сергей? — Городецкий! А?

Жму руку. Ее же и целую.

Не пришлете ли Вы мне автопортрет? Начертили бы, глядя в зеркало. Что стоит? 16 лет знакомы, а автопортрета нет у меня. Я бы написал таковой. Или Максима заставил бы написать с меня автопортрет. Он очень забавно и хорошо сделал в подарок Тимоше «Школу Берлица».

А. Пешков. На кредитных билетах подписываться бы мне!

7

Да, милая Купчиха, я писал Вам в Сочи, в Хости, но Вы, по злобе и гордости Вашей, ответили мне молчанием. Жалею, что я не испанец, а то — отомстил бы. Впрочем, кажется, мстительные испанцы перевелись уже. Шучу — с натугой, по какой-то дурацкой привычке, а в сущности, очень удручен смертью Красина, я его знал двадцать пять лет. Много было пережито вместе с ним, и хорошо знакома была мне его интереснейшая интимная жизнь. Его очень любили женщины, и было за что. Он обладал — во всем — бесстрашием истинно сильного духом человека и был прямодушен, был честен с людьми. Большой человек ушел. И — преждевременно, как огромное большинство крупных русских людей. Но — о смертях говорить и думать не стоит.

Новости? Вот — Везувий действует. Не очень серьезно, а — красиво. Огромный багряный костер в черном небе и другой в черной воде [...]

Дядя Ваш пишет злые статьи по всем направлениям, но это уже не новость, так же как и косноязычные изъяснения П. П. Муратова об искусстве, о литературе.

Возникают и лопаются, как мыльные пузыри, эмигрантские журналы: «Благонамеренный» князя Волконского скончался, «Версты» князя Святополка-Мирского — тоже. Появился «Новый день» с Ниной Берберовой в роли одного из членов редакции, выходит еженедельник с нею же. Она как будто становится талантливой, но тема у нее пока одна — любовь. Не плохая тема, конечно, но, кажется, не новая. Написала рассказ о женщине, которая открыто и очень удобно устроилась с двумя мужьями, чем ее родители оказались не довольны. Консерватизм!

Луначарского читал. Раньше не писали рецензии о вещах, которые еще не напечатаны, но — это было лет десять тому назад. Тогда такие штуки считались неприличными. Пьеса написана была мною в 1913 году, а Луначарский спрашивает: почему в ней нет никакой революции? Ох...!

Спасибо Вам, дорогая, за снимок с портрета, очень хорош!

Андрею Романовичу — привет. Липе — тоже, очень нежный.

Будьте здоровы. Все кланяются Вам. Вывески хороши! «Циник и лудильщик» — не выдумаешь! Хорошо бы еще «Скептик и портной» или «Водопроводчик-марксист».

Всего доброго!

28.XI-26.

А. Пешков.

¹ Речь идет о неопубликованной пьесе Горького «Фальшивая монета», которая была поставлена в 1926 году московскими театрами по рукописи. А. В. Луначарский, выступивший с рецензией на спектакль («Красная газета», 18 ноября 1926 года), не знал, что пьеса написана в 1913 году. — *Ред.*

8

Это будет не плохо, если Вы и А[ндрей] Р[оманович] приедете сюда летом, дорогая Купчиха. Вероятно, здесь будет Бенуа-сын купно с женою своею, интересной дамой, которая поет, если ее попросишь об этом. Просить надобно долго.

Домашние художники периодически соблазняются Аполлоном и музами и, соблазняясь, развивают творческую энергию до 50-ти и более лошадиных сил. Пишут картины всеми сортами красок, играют «Барыню» в минорных тонах, изучают «чечетку», «чалстон» и вообще погружаются в омут искусства с головою. Вы — не забыты: портрет Сары — выставлен в комнате Соловья и сама Сара «дозрела» до портрета. Портрет Тани висит у М[арии] И[гнатьевны]. Вы этого не желали, прятали Ваши работы? Но «нет ничего тайного» и т. д.

Сейчас здесь — дожди идут по шестнадцать раз в сутки. С громом и молниями. Было — по газетам — извержение Везувия. Мы, легковуры, ездили в автомобиле ночью, еле доехали вплоть до нельзя и возвратились назад. Рассказывали, что видели потоки лавы и другие эффекты. Кто хочет верить — верит.

О Кузmine — грустно было читать. Неужели — нет никого, кто немножко помог бы ему жить? Нельзя ли это как-либо устроить, — посоветуйте!

Знакомы Вы с Ольгой Форш? Я влюбился в нее. «Ах, какая» — серьезно.

На старости лет меня одолевает лирическое настроение и юношеское восхищение перед неизъяснимой и великолепнейшей нелепостью жизни. Даже начал писать повесть: «В потусторонних местностях»; место действия — рай, герои — все знакомые, Ф. М. Достоевский, великомученицы Варвара, Екатерина, Агата, Цецилия, Пиррон, Октавиан Август, Александр Павлович Благословенный, Лассаль, Николай Чудотворец, В. В. Розанов и прочие человек 150. Но повесть не кончил, ибо — все ссорятся и никакой лирики нет... Поздравляю Вас с Новым годом, конечно. Жму руку. Всего доброго. Мой привет А. Р. и Липе. Будьте здоровы.

А. Пешков.

28.XII-26.

Sorrento.

9

Дорогая и многоуважаемая Купчиха, вероятно, Вы иногда встречаете доктора Олимпиаду Дмитриевну Черткову? Так вот передайте ей прилагаемое письмо. Чертовка она, а не Черткова.

А я тут, перед Н[овым] годом, так расхворался, что поверг в страх и ужас возлюбленного Вами и возлюбившего Вас Сутера, доктора Гиледжо, а — всех больше — Соловья, который, может быть, и спас меня безжалостно от поносной смерти, коя должна была придушить меня воспалением легких.

И снова я на ногах! Но это не значит, что я не умру. Умру и — еще как! [...] До свидания!

А. Пешков.

10.I-27.

10

Дорогая Купчиха, это — верно: я действительно молодой, красивый, талантливый, высокого роста, я обладаю замечательными серыми брюками, все это — верно и все очень хорошо. Но, к сожалению, брюки я просидел до непо-

правимости дыр, и, должно быть, от этого у меня астма. Тем не менее я не теряю бодрости — духовной — и пишу роман, который будет толще борисоглебского романа, именуемого «Топь». Ибо я завистлив, честолюбив и Госиздат не платит мне деньги, а внука орет на меня как из пушки и я должен читать множество новых книг, в которых все старое, кроме фамилии авторов.

А что Вам живется плохо, так это вовсе не оригинально и хвастаться этим не следует. Вы объявите себя смелой личностью и возьмите у меня денег на поездку сюда, вот это будет — поступок! А то что же: ах, я устала и желаю утопиться в углекислой ванне! Даже в Арзамасе плохо живут некоторые люди, а также в Гдове, Рязани, Ставрополе, Ялте и еще в нескольких городах. Это, знаете, довольно известная национальная привычка, и в наше время, когда все национальное суть чистый пред-рассудок, мы должны, обязаны жить хорошо. Что мы, китайцы, что ли?

Да, так вот, отвечайте согласием, и Питер Крючков переведет Вам указанную сумму. И Вы будете встречены здесь, как послан[ница?] из мира счастливых, и будут предложены Вам на предмет питания апельсины, макароны, для питья же вода «Ночера». И увидите Вы здесь Соловья, который пишет славные картины, и Максима, который вот уже вторую неделю пишет письмо матери своей. Засим остаюсь, всенижайше кланяясь, Ваш почитатель и старый — очень! друг.

От астмы надобно жечь какой-то порошок, который наполняет комнату густым и гнусным дымом — подышишь минуту этим дымом — и глаза становятся ржыми, как у ихтиозавра.

Будьте здоровы, милая Купчиха! Пишите. Привет А. Романычу, Липе. Честное слово, я в нее влюблен, в Липу. Влип. Эдакая славная душа.

Всех благ

10.5-27.

А. Пешков.

11

Многоуважаемая и любимая — хотя и не богатая Купчиха!

Болеет тремя болезнями одновременно — о чем это свидетельствует? О том, что причина оных — четвертая: «мазохизм» — наслаждение страданием личным, и «садизм» — наслаждение страданиями людей. Вот Вам! Засим извещаю, что я иначе думать уже не могу, ибо окружен учеными, философами и стал человеком потрясающе умным. Весьма вероятно, что, приехав сюда, Вы найдете меня таким же универсальным, как напр. Луначарский, Анатолий. Да. А все остальное у нас вполне благополучно. Тимоша родит в сент. — еще одного человека. Рожденная ею Марфа — натура деспотическая и, войдя в возраст, будет чем-нибудь подобным Муссолини. Соловьи, Максимы — в порядке. М. И. — в Эстонии...

Сейчас живет проф. Зубакин — поэт, импровизатор, археолог и, кажется, бывший архиерей или что-нибудь в этом роде. Интересен.

Действует товарищ Везувий [...] Бесплезная трата Везувьевой энергии была в высшей степени прелестна и чарующе грандиозна. Убедился, что бесполезное вообще и всегда, и все — прекрасно, ярким доказательством сего служит наш мир и вся вселенная. Окончательно убедился в этом, но для укрепления убеждения намерен прочитать учебник космологии, как это делает мудрый писатель Пильняк, который, сочиняя рассказ, обязательно прочитывает пред этим какой-нибудь учебник.

Да, шалости Везувия очень заняты и еще не прекратились. Даже спать не хочется, сидишь ночью на балконе и созерцаешь. И горестно сожалеешь, что рядом с тобою нет подходящей по возрасту дамы — мне

59. Можно бы сказать даме: «Сударыня, вероятно, через полчаса мы погибнем, а потому — я вас безумно люблю». Наверное — поверила бы, ведь все равно погибать [...]

Слышал, что меня сердито ругают за роман, за то, что он печатается в 27-и изданиях и что понять ничего нельзя. А я — нарочно сделал это: пускай не понимают, м[ожет] б[ыть] вообразят, что это замечательный роман.

Вы — долго будете хворать? Когда это Вам надоест — приезжайте сюда есть арбузы и слушать цикад. Соловей пишет неподражаемые картины, примерно, как Левитан, Боттичелли и Рибейра. Факт.

Книжку о Вас получил. Не плоха, но можно бы лучше.

Засим — до свидания. И, пожалуйста, будьте здоровы!

А. Пешков.

Липе поклон, привет! Если бы мне было 33 года, я бы предложил ей руку и сердце совершенно серьезно.

Sorrento.

2.VIII-27.

12

Вот вам, милая Купчиха, документы и приезжайте скорее. Если для ускорения потребуется свидетельство о непорочном житии Вашем — тоже могу прислать. За это Вы напишете меня молодым брюнетом, курчавым и с голубыми усами.

Жарко здесь, ой, жарко! С мая не было ни одного дождя. Пьющие ликуют: вино будет хорошо.

У нас живут: две венгерки (не костюмы, а девицы, из которых одна — дама), профессор Зубакин, он же епископ, и Анастасия Цветаева, сестра Марины.

На днях приезжают: Борис Шаляпин с женой и Ник. Бенуа, с женой же. Затем: Ольга Форш.

В сентябре Тимоша родит еще одну штучку. Марфе 16-го исполнилось два года. Отличная девица. В общем — все замечательно.

Крепко жму руку, поклоны А. Р. и Липе.

До свидания! А. Пешков.

19.VIII-27.

30-го сюда выезжает из Москвы Ек. Павл. Вы с нею не поспеете?

Вновь в Сорренто

1928 год — март. Ленинград. Спешу закончить работу по оформлению спектакля в одном из ленинградских театров и другие работы, так как собираюсь ехать к Алексею Максимовичу в Сорренто и хочу обязательно попасть туда точно в день его шестидесятилетия — 28 марта. Еду одна, так как мужу не удастся получить отпуск по службе.

Узнав о моей поездке, руководство Ленинградского Большого драматического театра просит меня захватить с собой небольшую посылку — подарок Алексею Максимовичу от театра. Я, конечно, соглашаюсь.

В конце марта, в день моего отъезда, мне доставляют на дом огромный пакет из театра. Это корзина из дранки — в ней большой никелированный самовар, испещренный гравированными автографами актеров и работников театра. Самовар упакован в стружку и бумагу.

Что и говорить — подарок, конечно, обрадует Алексея Максимовича, но размеры его пугают меня, ибо я собиралась ехать налегке — с одним небольшим чемоданом. Сама я везла Алексею Максимовичу

скромные подарки — несколько резных китайских фигурок из слоновой кости и зернистую икру, которую достать в Италии было невозможно. Сведущие люди мне говорили, что икра на таможенных облагается такой огромной пошлиной, что я не смогу ее оплатить, и советовали прятать икру при приближении к таможенным в карманы пальто, а пальто надеть на себя.

Я разложила икру в две банки, чтобы уравновесить груз в карманах, и решила поступать, как мне советовали. Неприятно это было, но хотелось порадовать друзей.

На германской границе все обошлось благополучно: пакет с самоваром был пропущен, а икра не обнаружена, и вскоре я оказалась уже в Берлине.

Переночевав там и послав телеграмму Алексею Максимовичу в Сорренто о приезде, я выехала поездом из Берлина в Неаполь. Время до итальянской границы прошло быстро в блаженных мыслях о встрече с Алексеем Максимовичем, его семьей (пополнившейся прошедшей осенью второй внучкой — Дарьей), о дивном Неаполитанском заливе, об отдыхе и прочих сказочно прекрасных вещах, а также о новом портрете Алексея Максимовича, который я уже обдумала и собиралась написать.

И вот поезд подходит к итальянской границе. В вагон входят пограничники и таможенные чиновники, быстро и любезно проверяют у пассажиров паспорта и для проформы бросают взгляд на открытые уже чемоданы, наклеивают ярлыки о досмотре и каждому желают доброго пути.

Вот и моя очередь... Я показываю мой заграничный паспорт. Он очень яркий и красивый — красный с золотом. Лица чиновников явно меняют выражение...

Один из чиновников спрашивает, какие вещи у меня с собой? Я показываю на мой открытый чемодан и корзину с самоваром на полке, глядя на которую и потроша ее, чиновник торжествующе и многозначительно провозглашает: «Ессо!» — что в данном случае значит: «Ага! Вот оно!..»

Он сурово говорит, чтобы я забрала свои вещи и шла за ним в здание таможи, поторапливая меня, ибо поезд скоро пойдет дальше и ждать меня не будет.

Я очень волнуясь, понимая, что если я застряну здесь до следующего поезда, то уж наверняка не попаду к дню рождения Алексея Максимовича в Сорренто.

Злясь, ташу распотрошенную корзину и чемодан, посылая перрон стружкой. Банки с икрой мешают идти и бьют меня по ногам.

В зале таможи меня допрашивают чиновники, уже более высокого ранга, нетерпеливо и издевательски. Заставляют вынуть из корзины самовар, тщательно осматривают, спрашивают, что это за вещь и что значат надписи.

Владея довольно хорошо итальянским языком (что, как видно, еще более озлобляет чиновников), даю подробные разъяснения о самоваре и говорю, что это — подарок Горькому от русских актеров. Имя Горького еще худшает положение, и меня спрашивают, чем я докажу, что эту машину нельзя использовать для взрывов? Самовар куда-то уносят, сказав мне: «Aspetta!» («Ждите!»). Через двери таможенного зала несутся с перрона возмущенные крики пассажиров, требующих скорейшей отправки поезда, который уже опаздывает больше чем на полчаса.

В это же время я обнаруживаю, что банки с икрой от тепла дали течь, и на карманах моего пальто уже явно видны большие жирные круги.

Наконец появляются чиновники с самоваром, швыряют его мне и говорят, чтобы я поторопилась убрать мусор, захватила бы мои вещи и бежала бы в поезд.

Я впихнула кое-как самовар в корзину, стружки и бумагу — в карманы (торчащие куски бумаги удачно замаскировали пятна от икры) и, изнемогая, бегом бросилась к поезду, который уже начал двигаться, и если бы не какой-то итальянец-доброжелатель, посадивший меня ловко в вагон и сказавший шепотом: «Низкий поклон Горькому», — поезд ушел бы без меня.

Добравшись до своего места, я обнаружила, что в купе, в котором я ехала, никого нет, и дальше я уже еду очень комфортабельно, в одиночестве, чем, конечно, обязана моему красивому красному паспорту, напугавшему ехавших.

28 марта рано утром приезжаю в Неаполь, где меня встречает Максим, сын Алексея Максимовича, на мотоцикле, в который я грузюсь со своим багажом. Максим ведет машину с предельной скоростью, приговаривая на поворотах: «Держись! Отец велел как можно скорее тебя доставить, и в полной сохранности».

Глаз не оторвать! Как красив Неаполитанский залив и места, по которым мы проезжаем, знакомые мне с прошлого моего приезда — в 1925 году.

Въезжаем в Сорренто. Мелькают лица знакомых итальянцев, взаимные шумные, веселые приветствия. И вот мы уже на Капо ди Сорренто, а вот и вилла «Il Sorito». Максим дает гудки. С размаху въезжаем в раскрытые ворота. Максим резко тормозит, и я вижу веселого, улыбающегося Алексея Максимовича, стоящего в саду у входа в дом: «Успела-таки, молодчина, ко дню рождения!» — говорит он.

Сюда же выбегают Тимоша и наш «всеобщий друг» художник Ракицкий. Объятия, поцелуи, радости! Поздравляю Алексея Максимовича.

Меня ведут во второй этаж дома, где мне приготовлена комната. Алексей Максимович нетерпеливо помогает мне снять пальто, лукаво улыбаясь, говорит несвойственным ему галантным тоном: «Разрешите, сударыня, просить вас следовать за мной. Я хочу прежде всего представить вам академика Ферсмана». Следуя за Алексеем Максимовичем, я думаю: «Странно, что я не слышала в Ленинграде о поездке Ферсмана к Горькому». Выходим на балкон столовой. Алексей Максимович говорит: «Разрешите вас познакомить... Академик Ферман...» — и я вижу маленькую детскую коляску, в которой сидит незнакомое мне существо с абсолютно голым черепом, толстое, улыбающееся, очень симпатичное и действительно чем-то похожее на Ферсмана. Понимаю, что это — вторая внучка Алексея Максимовича, недавно рожденная Дарья.

После этого «розыгрыша» меня отпускают, и я иду привести себя в порядок после дороги.

Вымывшись и переодевшись, выхожу в столовую с подношениями, и мы садимся завтракать. Самовар Алексею Максимовичу понравился: «Здорово придумали, черти драповые! Будем теперь чай пить шестнадцать раз в день!» (цифру «16» Алексей Максимович очень любил и часто, желая что-либо смешно преувеличить, пользовался ею). Мои подарки тоже обрадовали Алексея Максимовича.

Когда я рассказывала о злключениях на итальянской границе, все смеялись, кроме Алексея Максимовича, который видел в таких вещах глубокие и серьезные причины.

Потом пошли жадные расспросы Алексея Максимовича о Ленинграде, Москве, писателях, событиях в СССР. Он слушал мои рассказы

и хвастливо сказал: «Ну, ничего! Кажется, скоро я сам все это увижу: собираемся летом с Максимом совершить путешествие в Союз».

Как все же сильно он истосковался в этом дивном Сорренто! И как жаждал скорее увидеть и ощутить новую Россию!

Конечно, мало что нового узнаёт Алексей Максимович от меня, так как он связан столькими нитями и каналами с родиной, что о всем значительном, происходящем в Советском Союзе, знает лучше меня.

Алексей Максимович расспрашивает о самых новых книгах и последних новостях в области искусства — стихах, романах, художественных изданиях и выставках. Говорит, что у него припасено для меня много вышедших за последнее время в разных странах интересных книг, которые он хочет, чтобы я прочитала и просмотрела.

Потом Алексей Максимович рассказывает мне вкратце о своей работе, о тех примечательных и забавных событиях, которые произошли в Сорренто за два с лишним года, что мы не виделись, и о разных людях, посетивших его в Сорренто.

Много раз за день почтальон приносит вороха корреспонденций, среди которых много поздравительных телеграмм и писем.

Весь день мы провели в уютной домашней обстановке. Заходили с поздравлениями владельцы виллы «Il Sorito», местный радге, крестьяне и арендаторы близлежащих фруктовых и оливковых садов. Вечером Максим устроил большой фейерверк на радость Алексею Максимовичу и всей округе. Пили чай из привезенного самовара, который позднее вернулся вместе с Алексеем Максимовичем на родину и стоит теперь в столовой мемориального дома, где жил Алексей Максимович в Москве, на Малой Никитской, 6 (ныне улица Качалова).

Внучка Алексея Максимовича Марфа, которой я помогала в 1925 году появиться на свет божий, невероятно мала для своих двух с половиной лет, но все в ней необычайно пропорционально. Она что-то тихо бормочет — ей трудно осваивать сразу три языка: русский, итальянский и немецкий.

У Максима теперь автомобиль «Lancia», и он разрывается между гаражом и дочками — возится с ними, как с котятками, купает их в огромном тазу, ему ассистирует Соловей и всеми любимым и уважаемым фокстерьер Кузька, который обожает детей. Алексей Максимович глядит на этот уют и улыбается умиротворенно. Максима он очень, очень любит, и если что не так — глубоко и тяжело переживает.

Собираясь ехать в Сорренто, я мечтала написать еще один портрет Алексея Максимовича и уже продумала, как я его изображу на этот раз. Обязательно во весь рост, в черном пальто, черной шляпе, черных перчатках, на фоне залива и серо-голубых далей с Везувием слева и горой, похожей на мумию, — справа. Странно, что приехавший в Сорренто в 1932 году художник Павел Корин написал портрет Алексея Максимовича примерно так, как я задумывала, а я ему, да и никому не говорила о моем замысле. Вероятно, все же и у меня и у Корина возникли те же мысли и чувства — об одиночестве и почти трагичности внутреннего состояния Алексея Максимовича в ту пору его «изгнания».

Отдохнув немного, я съездила в Неаполь, купила Алексею Максимовичу черную фетровую шляпу (его старая была уже сильно изношена) и черные перчатки, заказала в Сорренто столюру подрамник (насколько помню, 2 м. 20 см. высотой и 1 м. шириной), купила великолепный холст, казеин для грунта и кисти. Краски были в изобилии у Соловья и Тимоши.

Все было готово для начала работы, но я все еще чувствовала какую-то неестественную усталость. Голова и ноги у меня болели невероятно. Приняла пирамидон — не помогло. Наутро отправилась в

Интернациональный госпиталь, к доктору Сутеру, и осталась там. Выяснилось, что у меня брюшной тиф, всегда свирепствующий в Неаполе, но который, чтобы не отпугивать туристов, называют кишечной лихорадкой.

Недели через две температура стала нормальной, но чувствовала я себя отвратно. Сутер решил, что тиф у меня был найден ошибочно, и сообщил в Сорренто, чтобы меня забирали. Приехали за мной Алексей Максимович, Максим и Мария Игнатьевна. На полпути до Сорренто я потеряла сознание. Болела я очень тяжело и долго, и когда Алексей Максимович вошел в комнату, чтобы попрощаться со мной (они с Максимом уезжали в СССР), я вполне была уверена, что вижу его в последний раз. Наклонившись ко мне, он поцеловал мне руку и твердо сказал: «Будьте уверены — мы увидимся. никуда не уезжайте!»

К концу лета я уже встала на ноги и начала подумывать об отъезде восвояси. Однажды приносят на имя Алексея Максимовича извещение из Неаполя с железной дороги о том, что на имя Горького пришла посылка, которую надо получить. Тимоше была оставлена Алексеем Максимовичем доверенность, и мы с ней поехали в Неаполь, чтобы получить посылку. Приехали. На товарном складе нам находят присланное — мы глазам своим не поверили и ужаснулись: надо получить много огромных ящиков — не меньше чем полвагона. На одном грузовике и не уместить! Уговариваемся, что на следующий день вывезем эту «посылку»... И вот ящики уже распаковывают во дворе «Il Sorito». Это оказались запоздавшие к шестидесятилетию Алексея Максимовича дары хохломской артели. Там были и шкап и шкапчики, и полки и полочки, и ларцы и ларчики, кресла, стулья, столики, шахматный столик, очень много разных петухов, уток, павлинов, ковшей, ложек, мисок. Еле все разместились в большой комнате Алексея Максимовича. Были присланы и валенки, белые с красным узором. Мы созвали всех знакомых итальянцев из Сорренто и Неаполя и показывали им эти для них экзотические предметы. Они пришли в неопикуемый восторг.

Чтобы окончательно убедиться, что выздоровела, я до отъезда написала Тимошин портрет и ужасно огорчилась, что не написала портрет Алексея Максимовича «с голубыми усами», как он хотел когда-то.

Перед самым моим отъездом Максим сообщил в письме, что они с отцом возвращаются через Берлин, где пробудут несколько дней, и адрес, где остановятся. Приехав в Берлин, я сразу же поехала к ним. Встретились и радостно и грустно. На следующий день они уезжали в Сорренто, а я домой, в Ленинград.

Провожая Алексея Максимовича, на вокзале я думала, что сердце мое разорвется, и никак не могла сдержать слез. Тогда я поняла, что меня здорово потрепала болезнь, а Алексей Максимович говорил, что напрасно я еще не пожила в Сорренто и что он не уверен, примут ли меня, такую тощую и зеленую, в Союзе.

В конце года Алексей Максимович писал мне:

Дорогая Купчиха,
письмо Ваше я получил давно, месяца за два до сего дня, а ответить не мог, и все это время меня кусали мухи совести моей. Теперь мух осталось только две, потому что стало холодно и, кроме Горького, нечего есть, все уехали. Горький пишет разные штуки и так накуривает у меня в комнате, что дышать нечем и кончаловские картины закоптели.

Читаю замечательно скучные и устрашающие книжки о женах: Пальмбера «Книгу о жене», Зудермана «О жене» и вообще все о них. Если б я знал, что они такие, — никогда бы не женился. Вообще Вселен-

ная устроена отвратительно, воеет ветер, дождь хлещет, бухает какой-то мокрый гром, и это возбуждает такой кашель, что бумаги со стола летят сразу ко всем чертям. Больше никаких новостей нет, если не считать дверь. Ее построили внизу на лестнице, чтобы ветер и собаки не лезли к детям, но так построили, что ее видишь лишь после того, как стукнешься о нее. Вообще — все против меня.

В одной книжке, тоже скучной, какой-то болван спрашивает болванку: «Как ты думаешь, Алис, зачем живут люди?»... Вот негодяй! Молчал бы.

Тоже и Вы, — сообщаете новости: «Ленинград красят в желтое». Я же не маленький, я сам видел это.

А если хотите прочитать хорошую книжку, так — это «Мед и кровь» — Колоколова.

Шкловского «Гамбургский счет» — не читал. Развернул книжку и почти на каждой странице: Горький. Нет, — думаю, — прочитаю после, когда у меня бронхит будет...

Вот, написали из Москвы:

«Судьба число своих насмешков
Добавила еще одним:
Приехал литератор Пешков
И снова вдруг исчез как дым».

Дальше — неприлично.

Будьте здоровы, Купчиха. Всего доброго.

Очень устал.

20.XII-28.

А. Пешков.
Хорошо?
Пишите.

А через несколько месяцев я получила от Алексея Максимовича еще одно письмо:

Буряту написал, якуту написал, Вам пишу, проклятая Купчиха, и благодарю Вас за поздравление, которое не что иное, как — предрассудок, и едва ли не буржуазный.

А что писать? Сегодня 7 апреля и, как полагается, цветут абрикосы, персики, цветет вишня и вообще все цветет. А — на горах вот уже месяц, — даже больше, — лежит и не тает, черт его возьми, снег, а ночью выпал еще один снег, и с утра ревет, свистит, рычит ветер, и я сижу в меховых, самоедских сапогах и, от холода, а возможно — от лени, пишу неизвестно по какой орфографии.

Домашние — две собачки, две внучки, две сестры милосердия, и никто из них не говорит по-русски, а остальные — которые частью в Риме, частью же в Берлине и гриппе.

У одной сестры подбородок такой, что им можно гвозди забивать, а другая выходит замуж, для чего уезжает к жениху. Интересно? Кроме этого, я ничего не знаю, ибо начитался рукописей до полного отупения.

Меня зовут в Якутию, на Филиппинские острова и в болото, под Москвой, там специально для меня строится дом в 5 этажей, с башней и цветными стеклами в окнах.

Приехала Ек[атерина] Пешкова и привезла балык в 20 ф. весом, мы съели его в три дня и теперь пьем.

Дорогая Купчиха! В голове моей — вселенская пустота, в душе — хлад мирового пространства. От холода я постарел на 17 лет, чувствую, что мне 78 и что пора влюбиться во француженку, а ее — нет. Нигде нет. Госка.

Ветер такой, что из камина летит сажа, точно из пасти Сатаны. Двери скрипят. Соловей появляется снизу, как черт из люка в театре. На нем 6 фуфаяк. Он приходит только затем, чтоб сообщить о будущих циклонах, ураганах, наводнениях и землетрясениях. Он уже не человек, нет! — он метеоролого-сейсмографическая станция в брюках и с астрологом внутри.

Вот Вам печальная картина моей трагической жизни. Пожалуйста, не уезжайте никуда летом, я к Вам приеду чай пить. Очень хочется чаю, но уже второй час ночи.

Вы, конечно, уже спите.

Ну, и прекрасно.

А. Пешков.

В Стране Советов

Как и обещал в своем письме Алексей Максимович, летом 1929 года он пил у нас чай. Пил вместе с Максимом. В Ленинграде они были проездом — ехали в Соловки. На обратном пути хотели снова остановиться в Ленинграде — тогда опять увидимся.

Проходит несколько дней, звонит Максим из «Европейской»: поскорее приходи — хотим тебя видеть. Прихожу. Алексей Максимович работает у себя в комнате. Я стучусь к Максиму — это смежная комната. Там я впервые увидела М. Погребинского. Максим представил меня: «Вот наша Купчиха». Погребинский украдкой сверлит меня глазами и держится «в доску своим парнем». Как потом заметила, при Алексее Максимовиче скромнее — но не теряя своей значимости — говорит «это мы сделаем», «это мы можем», а иногда даже «что прикажете?». Фигура штатская, но одет в почти военную форму: рубашка оттянута назад, подпоясан ремнем — португеза с кобурой лежит небрежно на столе. Сапоги. Он небольшого роста, брюнет с короткими, мелко вьющимися волосами, ему лет 35. Очень живые умные глаза, на которые напущено выражение безразличия, но ясно: все учитывается, все подмечается. Он ведал коммунами беспризорных, знал блатной язык, непринужденно вставляя для колорита никогда мной не слышанные слова. Алексей Максимович очень тогда увлекался этими коммунарами.

Две комнаты, которые Алексей Максимович занимает в «Европейской», выходят окнами на Михайловскую площадь. Максим очень «приключенчески» настроен (как и всегда, впрочем) и сразу, как только познакомил меня с Погребинским, спрашивает: «А ты подкуп под отца видела? Надеюсь, не ты собираешься похитить его?» Действительно, уходя, увидела в стене гостиницы под комнатой Алексея Максимовича какое-то отверстие. Через несколько часов оно уже было заделано.

Мы поболтали о разном и около половины второго пошли к Алексею Максимовичу. Туда должны были принести заранее заказанный обед. Алексей Максимович выглядел здоровым и увлеченно рассказывал мне про посещение Соловков. Я была немного удивлена и смущена этим рассказом, так как привыкла слышать об этом месте совсем другое.

За несколько дней пребывания Алексея Максимовича в Ленинграде мы с ним выдались ежедневно — хоть ненадолго. Обедали или ужинали на крыше «Европейской». Конечно, на Горького глазели восторженно и с большим любопытством. Я посоветовала ему пойти в «Сад отдыха», там Н. К. Черкасов и Березов изображали Пата и Паташона. Они привели в восторг Алексея Максимовича, но джаз, выступавший в «Саду отдыха», ему не понравился. Он вообще плохо переносил этот тип музыки, и еще в Сорренто, когда Максим в нижнем этаже ставил джазовую пластинку, он просил прекратить эту «трепку нервов», и если Максим

(а он мог такие пластинки слушать часами) мешкал, он поворачивался и быстро уходил, прихлопнув за собой дверь.

Как-то мы пришли к Алексею Максимовичу вечером. Еле пробрались в его большую комнату. Мы мало кого знали из присутствовавших. Вдали рядом с Алексеем Максимовичем сидел С. М. Киров. Было шумно и сумбурно. Поразила Алексея Максимовича девушка (которую привел то ли Сергей Городецкий, то ли Ю. Либединский) — она знала наизусть 4500 частушек, специально объезжала нашу страну, собирала и записывала тексты и музыку частушек. Алексей Максимович сразу же стал прикидывать, как бы издать такой сборник частушек. Все часы у Алексея Максимовича были расписаны — куда когда ехать, когда кто придет. Так что понятно — к нам он больше не выбрался...

С того времени, как Алексей Максимович окончательно вернулся в Москву, переписка наша еле теплилась. Во-первых, он так был занят, что еле выкраивал время даже для «Самгина», а кроме того, я очень часто приезжала из Ленинграда в Москву навещать мою мать и Алексея Максимовича. Жил он в основном в Горках X, а в Москве бывал на различных совещаниях и иногда оставался ночевать на Малой Никитской, 6. Он не любил этот парадный особняк. Про спальню свою он, смеясь, говорил, что скорее она подходит приме-балерине, чем ему, — вероятно, спугали. Кое-что из «роскоши» было утихомирено — например, потолок в комнате, которую Алексей Максимович предназначил для библиотеки. Покрытый выпуклыми лепными улитками и какими-то растениями, он весь был золотым. Его покрасили незначительной по цвету серо-зеленой краской. Стало лучше — потолок можно было почти не замечать.

Вообще Алексей Максимович не выносил показной роскоши. В Горках его комнаты во втором этаже — спальня и кабинет — были исключительно скромно обставлены (да и весь дом также). Они были большие, хорошие пропорций, много воздуха. В спальне балкон. Из окон видна внизу площадка цветника, за ним, еще ниже, — Москва-река, на другом берегу которой — лес, а за ним виднелся поселок Николина гора. Но если стоять не близко к окну, то видишь небо, огромное воздушное пространство неба, и, глядя на него, кажется, что дышать легче.

Мы часто наблюдали по утрам, когда пили кофе на террасе второго этажа, как ровно в половине девятого снижался и как бы нырял чуть ли не до самого цветника самолет, покачивая крыльями в знак приветствия, и круто взмывал в небо. Первое время все за столом инстинктивно пригибались, а Алексей Максимович говорил: «Ух ты! — ну, на этот раз пронесло!» Вскоре мы привыкли, и когда самолет не появлялся, даже беспокоились.

Алексей Максимович развел такую бурную деятельность, что стало понятно, как ему трудно было быть вне родины, да и родине тоже был очень важен и нужен его приезд. Со всех ее концов стекались к нему люди — самые разнообразные. Просто возникло какое-то паломничество и старых и малых.

Кажется, и тут мне надо прибегнуть к перечислению поименно тех, кого я видела в Горках и на Никитской:

Сталин, Калинин, Молотов, Куйбышев, Жданов, Киров, Микоян, Булганин, Погребинский, Авербах, Киршон, И. Минц, Е. Малиновская, Бубнов, Ольга Бубнова, Стецкий, Ворошилов, Буденный, Щербаков, А. Н. Толстой, Вс. Иванов, Фадеев, Федин, Леонов, А. М. Игнатьев, Буренин, Пинкевич, Немирович-Данченко, Р. Симонов, М. Кольцов, И. Ильин, Маршак, Михоэлс, Бабель, Халатов, Ионов, Чагин, Сейфул-

лина, Ладыжников, Кукрыниксы, П. Д. и А. Д. Корины, Ирина Щеголева, В. Яковлев, Богородский, С. Уранова, Форш, Малаховский, Малаховская, А. Тихонов, Оборин, Шостакович, А. Д. Сперанский, Л. Н. Федоров, Ирма Яунзем, Юдина, Ромен Роллан, Уэллс, Мальро, Эльза Триоле, Арагон, Е. П. Пешкова, М. Ф. Андреева.

Первое время Алексей Максимович вел в Горках жизнь довольно уединенную и был углублен в работу. Если его хотели навестить друзья или по делам нужные люди, таким свиданиям отводилось время или к чаю — в пять часов дня, или к ужину — в восемь вечера. Алексей Максимович всегда был рад приезжавшим, ибо они связывали его с тем, в чем участвовать самому ему по состоянию здоровья было уже не под силу. Желających побывать у Алексея Максимовича было слишком много, и очередность посещений устанавливал его строгий секретарь Крючков. Но была категория людей, которые по договоренности с Алексеем Максимовичем «обходили» секретаря и пробирались «нелегально», что очень веселило Алексея Максимовича.

В «нелегальные» попали и Исаак Эммануилович Бабель, и Соломон Михайлович Михоэлс, и Самуил Яковлевич Маршак, и Михаил Кольцов.

Бабелю, когда он поселился недалеко от Горок, в деревне Молоденово, Алексей Максимович сказал: «Приходите в любой день к обеду — это в два часа. Всегда буду рад».

Приходил Бабель в Горки то часто, то пропадал. Помню, как, бывало, садились мы обедать, а Алексей Максимович говорил: «Не подождать ли нам все же Бабеля — может, немного опаздывает?»

Из столовой — через переднюю — в застекленную входную дверь дома видна была прямая дорога, ведущая к въездным воротам. И вот мы, обедающие, часто поглядывали и следили, не идет ли Исаак Эммануилович...

Как-то особенно хорошо бывало зимой, когда на фоне белого снега в маленькую калитку в заборе, около ворот, появлялся в шапке-ушанке, в куртке, с палкой, неторопливо, слегка вразвалку — Бабель. «Ну, сейчас много примечательного нам расскажет», — говорил Алексей Максимович. Соскучиться с Бабелем было невозможно. Уютнее всего бывало именно зимой, в тишине большого пустынного дома, когда после поездок в Москву Бабель приходил начиненным всяческими литературными новостями.

У него с Алексеем Максимовичем часто бывали и специальные дружеские профессиональные разговоры, в которых очень нуждался Алексей Максимович. Продвигая вперед тяжелый корабль советской литературы, Алексею Максимовичу нужно было и самому посоветоваться о своих личных литературных планах и сомнениях. Бабелю и Маршаку он очень доверял и (пусть это не покажется странным в применении к Горькому) не стеснялся их.

Бывая в Горках, Бабель, конечно, часто вспоминал и рассказывал об Одессе. Это бывали или лирические, или смешные истории из жизни Одессы и одесситов. Но всегда чувствовалось, как он любит Одессу и «на всякий случай» каждого одессита. Рассказывал Бабель и о том, что его интересуют лошади и весь их быт, что он все это изучает на конном заводе, расположенном неподалеку от Горок, — у него там друзья и среди людей, обслуживающих завод, и среди лошадей. Собирается он написать «Лошадиный роман».

Бабель бывал озорным. Ему приходили в голову какие-то эксцентричные соображения. Встречаясь в Горках с Михэлом, они начинали вспоминать свои годы «доблестей и забав» и разыгрывали невероятные дуэты. Много раз мне доводилось присутствовать на этих «концертах» за обедом или за ужином. Начинался какой-нибудь разговор, и Бабель

с Михоэлсом, перемигнувшись, находили зацепку, включались, и тут уж не только говорить, но страшно было чем-либо нарушить их рассказы и диалоги или пропустить хоть слово или жест. Алексей Максимович отставлял тарелки и, вооружившись папиросой и носовым платком (вытирать слезы, появлявшиеся у него от смеха), был весь внимание.

После их отъезда мы всегда еще долго обсуждали «спектакль» и талантливых исполнителей. А Алексей Максимович говорил: «А вот когда встречаются у меня двое таких разных и в чем-то одинаковых, неповторимых евреев — Бабель и Маршак, — тоже замечательно получается, только с Михоэлсом — «дуэт», а когда с Маршаком — каждый хочет изобразить «соло» и слегка сердится на другого, если тот перебивает или же выпячивается». Алексей Максимович очень любил и ценил всех троих — и Бабеля, и Михоэлса, и Маршака.

Часто бывал у Горького в Горках А. Н. Толстой, иногда вместе с женой Наталией Васильевной Крандиевской, очень красивой, веселой и талантливой поэтессой. Алексей Максимович очень любил их и восхищался Толстым, его бурной талантливостью и жизнелюбием. Дружеские беседы касались и судеб советской литературы, и вопросов науки и политики, и сугубо профессиональных писательских вопросов.

Однажды летом решено было организовать под вечер «грандиозную», «сверхъестественную» (по словам Алексея Николаевича) рыбную ловлю на Москве-реке, на высоком берегу которой расположены Горки. Тут же у воды по предложению Горького предполагалось разложить костер и варить уху.

В тот вечер у Горького собралось довольно много народу. Спустились к реке. Вода была весьма прохладной. Молодежь должна была лезть в воду и вести бредень. Толстой тоже рвался в воду, но ему воспрепятствовали. В тот день Алексей Николаевич одет был в очень простой, но восхитивший всех новый летний костюм замечательного синего цвета. «Это дома так дивно выкрасили, — хвастливо говорил он, — а рубашка и штаны — самые обыкновенные, холщовые». Алексей Николаевич любил детально обдумывать свою одежду, и цвет играл в этом не последнюю роль. Все, что на нем бывало надето, всегда отличалось чем-то не совсем обычным, а главное — он умел носить одежду очень неприужденно, как бы не замечая ее и не думая о ней.

Рыбная ловля началась. Бредень повели. Мы все стояли на берегу и наблюдали за рыбаками. Больше всех волновался Толстой. Внезапно бредень зацепился за корягу, и ведущие тщетно пытались его отцепить. Никто не заметил, как и когда Толстой не выдержал, влез в реку в одежде и обуви и по горло в воде уже стоял около бредня. Вскоре бредень был отцеплен, Алексея Николаевича с трудом уговорили выйти на берег. Когда он уже на берегу прыгал, фыркал и отряхивался, смешно имитируя выкупавшуюся собаку, мы заметили, что вода, стекавшая с него, его шея и руки были ярко-синими, а лицо — в синюю крапинку. «Дома выкрашенный» костюм явно линял. Решено было тут же раздеть Алексея Николаевича и вымыть. Кто-то, уже вскарабкавшись вверх по откосу, бежал к дому за мылом и мочалкой. Однако за ужином Толстой предстал в голубом виде, что ничуть его не смущало, а всех веселило. В течение недели ежедневно топили баню, отпаривали и отмывали уважаемого писателя и наконец довели его телеса до естественного цвета.

Алексей Николаевич не был каким-либо чудо-эрудитом и энциклопедистом, но несомненно обладал даром художественного провидения. Узнав или увидев иногда даже маленькую, но характерную частность, он мог представить себе и убедительно воссоздать своим воображением

все явление в целом. Он даже уверял, что ему как писателю вредно загромождать свою память слишком большим количеством точных фактов, дат, описаний — тем, что у писателей называется «материалом».

Однажды после очередного отъезда Толстого из Горок, стоя у подъезда дома и провожая глазами увозивший Алексея Николаевича автомобиль, Горький сказал: «Ходят слухи, маловато читает сей талантливейший товариш... — и, помолчав, ласково добавил: — Впрочем, читает или не читает, у него все равно хорошо получается. Какой великолепный писатель!»

Вот еще одно воспоминание. Горки. Только что сели за ужин, уже темно. По столовой мелькнули лучи фар подъехавшего к дому автомобиля. Алексей Максимович встал и пошел встречать, а кого — было неизвестно. Вскоре он появился с Анастасом Ивановичем Микояном, подтянутым, очень оживленным и веселым. Когда они уселись за стол, Алексей Максимович спросил: «А что же оставшиеся в машине дети? Липа, веди их сюда». Внучки Алексея Максимовича всегда ужинали отдельно, и их уже повели спать. «Нет, не надо, — сказал Микоян, — они накормлены и пусть развлекаются одни — их трое, и им не будет скучно». Липа, очень любившая детей, все же побежала и застала их в бурных играх. Внутри большой открытой машины они кувыркались, что-то отвинчивали, самый маленький ревел, так как ему пришили палец дверцей. Липа вернулась взволнованная и сказала, что все же детей нельзя оставлять там одних — есть уже один раненый. Анастас Иванович сказал: «Я их не приглашал, сами навязались и пусть разбираются сами, у меня такой метод воспитания. А я хочу посидеть спокойно с Алексеем Максимовичем, поговорить и поужинать. Давайте чокнемся!» Он очень непринужденно держался, интересно разговаривал и рассказывал.

В 1932 году у меня была передышка в срочной работе, и я отпросилась к 17 сентября в Москву на празднование сорокалетия литературной деятельности Алексея Максимовича. Я попала на Малую Никитскую перед обедом. Груды телеграмм и писем ждали Алексея Максимовича в столовой, так как в этот день он все равно с утра до обеда работал. В половине второго (он был всегда очень аккуратен) Алексей Максимович появился в столовой, я его поздравила и, к удивлению своему, увидела, что он мрачен. Я даже спросила: «Вы здоровы?» «Как сказать? Я зол», — ответил он. Я еще больше удивилась, так как уже утром прочитала опубликованное постановление ЦИК Союза ССР, в котором говорилось о мероприятиях, предпринятых в связи с юбилеем: об учреждении Литературного института имени Горького, стипендий имени Горького, о переименовании МХАТа в МХАТ имени Горького.

Алексей Максимович даже осунулся и мрачно сказал, что он, конечно, все ценит и благодарен, но что переборщили товарищи! «Разве же так можно? Желая мне добра, назвать МХАТ именем Горького. В каком же я виде оказываюсь перед Чеховым! Да и перед всеми русскими людьми. Это же в основном театр Чехова. Не знаю, как и быть!»

Во время обеда пришли сообщения о переименовании Нижнего Новгорода в город Горький и Тверской улицы в Москве в улицу Горького. Алексей Максимович и этим был огорчен и весь день был грустным. К вечеру набралось много гостей, и он отвлекся и повеселел.

Однажды, вернувшись из Москвы, Алексей Максимович сказал, что у него была моя знакомая Бетти Николаевна Глан, директор Парка

культуры и отдыха имени Горького, и передала мне привет. Пришла она с просьбой помочь достать деньги для парка — она там хочет устраивать чудеса. «Вы дружите с правительством, — сказала она, — и вам не откажут». Алексей Максимович спросил, сколько надо денег. Она спокойно ответила: «Девяносто два миллиона — смета готова». Он подумал: вот это да! Девяносто два миллиона! Она считает, что это немного! И заметил, что ему неудобно просить такие деньги: парк-то его имени, уж добивайтесь сами. «Излишняя щепетильность!» — заявила Глан и рассмеялась. «Вот какие директора в Москве водятся! — сказал мне Алексей Максимович. — Хорошо еще, что ей некогда и она отняла у меня не много времени».

Меня Алексей Максимович иногда разыгрывал, рассказывая какую-нибудь небылицу, и видя удивление или растерянность на моем лице, не выдерживал, в глазах его прыгали чертики, и он начинал, давясь кашлем, смеяться. Тогда и мне делалось смешно, а иногда я даже обижалась. В первый же приезд мой в Горки Алексей Максимович, показывая мне парк и открывающийся с высокого берега за Москвой-рекой вид на прибрежный лесной массив Николиной горы, над которым виднелась какая-то вышка, сказал мне, что на Николиной горе, построив себе дачи, живет много людей искусства и науки, а вот Альберт Петрович Пинкевич построил себе очень странное жилье — и он указал на вышку (я тогда не знала, что это водонапорная башня) — и в двенадцать часов высовывается в окошко, как кукушка в швейцарских часах, и кукует двенадцать раз. «Вот вы понаблюдайте — это забавно у него получается», — прибавил он.

Я, сразу не сообразив, даже забеспокоилась и спросила, здоров ли Пинкевич. Алексей Максимович сказал: «Вполне, вы его, вероятно, увидите — обещал заехать в Горки», — и тут... чертики подвели Алексея Максимовича, а я обиделась. Потом это было всем рассказано, и я сама очень смеялась.

Алексей Максимович иногда в неурочное время, то есть в часы, когда он обычно работает, спускался мрачный вниз и, найдя кого-нибудь из нас, сердито говорил, что вот опять не знает, как прикончить некоторых из рожденных им персонажей в романе «Жизнь Клима Самгина». Они свое дело сделали, а теперь путаются и мешают. Многих он уже отправил довольно хорошо, правдоподобно и разнообразно на тот свет, но их все еще слишком много. Хорошая вещь самоубийство, но нельзя же, чтобы оно было массовым. Эпидемий тоже в то время и в тех местах он что-то не помнит. Болезни использовал. Пожаловавшись, он обычно просил подсказать ему какие-нибудь оригинальные случаи смертей и, вдруг щелкнув пальцами, стремительно уходил к себе наверх, ухмыляясь. Очевидно, не дождавшись помощи, что-то сам придумал...

Было и такое: он мне сказал про «Самгина», что сначала этот роман никто не поймет, будут ругать, да уже и ругают. Лет через пятнадцать кое-кто начнет смекать, в чем суть, через двадцать пять — академики рассердятся, а через пятьдесят — будут говорить: «Был такой писатель Максим Горький — очень много написал и все очень плохо, а если что и осталось от него, так это роман «Жизнь Клима Самгина». И Алексей Максимович сказал, что вот к мнению этих последних и он присоединяется.

Однажды напросился к Алексею Максимовичу в Горки человек. Его привез к обеду Крючков. Когда он уехал, Максим сказал: «Алексей, зачем тебе тратить время на таких дураков?» Алексей Максимович подумал, побарабанил по столу пальцами и сказал Крючкову, чтобы он

еще раз привез этого человека. «Это редкостный дурак — я хочу еще раз рассмотреть его. Имейте в виду, я говорю это серьезно — он нужен мне в связи с работой».

В эти годы я ближе познакомилась, а после смерти Алексея Максимовича и сдружилась с Екатериной Павловной Пешковой, женщиной, всегда очень занятой разгрузкой чужих несчастий. Я бывала у нее и на Машковом переулке, и на даче в Барвихе. В Горки она приезжала часто, под вечер, после дел, и оставалась ночевать, чтобы побольше повидать внушек — она в них души не чаяла. Они же вели довольно обособленную от взрослых жизнь, под наблюдением и руководством сначала одной, а потом другой воспитательниц, которые их и пасли и учили.

Продолжалась и дружба моя с Максимом, но он чаще отсутствовал в Горках, чем присутствовал. У него завелись какие-то друзья-изобретатели в разнообразных областях техники и науки. Он помогал им и их изобретениям протискиваться в жизнь. Другие люди соблазняли его какими-то далекими поездками то на остров Вайгач, то еще зачем-то и куда-то. Он привозил из этих поездок фотографии и, конечно, необычайные рассказы о том, что видел, но главным, конечно, было то, что он довоображал. В общем, как мне казалось, он все же был «не у дел», и вот ему их придумывали. Все дела Алексея Максимовича уже велись Крючковым. Мне поездки Максима представлялись какими-то абстрактными, но он уверял меня, что ездил с людьми, у которых были серьезные поручения, да и у него тоже. Может быть. Не знаю.

Когда же Максим бывал в Горках и там же оказывалась и я, мы по старой привычке выдумывали с ним что-нибудь забавное, праздничное. Максим был невероятно легок на подъем в буквальном и в переносном смысле и любил импровизированные «действия». Конечно, выбить Горького из его рабочей колеи даже нам не удавалось. Но и за обедом, да и вечерами можно было покурлесить. Нас вдохновляло то, что мы видели, как наши выдумки развлекали Алексея Максимовича, а ему так нужна бывала передышка в установленном им самим жестоким режиме труда.

В конце апреля 1934 года Максим приехал на несколько дней в Ленинград. Жил он в «Европейской» гостинице. Однажды мы сговорились встретиться вечером. Вскоре Максим звонит и говорит, что должен ехать немедленно в Москву — ему сообщили, что там то ли улетает, то ли прилетает на самолете новой конструкции его знакомый летчик, он хочет при этом присутствовать. В ближайшее время Максим обещал вернуться в Ленинград. Проходит несколько дней. Максим не приезжает. Вдруг ночью звонок по телефону из Москвы, слышу голос Липы: сквозь рыдания сообщает, что Максим, проболев четыре или пять дней, умер. Это было 11 мая. Послала телеграмму Алексею Максимовичу. Два-три слова, а может, одно? До утра, всю ночь, писала ему письмо — не знала, как подступить, какими словами сказать... Написала. Хочу ехать в Москву — театр не отпускает, да я и сама заболела и попадаю в Горки лишь через какое-то время после похорон. Тяжелая встреча с Алексеем Максимовичем — бросаюсь к нему, целуемся, он жмет мне руки так, что я понимаю — нельзя, не нужно сейчас говорить о Максиме. Я вырываюсь и иду, захлебываясь слезами, по коридору в так называемую «мою» комнату, а Алексей Максимович поднимается в тишине по круглой лестнице наверх к себе. В доме непривычная тишина.

Так вот и получилось со мной: ни Максима, ни Алексея Максимовича я не видела умирающими, уходящими из жизни, и прощалась с ними мысленно.

Это очень нелегко даже вспоминать.

После ужасной трагедии — смерти Максима 11 мая 1934 года — Алексей Максимович имел мужество остаться в живых, но уже не принадлежал себе, и казалось, что он не человек, а учреждение, им же самим порожденное и теперь, несмотря ни на что, обязанное работать.

Алексей Максимович всегда много работал, но теперь он, стиснув зубы, выполнял, творил, писал, поучал, воспитывал, организовывал, спорил, доказывал, добивался, не считаясь со своими подорванными силами, а может быть, и наперекор им, чтобы забыться. В любом случае он продолжал еще смолоду намеченную линию своего жизненного пути — всегда нести людям добро познания, отдавая этому весь свой талант и — вплоть до смерти — горячее свое сердце.

В то время его жизнь в Сорренто казалась даже наивной, просто-душной, почти безмятежной, и казалось, что то было давно, давно в сравнении с тем, что он взбудоражил вокруг себя теперь. Управделами был Крючков. Он распределял дела и людей, процеживал их через одному известное сито. Часто отсеивались люди, приятные и интересные Алексею Максимовичу, а в пояснение ему говорилось одна и та же колдовская, непроницаемая, сакраментальная фраза: «Так нужно».

В августе 1934 года был проведен Первый съезд советских писателей. Алексей Максимович был его инициатором и руководил его подготовкой. Делегатами были писатели разных советских республик, гостями — писатели разных стран мира. На этом съезде Алексей Максимович сделал очень обширный доклад (он писал его долго и очень взволнованно). Во время съезда по вечерам устраивались разные встречи и приемы. Алексей Максимович очень уставал, но был торжественным. Еще бы!

Иностранных гостей Алексей Максимович принимал в Горках. Присутствовали многие члены нашего правительства. В столовой был ужин, проходивший очень взволнованно и интересно. Говорили речи. Меня Алексей Максимович просил сесть рядом с Мальро, благо я говорю по-французски, развлекать его и переводить, что будет нужно. Мальро был очень остроумен, но язвительно и критически ко всему настроен. Помню, я злилась и как могла парировала его «штучки». С речью он не выступал. Очень хорошо говорили Арагон, Эльза Триоле, испанская писательница Мария-Тереза Леон и многие другие.

Бывали все же у Алексея Максимовича в Горках и развлечения. Приезжали музыканты и певцы — Оборин, Юдина, Ирма Яунзем, Шостакович, Шапорин. Бывать вне дома на концертах Алексей Максимович просто был не в силах.

В театрах он бывал, но очень-очень редко.

При мне приезжал в Горки В. И. Немирович-Данченко. Привозил эскизы декораций Юона к «Егору Булычову». Обсуждали. Алексей Максимович сделал несколько очень дельных замечаний.

Не раз Алексей Максимович приглашал меня приехать в Крым в Тессели, где по требованию врачей он проводил зиму и весну. Осуществить эту поездку мне удалось в конце ноября 1934 года. Мне позвонил из Москвы по телефону секретарь Горького и сказал, что Алексей Максимович неважно себя чувствует и хорошо бы мне навесить его.

Я знала, как мучительно тяжело переживает Алексей Максимович смерть Максима. Маленькие внучки Алексея Максимовича — Марфа и Дарья — уже учились в школе и вместе с матерью находились в Москве. Я решила хоть на несколько дней съездить к Алексею Максимови-

чу... Мне удалось уладить мои дела в театрах, и 25 ноября я выехала в Крым. В Москве уже шел большими хлопьями снег, дул пронзительный ветер...

Через полтора суток я высадилась на вокзале в Севастополе, где меня встречал давнишний мой друг — Соловей. Нас ждал автомобиль.

...Машина остановилась у крыльца одноэтажного дома, построенного без особых архитектурных причуд, из грубо отесанных серых камней. В дверях я попала в объятия всеми любимой Липочки — Олимпиады Дмитриевны Чертковой. Смолоду она была горничной, а вскоре стала другом Марии Федоровны Андреевой и Алексея Максимовича. Позднее она окончила фельдшерские и акушерские курсы.

С 1929 года Олимпиада Дмитриевна жила в семье Алексея Максимовича в качестве медицинской сестры, ведала хозяйством и вносила, как всегда и везде, атмосферу уюта и радости. За здоровьем и режимом Алексея Максимовича она следила строго и неотступно, а он любил шутить и подтрунивать над ней.

А вот и сам Алексей Максимович!

Он вышел из своего кабинета легкой, мягкой, неслышной походкой, с добрыми ласковыми глазами и приветливо сказал: «Наконец-то пожаловали! Вот это хорошо! Пойдемте завтракать».

Я сразу же спросила его о здоровье и о работе. На первое, хитро подмигивая в сторону Липочки, он ответил: «Здоровье? Это я от вас, пожалуй, скрою! Ишь, какая вы любопытная! Вот поживете тут — сами увидите!» А на второе сказал: «Очень много работы... тружусь над Самгиным, пишу статьи, предисловия, нравоучения молодым писателям. Да и не только их приходится «нравоучать»... А ведь все это нужно! И как много всего нужно!.. И еще, как всегда, — редактура. Даже любопытно: до чего же некоторые безграмотно и неряшливо пишут!..»

В два часа все собрались за обедом в столовой. Алексей Максимович расспрашивал меня о наших ленинградских и московских знакомых. После моего краткого «отчета» он с юмором, но слегка раздраженно сказал: «А вот меня опять сослали сюда, да еще посадили под стеклянный колпак, и под праздники милый человек Липа приподнимает колпак и мягким веничком смахивает с меня слегка накопившуюся пыль, приговаривая: «Пыль — это очень вредно, Алексей Максимович!» А я говорю ей: что там пыль — жить вообще вредно!»

У бедной простодушной Липочки от этих слов начали навертываться слезы на глаза, а Алексей Максимович продолжал со смехом: «А вот еще что придумала эта «рыжая чертовка» (иногда в шутку он так называл Олимпиаду Дмитриевну). По утрам, ежедневно, мне предписано врачами выпивать два сырых яйца с соком, выжатым из половины лимона. Так, видите ли, она завела тут какую-то ненормальную курицу, которая несет яйца с двумя желтками каждое, и тут уж мне не отвертеться: яиц — два, а желтков — четыре! Факт!.. Проклятую курицу эту я вам потом покажу».

После обеда Алексей Максимович повел меня в парк, небольшой, но очень красивый, с тенистыми аллеями и дорожкой, спускающейся к самому морю. Похвастался гигантской аураокарией.

Восхищенно глядя на окружающий пейзаж, говорил: «Видите, какие красоты мы имеем в Крыму — не хуже Италии!»

Показывая мне большой серо-зеленый камень в рост человека примерно и как-то странно выбитый в разных местах, Алексей Максимович сказал: «Вот завтра покажем вам, как все мы тут трудимся — откалываем куски этого камня, ими будет выложен бассейн, который собираются здесь сделать. Сегодня по случаю вашего приезда решили

устроить день отдыха. Да вот и дождь начинает накрапывать! Идемте пить чай!»

Войдя в дом, где было прохладно и сыровато, он сразу же спросил: «Камин в столовой, надеюсь, еще не топили?» Он любил сам растапливать камин и печки... И на этот раз он, пройдя в столовую, подошел сразу к камину и стал деловито перекладывать как-то по-своему приготовленные уже в камине короткие и толстые поленья бука и очень ловко и быстро разжег их.

Вечером, после ужина, часов в девять, как обычно, сели играть в карты на полтора-два часа. Играли в «тетку». В одиннадцать часов Алексей Максимович ушел к себе, уже на ночь.

На следующий день утром неожиданно приехал побывавший на одном из крупных уральских заводов Л. Авербах — товарищ, хорошо знакомый всем нам по Москве. Он рассказал много интересного о людях и работе завода и привез в подарок от рабочих несколько произведений вновь восстановленного цеха художественного литья.

После обеда Алексей Максимович, вооружившись геологическим молотком, созвал всех домашних на работу — к камню. Не избавлен был от этого и приехавший товарищ, который очень быстро устал и вспотел. Алексей Максимович подтрунивал над ним. Остальные часа полтора трудились.

Наутро Л. Авербаха машина повезла в Севастополь на поезд, а обратно привезла приехавшего из Москвы секретаря Алексея Максимовича — П. П. Крючкова.

Алексей Максимович в тот день плохо себя чувствовал, мало выходил из своего кабинета и рано ушел спать. Мы же еще долго сидели за чайным столом и мирно беседовали.

Около двенадцати часов ночи секретаря позвали к телефону, который находился в одном из деревянных флигелей. Звонок был из Москвы, сообщили, что в тот день (это было 1 декабря) в Ленинграде в Смольной убит Сергей Миронович Киров.

Мы были совершенно ошеломлены этим известием. Решено было до утра ничего не сообщать Алексею Максимовичу об этом трагическом событии. Мы долго не расходились по своим комнатам. Казалось, что стало очень холодно и неуютно в доме. Вдруг послышалось какое-то грохотанье по дороге. Оказалось, что это приехала на грузовике военная охрана, присланная по распоряжению Москвы для охраны Алексея Максимовича.

Наутро, когда он вышел пить кофе, секретарь сообщил ему о смерти С. М. Кирова. Алексей Максимович побледнел, сильно закашлялся и ушел к себе в кабинет. Звонили в Москву, узнавали подробности, но их не было.

После обеда Алексей Максимович все же позвал всех дробить камень, но скоро бросил инструмент, сел на скамейку, стоящую поблизости в аллее, и как-то внезапно, сразу же заснул, опершись обеими руками на палку и сильно сгорбившись. Таким болезненным и старым я его еще не видела и впервые так остро и горестно осознала, что Алексей Максимович смертен, как и все.

Когда после ужина мы решили немного прогуляться и вышли за ворота Тессели, то дежурный из охраны, строго выполняя предписание, не хотел выпускать ни Алексея Максимовича, ни нас за ворота. Пришлось вызвать начальника, и тот разъяснил недоразумение, приказав дежурному взглянуть хорошенько в Алексея Максимовича и в нас и всегда пропускать туда и обратно.

Через несколько дней, с грустью распрощавшись с Алексеем Мак-

симовичем и остальными, я села в машину, которая доставила меня в Севастополь. Надо было возвращаться в Ленинград, на работу.

Лето 1935 года я проводила у Горького в Горках.

Однажды в ожидании обеда мы прослушивали в столовой кем-то привезенные новые пластинки с танцевальной музыкой. Вошли Алексей Максимович с Максимом Максимовичем Литвиновым. Решили обедать под музыку. Во время обеда Литвинов то и дело прерывал еду и приглашал Тимошу танцевать. Танцевал он ритмично и с невероятной для его тучной фигуры легкостью и изяществом, что и отметил Алексей Максимович, сказав: «А знаете ли, красиво это у вас получается! Потанцуйте еще, пожалуйста». Литвинов объяснил, что, занимая крупный дипломатический пост на Западе, ему пришлось научиться всем модным танцам, и теперь организм его просто требует этих упражнений, особенно во время еды. Когда он уехал, Алексей Максимович сказал: «Хорошо, что я не дипломат, а то пришлось бы танцевать».

Приехал в Советский Союз Ромен Роллан с женой. Жить будут у Алексея Максимовича в Горках. Переписка и дружба Алексея Максимовича с Ролланом длились много лет, а лично общаться они будут впервые. Алексей Максимович — гостеприимный хозяин, а в данном случае ему особенно хочется, чтобы Роллану было интересно, приятно, удобно и чтобы ему понравилась Страна Советов. Жена Роллана Мария Павловна — русская: переводчиков не нужно. Она очень деловая, суховатая с виду, светская. Подвижнически обихаживает Роллана, у которого, несмотря на это, умирающий вид. Он меня поразил: кажется, что это восковая фигура из музея Грэвен. Похож на пастора — всегда в черном, при стоячем крахмальном воротничке и даже без отвернутых уголков. На плечах всегда накинута пелерина. Если он садится, Мария Павловна немедленно прикрывает ему ноги пледом. Трудно поверить, что он написал «Кола Брюньона» и другие свои произведения. Значит, до чего же он талантлив и бодр духом, если, будучи таким немощным, столь бурно все чувствует, воображает и изображает.

Прожили Ролланы в Горках около месяца.

В Москве в то время гастролировал ансамбль грузинской песни и пляски. Кто-то рассказал Алексею Максимовичу про него, и он просил Крючкова устроить «гастроль ансамбля» в Горках — хотел доставить удовольствие Роллану.

Через несколько дней в Горки приехали человек двадцать пять грузин с руководителем. Часов в двенадцать дня они начали показ лучшего из того, что умели: то замедленные, то бурные — с кинжалами — танцы, многоголосое пение, музыкальный аккомпанемент на неведомых нам инструментах.

Роллан сидел не шелохнувшись. Программа шла больше часа, после чего внизу, в столовой, был устроен завтрак с грузинским вином. Алексей Максимович как-то необычайно деликатно и, я бы сказала, элегантно держался на втором плане, предоставляя Роллану и Марии Павловне быть хозяевами «приема» и положения.

Пили вино, произносили изощренные тосты, пели здравицы и песни. Роллан сидел ошеломленный. Особенно его заинтересовали и восхитили песни гурийцев. Он даже сравнивал их мелодии и музыку с Бетховеном и говорил, что обязательно напишет об этом подробно и с доказательствами.

Известно, как волновал Алексея Максимовича вопрос о перевоспитании беспризорников и малолетних пресгупников. Он неоднократно

бывал в знаменитой Болшевской колонии. Когда приехал Ромен Роллан, Алексей Максимович решил пригласить болшевцев к себе в Горки и показать ему их самостоятельность.

Об их необычайном худруке Алексей Максимович уже много рассказывал мне. Как раз Крючков привез этого человека в Горки для осмотра дома, чтобы решить, где и как будет происходить концерт. ...Вошел невысокий человек, походка пружинистая, лет сорока пяти — пятидесяти, рыжеволосый и рыжебородый (волосы выются), борода ассирийской формы, но не очень длинная, усов нет. Глаза серо-голубые, острые. Очень чист, и все аккуратно оправлено; никакой развязности — «дело есть дело». Видимо, привык говорить немного и обдуманно. Крепкое рукопожатие и глаза в глаза. Когда Алексею Максимовичу кто-нибудь нравился, он так чарующе и почти влюбленно глядел, что приголубленные таким приемом люди начинали сразу чувствовать себя хорошо и уверенно. Липочка разливала чай. Начался разговор Алексея Максимовича с приехавшим. Я была вся внимание, так как знала, что в прошлом (не таком уже далеком) это был один из лучших в мире взломщиков сейфов. Теперь ему вполне доверяют, и вот он пьет чай у Горького. Алексей Максимович о многом его расспрашивает. Он охотно рассказывает — хорошим, культурным языком, толково и без позы.

В ближайший праздничный день часа в два приехали на автобусах болшевы. Несложный инвентарь, нужный для концерта (ширмы и стулья), — на двух грузовиках. Вероятно, у них уже бывали выездные концерты. С ними приехал Погребинский — он явно волновался.

Выступления проходили на огромной террасе второго этажа. Были они очень интересны. В самых разнообразных сольных и ансамблевых номерах у многих «артистов» чувствовался талант, а увлеченность — у всех. Мы много аплодировали. Алексей Максимович, конечно, смахивал слезы, а Роллан не моргая смотрел на все. Объявлял номера и острил, как и полагается конферансье, наш знакомый специалист по сейфам. От волнения и расторопности у него взмокла рубашка.

За ужином были выступления и вне программы. Показывая на меня, Алексей Максимович сказал: «Познакомьтесь — это художник Валентина Михайловна Ходасевич, а кто у вас художник — обращайтесь к ней, она поможет и разъяснит вам многое». Художников оказалось человек десять, из них три девушки. Я предложила им объединиться в сторонке.

Вообще все разбилась на кружки: литература — вокруг Алексея Максимовича. Музыка — вокруг Роллана. Изо — около меня. Ребята увлеклись, бурлили. Алексей Максимович смотрел на всех с любовью, на прощание сказал напутственное слово. Благодарил и выступавших и руководителей. Говорил, чтобы готовили новую программу и опять приезжали в Горки, если понравилось. А потом Алексей Максимович часто возвращался к болшевцам в разговорах.

В 1936 году Алексей Максимович вернулся в Москву из Тессели, в самом конце мая. Дня через два я уже примчалась в Москву. Звоню Крючкову на Никитскую; говорит, что пошлет за мной машину к вечеру — ехать в Горки. После смерти Максима и моей поездки в Тессели мне всегда было беспокойно за Алексея Максимовича. В Горки приехали часов в восемь. Волнуюсь — с осени не видалась. Вбегаю в дом — Алексей Максимович встречает меня в вестибюле, все мои волнения кончаются: он неплохо выглядит и, как всегда, точно оживляющий душ — его ласковый сине-голубой взгляд. Тут же и Липочка. Он говорит нарочно строго, что мне ужинать придется сейчас же, — он будет ждать

меня в столовой. Очень неуютная столовая в Горках — серая, с бесконечно длинным столом, — но с Алексеем Максимовичем никогда не бывает неуютно.

Забегаю в комнату, где обычно живу, когда приезжаю в Горки, оставляю сумку, мою руки и бегу в столовую, где во главе стола сидит Алексей Максимович с папиросой и устраивает на досуге в пепельнице костер из спичек. Рядом — прибор для меня. «Какие новости? Рассказывайте, но извольте и ужинать», — говорит Алексей Максимович и встает, так как его начинает душить очень сильный приступ кашля. Наконец это мучение кончается, и он, как всегда, с каким-то слегка виноватым видом говорит: «Извините, пожалуйста. Видно, и Тессели уже не помогает». И он начинает рассказывать, кто его посещал в Тессели, какие новые дела намерен затеять, а меня спрашивает про ленинградцев.

Появляется Липочка, как всегда к вечеру — в профессионально белом медицинском халате. Я вижу у нее на лице беспокойство. Она подходит к Алексею Максимовичу, трогает его лоб и говорит: «Что-то мне не нравиться — нет ли у вас жара? Я думаю, вам лучше лечь — пойдете». «Вот видите, как меня угнетают в этом доме», — говорит Алексей Максимович, но видно, что ему очень нехорошо, и он, не сопротивляясь, следует за Липой, обещая завтра утром удивить меня своим новым приобретением.

Утренний кофе пили в зале верхнего этажа, чтобы Алексей Максимович не тратил времени и сил на спуск вниз. Ему не терпелось, и он еще до кофе пригласил меня пройти в кабинет. При этом я должна была честно закрыть глаза и открыть, только когда он скажет: «Смотрите!» Я даже волнуюсь. Все выполнила, открываю глаза и вижу замечательно написанную картину — ясно, что Нестерова. Я потрясена сюжетом: передо мной почти в натуральную величину на квадратном холсте изображена молодая женщина, умирающая от туберкулеза. Она лежит в постели. Сама она и все вокруг жемчужно-белое, волосы черные, и только запекшиеся губы и роза, почти падающая из безжизненно свисшейся, предельно исхудавшей руки, — черного, лилово-красного цвета, напоминающего густки крови. Это еще не смерть, но уже и не жизнь... В глазах девушки спокойствие и примиренность. Все тихо, естественно, торжественно и очень красиво. Без мелодрамы...

Но почувствовала я, что с картиной этой сама смерть вошла в кабинет Алексея Максимовича. Я нашла в себе силы повернуться к Алексею Максимовичу, а он как-то озорно посмотрел на меня и сказал: «Так-то вот... Удивлены? Я так и знал! А право же — великолепная картина!»

После завтрака я должна была уехать по делам в Москву. А Алексей Максимович к вечеру этого дня совсем разболелся и был уложен в постель.

С каждым днем положение его становилось все серьезнее и серьезнее. Был вызван синклит врачей. Я по несколько раз в день звонила по телефону в Горки, разговаривала с перепуганной Липочкой или Крючковым. Последний говорил: «Звоните мне или сюда, или в Москву, а пока видеть Алексея Максимовича нельзя». — «Ну, пусть видеть нельзя, я хочу быть в Горках». Крючков отвечал, что не знает, когда будет машина. Так я и ждала машину до 8 июня, когда меня телеграммой вызвал театр в Ленинград. Позвонила в Горки. Крючков сообщил, что Алексею Максимовичу лучше и мне разрешено приехать к вечеру, что он позвонит мне, когда за мной будет послана машина. Я поблагодарила и сказала, что должна вечером уехать в Ленинград. Буду оттуда справляться по телефону. Все кажется странным. Уезжаю в ужасном горе.

Очень мало что знаю о последних днях жизни Алексея Максимовича (может, он удивлялся, почему меня нет?). Понимаю, что мое присутствие в Горках сочли нежелательным, но кто... почему? До сих пор не понимаю, и это очень противно. Хоть бы знать, что Алексей Максимович не удивлялся, куда же я пропала,— все же было бы легче.

Приехала в Ленинград в смятении чувств и мыслей. Выпускалась какая-то премьера и что-то надо было рисовать, ходить на примерку костюмов актерам — полная загрузка, как всегда перед концом сезона.

Восемнадцатого июня освободился день, и мы с художником В. С. Басовым поехали в Детское Село к Алексею Николаевичу Толстому. Было часов двенадцать дня. Когда мы шли с вокзала к дому Алексея Николаевича, увидели на улице конных милиционеров, торопивших дворников вывешивать на дома траурные флаги. Я спросила: «Кто умер?» Милиционер ответил: «Великий пролетарский писатель Максим Горький». У меня было ощущение, что земля пошатнулась под ногами...

Толстой был дома и работал. Он еще не знал о смерти Алексея Максимовича...

Сидели мы на террасе долго, молча, какие-то оглушенные, чувствуя себя осиротевшими и несчастными. Начались телефонные звонки из Ленинграда — организовывались митинги и формировались делегации на похороны Горького в Москву.

Помню невыносимо горестный и одновременно очень торжественный вынос урны с прахом Горького из дверей Дома Союзов в Москве. Члены правительства, Алексей Николаевич Толстой и другие писатели благоговейно несли на Красную площадь носилки, утопавшие в цветах, на которых стояла урна, и поставили их на гранитную площадку Мавзолея Ленина. Начался всенародный митинг.

И не было дня после смерти Алексея Максимовича, когда бы я не хотела с ним посоветоваться или рассказать ему что-то. И всегда жалею, что, когда он был жив, мало было у нас так называемых «бесед» и всегда была некая обоюдная стеснительность.

Очень многие осиротели в тот ужасный день смерти Алексея Максимовича Горького.



РАСУЛ РЗА

★

СКАЖИ ГЛАЗАМ ТВОИМ

(С азербайджанского)

Скажи глазам твоим --
пусть в сон мой не приходят
ни яркими,
ни темными от слез.
Скажи губам твоим —
пусть сердце не тревожат
ни нежностью,
ни ропотом угроз.
Упали годы мне на плечи
слой за слоем,
не скинуть
эту ношу бытия.
Пусть!
Приходи.
Останемся с тобою
на вечный миг,
в котором ты и я.
Рука к руке,
душа к душе,
в молчанье,
с безмолвным словом,
спрятанным в груди.
Кто знает —
может, это лишь начало
всего того, что будет впереди.

Перевела М. Павлова.



ФЕДОР АБРАМОВ

★

ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА *

Роман

Глава одиннадцатая

1

ЛУКАШ габ по подписке на заем собрался в правлении к семи часам утра.

Ганичев, уполномоченный района, вручил необходимые бумаги парторгу Озерову (Озеров с Анфисой должны были охватить подпиской нижнюю часть деревни), затем еще раз предупредил:

— Не ниже контрольной цифры. Выше можно, а ниже нельзя.

— Ясно,— сказал Озеров.

Контрольные цифры по займу Ганичев подработал еще дня за два до объявления закона о займе, так что, когда объявили закон, ему оставалось лишь внести небольшие уточнения. Собрание коммунистов тоже провели вовремя. И тем не менее подписку на заем в Пекашине из-за похорон Трофима Лобанова (не перенес старик смерти сына), пришлось отложить на два дня: нельзя, немислимо было открывать такую политическую кампанию под рев да причитания баб.

— Этот старик нам еще выйдет боком,— хмуро заметил Ганичев, поворачивая от правления в верхний конец деревни.

Лукашин промолчал, борясь со встречным ветром.

Ветер дул с севера — остервенело, с собачьим визгом. Пинега, зажатая холодом, еще не освободилась от льда — стонет, мается, как роженица, а протолкнуть лед не может. И глядя на реку, на подгорье, на голые, окоченевшие поля, где местами еще держался снег, Лукашин думал сейчас об этих полях, на которых не было ни одной кучки навоза, о том, что обычный расчет пекашинцев на воду-вешницу, на даровой навоз — ил — в этом году не оправдается. Не выйдет нынче река из берегов — это теперь даже малому ребенку было ясно. А раз не выйдет — какой же выход? Вози скорее навоз на поля, благо и погода позволяет. И он, между прочим, так и думал, вернувшись с лесозаготовок: всех бросить на навоз. Нет, стоп! — сказал район. Берись-ка сперва за заем. Эта кампания на повестке дня.

За медпунктом Ганичев начал сворачивать с передней улицы на задворки, и Лукашин удивленно выгнул бровь.

— Военная хитрость,— сказал Ганичев и подмигнул, обнажая в улыбке два ряда крепких железных зубов.

Свси зубы Гаврило Ганичев, как шутили над ним, съел на кампа-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

ниях. Это был старый коняга — районщик, сухой, жилистый и очень выносливый, один из тех уполномоченных-толкачей, которые из года в год, и зимой и летом, и в мороз и в грязь, колесят по районной глубинке — пешком, на случайных подводах, на попутных машинах, как придется.

— Ты что, первый раз на займе? — спросил Ганичев.

— После войны первый.

— То-то. А я на этих займах каждую весну. Знаю колхозную публику. Ты к нему в заулок, а он стрекача через поветь. Ты к следующему дому, а там уж кол в воротах. Понял? И тут треба пошевелить мозгой, а не с песнями вдоль деревни...

Не нравилась Лукашину эта затея с блужданием по задам — они не на войне, чтобы брать каждый дом с тыла. Да и какой он председатель, ежели от него шарахаются свои колхозники? Но он не стал спорить. Его, Ганичева, теперь власть в Пекашине. Вчера, например, Ганичев отдал распоряжение: завтра, в первый день подписки, никого на работы не посылать. И вот идут они мимо скотного двора, мимо конюшни, проходят колодцы — всё места, где по утрам толчется народ, а сегодня никого. Будто жизнь остановилась в Пекашине.

И Лукашин опять заметался в мыслях по своей председательской колее. На носу сев — основа основ деревенского бытия, а что он застал в Пекашине пять дней назад, вернувшись с Ручьев? Полное запустение, если не считать нетесовского звона в кузнице. А Михаил Пряслин, его заместитель, чуть ли не при смерти: жесточайшее воспаление легких. И так, оказывается, уже десять дней. Десять дней колхоз без хозяина! Весной, накануне сева...

Крайний дом в верхнем конце деревни, к которому они поднялись от заболотья по меже, принадлежал Варваре Иняхиной. Окна заколочены, вход на знакомое крылечко загорожен двумя досками... Варвара раза три попадалась ему на глаза в райцентре, но каждый раз, завидев ее, он сворачивал в сторону. В общем, вел себя глупо, как мальчишка. Но что он мог поделаться с собой, если на память ему тотчас же приходили Григорий и Анфиса?

— Шестьсот восемьдесят с ней, — сказал по памяти Ганичев, затем на всякий случай вытащил из парусиновой сумки контрольный список. — Да, шестьсот восемьдесят, — подтвердил он.

— Она теперь не наша. У вас, в райцентре, живет.

— Ничего подобного. По спискам колхозница.

— Да таких колхозниц и колхозников у нас хоть пруд пруди.

— Где она работает? Кажись, в милиции?

— Кажись.

— Ладно, — уступил Ганичев. — Свяжусь вечером с Нефедовым. Ежели согласится перечислить ее подписку на ваш счет, тогда похерим.

— А ежели не согласится?

— Может, и не согласится. У него свое задание.

Следующий дом — Лобановых — они, не сговариваясь, прошли мимо. Тут все еще напоминало о недавнем покойнике: на изгороди раскинут перинник из старой мешковины, холстяные порты и рубаха хлопают на ветру под окошками, а под навесом — черемушья дуги, стянутые кручеными прутьями, горбыли и плахи, березовые кряжи для полозьев. Жить и работать собирался старик.

Лукашин, вернувшись с лесозаготовок, застал Трофима еще в живых, но уже без памяти.

В избе было душно, чадила копилка на печке, баб да детишек полно, и Лукашин сперва подумал было, что это земляки пришли прощаться со стариком, а потом, как увидел на одном ребячьем лице круглые

выпуклые глаза, на другом, на третьем, понял: Трофимова семья. Невестки и дочери, внуки и внучки...

Вышедшая вслед за ним на крыльцо Игнатьевна, жена Трофима, заговорила насчет того, что старик, мол, когда еще был в памяти, проился в старую веру. «Ничего, ежели мы позовем Евсея Тихоновича?»

Лукашин тогда отмахнулся: что за дурь? Не все ли равно, в какой вере умирать старику? А сейчас, вспомнив это, покачал головой: зря, зря отмахнулся. Чуть, дурь — всяко можно назвать стариковскую затею. Но разве он не заслужил, чтобы уважили его последнюю волю?

Поздно, поздно переучивать человека на смертном одре. Да разве и мало учили Трофима? Когда, какое еще поколение столько ломала и корежила жизнь? Ну-ка, темный, неграмотный мужик, в пятьдесят — шестьдесят лет поставь крест на своем прошлом, начни свою жизнь заново... А война последняя? А беды послевоенные? Стой, старик! В землю заройся, а стой. На твоих плечах держава держится...

— Чуешь, что говорю? — толкнул Лукашина под локоть Ганичев, когда они, миновав еще два нежилых дома, без рам, без огорода вокруг, брошенных хозяевами еще до войны, свернули к Яковлевым. — Воробыши, говорю, к дому жмутся.

— Думаешь, к холоду? — спросил Лукашин.

— А я о чем толкую? У меня — отправлялся в командировку — на три печки дров оставалось. Теперь, наверно, кукарекают.

Ганичев старательно прокашлялся, затем придал лицу другое, не омраченное домашними заботами выражение и только после этого вошел в дом.

2

Яковлевы завтракали. Старик, старуха и трое детей: два мальчика и девочка — постарше своих братьев, лет четырех-пяти, очень бледная, худенькая, золотушная.

Завтрак по старинке правил старик. На столе перед ним стояла крынка с горячей нечищенной картошкой и низенькая оловянная солонка с берестяным пояском — хлеба не было.

К тому времени, как вошли в избу Ганичев и Лукашин, старик уже отсыпал детям по маленькой щепотке серой зернистой соли — прямо на стол перед каждым — и принялся за распределение картошки.

Ганичев объяснил, зачем они пришли.

— Хорошее дело. — буркнул под нос себе старик и, покатав в ладонях горячую картошину, начал обдирать с нее кожицу.

— Ну как, дед? Сколько отвалишь на восстановительный? — бодрым голосом спросил Ганичев.

— Да разве с нас причитается, милой? — удивилась старуха. — В прошлом году, кабыть, с нас не брали, Осип?

Старик с невозмутимым спокойствием продолжал свое дело. Очищенную картошину он положил перед самым младшим внуком, погладил его по головке и взялся за следующую.

Мальчик постарше и девочка, вытянув шеи, не сводили глаз с деда.

— Хозяйка молодая где? — спросил Ганичев.

Анна, дочь стариков, бойкая и миловидная девка, с которой Лукашин только что вернулся с лесозаготовок, ушла трушничать — собирать сенную труху по дорогам.

— Коза со вчерашнего ревет — нечего подать, — пояснила старуха и обратилась к Лукашину: — Сенца-то, Иван Дмитриевич, нам не дашь?

— Надо посмотреть, бабушка. Я месяц дома не был.

Старик к этому времени очистил вторую картошину и дал второму внуку. А девочка, сглотнув слюну, все еще ждала своей очереди.

— Пойдем... В другой раз зайдем...— сказал Лукашин на ухо Ганичеву.

Ганичев строго посмотрел на него и молча ткнул пальцем в свой список — в цифру «480».

Старуха, когда он назвал ей эту сумму, изумилась:

— Да что ты, милой! Откуда у нас такие деньги?

— Откуда? Могу сказать.— Ганичев не зря просидел три дня в правлении. В его списке против каждой фамилии были помечены доходы.— За сына пенсию получаете? — Ганичев загнул палец.

— Велика пенсия. Сто сорок рубликов.

— Анна в лесу работает? — Ганичев загнул второй палец.

— Ох уж Аннина работа!.. Кажинной год по ребенку из лесу привозит. Это вот все найдушные,— кивнула старуха на детей.— За пять лет насобирала. А ноне, может, опять с грузом... Жила-жила сука, блюла-блюла себя, а тут ворота настезь раскрыла — слóва не скажи...

Старика этот разговор, по-видимому, заинтересовал. Он положил недочищенную картошину на стол, прикрыл ее рукой, а вторую руку поднес к большому волосатому уху, потом вдруг нахмурился, посмотрел на картошину, подержал в руке, словно припоминая, что ему с ней делать, и отправил себе в рот.

У Лукашина не хватило духу взглянуть на позабытую девочку. Он встал и вышел из избы. Минут через пять вышел оттуда и Ганичев — мрачный, с сурово поджатыми губами.

Подписка началась скверно. Хитрость Ганичева с обходным маневром, как вскоре выяснилось, тоже не удалась. В одном доме их встретил увесистый замок. В воротах другого дома была приставка.

— Кто-то уже предупредил — брякнул,— сказал Ганичев, подозрительно разглядывая березовый колышек у железного кольца ворот.

— Да почему предупредил? — возразил Лукашин.— Время-то смотри где. Разве у людей мало своих дел?

— Дел... Сказывай про дела...— Ганичев вдруг вскинул голову, быстрым, наметанным взглядом обежал заулоч.

В конце заулка у жердяной изгороди стоял низенький, с односкатной крышей хлевок. Дверка у хлевка была прикрыта неплотно, и из щели шел пар.

Ганичев с неожиданной для его лет резвостью подбежал к хлевку, распахнул дверку:

— Вылезай! Не овца еще, чтобы в хлеву жить.

К великому изумлению Лукашина, из хлева выползла Прасковья.

— Я это ярку проведать пошла... Что, думаю, на работу не посылают — все утро у окошка просидела...

— Ясно, ясно... Только в следующий раз дверь пошире растворяй, а то задохнешься.

С Прасковьей хлопот не было. Она подписалась так, как было запланировано у Ганичева. А вот с Петром Житовым они попотели...

Петр Житов был в загуле — от него так и разило сивухой. Первые два дня он пил по случаю майских праздников, потом подошли похороны Трофима Лобанова — и как же было не почтить память старика?

На этот раз инициативу взял в свои руки Лукашин.

Петр Житов выслушал его, не перебивая, и, наверно, минут две сидел молча, тупо уставившись на них своими мутными и красными с перепоя глазами. Затем скрипнул протезом в кирзовом сапоге, преждевременно, как копьё, выбросил его вперед и вдруг с неожиданным воодушевлением воскликнул:

— Прикрасно, прикрасно! Жена, сколько я наколотил трудней в прошлом году?

— Триста пятьдесят, кабыть,— ответила Олена из-за ситцевой занавески от печи.

— Так. А сколько в этом?

— Девяносто-то, наверно, есть.

— Девяносто! — Петр Житов поднял толстый обкуренный палец.— Это с января месяца, за зимнее время. Минус апрель, который выпал по причине месячника в лесу. Неплохо, товарищи? Не уронил Петр Житов честь инвалида Великой Отечественной, а?.. Все так трудятся в колхозах?

Ганичев ответил в том духе, что хорошо, дескать, трудишься. Стахановцем можно назвать.

— Ну, Петр Житов и в подписке будет стахановцем! Какая, товарищ Ганичев, самая большая подписка в районе? А? К примеру, товарищ Подрезов, первый секретарь райкома?

— Это тебе зачем?

— А затем, что хочу, так сказать, по самым вышкам равняться. Оклада на два?

Ганичев после некоторой заминки хмуро кивнул.

— Так, на два... Первый секретарь... Ну, а я, товарищ Ганичев, подписуюсь на три месячных оклада. Устраивает? И заметь: все плачу сразу, наличными. Жена, где у нас деньги? Чего прячешься от гостей?

— Не команду! Сиди, коли нажорался...

— А-а, понятно, дорогуша,— с непонятной веселостью рассмеялся Петр Житов и кивнул на занавеску.— Сидит, как в капкане. По причине женской раздетости и недавнего кормления ребенка. Извиняюсь, Олена Северьяновна.

Он встал, достал с полки над столом измятую ученическую тетрадку и синий плотничный карандаш и начал что-то подсчитывать. Окончив подсчет, сказал:

— Пиши, товарищ Ганичев. Девяносто трудодней и тринадцать рублей пятьдесят копеек.

Ганичев принудил себя улыбнуться:

— А из тебя бы, Житов, неплохой артист получился.

— Думаешь?

— Думаю. Но мы не комедию пришли смотреть.

— Эх, товарищ Ганичев! — с наигранной обидой покачал головой Петр Житов.— Человек на трехмесячный оклад подписывается, а ты ему так говоришь... Смотри.— Он снова взял карандаш.— В прошлом году я набрал триста пятьдесят трудодней. В этом году, думаю, наверчу не меньше. Округляем до трехсот шестидесяти — я не жадный. Триста шестьдесят делим на двенадцать — это сколько будет? Тридцать. А за три месяца, стало быть, девяносто. Так? Так. Теперь деньги. В этом году на грудодень ни хрена еще не выдали. Ладно. Возьмем по прошлогоднему. Одиннадцать, даже пятнадцать копеек для круглого счета. Пятнадцать множим на девяносто — сколько получится? По-моему, арифметика ясная — тринадцать рублей пятьдесят копеек. Проверь, проверь, товарищ Ганичев.

— Не валяй дурочку! Умник. Ты что — первый раз на заем подписываешься? Когда это трудодни на заем брали?

— Ах, так! Колхозная валюта не годится? Нет, нет, погоди, товарищ Ганичев. Ответь! Вот я тебя спрашиваю: что такое эта самая колхозная валюта?

— Помолчи лучше! — подала раздраженный голос из-за занавески Олена.— Не помнишь ведь, чего мелешь.

— А я и тебя спрашиваю, колхозный счетовод. Ответь! Что такое колхозный грудодень? — И Петр Житов пристукнул кулаком по столу.

Лукашин, чтобы прекратить эту бессмысленную дискуссию с пьяным, напомнил, что он, Петр Житов, помимо трудодней, имеет еще и денежные доходы. Разве за апрель месяц он плохо в лесу подзаработал?

— Неплохо, — согласился Петр Житов.

— И пенсию получаешь, — добавил Ганичев.

— А-а, товарищ Ганичев и это учел! Правильно — получаю. Сто двенадцать рублей получаю. А сколько мои родители престарелые получают — это тебе известно, товарищ Ганичев? Нет? А кто их поит-кормит? Давай обсудим и этот вопрос...

— А я думаю, сперва язык твой обсудить надо! Понял? А то он у тебя разболтался — гаек не хватает.

— Давай, давай... Все на испуг взять хочешь, товарищ Ганичев. А я пуганый — это тебе тоже не мешало бы знать. — Петр Житов приподнял ногу с протезом, постучал кулаком по деревяге ниже колена. — Чуешь, какая музыка?

Они так и вышли от Житовых, ни до чего не договорившись.

На улице Ганичев внимательно оглядел дом Житовых.

Дом был новый — единственная новая постройка во всей деревне, появившаяся после войны. И все вокруг дома было по-хозяйски уделано, все под рукой: колодец с крышкой, погреб, баня.

— Какое у него социальное происхождение? — спросил Ганичев.

Лукашин не знал точно, кем был отец Житова до колхоза — бедняком или середняком. Да и какое это значение имеет сейчас?

— Имеет, — сказал Ганичев. — Откуда у него эта начинка? Я думал, ты, товарищ Лукашин, политически острее.

— Брось, Ганичев! Не тот заход. Это в двадцатые да в тридцатые годы чуть что — и кто твои родители.

— Кем работает у него жена? — продолжал гнуть свое Ганичев. — Счетоводом колхоза?

— Да.

— Надо освобождать.

Они заспорили. Олена была неважным счетоводом — увязла в своей семье. И Лукашин еще в первые дни своего председательства подумал: надо подыскивать нового счетовода. Но увольнять Олену за то, что муж ее загнал их в угол, а они ни черта толком не могли возразить ему — нет, с этим он не согласен.

— Подумай, подумай, товарищ Лукашин, — сказал Ганичев. — Колхозный аппарат... — И не докончил.

Они оба устали, измучились. Хождение от дома к дому, из заулка в заулк, одни и те же разговоры и уговоры — все это начисто измотало их.

3

Дом Ильи Нетесова они оставили напоследок. Член партии, свой человек — не надо кружить вокруг да около. А кроме того, дом Ильи был одним из самых благополучных домов в деревне: хозяин вернулся с войны, и совершенно целехонек, детей немного и, наконец, руки золотые у мужика — куда же лучше?

Самого Ильи дома не оказалось — он был в кузнице, и за ним побежала девочка, такая же черноглазая и смуглая, как мать. И вообще, как заметил сейчас Лукашин, которому лишь однажды доводилось заходить к Нетесовым, и остальные дети — два диковатых мальчика, настороженно поглядывавших на них с печи, — походили на Марью: ничего от светлого, голубоглазого отца в них не было.

Марья встретила их не то чтобы сдержанно — враждебно. Подняла черные колючие глаза от белья, которое чинила, сидя на железной кро-

вати местной ковки, буркнула что-то вроде: «Проходите», и больше на них не взглянула. Сидела, затягивала одну за другой дыры на ребячьих рубашках и одновременно ногой в валенке, на который была надета петля, качала зыбку, наглухо завешанную старым ситцевым сарафаном.

Ганичева, однако, этот прием не смутил — за свою службу он навидался еще и не такого. Ганичев запросто, по-домашнему снял свое пальто — холодное, без ваты пальтишко из грубого черного сукна, какие и в войну и после войны выдавали по талонам, — повесил на вешалку возле дверей и, потряхивая головой (он с детства прихрамывал), направился к печи.

Что-то детское, радостное проступило на его бескровном, постном лице, когда он назябшими руками нашарил теплые кирпичины. Он обернулся к Лукашину, кивком приглашая его по-товарищески разделить тепло, затем поднял голову кверху:

— Дыр на печи еще не навертели?

Ребятам очень понравилась шутка чужого дяди. Они громко рассмеялись, затрещали лучиной.

— Тише вы, дьяволята! Уймитесь! — закричала на них мать. Закричала грубо, по-бабьи, с явным расчетом поставить на свое место Ганичева. И Лукашину вдруг стало обидно за Ганичева.

Все ругают, клянут человека, все стараются сорвать на нем свою злость, а ежели разобраться, разве он виноват? Для себя старается?

Заем, налоги, хлебозаготовки, лес — все уполномоченный! Тащись к дьяволу на кулички. В дождь, в мороз, в бездорожье. И хорошо бы на подводе, на машине, а то ведь и пехом, на одиннадцатом номере. Четыре дня назад, когда Лукашин вернулся домой с лесозаготовок, — звонок из райкома: Ганичева к телефону.

— Какого Ганичева?

— Как? Разве он еще не у вас — вчера утром к вам вышел? Ну, значит, на Синельге загорает.

И точно — Ганичев, совершенно закоченевший, сидел у сбитого моста через Синельгу. Сидел и ждал какой-нибудь подмоги, чтобы перебраться за бурно разлившуюся речку.

И подобных случаев немало было за многолетнюю службу у Ганичева. А жаловаться? Облегчить себя руганью? Заручиться сочувствием других? Ни-ни-ни! Улыбайся, бодрись, агитируй, хотя бы у тебя при этом кишки лопались от голода.

А голода Ганичев хватил и в войну и после войны. Семья большая, шестеро детей — Лукашин ночевал у него как-то, — и все шестеро в одинаковых железных очках. А отчего в очках?

Впрочем, для того, чтобы знать, как живет районный служащий Ганичев, для этого совсем необязательно заглядывать к нему домой. Для этого достаточно взглянуть на его сухое, цвета осенней травы лицо, на его китель и галифе из чертовой кожи, которые так затерты и залощены, что издали кажутся жестяными.

Илья вошел в избу запыхавшись — не иначе как бежал, — кивнул с порога, сполоснул руки под рукомойником и еще раз поздоровался — уже за руку, крепко, как товарищ с товарищами.

— Ну как наше Пекашино — не подкачало? — спросил он. И по тому, каким тоном спросил, было ясно, что подписка для него не постороннее дело.

— Активность неплохая, — ответил Ганичев. — Народ понимает, на что пойдут его трудовые сбережения.

Он сел к столу, вынул из сумки ведомость и химический карандаш и прямо, без всякого предисловия сказал:

— На тысячу двести вытянешь?

— На тысячу двести? — Илья, будто споткнувшись на ходу, посмотрел себе под ноги, посмотрел на жену. — Вечор, кабыть, на шестьсот говорили. Так как будто...

— То вечор, а то сегодня. Вечор, к примеру, мы вовсе попа не планировали. А он возьми да и бухни семьсот.

— Евсей Мошкин?

— А кто же еще! Хватит вам и одного попа на деревню, — пошутил Ганичев.

Насчет Евсея Мошкина Ганичев немного призагнул. На самом деле Евсей Мошкин подписался не на семьсот, а на четыреста пятьдесят. Правда, деньги выложил все сразу — чистой монетой.

— Ну так как? — Ганичев взял карандаш. — Хорошо ли это? Член партии, а у попа в хвосте. Что народ скажет...

— Да оно, конечно...

— Пишу.

— Видишь, какое дело, товарищ Ганичев... — Илья опять посмотрел на жену. — Без молока живем. Охота бы какую животину занять. Хоть бы козу на первое время... Ребятишки...

— У всех ребятишки. А заем-то зачем, голова садова? Чтобы этим самым ребятишкам хорошую жизнь устроить. Так?

— Да так... — вздохнул Илья.

Сверху, с печи, четыре ребячьих глаза сверлили Лукашина. Марья перестала качать зыбку.

Ганичев старательно вывел цифру «1200», поставил птичку:

— На-ко, приложись.

Илья расписался. Девочка по его знаку, став на табуретку, сняла со шкафа берестяную плетенку и подала отцу.

Ганичев тем временем принялся вписывать его фамилию в другую ведомость, в ту, в которой записывался первый взнос наличными.

Илья присел к столу с другого края, раскрыл плетенку, вынул оттуда стопку купюр — рублями. Стопку эту он не стал пересчитывать. Деньги на заем у него, как понял Лукашин, были отложены заранее, наверно, еще со вчерашнего дня, после того как он пришел домой с партсобрания.

— Двести, — сказал Илья и положил стопку перед Ганичевым.

— Двести? Нет, друг ситной, не пойдет. Попы у нас все чистоганом вносят, а ты член партии...

— Да я понимаю... — Илья растерянными глазами поглядел на Лукашина: не замолвишь ли, дескать, словечко?

Лукашин поднял глаза к потолку и с подчеркнутой заинтересованностью стал рассматривать железное кольцо, в которое был продет березовый, с поперечными насечками оцеп. А что он мог сделать? Сказать Ганичеву: хватит? Но разве для этого он сюда пришел?

Оцеп судорожно подпрыгнул, подол старого сарафана на зыбке задрался, как если бы с пола вдруг поднялся ветер. Это Марья, сбрасывая с ноги петлю, рванула напоследок.

— Половину, — раздался твердый голос Ганичева.

— Не осилить, товарищ...

— Давай, не осилить! Вон ведь какой сейф завел. Зазря?

Илья покачал головой.

— Коммунист! Член партии. Ай-ай-ай! Попы у нас сознательнее...

Довод этот, как и раньше, оказался для Ильи решающим, и он уже больше не торговался.

Зыбка, которую качала теперь девочка, заходила резче. В задосках что-то грохнуло.

— Поздравляю,— сказал торжественным голосом Ганичев.— Молодец! Не уронил звания.

Лукашин обернулся и увидел, как Ганичев пожимает через стол руку Илье. Оба они стояли.

Лукашин тоже встал. Наконец-то кончилось испытание в этом доме. Но где ему было знать, что взбредет на ум Ганичеву в эту минуту? А Ганичев, ободренный успехом, решил сделать хозяйство Ильи Нетесова показательным по подписке.

— Хозяйка,— воскликнул он по-свойски,— а ты чего отстаешь? Давай — тянись за мужиком.

Марья из задосок не отозвалась.

— Чего она у тебя? На ухо медведь наступил?

— Марья,— глухо позвал Илья,— тебя зовут.

Марья и на голос мужа не отозвалась.

Ганичев с видом человека, объявляющего выговор, сказал:

— Хорошо воспитал жену! А мы хотели тебя на красную доску.

В газете напечатать...

Вот тут-то Марья и подала свой голос. В задосках вдруг забренчала посуда, со звоном что-то упало на пол, а потом выскочила оттуда и Марья.

— На! На! И про это напечатай! — И сунула Ганичеву какой-то серый землистый кусок, и по цвету и по форме напоминающий стиральное мыло.

Ганичев — человек бывалый — не растерялся. С Марьей разговаривать не стал. Ответ потребовал с Ильи.

— Что это? — спросил он не своим, служебным голосом и указал глазами на кусок в своей руке.

— А-а, што это? Не знаешь, што это? А вот это то, што мы едим. Не едал такого хлебца? И ты, председатель, не едал? Постой-постой, я и тебя угощу! — Марья вынесла из задосок еще такой же кусок.— На, поешь моего хлебца — тогда и заем с меня спрашивай...

— Марья...— сказал умоляющим голосом Илья.

— Што, Марья? Неправду говорю?

— Мама, мама...— закричала девочка.— Надька плачет...

Ребенок в зыбке и в самом деле хныкал — и он выручил всех. Марья подошла к зыбке, а Ганичев стал собирать со стола бумаги — теперь можно было отступить, не уронив своего авторитета.

Все же последнее слово произнес Ганичев.

— Подумай,— кивнул он Марье из-под порога.— Лучину-то шепать можно и не головой.

И — Илье, когда они вышли на крыльцо:

— Распустил бабу! А что это у тебя за наглядная агитация в углу? Член партии... С иконами в коммунизм собрался. Смотри! Гужи ей не подтянешь, мы тебе подтянем...

Илья не оправдывался. Да и что он мог сказать в свое оправдание? Иконы в избе действительно были.

Сосны росли за баней — толстые, суковатые, кора на комле в вершок. и их давно надо бы срубить. Об этом его постоянно просила Марья: «Как в лесу живем. Воют. стонут на каждую погоду». О соснах ему напоминали соседи: «Смотри, искра в сушь падет — вмиг сгоришь и нас спалишь».

Но Илья, обычно во всем уступчивый и податливый, тут не сдавался.

Он привык к этим соснам, привык к их шуму и говору. Друзей у него не было. Компании по пьяному делу он не водил — редко, разве что по большим праздникам, пропускал стопочку. А надо ведь, и ему с кем-то отвести душу.

И вот когда у него выпадала свободная минутка, он шел к соснам. Сядет на скамеечку за баней, выкурит сигарку-две — и, смотришь, полегчает на сердце. Шумят сосны. Есть, значит, на земле большая жизнь. И пускай эта жизнь еще не дошла до ихнего Пекашина, пускай она только верховым ветром проходит над Пекашином, а все-таки есть она, есть...

Вечерело. Илья выкурил уже две сигарки подряд и стал сворачивать третью. И сосны не молчали сегодня — крепко, с остервенением раскачивал их сиверок. А обычного облегчения не наступало. И мыслями он по-прежнему был в своей избе. Что там сейчас? И как, как все это случилось?

После того, как он проводил Лукашина и Ганичева, он минут пять бродил по заулку — чтобы успокоиться. И, кажется, успокоился — растряс злость на Марью. В избу вошел с миром.

Витька и Толька рылись в его берестяной канцелярии — чего же ожидать от ребят? — и он даже пошутил:

— Что, сыны, отцовские бумаги проверяем? Домашний контроль?

Старший, Витька, — нелюдимый парнишка — при этих словах отскочил от стола в сторону, а младший упал и заплакал.

Илья помог ему встать на ноги — и что же увидел в его ручонке, зажатой в кулак? Медаль «За взятие Кенигсберга».

— А вот это уже нехорошо, сынок, — сказал он и погрозил ребятам пальцем.

Боевые награды у него хранились в плетенке на самом дне. Он вынул из плетенки бумаги, проверил. Ордена на месте, медаль «За оборону Москвы» тут, медаль «За победу над Германией» налицо... А где же медаль «За боевые заслуги»?

Илья перебрал бумаги так и эдак — нет медали.

— Ребята, вы взяли медаль?

Витька и Толька заревели, кинулись в задоски под защиту матери.

— Где, спрашиваю, медаль?

— Не ори, к дьяволу! — закричала Марья. Она шагнула из задосок, загородила собою ребят. В глазах ненависть, брови сведены — казалось, она только и ждала этого предлога, чтобы вцепиться в него. — Медаль! Ребенок ты — бляшками играть?

— Медаль — бляшка? Ты подумала?..

В сорок втором году под Вязьмой они трое суток штурмовали хутор. Трое суток — без сна, без еды, через минное поле. И их осталось от роты всего пять человек, когда они заняли хутор. И всех пятерых наградили медалями «За боевые заслуги» и приняли в партию. И он, оглохший, растерзанный, с обмороженными руками, не свалился замертво, как другие. Он стал писать письмо домой. «Здравствуй, дорогая жена! Здравствуйте, дети! Сегодня для меня и для всех нас открылась дорога жизни...»

Илья ударил Марью по щеке...

И самое ужасное, как ему казалось сейчас, было то, что он ударил Марью при детях, при Вале...

Марью хвалить не за что. Не дай бог никому такой характер! И все поперек, все супротив. Он ей слово, а она ему десять. И насчет икон этих — сколько ей говорено! Надо тебе иконы, не можешь без них — шут с тобой, не препятствую. Повесь в задосках и молись — хоть лоб

расшиби. А зачем позору-то его предавать? Кто он в конце концов в своем доме? Постоялец? Приживальщик?

Илья, обжигая губы, затянулся в последний раз, затоптал сапогом окурков, вздохнул.

Много, много обид он мог бы предъявить своей Марье. И неряха она, каких поискать. Утром встанет, заткнет космы за плат и пошла растрепанная растрепой. Ворота рубахи не застегнут, груди болтаются, крест на грязном гайтане болтается — глаза бы не глядели. И с людьми живет, как упырь, — ни она людям, ни ей люди. А если он в правлении засидится — «А-а, делать тебе нечего! Не начитался своих газеток!..» А приготовить чего-нибудь поесть? Нет, они не едали ничего вкусного, даже когда в доме что было...

Да, все это так, вздохнул Илья, не за что хвалить Марью. Но, с другой стороны, кто бы связал с ним жизнь тогда, в тридцатом году, когда он был твердозаданцем, кандидатом в кулаки? А Марья связала. И разве она попрекнула его хоть раз за то, что страдает из-за него, из-за его отца? Это теперь-то он человек, голову несет прямо, а тогда...

В сельсовет пришли записываться — «Не дури, девка! Ты беднячка. Тебе дорога открыта...» «Нет, — сказала Марья, — мужика своего не брошу. И хоть на Соловки, хоть в могилу, а с ним». Вот как тогда сказала Марья... А в тридцать третьем году, когда у них был голод и он отдавал концы... «Марья, Марья, побереги себя. Тебе ребенка кормить»... «Нет, сперва я умру с ребенком, а потом ты»... И он, Илья, не умер, а умер ребенок...

То ли ветер в эту минуту сильнее обычного тряхнул околенику в сенцах, то ли мерзлая земля хрустнула под ногами, но Илье показалось, что за углом бани кто-то есть.

— Валя... Валентина, ты?

Валя с опущенной головой подошла к отцу. Он притянул ее к себе. Ручонки холодные, сама вся дрожит — наверно, продрогла на ветру, выжидая, когда отец догадается позвать к себе.

Да, вот так: у кого сыновья отца держатся, а у него, наоборот, — дочка.

Илья иногда задумывался над этим. Почему так? Почему в кузнице у него всегда чужие ребятишки вертятся, а свои носа не покажут? Малые еще? Зато Валя — не было ни одного дня, чтобы не забежала к отцу. День у него так и делился: это до Вали, до двух часов дня, а это после Вали. И не надо часов. Дождь ли, снег ли, мороз ли, а Валя свое дело знает. Строчит по дорожке в кузню. И всегда одно и то же:

— Пятерка, папа!

Валя училась в пятом классе. Училась лучше всех. И самой, пожалуй, большой радостью для него с тех пор, как он вернулся с войны, были родительские собрания в школе. Вот когда он расправлял крылья! Кто круглая отличница? Валя Нетесова. Кто лучшая общественница? Валя Нетесова. А кто в политике из детей смыслит? Опять же Валя Нетесова. Правда, в том, что Валя к политике вкус имеет, была кое-какая и его заслуга: подкован немножко у нее батько, «Краткий курс», если не считать 4-й главы, пропахал вдоль и поперек. Но что касается остальных наук — нет, тут Валя не в отца. И уж, конечно, не в мать. Марье грамота вовсе не далась. Да она ни во что и не ставила ученье. Вечером, ежели они с Валею сядут к столу, у нее один разговор: «Опять карасин жгать? Делать вам нечего!» Вот из-за этого у них с Марьей тоже частенько получались неувязки. И сколько ей ни толкуй — не понимает, что по нынешним временам ученье — основа жизни.

Илья, отогревая руки дочери в своих руках, спросил, смущенно заглядывая ей в глаза снизу:

— Мама что делает?—

— Надьку кормит.

— Да...— вздохнул Илья.

Он подумал, что надо было бы объяснить Вале, почему он ударил мать. Но как сказать об этом? Медаль не бляшка, не жестянка светлая, и Валя знает, как она ему досталась. И вообще, если в семье кто и интересовался его военной биографией, так это Валя.

— Папа, а эту медаль ты за что получил? А эту? А эту? А как тебя в партию принимали?

И он рассказывал ей, рассказывал о каждой медали, и Валя ему говорила:

— Папа, ты герой.

— Нет, дочка, куда мне до героя. Вот у нас в роте был Петя Курочкин — это вот да, герой.

Но все равно ему лестно было, что так думает о нем дочка. И пускай это кому-то покажется смешно — похвала собственного ребенка, а он, ей-богу, хотел быть лучше в глазах дочери. И раз даже зимой, когда в районной газетке появилось замечание «Лесной фронт держит коммунист Нетесов» (крепко его похвалили за то, что он с фонарем еще затемно выходил в делянку), он послал эту газетку Вале — да не домой, а на школу. Пускай запомнит первое письмо от отца. На всю жизнь запомнит.

И вот сегодня все пошло всмятку. Что она о нем думает?

— Ты поела, доча? — начал издали Илья.

Валя не ответила. Черные материнские глаза ее строго и внимательно смотрели на отца. Так она обычно смотрела на него по вечерам, когда он просил ее объяснить ему задачу.

Задачи за третий класс он решал свободно. И за четвертый класс многие решал. А вот на задачах пятого класса мозги его забуксовали. Не мог он одолеть всех этих премудростей с соединяющимися сосудами и встречными поездами, в которых разбиралась его дочка. И тогда Валя смотрела на него вот этим самым взглядом, пытливым и изучающим, словно она хотела понять, хитрит с ней отец или он и в самом деле такой глупый, что не понимает того, что понимает она, двенадцатилетняя девочка? И Илья терялся, робел под этим взглядом, говорил что-нибудь невпопад.

Так вышло у него и сейчас.

— Скоро тепло будет. Птички прилетят.— Сказал и поморщился: не то, не то говорит.

— Папа, а ты, когда с войны вернулся, говорил: «Года не пройдет — с молоком будем...»

— Ну, Валентина, ты, ей-богу, как маленькая. Это ведь матери у нас грамотей, на все плевала, а ты-то понимаешь что к чему. Восстановительный период переживаем. Так?..

Ветер раскачивал сосновые лапы над головой. С лап сыпало рыжей хвоей, изредка падали к ногам старые шишки... А Вали рядом не было. Валя ушла. И даже не позвала его домой, как это делала раньше: «Пойдем, папа. Мама заругается...»

И ему стало ясно: забраковала его ответ Валя, не приняла его объяснения.

О корове они не мечтали — где взять тысячи? А вот о козе говорили, и говорили часто. И Марья, например, даже предпочитала козу корове. Сена козе надо мало, молока с козы не берут, а удои не меньше, чем от иной коровенки — и два и три литра в день.

Да, подумал Илья, в районной газетке его напечатают. Передовик по займу. А что он скажет Вале? Как растолковать ей, что отец у нее член партии и поступить иначе не мог?..

5

Поздно вечером на районной радиоперекличке были подведены первые итоги подписки на заем.

Результаты — ошеломляющие.

В пяти колхозах подписка была уже закончена полностью. В трех колхозах колхозники внесли сорок процентов наличными, а в «Луче социализма» еще больше — пятьдесят два процента.

Подрезов объявил благодарность передовикам, отчитал разгильдяев и головопатов, в число которых попал и Лукашин, и отдал распоряжение — уплату наличными довести до тридцати процентов.

Лукашин с убитым видом выслушал эту директиву. За день они с Ганичевым подписали двадцать пять человек, Озеров с Анфисой — девятнадцать, а всего по спискам Ганичева значилось семьдесят три колхозника, не считая тех, которые еще были на лесозаготовках.

Выход был один — тот, который с самого начала предлагал Ганичев, — нажать на колхозников. И назавтра Лукашин уже не либеральничал — требовал.

С Петром Житовым, например, он вообще не стал разговаривать, а вызвал к себе его жену, посадил на табуретку и сказал: или она подпишется на контрольную цифру, или пускай сейчас же прощается со своей бухгалтерией

И Олена подписалась.

Точно так же он насел на доярок. Собрал в боковой избе, в которой запаривали соломенную резку для коров, и не выпускал их оттуда до тех пор, пока каждая из них не расписалась в ведомости.

Вечером, в ожидании радиопереклички, они с Ганичевым подсчитали: подписка пошла в гору. Нажим помог. Но до плановой цифры все еще было далеко. Тогда Лукашин опять стал доказывать, что добрая треть этой суммы падает на мертвых душ, на тех, кто только на бумаге числится в колхозе.

— Это не довод, — сухо возразил Ганичев.

Споря и ругаясь, они присидели до полпервого ночи. Радиопереклички в этот вечер не было. А назавтра утром в Пекашино пришла районная газета.

«Успешная реализация 2-го послевоенного займа в районе

Великому учителю и вождю народов...

С чувством большой радости и удовлетворения докладываем, что рабочие, колхозники и служащие нашего района, вдохновленные...»

Затем следовала сводка по колхозам.

Лукашин ни черта не понимал. Пекашинский колхоз в этой сводке значился на одиннадцатом месте, с реализацией займа на сто двенадцать с половиной процентов. Как? Каким образом? Опечатка? А может, район задание снизил?

Ганичев взял у него районку и все четыре полоски просмотрел от корки до корки.

— Ясно, — сказал он не столько для Лукашина, сколько для себя. — Все ясно. Район на другую кампанию переключают. Смотри, вся третья страница посвящена севу.

— А как же с займом? — воскликнул Лукашин. — Откуда в сводке эти сто двенадцать с половиной процентов?

— Чудак человек! Будут нас с тобой ждать, когда мы последнюю бабу захомотаем. Скажи еще спасибо, что пока сухими вышли. Понял? А насчет денег не беспокойся. Колхоз заплатит.

— Что — колхоз? Заем за колхозников колхоз заплатит?

— А как ты думал? Колхозники-то чьи? Не колхозные? — Ганичев прочистил горло и закончил вдруг совсем просто: — Но, но! Веселее, Иван батькович. Такую войну спихнули...

Глава двенадцатая

1

На Юге давно уже отшумела весна. И газеты были забиты рапортами — там, там закончили сев, там... И одного только, казалось Лукашину, не было в газетах — куда девалась весна? Кто отвел ее от Пекашина?

Все, поразительно все, напоминало ему сорок второй год: и ледяной сиверок, дующий сутками напролет, и рев голодной скотины по утрам, и мертвая, закаменевшая земля, из которой — хоть плачь — ни единой зеленой травинки не выдавишь.

— У вас всегда так? — спрашивал он у Анфисы.

— Это с весной-то? Да, пожалуй. Где-нибудь опять увязла в сузах. Ведь пока она до нас доберется — сколько ей снегу растопить надо, сколько болот да рек перешагнуть.

А в другой раз сказала:

— Мне, кабыть, и весна-то нынче не та. Видно, и она за войну надорвалась...

И Лукашин, каждый день выходивший на деревенский угор, уже представлял себе нынешнюю весну в виде огощальной, измотанной бабы, которая еле-еле продирается через кромешные чащи лесов.

2

Весну поторопили.

22 мая в районной газете появилась первая заметка о полевых работах: в трех колхозах начали пахать.

— А ты чего ждешь? — навалился на Лукашина по телефону Подрезов.

Лукашин стал объяснять: земля, дескать, еще не оттаяла, на бору на той неделе зайца белого видели, утка на воле — на гнездо еще не села.

— Ты что же, по старушечьим приметам жить собираешься? Имей в виду: сплав пойдет — какую песню запоешь? Поговори с женой. Она знает, чем это пахнет.

Пахло это выговором и даже строгачом — азбука районного руководства давно была известна Лукашину. Но нельзя же, черт побери, вбивать семена в мерзлую землю! Из-за чего — разве не из-за этого самого в сорок втором году он схватился с Лихачевым?

Тем не менее после разговора с Подрезовым Лукашин спустился под гору на поля, словно он надеялся, что команда первого секретаря что-то изменит в природе.

Но нет, ничего не изменила. Все так же отскакивает сапог от земли, все та же пара жалких чирят неприкаянно качается в ледяной озерине под полоем.

Новым, пожалуй, в этот день был только дым, который время от времени выплескивало от реки из-за увала. Кто же там в такую пору обосновался? Насчет дровишек промышляет?

Лукашин боковиной поля вышел к увалу и увидел рыбаков.

Трое мальчуганов. Двое, спиной к нему, сидят с удилищами у воды, мутной, вспененной вешницы, а третий — у огня. Босиком. И обушки возле не видно.

Дрожь пробрала Лукашина. Будто он сам, а не мальчик коченел на этой стуже с босыми ногами.

— Рановато вы, ребята, забегали к реке. Какая сейчас еще рыба. Подождать надо.

Мальчики, те, что горбились над удилищами, обернулись.

— У нас Миша болен. Ему свежую рыбу надо.

Теперь Лукашин понял, чьи это ребята — пряслинские.

— Как он сегодня? Не выходил на улицу?

— Не-е...

После поездки в район за телом Тимофея Лобанова Михаил Пряслин больше трех недель не вставал с постели: горячка. И он, Лукашин, без него как без рук. Стал вчера посылать женок за сеном на Нижнюю Синельгу — воза два оттуда не вывезено: «Что ты! Куда мы теперь попали. Потонем. Вот кабы Михаил...» А дрова взять. В правлении стужа, фельдшерница Тося в рукавицах больных принимает — казалось бы, чего проще: запряг лошадь да мотай на бор. Нет, и тут Михаила вспомнишь. Петр Житов раз съездил, а второй — руки кверху: «Больно накладны эти дрова. Не знаешь, на чем и ехать — не то на колесах, не то на копыльях». И так, куда ни сунься, за что ни возьмись — везде не хватает работающих рук Михаила. Так ведь это колхоз, деревня целая, а что сказать об этих ребятах? Куда они попали без него?

Пробковые поплавки, еле заметные среди мусора и пены, лениво переползали с волны на волну.

Паренек, гревшийся у огня, в большой косматой ушанке из рыжей собачины — Лукашин узнал зимнюю шапку Михаила — бросил на костер две хворостины, лежавшие сбоку. Кверху полетели искры.

— Федька, — сказал сердито один из близнецов, — будет тебе сидеть-то. Собирай орехи.

Орехи, или земляные ягоды, черные, сладкие, величиной с горошину, к этой поре прорастали на кочках возле реки, и для ребят они были первым лакомством. Но эти ребята, понял Лукашин, думали не о себе — о больном брате.

Федька, однако, — это он сидел у огня — не встал. Только переставил поближе к теплу босую ногу.

— Отослали бы вы его домой, — посоветовал Лукашин. — Замерзнет.

— Замерзнет он! Как бы не так. Лентяй он. Мы ведь попеременки. Он недавно в сапогах был.

Ребята заспорили, заругались.

3

В избе было темно-ватое из-за картошки, рассыпанной по полу, — только посредине для прохода была оставлена узкая, в половицу, дорожка, обнесенная белыми полешками. Густо пахнет запаренной резкой. Подоконник единственного окошка, в котором выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящичками с рассадой капусты.

Тут к своей посевной готовятся, подумал Лукашин и спросил:

— Есть кто дома?

Из боковушки, за задосками, раздался глухой, отрывистый кашель. Лукашин прошел туда и разом просветлел: Михаил сидел на койке, и не просто сидел, а строгал ножом тонкую рябинку.

— Давно бы так. А то лежишь, всех пугаешь. Чего это — не пойму — мастеришь?

— А я, думаешь, понимаю? — Михаил неумело раздвинул отвыкшие от улыбки сухие, запекшиеся губы и вяло опустил рябинку к своим ногам, у которых лежало еще три таких же рябиновых черенка. — Нет, это у меня давно задумано: косовища к ребячьим коскам. Надо бы мне в этом году свою орду на пожню вывезти.

— Далеко заглядываешь, — сказал Лукашин. — А я вот не знаю, и весна-то будет ли.

— Будет. Куда деваться. Спустим все семь потов, которые положено спустить за посевную.

— Ну, ну! Хорошо бы! — вдруг оживился Лукашин. Он подсел к Михаилу, достал банку с махоркой.

Михаил, послунявив палец, потянулся к газете.

Болезнь крепко вымотала его. Глаза провалились, лицо густо заросло черным волосом. Но особенно поразили Лукашина руки — худые, бледные-бледные, под цвет проросшей картошки, и на этих руках, как после бани, отчетливо стали видны многочисленные порезы и порубы.

Много поработано этими руками, подумал Лукашин. По рукам он, пожалуй, не моложе меня. А вслух сказал:

— А тебе можно?

— Можно. Раз не подох, значит можно. Надо привыкать к жизни.

— Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься, — заговорил Лукашин. — Тимофей был обречен.

— А кто его обрек?

— Кто? Война.

Михаил скривил губы:

— Война... Этак рассуждать, все можно на войну свалить.

— А что ж — мало война натворила?

— Тимофея не война в лес загнала. Люди... Меня плен этот проклятый с панталыку сбил. Думаю: вот как, отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну в немецком тылу шкуру спасал... А может, он и в плен-то не по своей воле попал? Может, его раненого взяли? Может так быть? — Михаил требовательно округлил лихорадочно блестящие глаза.

— Может, — подтвердил Лукашин и тихо добавил: — Не казись, Михаил. Не ты один не разобрался с Тимофеем. Я тоже не разобрался.

Да, уж кто-кто, а он-то, Лукашин, должен был бы понимать, как легко было на этой войне попасть в плен. Да он и понимал это. Но только рассудком, а не сердцем. И, наверно, поэтому он так и не сумел разговориться с Тимофеем Лобановым. Правда, раз он сделал было попытку, спросил у Тимофея, как тот оказался в плену. «Не беспокойся, товарищ Лукашин. Те, кому положено знать, знают». Да, вот так ответил ему Тимофей, и после этого у Лукашина пропало всякое желание поближе сойтись с ним. А жаль, думал он потом, уже после смерти Тимофея. Мужик-то был, по всему видать, стоящий.

Михаил с упрямством человека, который во что бы то ни стало решил докопаться до истины, продолжал рассуждать вслух:

— Да, вот кто меня сбил окончательно. Шумилов, секретарь райкома...

— Секретарь райкома тоже человек. И он может ошибаться, — заметил Лукашин.

— Значит, я должен быть умнее секретаря? Так? Хэ, секретарь мо-

жет ошибаться. А поди скажи ему об этом в то время, когда он ошибается.

— Ты, пожалуйста, успокойся. Тебе вредно так волноваться,— сказал Лукашин и подмигнул:— Твой, между прочим, бюллетень слишком дорого обходится колхозу.

Вышло это фальшиво, неловко, и, как показалось ему, Михаил сразу же понял, почему он заговорил так. По привычке, по осторожности, из вековечной боязни острого и прямого разговора.

Михаил тяжело вздохнул, и темные веки, как ставни, упали на его потухшие глаза.

За окошком со свистом, штопором завивая щепу, пронесся вихрь.

Лукашин сказал:

— У нас неприятность большая, Михаил. Вечер корова пала.

Сказал и ужасно разозлился на себя: что же ты о корове ему толкуешь, когда он о человеке знать хочет?

4

Первую свою тропу выздоравливающий Михаил проложил на кладбище.

Песчаные холмики недавно подправлены, обложены свежим дерном. Следы ребячьих босых ног возле могил.

Наверно, это Анисья со своими ребятами была, подумал Михаил.

Над головой низко, толчками пролетела белобокая сорока, затем покачалась на тонкой сосне-жердинке, возле которой был похоронен старый цыган, умерший еще до войны, и нырнула вниз — должно быть, увидела бутылочные осколки. Много там раньше валялось этого добра. Цыгане, проезжая через Пекашино, каждый раз справляли на могиле поминки.

Столб на могиле Трофима комлеватый, смоляной — долго простоят. А Тимофею и тут не повезло. Воткнули какой-то еловый кряжишко, от которого даже в печи не было бы ни жару, ни пару, наскоро оболванили топором, и хватит с тебя. Только кто-то из баб — Анисья или сестра Александра — немного приукрасили кряжик, повязав на него красную ленточку.

Да, подумал Михаил, эти Тимофею верили...

...Шел дождь, под полозьями шипел мокрый снег, а он вел в поводу лошадь и думал: кого он везет? Что за человек лежит там, на санях, прикрытый старой шинелишкой, которого он еще четыре дня назад гнал в лес?

Тимофея он возненавидел с первого взгляда.

И вот Тимофей умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил. А ему не верили... Почему? Кто видел, как он попал в плен?

Всю дорогу Михаил вел лошадь в поводу, ни разу не оглянувшись назад. И в районной больнице тоже не посмотрел на Тимофея. Не мог. Без него укладывали тело на сани. А под Марьиными лугами пришлось взглянуть. Да не только взглянуть, а чуть ли не целоваться с покойником.

Зимник под Марьиными лугами он проскочил запросто, а подъехал к этому берегу — стоп: на три — на четыре сажени хлещет поляя вода.

Илья Нетесов, поджидавший его на берегу, кричал:

— Назад, назад!

А куда назад? Лед трещит под ногами.

Он изо всей силы огрел коня — вперед, вперед! — и вскочил на сани. Холодная ледяная вода ударила по коленям.

— Михаил, Михаил! — опять услышал он крик. — Тимофея, Тимофея держи!

Шинель с Тимофея сдернуло, Мертвое, желтое лицо полощет водой. И тогда он пал на Тимофея, ухватился руками за копылья и своим телом прижал покойника к саням...

Тихо, безветренно было на кладбище. Пригревало солнышко. Молодая смола искрилась на сосновых иглах, а ему было зябко. И в мозгу тяжело, как перегруженные зерном жернова, ворочались непривычные мысли.

Ах, жизнь, жизнь... Неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе?

Глава тринадцатая

1

Егорша подъехал к Пекашину тихо, крадучись, зато, когда выскочил на деревенскую улицу, дал жизни. Мотоцикл заревел как бешеный, вихрем взметнулась вечерняя пыль на дороге. Из домов выскакивали полоротые бабы, ребятя гналась сзади. В общем, все вышло так, как он задумал.

Под окошками у Пряслиных он сделал крутой разворот, заглушил мотор.

— Здорово! — Егорша пинком распахнул воротца, подошел к Михаилу, укладывающему мешок с семенами на телегу, и клейко, с размаху всадил свою руку в руку друга. — На ногах? А мне говорили: Мишка на тот свет собрался...

К мотоциклу подбежали запыхавшиеся ребята, сгрудились, заспорили, толкая друг друга.

Егорша повел в их сторону все еще возбужденным глазом:

— Ничего коняшка? Трофейная. Двадцать километров просадил за час. Это по нашим-то, расейским дорогам! Хочешь, прокачу?

— Да нет, в другой раз. Участок пахать надо. — Михаил кивнул на запрежненную лошадь.

— Но, но! Это не пойдет. Сколько не виделись! — Егорша звонко шлепнул ладонью по раздутому голенищу резинового сапога — он работал на сплаве. За голенищем забулькало. — Чуешь, какая влага? Давай отправляй свою колымагу на конюшню.

— Нельзя. Ежели я сегодня не вспашу поле, когда мне лошадь достанется.

— Лошадь, лошадь... — Егорша презрительно, не разжимая зубов, цыкнул слюной. — Сколько я тебе говорил, жук навозный: подавайся в леспромхоз. А ты, как бревно. Спустили на воду, куда поволокло водой, туда и плывешь. Ну и плыви, хрен с тобой. Знаешь, сколько я за эту конягу выложил? Пять косеньких. Пять тысяч, значит. А ты чего в своем колхозе нарыл?

Михаил мрачно сдвинул брови, и Егорша сразу же сбавил тон:

— Ладно... ладно... Мне-то что. Ройся! — Повернул к воротцам, затем живо обернулся. — Читал газетку за десятое число? Нет?

— Нет. А что?

— Что, что! Вот уж туха-матюха. Земля перевернется, а ты и знать не будешь. — Егорша вынул из-за пазухи матерчатой робы сложенную четырехугольником газету, с загадочной улыбкой протянул приятелю. — Страница четвертая. Почитай. Весь район говорит.

С задворок в это время, выгибаясь под коромыслом с полнехонькими ведрами воды, подошла Лизка.

Михаил сунул газету в карман пиджака, сел на телегу, сказал сестре:

— Приходи на поле. Ключья поколотишь.

— Чего это он как чокнутый? — спросил Егорша, когда телега выехала из заулка.

— Чего-чего... — огрызнулась Лизка. — Поболей с егово, не то еще с тобой будет.

Егорша, нацелив на нее синие шелки, звонко поиграл губами.

— Ты ничего... Не наклепала ему?

— Вот еще! — Лизка вспыхнула до корней волос. — Только об этом у меня и думушки. — И пошла, расплескивая воду по заулку. Толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой светлым ручьем стекала по ее напружиненной спине.

Егорша — в два прыжка — догнал ее, схватил за косу.

От неожиданности Лизка едва не уронила ведра, но справилась — поставила на землю.

— Одичал? Опять за свое?

— Ладно, ладно. — Егорша примиряюще поднял руку. — Приходи сегодня в кино. Я билет куплю. Придешь?

Лизка медленно подняла на него полные удивления глаза.

— Ну чего уставилась? Придешь?

— Зачем мне твои билеты? Что я — сама не могу купить?

— Эка ты... Тебя парень приглашает. Приходи. А то могу и на своем конике подъехать. Видала, какой у меня теперь конь?

Хлопая резиновыми голенищами, Егорша выбежал за калитку, шуганул ребят, столпившихся у изгороди, там что-то застреляло, затрещало, выбрасывая синий дым, и вдруг Лизка увидела, как Егорша, будто по воздуху, перенесся к амбару.

Она выбежала из заулка. По дороге длиннющим мохнатым облаком клубилась пыль. А Егорши не было. Егорша исчез.

— Ребята, на чем это он улетел?

— На мотоцикле!

Светлый вечер стоял над Пекашином, и долго в звонкой тиши его редела, удаляясь, неведомая Лизке машина.

Вот лешак, думала она, прислушиваясь к этому реву, опять чего-то придумал. Не может без выдумок...

2

— Чего все туда смотришь? В кино хочешь?

— Да нет, с чего, — ответила Лизка, отворачиваясь от подъехавшего брата.

Железный лемех, резко чиркнув по камню, с мягким шипением вошел в землю. Михаил повел новую борозду. По полю белесыми прядями расплзлся дымок от костра, разложенного под ивовыми кустами на замечке. Причитала кукушка в лесу за болотом — жалобно, по-вдови. И еще был слышен перестук движка у клуба. И как ни хотела бы Лизка не обращать на него внимания, не могла. Слушала. Слушала, разрубая дерноватые ключья копачом, слушала, приподняв голову и настороженно поглядывая в сторону брата.

Ей удивительно, до озноба непривычно было то, что случилось какой-нибудь час назад. Ее первый раз приглашал парень в кино. И сейчас, прислушиваясь к перестуку движка, она мысленно представляла себе, как бы она вошла в клуб с Егоршей. «Смотрите-ко, смотрите! Лизка-то. С Егоршей». И ей было бы в чем зайти в клуб. И ботинки есть, и платье новое есть — сама в лесу справила, — и платок желтый с зелеными листьями по полю. Но она не посмела отпроситься у брата. В другое бы время проще простого: сбегая на часик в клуб, ладно? А сегодня язык не поворачивается. Вдруг да он, Михаил, догадается?

С Егоршей они не виделись с той самой поры, когда он обманом затащил ее в баню. Ни разу после того не показался на Ручьях. И она уже стала забывать про тот случай в бане. А он вот не забыл, помнит. «Не наклепала ли Михаилу?» И может, он оттого только и не показывался на Ручьях, подумала сейчас Лизка, что стыдно перед ней было?

Опять подъехал Михаил.

— Кончай. Я лошадь кормить буду.

— А мне чего? Еще трясти клочья?

— Иди домой. Хватит.

Лизка не заставила себя уговаривать. Положила копач к телеге, отряхнулась от пыли и утопанной тропочкой, вдоль поля, зачастила к деревне.

Движок у клуба по-прежнему распевал свою трескучую песню в ночи.

Она оглянулась назад — смотрит ли на нее брат, догадывается ли, куда она спешит, — и перешла на бег.

Нет, она никому, даже брату родному не рассказала про то, что произошло там, в баньке на Ручьях. Хватило ума. Дурил Егорша — вот и все. Где она видала таких парней, которые бы не протягивали лапы к девкам?

Кукушку за болотом совсем сморило. Вяло, с позевотой раскрывала рот. Туман закурился на болоте.

А как же она в клуб войдет? — вдруг подумала Лизка. Тот зубоскал невесть что еще подумает. «А-а, — скажет, — прибежала. Только поманил пальцем и, как собачка, прибежала...»

Она пошла медленнее, еще медленнее... Остановилась.

На поле у них все еще дымился навоз. Ребята с матерью весь вечер пережигали навозные кучи да разбрасывали по полю, а потом ребята отпросились у Михаила в кино. И вот она тоже забила себе голову этим кино. Как маленькая. Не видала кинá...

Господи, вдруг с ужасом, со стороны подумала о себе Лизка. Совсем образ человечий потеряла. Брат, больной, надрывается, пашет, а ты, кобыла здоровущая, в кино полетела. Да что это с тобой? Как ты и подумать-то об этом посмела!

Про то, что Михаил тяжело болен, Лизка узнала на Сотюге, на окатке леса. Чудный денек тогда выдался. Солнышко. Травка молодая распушилась. И люди радуются, как дети: дождались тепла, домой скоро.

И вот в этот-то радостный день и пала черная весть про Михаила. Кузьма Кузьмич принес: «Как брат, девка? Не миновал еще кризис?»

Она только глазами хлоп. Какой кризис? И слова-то такого не слышала. А потом, как узнала, что это такое, все бросила и — домой.

Она бежала лесной дорогой — солнышко играет, березы ластятся, птицы поют, а у нее крик в горле: где брат? Что с братом? И, конечно, про все позабыла. Про платок забыла — так простоволосая, в одном платье и прибежала домой. С топором в руках.

А дома, когда в заулочек свой вбежала, перепугалась еще пуще. Все настезь: ворота настезь, двери в избу настезь. И никого. Ни единой души. Ни ребят, ни матери. И она... Бог знает, что случилось бы с ней тогда, да хорошо в ту минуту за амбаром раздался Татьянкин голос.

Там, за амбаром, она и нашла брата. Сидит на угорышке, сгорбился, на подгорье смотрит, а сам в зимней шапке, в фуфайке. Да Михаил ли это?... И вот тогда она разревелась. Брат успокаивает, Татьянка успокаивает, а она обхватила его обеими руками и ничего не может поделать с собой...

Михаил не из-за коня, как сказал сестре, сделал передышку. Конь хоть и целый день выходил в колхозной борозде, а плуг таскал неплохо. Он сделал передышку из-за себя. Тяжело. Ноги дрожат в коленях. А на заворотах, чуть приподнял плуг, и потом умылся.

Тихо вокруг. За кустами хрустит, фыркает конь, с жадностью выстригая молодую травку. Тощий комарик, видимо, еще ни разу в этом году не отведавший живой крови, надоедливо вьется возле лица, а над головой белая ночь. Над головой далекие, чуть видимые звезды.

Он лежал на зеленом замеске и думал о том, что его болезнь, пожалуй, слишком дорого обойдется семье. На посевной он не работал — самое малое трудодней шестьдесят потерял. Но трудодни еще можно наверстать, трудодни — дело наживное. А вот то, что он участок свой загубил, это страшнее всего. Да, загубил. Кой черт уродится, ежели уже трава выросла, а поле еще не пахано!

Степан Андреянович предлагал свои услуги («Одолею, Миша, поменьше»), а он заупрямился: нет и нет. Сам пахать буду.

И вот ведь как все перевито, перекручено в жизни: ежели у них, у Пряслиных, ничего не уродится, то и старухам его подшефным куковать. С войны еще идет порядок: всех старух престарелых, всех калек и увечных должны обсевать здоровые. Михаилу по этому порядку досталось пять старух. И вот две старухи смекнули, сумели запахать свои участки без него, а три старушонки: соседка Семеновна, Дуня Савкина и Матвеевна — те решили сохранить ему верность. Пришли на днях: «Мы уж, Миша, никого не зовем. Тебя будем ждать».

Михаил приподнялся на локоть, посмотрел на деревню. Ах, дуры бестолковые! Ведь, наверно, и сейчас ждут...

Он встал, заставил себя встать.

Его познабливало. Кружилась голова. И — что особенно удивило его — зябли руки. А ведь он этими руками на тридцатиградусном морозе мог работать без рукавиц. Болезнь вторым заходом возвращается?

Он решил помахать топором — самое верное средство разогреться, тем более что для починки изгороди возле дома (а она опять, дьявол ее возьми, обвалилась) нужны были свежие вицы и новые колья. Когда их и нарубить, как не сейчас? Не гонять же специально лошадей.

Он подошел к телеге и тут увидел на телеге измятую, свернутую трубкой газету, которая, по всему виду, выпала из кармана его фуфайки. Он вспомнил, с каким воодушевлением говорил о газете Егорша, и озябшими руками развернул ее.

На четвертой странице, в левом углу, сверху, красным карандашом отчеркнута статья — «Наш рабочий парень». С портретом. Должно быть, того самого парня, о котором написано в статье.

Что за чертовщина? — удивился Михаил, всматриваясь в портрет. Да ведь это Егорша! Он. Его, Егорши, прищуренный глаз целится в него с газеты. Ну и ну!..

Он присел на телегу.

«Кто не знает на Пинеге этого молодого прославленного лесоруба с задорными синими глазами и золотым есенинским чубом!»

Здорово! На всю Пинегу прославленный. И золотой чуб не забыли.

«Отличный товарищ и друг, первый заводила и весельчак, вдохновенный мастер леса и гармонист...»

Да, расписали. Хоть на божницу ставь.

«Георгий Суханов с детства любил лес. Еще будучи ребенком, он не мог равнодушно смотреть на загубленное дерево, а — что греха таить — подчас у нас еще встречаются люди, которые не умеют попридержать топор в руках. Не в пример этим доморожденным Митрофа-

нушкам маленький Гоша понимал, что лес — это главное богатство Севера...»

Дьявола он понимал!

«Война с фашистской Германией застала Георгия на школьной скамье. Отца призвали в армию. На всю жизнь запомнилось прощание с любимым отцом.

— Ну, сынок,— сказал старый мастер леса, вручая свой стахановский топор сыну.— Не подкачай! Будем крушить кровавого Гитлера с двух сторон: я штыком, а ты топором.

И юный патриот на пятнадцатом году пошел в лес. Ему хотелось учиться, овладевать теми знаниями, которые выработало человечество, но в этот грозный для Родины час...»

Брехня! Все брехня. Если бы спросили его, Михаила, он бы порассказал, как они с этим юным патриотом отправлялись на лесозаготовки... А когда это отец успел вручить ему свой стахановский топор? Отец-то у него на сплаве, на Усть-Пинеге был, когда война зачалась. Оттуда, со сплава, его и на войну взяли.

Дальше брехни было еще больше. Георгий Суханов — образец нового человека... В Георгии Суханове зримо проглядывают черты коммунистической сознательности... Георгий Суханов — молодая поросль рабочего класса...

Михаил скомкал газету.

Печатному слову он верил всегда, с малых лет. Печатное слово — это сама правда. Иначе и быть не может. А тут брехня на брехне, все шиворот-навыворот. Егорша передовой... Егорша новый... С Егорши пример надо брать... Эх! А заставить бы этого передового да нового в колхозе вкалывать. Да задаром. Ну-ко, что бы запел этот новый да передовой?

Но ладно. Согласен. Пускай Егорша новый да передовой. Пускай про него в газетах печатают. Может гад работать, особенно когда начальство смотрит. Тут разорвется, а никому не уступит. Но вот что ему, Михаилу, поперек горла — Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь. Ты, дескать, рылом в землю зарылся, света белого не видишь, а я где, засучивши рукава? На передовой линии фундамент закладываю... И-эх! — кабы это был только Егоршин треп. А то ведь не один Егорша так думает.

Взять хотя бы вот этот самый приусадебный участок. Ведь послушать Егоршу и кое-кого другого, так из-за чего это он, Михаил, и ему подобные за свои сотки держатся? А из-за того, что не могут без своей навозной кучи. Такая, дескать, у них мелкая стихия. И покуда их сознательность отстаёт, приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле...

Сволочи! Да провались он к дьяволу этот приусадебный участок! Натё! Возьмите ваши сотки! На колени от радости встану — только дайте немного на трудодень...

Михаил оглянулся, услышав шорох сухих листьев. Лизка. Идет по промежку и руками размахивает: радость какая-то.

— Чего вернулась?

— А, ладно. Нахожусь еще по кинам. Надо маленько и совесть знать. Верно?

— Дура! — вдруг взбеленился Михаил. — Заездят тебя с этой совестью.

Лизка — убей бог — ничего не понимала. Что случилось с братом? Почему брат вдруг ни с того ни с сего наорал на нее? А она-то думала, обрадуется: «Молодец сестра! Вдвоем скорее управимся». Может,

газета его расстроила? Она видела, выходя из кустов, как он читал газету.

Лизка взяла с телеги скомканную, отсыревшую газету, подержала в руке и положила обратно. Нет уж, раньше никогда в газеты не заглядывала, а сейчас и подавно смешно. Увидит еще кто-нибудь — за газетой девка сидит, пойдет слава: «А, скажут, нету другого дела на поле, только газетки и читать».

— Я вицы рубить пойду! — крикнула Лизка Михаилу, выведившему коня на поле.

Она не сердилась на брата. Радость и счастье ходили по ихнему полю. И красота.

Никогда, никогда она не видала еще такой красоты.

Сперва было все серебряное: и кусты в тяжелой холодной росе, и трава на замечке, примятая ее сапогами, и мокрое жало топора, которым она подрубала ивняк, отливало серебром. А потом все это вдруг вспыхнуло, засверкало радужными огнями. И запели птицы вокруг, и затрубили журавли на озимях, за Акимовой навиной, там, где она боронила вечер, и далекая кукушка позабыла про свой вдовий плач. Весело, по-утреннему заиграла.

За рекой всходило солнце. И Лизка сперва смотрела на солнце из мокрых, сверкающих кустов, а потом выбежала на поле, привстала на носки и радостно, по-детски протянула к нему руки.

Давай, давай, красное, разгорайся! Приводи скорее новый день.

Глава четырнадцатая

Июнь перевалил за вторую декаду, на Кубани пшеница вымахала — даже газету читая, слышишь, как колос шумит. А у них что? Елеле обозначились всходы. Жалкие, рахитичные. А с травой на лугах под горой и того хуже: зажали холода. Вороне негде укрыться.

И Лукашин, с тоской поглядывая на голые поля и наволоки, уже начал было думать: все. Без хлеба и без сена останемся. Никакая сила теперь не выправит то, что упущено из-за этих затянувшихся холодов.

Но есть, есть, оказывается, такая сила на Севере: белые ночи. Те самые белые ночи, от которых еще и сейчас томился он. На них-то, на белых ночах, оказывается, и держится Север.

А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь,— зеленое пламя бьет из супесей и подзолов. И все это за одну ночь.

— Можно, можно и у нас жить,— сказал Лукашину Степан Андреевич.— Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растенье и гонит в рост круглые сутки.

И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное.

И быстро на зеленых конях подкатила к Пекашину сенокосная страда — знойная, потная, в туче овода и комара.

Глава пятнадцатая

1

У Пряслиных такого еще не бывало.

Ворота настезь, двери в избу настезь. Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обернутые в мешковину, кто — косовища и грабли, кто — корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайником и котелками, черными, насквозь продымленными еще в прошлогодние страды...

— Ушат-то, ушат-то не забудьте! — кричит, выбежав на крыльцо, Анна. — Может, грибы пойдут, пособираете сколько.

— А удилища нам взять? — спрашивают Петька и Гришка.

— Миша, Миша! — кричит Лизка. — А соль-то мы не позабыли?

И Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз.

Жара. Оводы. Конь бьет ногами — оглобли трещат. Орет, в три ручья заливается Танюха — «на пожню-ю-ю хочу», и люди, люди, ползаулк людей. Свои, соседка Семеновна, старушонки. Этим, в их годы, на что бы ни глядеть, лишь бы скоротать день. А бабы — Лукерья, Паладьа, Таля Евдокимовых?.. Они-то зачем приперлись? Неужели не видели, как на сенокос отправляются?

Затем еще одна делегатка — Анфиса Петровна. Эта прискакала верхом, как на пожар.

— Ох, все думала — опоздаю. С поскотины коня без передыха гнала.

А зачем, за каким, спрашивается, дьяволом гнала? Ей ли сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди еще не выехали на пожню?

Наконец Михаил увязал воз. Проверил еще раз завертки у саней — на телеге на Среднюю Синельгу не проедешь: грязища.

— Ну, кто на коня полезет?

Ребята подскочили — все трое вдруг: каждому хочется во главу поезда.

— Да уж малой пускай, — подсказала мать. Эта своего любимчика не забывает.

Михаил подхватил Федюху под мышки, забросил на коня.

Тот, сверкая своими рысьими глазищами, как с трона посмотрел на братьев.

— Ничего, — подбодрил двойнят Михаил. — Вы большие. Вы со мной.

И вот — золотые ребята! — уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим.

А праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался им нелегко.

Первое условие, которое им было поставлено, — без троек закончить год. Затем — сушь. Разорваться, а посушить рыбешки на страду.

Ну, ребята и старались. Утром глаза продерешь, а они уж у окошка, уроки свои долбят. А из школы прибежали — куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилищем — хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старание, ничего бы из его затей с семейным выездом на пожню не вышло: не с чем ехать.

— Ну, ничего не забыли? — на всякий случай еще раз спросил Михаил.

— Да нет, кабыть, — ответила мать.

Михаил поднял руку: трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна.

— А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придет, говорю, такое время — бригадой поедут Пряслины на сенокос? Не помнишь? — От волнения у Анфисы Петровны побелели щеки, росой окропились черные глаза.

Да, было такое, было. В сорок втором году Анфиса Петровна на его глазах накрыла мать с зерном на колхозном току, и вот поздно вечером он пришел к Анфисе Петровне: что делать? Как жить? Отец на фронте погиб, а мать — такая-разэдакая — на колхозное зерно руку подняла. Глупый, зеленый он тогда был. Не подумал, что мать ради него да ради голодных ребятешек хотела взять какую-то горстку зерна.

И вот Анфиса Петровна его утешала и разговаривала, наверно, часа два, объясняла, как устроена жизнь, а потом насчет этой самой бригады стала говорить: дескать, выше голову, три к носу, все будет хорошо, вот увидишь, и мы еще доживем до той поры, когда от Пряслиных целая бригада на сенокос поедет.

Так вот она зачем без передыху скакала от поскотины, подумал Михаил. Чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на пожню. И Лукерья, и Паладья, и Таля — эти, наверно, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко...

Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим, писклявым голосом он крикнул: «Трогай!» — и вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать ворота.

2

У Терехина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лизка, вздохнув, сказала:

— Помашите в последний раз. Дальше сузем начинается — не увидите больше деревни.

И Петька и Гришка, уже сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова.

Мать с Татьянкой — далеко видать в ясную погоду от Терехино поля — все еще стояли у колодца (Татьяна на изгороди). И там же был еще один человек — Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку.

Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле? А по платку. Нет такого другого платка в Пекашине. Ярче снега горит. То ли оттого, что с мылом стирали, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет.

И, завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. Это сколько же годов она помнила? — спросил он себя. С осени сорок второго года. Шесть лет. Да, он об этом забыл, а она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила? Лизка права была тогда, после собрания, на котором Анфису Петровну сняли с председателей: кабы не она, Анфиса Петровна, еще не известно, что было бы с ихней семьей.

А нынешний выезд на сенокос? Кому они обязаны? Да все ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово на правлении не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой? Лукашин, когда стали утверждать сенокосные группы, — ни в какую. Поедешь за групповода на Верхнюю Синельгу. И бабы — черт их подери: как мы без Михаила? С войны косы наставляет. Потом Коркин, уполномоченный райкома, еще дров подбросил: нельзя своим закутом. На единоличность заворот, а мы коммунизм строим.

И вот кабы не Анфиса Петровна — ставь крест на всей затее с сенокосом. А Анфиса Петровна всем по серьге выдала. И перво-наперво Коркину, который урон коммунизму от ихней семьи увидел: это какая же единоличность? Сам он будет исть сено, которое наставит, или колхозные коровы? А вы дак совсем безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе? Надо. А разве он может ехать на Верхнюю Синельгу со своей мошкаррой? Вы же первые подымете крик, когда у вас ребяташки малые начнут пугаться под ногами. Разве я вас не знаю?

Вот так сказала Анфиса Петровна на правлении. И трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди.

Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой — только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься — ольшаник. И темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой.

От гнуса гул и вой стоял в воздухе. Тут, из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало: днем овод-красик, а к вечеру, после того как спадет жара, — комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху, круглые сутки.

— Вот так ставровка, — сказала Лизка, все еще с изумлением оглядываясь по сторонам. — Никогда бы не подумала, что в таком месте избу ставят. Что уж Степан Андреянович? Умен, умен, а тут соображенья не хватило. Вон бы где избу надо ставить, — по-своему рассудила Лизка и указала на веселый, ромашковый угорышек у Синельги. — Там и вода рядом, и глазу есть где отдохнуть.

Некогда да и незачем было объяснять Лизке, а заодно и ребятам, почему Степан Андреянович поставил избу в стороне, а не на поже. Ведь ежели сказать, что раньше каждой саженью пожни дорожили, не поверят. Потому что сейчас не только богом проклятые суземные ручьевины — русь, то есть луга вокруг дома, частенько под снег уходят.

Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу — шесть верст сузема пятнадцати и двадцати обычных стоят, а конь просто на глазах сел. Они, люди, все-таки выбирают: тут по валежинке, там бровкой, здесь по кочкарнику скок, а лошадь все серединой, ни одной грязи не минует, да еще с санями, с кладью.

— Ну чего стоите? — прикрикнул Михаил на приунывших ребят. — На курорт приехали? — Он вытащил из натопорни топор, подал двойнятам: — Дуйте в лес за дровами!

Началась работа по устройству жилья. Вдвоем с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и по первости не отличалась удобствами: вместо рам — черные продымленные ставешки-задвигки, вместо дверей в сенцах — жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины бересты. Крыша гоже не из досок, а из жердяка, засланного в несколько рядов берестой, теперь очень обветшавшей, искрошившейся, густо проросшей зеленым мхом. В общем, Степан Андреянович возводил жилье по правилу: лишь бы над головой не капало да было где от гнуса уберечься. И старик, наверно, и сейчас не стал бы вырубать вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдется и так. А Михаил вырубил — большие окна проделал в кустарнике над ручьем слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничто не закрывало тот, обрывистый, из красной глины берег и главное — чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса.

Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с теленочком — бо-о-ль-ша-а-я...

Михаил рассмеялся:

— Дак чего же вы не гнали ее сюда? Вот бы и с молоком зажили.

— А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Бо-о-ль-ши-и-е! А у теленочка копытца маленькие-маленькие, вот такие.

— Дуралье! У этой коровы, знаете, какие копыта? У волка череп трещит, если долбанет.

— Лосиха?

— А то. Тут зверья всякого. Подождите, завтра начнем косить — еще не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопает. Он любит новеньких.

— Давай дак не пугай их,— сказала Лизка, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слезы текли по ее скуластому лицу.

Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника — специального проруба в стене под крышей, дым шел из дверей, из окошек, из пазов — Степан Андреянович не прошил стены, пожалел лишних полдня.

4

Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спала и овод-красик подался от избы к речке. Там, у речки, поблескивая на солнце мокрыми от пота боками, бродил, обмахиваясь длинным хвостом, Лысан, их гнедой мерин, и много-много резвилось стрекоз.

Михаил не стал бы утверждать, что слышит треск их сверкающих крылышек, но порог слева, который еще недавно заглушал дневной шум, уже лопотал. Пока по-щенячьи — тьяв-тьяв,— а замитингует он на всю окрестность часа через три, когда сядет солнышко.

Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги! Раньше он так и делал: чуть только подъехал к избе — за удилице. А сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему — дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем? До первого дождя.

Вздохнув, он взялся за топор (первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы) и вдруг не выдержал — схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и — к речке.

В первых двух порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме, только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилице едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так, для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме хариус? В жару хариус стоит в пороге, вошь с себя смывает.

Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак: вприпляс по воде, низом по камешнику, кругами-петлями — пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку — тот же результат.

Петька и Гришка — сами рыбаки — зашептали сзади из травы:

— Может, он ушел?

— Может,— сказал тихо Михаил, сделал шаг вперед и тотчас же откинул туловище назад.

Сколько раз он протаскивал червяка вдоль палки, лежащей на дне в тени круглого валуна, густо забрызганного сверху белым птичьим пометом, и еще все боялся, как бы не зацепить ее, а она вон какая палка — с плавниками. Ибо как раз в ту самую секунду, когда он сделал шаг вперед, из-за прибрежного ивняка брызнул красный луч вечернего солнца и палка у валуна блеснула золотом.

Вот с этой самой минуты и началась по сути дела рыбалка. Все в сторону: червяка, овода, кобылку. Только голый крючок да твоя сноровка.

Величайшее терпение и выдержка требуются от рыбака, решившего взять рыбину зацепом. Сперва надо закинуть крючок в сторону, да так,

чтобы не вспугнуть всплеском хариуса (осторожная, ух, осторожная рыба!). Затем крючок надо подвести из-под низа к брюху или к голове рыбины (лучше к голове, потому что большого хариуса за брюхо не вытащишь). Затем — подсек, вернее, ловкий рывок, в результате которого крючок врежется в тело рыбины.

Как будто несложно, особенно если весь этот процесс разложить по частям, а на деле немногим, очень немногим удается поднять рыбину зацепом. Непременно где-нибудь да сорвешься или раньше времени обнаружишь себя. Как быть? Зацепом можно взять рыбину только в светлый день, когда хорошо ее видно с берега. Но ведь ежели ты рыбину видишь, то и она тебя видит. Или по тени догадывается о твоём присутствии.

Михаилу, можно сказать, повезло. Берег обрывистый, старая развистая черемуха над плесом, так что ни малейшей тени. И солнышко. Косым лучом высвечивает хариуса. Ну, а насчет терпения беспокоиться нечего. Закален.

Над ним тучей висели слепни и комары, мураши проложили свои тропы по его белой рубашке, по телу, по сапогам (страсть, сколько их оказалось на стволе черемшины, к которому он жался), а он стоял. Он не двигался. И медленно, сантиметр за сантиметром, подводил крючок к хариусу.

Вечернее солнце все больше и больше зажигало речку. Чешуя у хариуса стала золотой. И вот чудо — рыбина стала расти быстро, на его глазах, как если бы кто-то надувал ее изнутри.

Но Михаил ничем не выдал своего удивления. Не ахнул, не пошел велился. Жизнь у него была только в руках, а все остальное закорстело, задеревенело, и муравьиные караваны, непрерывно сновавшие по нему вверх и вниз, едва ли теперь отличали его тело от ствола черемухи.

И все-таки, несмотря на всю свою собранность и величайшее внимание, Михаил не мог бы сказать, как хариус оказался на крючке. Что произошло в самый решающий момент: он ли сделал раньше подсек (ему казалось, что до рыбины осталось не меньше четверти), или хариус, метнувшись, напоролся на крючок, но только вода возле валуна вдруг заходила, забурлила, и тоненькое рябиновое удилище в его руках выгнулось дугой.

Рывок. Рывок. Еще рывок... Золотой сверкающий клин резал воду...

«Только бы выдержала леска, только бы выдержала леска», — твердил про себя Михаил.

Леска в шесть конских волосьев была явно не рассчитана на такую рыбину, и он, переступая по кромке обрывистого берега, осторожно и мягко, без малейшего надрыва выводил ее к травянистому мыску, на котором уже, с нетерпением поджидая хариуса, стояли ребята.

Леска выдержала. Не выдержала рыба брюшина. Сорвался дьявол с крючка. У самого мыса сорвался.

От досады, от горя Михаил только что не рвал на себе волосы, а двойнята — те просто расплакались.

И все-таки они не с пустыми руками вернулись к избе. С рыбой. Два хариуса-ножовика Михаил выдернул в следующем пороге да там же, на плесе, — три ельца, да еще каким-то чудом выбросили на берег налима ребята, порядочного, не меньше, чем на фунт.

— Лиза, эво-то! Посмотри-ко! — звонко закричал Петька, едва они завидели избу, и высоко над головой поднял вязанку с рыбой.

— Да, — сказал Михаил, тоже не в силах побороть радостную улыбку на своем лице, — освежились. А я уж думал: Ося-агент все вы-

бродил. Так, на авось кинулся. В те годы как ни приедешь на Синельгу — пусто. Не поешь рыбки.

— У него ведь летом отпуск, — сказал Гришка. — Летом он налоги не собирает. Вот он и шурует по речкам.

— Да, вот именно что шурует. Все до единой рыбешки, до единого ельца выест. Почище всякой выдры. — Михаил кивнул Федьке: — Есть елец на плесах. Вот ты и будешь нас подкармливать. Понял?

5

Садилось за избой солнце, и все вокруг: и березовые стволы у ручья, и ребячьи лица, и гнедой Лысан, позвякивающий колокольчиком внизу на пожне, — все вокруг стало алым.

Хороший, ведренный день сулил закат. И на ведро нацелился их доморощенный барометр: в струнку, во фронт вытянулась тоненькая, оскобленная вересинка, воткнутая в щель стены.

Ребята, выйдя из-за стола, начали играть в перекичку с эхом. Приятное занятие, особенно на сытое брюхо. А они сегодня нагрузились основательно. Помимо молока, опорожнили котелок ячневой каши (не надо бы этого делать: кашу на пожне, как свет стоит, варят только после первого зарода, да так уж получилось — Лизка недодумала), затем — рыба. Рыбу сперва хотели засолить да поставить в берестяном туесе в ручей. До матери. А потом — ладно, ешь, ребята: не все худые зарубки должны быть в памяти, надо иметь и хорошие. В общем, понравилась такая страда ребятам.

Михаил, докурив сигарку, принялся насаживать ребячьи косы. Петька и Гришка с интересом присматривались, как он это делает.

— Тебя, между прочим, тоже касается, — кивнул Михаил малому, который в это время сам с собою играл около огня ножом-складнем. — Потом кем ни будешь, а это ремесло не повредит.

Тут Лизка от этих самых кос перекинула мостик в будущее — недаром Егорша прозвал ее заместителем по политчасти.

— Ну-ко, Федюха, скажи, — с живым любопытством спросила Лизка от стола (она прибирала посуду), — кем ты потом будешь?

Федюха надулся — и ни слова.

— На вот! — возмутилась Лизка. — Он и не думает.

— А надо думать, — поддержал Михаил начатый сестрою разговор. — Большие стали. Вот ты, Петро. Кем станешь, когда вырастешь?

Петька застенчиво переглянулся с Гришкой.

— Мы, как ты.

— Что, как ты?

— Как ты, потом будем.

— Голова! Далеко же ты собрался шагать! Ну, а Григорий что скажет?

Лизка с усмешкой покачала головой.

— А чего спрашивать Григория? Раз уж Петька сказал, так и он. Они у нас какие-то — что один, то и другой. Как это у вас, ребята, выходит? Надо немножко каждому думать. Привыкайте. Потом жить по-розь будете — не побежите друг к дружке.

— А мы вместе будем, — сказал Петька.

Михаил рассмеялся.

— Э, нет. Вместе все не получится: а как же, когда жениться?

Лизка с укором посмотрела на него: дескать, о таких вещах можно бы и не говорить. Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле — что из них будет? Ведь вот — малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса

Петровна все ждала да мечтала, когда пряслинская бригада на пожню пойдет. А ведь настанет время, когда пряслинская бригада немного дальше, чем на пожню, пойдет. В жизнь пойдет.

И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать, а когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой:

— Нет, ребята. Что я? Двадцать лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная. И страна у нас огромная. Учиться вам надо. Мне вот не пришлось. И ей не пришлось.— Михаил кивнул на сестру.

Лизка вздохнула:

— До ученья разве мне было? Я, бывало, на уроке сижу, а на уме у меня корова. Есть ли трава? Да где ребята?

— Это о вас она,— сказал Михаил.— Так что потом вы жмите. И за меня и за сестру выучиться надо.

— Татьяна у нас будет ученая,— сказала Лизка.— Вот уж эта выбьется в люди. Москва-девка! Где она теперь, рева?

При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой — в той стороне было Пекашино.

— Что, по дому заскучали? — спросил Михаил и, продолжая разговор, сказал: — Вы, ребята, в другое время растете. Все ладно, вам не придется в четырнадцать лет вставать из-за парты да в лес идти.

— Слушайте, что брат-то говорит,— наставительно сказала Лизка.— Наматывайте себе на ус.

— Я вот, к примеру, все думал с коня на трактор пересесть. На тракториста выучиться. А не получилось. Так жизнь сложилась.

— Война Михаила-то съела,— сказала Лизка.— Да мы с вами. Его и в армию из-за нас не взяли. Чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это. Хорошенько запомните. Потом где ни будете, в какие города ни уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?

Ребята, непривычные к столь серьезному разговору, слабо закивали в ответ, а Михаил, глядя на Лизку, подумал: «Эх, сестра, сестра. Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела...»

Березы у ручья погасли. От Синельги напал туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поеживались и нет-нет да и бросали исподтишка взгляд на избу, в которой Лизка устраивала постель.

Наконец Лизка вышла из избы.

— Долго ли вы еще? — Она ступила босой ногой на колючую щетину выкошенной вокруг избы пожни, поморщилась: — Ну и роса здесь. Не то что у нас в деревне. Хороший день завтра будет.

— Хороший,— сказал Михаил.— Ну как, мужики? Будить вас до завтрака?

— Будить,— ответили двойнята (Федька уже был в избе).

— Ладно, посмотрим. А теперь спать.

За избой догорал закат. От варницы к светлому розовому небу голубой лентой тянулся дым. Звонко тренькал колокольчик на пожне, а самого коня не видно — молочный туман заливал пожню.

Михаил сидел у костра, попыхивая сигаркой, прислушивался к ребячьим голосам за стеной в избе, а глазом косился на давнишние буквы, вырезанные ножом на столе,— ПИГ.

Никто — ни ребята, ни Лизка, ни он сам,— никто не обратил внимания на эти три буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские — Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом...

Глава шестнадцатая

1

Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно было оттого, что скоро она увидит своих детей.

Три дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым.

Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до Синельги, в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже.

И она поняла: ребята ломали. Те, с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой — двойнята. И она даже предстала, как это было.

Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом — вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! — да вдруг услышали, что Миша березовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: «Ребята, запасайтесь березой. Фашисты в воздухе!» — так, бывало, в войну называли оводов да слепней.

Дальше про то, как шли ее дети суземом, стала рассказывать ей дорога.

Четко, дождем не смывать, впечатал свой сапог Михаил, и шажище — метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята, те, как олешки: где оставили следок, а где и нет. Легкие.

Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное — шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно: грязь ли, болото ли — все прямо. Не любит обходы делать. А Лизка — нет. Лизка, если надо, и в сторону свернет, и круг даст — только чтобы под ногой сухо было.

На второй версте, на грязях у Лешьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую — нет следа.

Она пошла обочиной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа — круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя — не оказалось и за грязями.

Потом, спустя малое время — босая нога на дороге. Лизка. Ее нога — узкая да длинная. Это ей сапог новых жалко стало. И вот когда начались грязи, сняла.

Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреевич уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу — выручил Степан Андреевич. Разжился где-то шерстью, сам и скатал.

И валенки и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем — стоит это чего-нибудь, нет?

Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.

Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела — не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?

И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстрадавшая радость: пряслинская бригада на пожне! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий...

К Михаилу она привыкла — с четырнадцати лет за мужика косит и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос — позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабу Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!

С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось все делить пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обувь, и в войну, казалось, им первым карачун. А они устояли. Они выжили.

Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса — девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик — синичками звенят косы двойняток.

И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками.

Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, «пить-пить», а молчал.

Молчал и смотрел.

Смотрел и дивился.

2

Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:

— Мама, мама пришла!

Затем недолго думая бросила посреди пожни косу, подбежала к матери, помогла снять со спины котомку.

— А вон-то, вон-то! — живо зашептала она, кивая на двойнят.— Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте. Видите ведь, кто пришел.

Петька и Гришка выдержали — ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери.

— Мама, мама, ты видела, да?

— Видела, видела.

— Как не видела, — рассмеялась Лизка. — Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.

— А где у вас малый-то? — спросила, оглядываясь по сторонам, Анна. — Почему не видно?

— Удит, — ответила Лизка и указала на дымок за мысом. — С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал среди пожни, обмахивается веничком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в байне. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не веником...

Все — и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята — рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.

— Малой еще, — вступилась по обыкновению за Федюху Анна. — Подрастет, будет и он косить.

— Ничего не малой, — возразила Лизка. — Больно лени много у этого малого, вот.

— А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! — Петька и Гришка

были без кулек — накомарников. Сняли, подражая старшему брату, — тот все лето ходил с открытой головой.

А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны бледные, бескровные лица.

Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцек. Тут по крайней мере не донимает комар.

Туес с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы — чего-чего, а мышей на Синельге хватает.

Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила, — и двойнята и Лизка — сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости.

Новости были разные: в колхозе выдали муки житной по два килограмма на человека, работающего на сенокосе; в Заозерье утонул ребенок — второй день неводом ищут; Звездоня из-за жары доит худо, не удалось скопить сметаны...

— Ну чего еще? — развела руками Анна. — Да, забыла. Анисья у Лобановых уехала с ребятами в город.

— Уехала все-таки? — задумчиво переспросил Михаил.

— Это она из-за паспорта, — сказала Лизка. — Поминала на той неделе: паспорт, говорит, кончается, не знаю, как быть.

— Анисья не от хорошей жизни уехала, — сказал Михаил. — Попробуй-ко с тремя ребятами да без коровы, заново... — Он потерзал рукой темный небритый подбородок. — У меня спрашивала: «Посоветуй, Михаил, что делать?» А я что? Какой советчик бригадир в таком деле? Неужели скажу: поезжай? Но и удерживать... тоже язык не поворачивается.

— А как та рева? — опять на свою семью перевела разговор Лизка. — Наверно, вся уревелась?

— Татьяна-то? Спала еще, когда я пошла. Семеновну просила — к себе возьмет.

Михаил попыхал-попыхал еще немного сигаркой и принялся налаживать косу для матери.

Лизка тоже поднялась. Достала из-под травы свою дорогую обнову — она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце, — быстрехонько обулась.

— А с этими-то что будем делать? — Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо.

Петька и Гришка так уробились, что с первых минут, как только обхватили ее сзади, начали засыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на нее.

Михаил крикнул:

— Подъем, помощники!

И до чего же круто да проворно вскочили двойнята! Будто и не спали. Мигнули раза два-три — и глаза чистые-чистые, до самого донышка просвечивают. Как Синельга в ясную погоду.

— А мы и не спали. Мы это так, да, Гриша?

— Так, так, — успокоила их Анна. — Не расстраивайтесь. Я сама чуть было не заснула, ребята.

Солнце набирало свою дневную силу. Над пожней стоял гул от овода, от слепня. Михаил и Лизка спокойно и деловито вошли в траву. И пошли и пошли ставить улицы да переулки. А ей куда, в какую сторону?

Двойняшки, оседлавшие тенистую кулижку возле кустов, звали: «Мама, мама, иди к нам!» — и в другой бы раз она охотно, с радостью

присоединилась к ним (что поделаешь, если с косою она с малых лет не в ладах), но сегодня этого нельзя было делать. Нельзя.

Сколько лет в глубине своей души она ждала этого семейного праздника, самого большого торжества в своей жизни — так как же смотреть на него из кулижки, из кустов?

И она пошла за взрослыми — за Михаилом и Лизаветой.

3

— Ух, ух! — Михаил, не отрываясь от рожка, полчайника выдул воды. — Кто еще? Налетай.

Петька и Гришка (неужели не напились — только что за водой бегали?) с такой же жадностью набросились на чайник.

— Молодцы у меня! Осенью репа поспеет, всех представлю к ордену святой репы. А матери, той хоть сегодня можно выдать медаль из гнилой редьки.

Михаил был доволен: порядочно свалили травы за сегодняшнее утро.

У двойнят похвала брата ударила в ноги — бегом побежали к избе, чтобы к приходу взрослых развести огонь.

Но вот уж кто изумил Лизку, так это мать. Покраснела, вся вспыхнула — будто не сын родной похвалил, а по крайности секретарь райкома. А вообще-то понятно. Красива у них на лицо мать, даже война не съела ее красоты, а руками не вышла. Нет в руках хваткости да проворства. И как же ей не покраснеть, не вспыхнуть, когда такой косарь, как Михаил, похвалил! Ведь и она человек, ведь и ей нужно ласковое да доброе слово.

Когда они с матерью подошли к избе, на варнице уже скакал огонь. а на крючьях висели чайник и котелок.

— Будем ли чего варить? — спросили двойнята.

— Будем, — ответила Лизка. — Рыбой будем кормить гостью. Ну, ко, чего стоите? Запрягайте скорей коня да выезжайте навстречу рыбаку. Улов нынче такой — не принести на себе.

Петька и Гришка шутку поняли и от удовольствия покрутили головами.

И вдруг все — и ребята, и мать, и сама Лизка — вытянулись и со страхом посмотрели в ту сторону, где рыбачил Федька. Дикий, отчаянный вопль донесся оттуда. Потом увидели и самого Федьку. Бежит что есть силы по пожне, кричит благим матом, а за ним по пятам — бух-бух, от избы слышно — Михаил. С длинной хворостиной.

В ручье под избой Михаил догнал Федьку, свалил с ног, и длинная хворостина безжалостно заплескала над ребенком.

Мать застонала: ах, ох! А что бы крикнуть: «Остановись! Не смей, ирод! Искалечишь ребенка». Нет, не крикнула. Не дождешься этого от ихней матери. Что ни скажет, что ни сделает Михаил — все ладно. Хозяин.

И пришлось ей, Лизке, пускать в ход свое горло. Что уж она крикнула, какими словами огрела этого лешего, Лизка в ту минуту не упомянула. Только Федьке это помогло: оторвался от брата, перескочил ручей. И вот тут на выручку подросла мать:

— Федя, Федя, бежи ко мне. — И даже руки протянула.

А нет, не у матери родной стал искать защиты Федя, а у нее, у Лизки. Кинулся, обхватил обеими руками, насмерть прилип. И Лизка тоже обхватила его, телом своим заслонила — пускай уж лучше ее ударит, чем ребенка.

Михаил не ударил ее. Но хворостину через колено на мелкие части разломал и так расшвырял — страшно взглянуть. Мокрый весь, пот градом катится по щекам и зубы ощерены, как у зверя. Брат у них и раньше не мягкая шанежка был: чуть что не по нему — и завводил глазами, а все же до болезни такого не было — не терял рассудка.

За обедом никто не проронил ни слова. Сидели не шевелясь. Только ребята жалостливыми глазами изредка, украдкой от старшего брата посматривали на избушку, где отсиживался Федька. Потом с беспокойством начали поглядывать на сестру, на мать: в миске кончается молоко — похлебку, конечно, не варили, а как же Федюха? Ему-то что?

— Ешьте все! Ни капли тому дьяволу не будет.

И тут опять не мать, а она, Лизка, пошла поперек Михаилу.

Она старательно, насухо облизала свою ложку, сказала:

— Как хошь наказывай ребят, а голодом морить нечего. Не преждее время.

Обошлось. Ничего не сказал. Встал, пошел к избе. Лизка так и присела: ну, держись, Федька. И опять пронесло грозу. Михаил снял с избы грабли и вилы, пошел на пожню.

4

Тревожно, томительно стало у избы. Хозяин ушел на пожню, не сказав ни слова. Федька сидит голодный в избе. И как с ним быть? Можно ли покормить, не нарушая наказа брата?

Лизка взглянула на мать: ну-ко, давай подумаем вместе. А мать, как двойнята, с мольбой смотрит на нее: выручай, Лизка.

И Лизка решилась:

— Зовите того ахида.

Федька в сопровождении братьев вышел из избы. Губы толстые наладил на слезы, но что-то не видать по лицу, чтобы насмерть был перепуган.

— Чего наделал там, изверг? Сказывай!

— Ничего.

— Как ничего? За ничего-то не будут гонять по всей пожне. Да еще с хворостиной. Когда это Михаил бил кого понапрасну? А?

— Ус-ну-ул маленько, — ширнул носом Федька.

— Уснул? — Лизка от негодования едва не задохнулась. — Это на работе-то уснул? Да ты что, красна рожа? Мы робыли-робили — света белого не видели, а ты вот что удумал? Спать. Да за такие дела с тебя шкуру мало спустить, вот что я тебе скажу. Худо, худо тебя отлупили...

Тут заплакали двойнята — жалко стало дорогого братца, мать вступилась за малого, и Лизка, вся расстроившись, так и не добилась от Федьки всей правды. Только потом, много позже, рассказал Михаил, из-за чего сыр-бор загорелся.

— Я ведь ему царские условия создал, ей-богу. Огонь развел, чтобы гнусу вокруг меньше было — здоровенную валежину припер, траву выкосил. Лови, парень, рыбку, накорми свежей матерью. Ну, парень постарался. Ельца из речки вытащит да на живые угольки да в брюхо. Ей-богу! Лежит, похрапывает у огонька, травкой сверху накрылся — никакая муха не укусит, а морда у самого вся в рыбьей чешуе. Как коростой заляпана. Ну, меня затрясло. Ах ты, подлюга, думаю! Так-то ты наказ мой сполняешь. А тут еще глянул — соль у него на газетке. Это чтобы рыбка свежая лучше в горлышко проходила. Понимаете? Он, гад, загодя, еще с вечера этой сольцы отсыпал, все предусмотрел. Вот что меня окончательно допекло.

Так рассказывал Михаил, и рассказывал со смехом, а тогда им было не до смеха. Время идет. Михаил куда-то пропал — нет на пожне. Что делать? Глядя на луг, надо бы взять грабли да загребать сено. Ну, а вдруг да у него другое на уме. А, скажет, столько-то сообразить не можете!

Долго, не меньше получаса, стояли они у избы, томясь от неизвестности и беспокойно поглядывая на пожню, в ту сторону, куда ушел брат. Наконец брат показался. Вышел из кустов — голова мокрая, на солнце сверкает (купался, значит) — и начал загребать сено.

Лизка с облегчением сказала:

— Пойдемте и мы. Давно бы надо идти. Бестолковые мы с вами, ребята. Кто это станет ругать за работу? А ты, бес,— сказала она Федьке,— на глаза не смей показываться. Чуешь? — Лизка, как надо, нахмурилась и для порядка отвесила тому легкий подзатыльник.— Покамест платом не махну, чтобы духу твоего на пожне не было.

Тихонько, неуверенно спустились к ручью, вышли на закраек пожни. Сено сухое. Дух хороший. Ветерок из-за Синельги прыснул.

Лизка крикнула:

— Откуда нам загребать?

Ни слова — не прошла еще злость. Охাপку сена швырнул — только шум пошел по пожне.

Мать вздохнула, и Лизка на этот раз рассердилась не на шутку: как это можно так довести себя, чтобы родного сына бояться?

Лизка сказала с сердцем:

— Загребайте отсюда. Все равно и это сено когда-нибудь надо сгребать.

Работали быстро. Все старались — и мать, и ребята, и она, Лизка, просто бегали с граблями по пожне, потому что понимали: ежели и можно чем угодить сейчас Михаилу, так это работой.

И верно, Михаил малю-помалу начал поглядывать в их сторону — сперва вроде как на солнышко, а потом и на их сенные перевалы.

Тут Лизка решила окончательно добить брата — наслать на него двойнят.

И стали Петр да Григорий к старшему брату подходить. Тихо, медленно. Грабелками по сему шась-шась, а сами все ближе, ближе к белой рубахе. И вот уже подобрались — забегали, замахали грабелками вокруг брата.

А еще спустя какую-то минуту Михаил подал голос:

— Мати, вы чего там на отшибе? Первый раз на пожне?

То есть это означало: сколько еще можно дуться? Давайте подходите сюда (на большее Михаил сейчас способен не был).

Лизка сняла с головы белый платок и, уже не таясь, замахала Федьке: иди! Кончилась твоя отсидка. И ей любо, любо было заодно пробежаться своим глазом по голой пожне.

Хороша, красива пожня в цветущей траве. Как шаль нарядная. И хороша пожня, когда на ней лежит пахучая, медовая кошеница. Но всех краше и лучше пожня, когда она голая. Когда с нее только что сено сгребено.

Глава семнадцатая

1

Воротца на задворках были открыты, и Михаил на всем скаку влетел в заулоч.

Бледная, растрепанная мать кинулась к нему от двора, когда он спрыгнул с пошатывающегося Лысана.

— Что с ней?

— Не знаю, не знаю... Второй день не пьет, не ест.

Степан Андреянович в ответ на его требовательный взгляд пожал плечами:

— Вымя... С вымем неладно.

Серое гудящее облако гнуса, увязавшегося за ним еще на Синельге, качалось над его потной головой. Мать веником стала разгонять гнус. А он сделал шаг к воротам двора и споткнулся: глухой, протяжный стон донесся оттуда.

Вымя у Звездони вздулось горой, затвердело, как камень. Сухой жар опалил пальцы Михаила.

Он с ненавистью метнул короткий взгляд в мать:

— Хозяйка! Холодной водой протирала?

— Да что ты... С чего...

— А я думаю, уж не палкой ли кто жарнул. Смотри, какой рубец на брюхе.

Михаил ощупал продолговатую опухоль, на которую указывал Степан Андреянович. Корова дернулась и охнула, как человек.

— Ну что, Звездонюшка? Что? Больно?

Он провел у нее за ухом — Звездоня любила, когда у нее чесали за ушами. Но на сей раз она не отозвалась на ласку. Из раскрытой пасти со свистом, с бульканьем вырывался горячий воздух.

Ветеринара дома не было — ветеринар был на сенокосе. Марина Стрелеха, больше всех в Пекашине понимавшая в скотине, как на грех, ушастала в Заозерье. Что делать?

Михаил, затравленно оглядываясь, тяжело дыша, вышел за ворота двора и увидел коня, до репицы забрызганного грязью, увидел тихое закатное небо за деревней.

Что делает сейчас Лизка с ребятами? Догадываются ли, какая беда стряслась дома?

Когда с час назад к ним на Синельгу приехал Лукашин и сказал, что у них заболела корова, и Лизка и ребята завывли, как по покойнику. И он долго, нахлестывая коня, слышал сзади себя этот разноголосый надсадный вой, вечерним эхом разносимый по лесу.

Степан Андреянович тронул его за рукав. Он понял старика.

Корова уже запрокинула голову и дышала брюхом. Татьяна платком отгоняла мух от вымени. Мать подкладывала под голову какую-то лопотину.

Михаил встретился глазами со Степаном Андреяновичем. Тот покачал головой: не могу.

Михаил вытащил нож из ножен.

— Мама, мама! — заревела истошным голосом Татьяна.

— Да уведи ты ее к дьяволу! Не понимаешь? — вне себя заорал Михаил.

И то ли от этого крика, то ли поняла она все, умница, но Звездоня вдруг приподняла голову, и огромный заплаканный глаз уставился на него.

Что же ты это? За что? Разве я мало вам послужила? Была ли у вас еще радость за все эти годы, кроме меня? Как бы вы жили?

Михаил выждал, пока не опустилась голова Звездони, воткнул нож в горло.

— Почем мясо?

— Сорок.

— Почем? Почем?

— Сорок, говорю.

— Да ты, парень, выпался?

— А сколько же, по-твоему? Мы в налог за живой вес по сорок платим...

Женщина, побрякивая светлым ведерком, перешла к молочницам. Там, у молочниц, стояло двадцать — тридцать домохозяек, и все они за это утро перебивали у него. А мяса купили только трое, и то пустяки — по триста — пятьсот граммов.

Начинался день — жаркий, страданный день.

Михаил стоял за прилавком и с ненавистью поглядывал на домохозяек, сбившихся в пеструю кучу под навесом у ларька с керосином.

Домохозяйки выжидали — это ему было ясно. Выжидали, когда он скинет цену. Нет, не дождетесь. Не будет по-вашему. Вся жизнь у него ушла в эту корову — так что же вы хотите? Даром?

После войны у него была возможность вместе с Егоршей уйти на лесопункт. Не ушел. Остался в колхозе. А для чего? А для того, чтобы вот эти четыре копыта ходили по земле. (Он согнал рукой мух с посинелых суставов коровьих ног.) Все вам больше, копыта. Отходили свое.

Копыта были черные, щелястые. А он помнит, когда эти копыта были еще желтые, молочные, величиной с овечьи копытце, помнит, как отец на руках внес Звездоню в избу: «Хорошая будет корова!»

Да, хорошая. Поработала, потрудились на них Звездоня — без молока не сидели. Но и они потрудились на нее. Степан Андреянович, он, мать — втроем молотили всю страду. Но разве прокормишь корову семью-восемью процентами? И вот посматриваешь по сторонам — нельзя ли где в заброшенном ручье прикосить возишко. Прикосил — ночей не спал, а потом это сенцо надо стаскать куда-нибудь под ель, припрятать, чтобы оценочная комиссия не наткнулась. А потом осенью, по первому снегу, его надо вывезти. Да ночью — чтобы никто не видел. В прошлом году, например, он часа три ждал за болотом, покуда народ от коношни уйдет. Промерз так, что думал — околеет. И все-таки Ося-агент удозорил, гад. Пришлось бутылкой хайло затыкать...

Подошла женщина, встала у прилавка.

— Сорок, — резко бросил Михаил.

Женщина не отошла. Михаил поднял глаза и увидел перед собой Варвару.

Минуту, а то и больше смотрели они друг на друга. Потом Варвара сказала тихо:

— Вот как нам привелось с тобой встретиться.

Помолчала, вздохнула и отложила в сторону коровью ногу.

Солнечный луч блеснул на милой смуглой руке, и будто толкнуло его в сердце. Он узнал серебряное колечко. Варвара подарила ему это колечко в ту ночь, когда он второй раз приехал к ней с Синельги. «На, носи мою присуху. Чаще вспоминать будешь» — и сама надела ему колечко на мизинец. И он всю дорогу, улыбаясь, смотрел на свой окольцованный палец, а когда стал подъезжать к Синельге, снял — не дай бои увидят люди.

Люди не увидели. Он всю страду носил колечко в кармане гимнастерки, лишь тайком, когда оставался наедине с собою, надевал его на палец. Потом как-то вечером — уже начинали жать — он положил колечко на комод в стеклянную сахарницу, в которой лежали бусы и всякие брошки, и Варвара ничего не сказала после — будто не заметила.

— Хорошее, хорошее мясо, — громко, нараспев сказала Варвара. — Спасибо.

Кровь прихлынула к его щекам. Он понял: не для него говорит эти слова Варвара. Для женщин. И женщины, которые еще недавно воротили нос от мяса, толпой сбились у прилавка:

— Мне, мне кусочек!

— Я раньше тебя пришла.

— Оставь, оставь мне ноги. У меня муж студень любит.

— А мне печени, печени!

Он рубил, резал, кидал на весы, и через каких-нибудь пятнадцать минут у него ничего не осталось от осердья. А ведь именно за осердье он больше всего боялся. Степан Андреевич его отговаривал: не доведешь. Испортится. А он — нет: в райцентре денежные люди, дороже дадут. Нарубил в погребе льда. Засыпал корзину с осердьем льдом.

Варвары уже не было. А он и не заметил, как она ушла. «Вот как мы с тобой встретились...» «Хорошее, хорошее мясо... Спасибо...» Нет, тебе спасибо! Век помнить буду эти слова. Умирать буду — и тогда вспомню...

Солнце входило в силу. Голова под навесом, в тени, голову солнцем не хватает, а на кой черт ему тень для головы, ежели на прилавке пекло?

Он переложил мясо в тень, справа от себя, прикрыл ватником. Красные пятна на прилавке тотчас же почернели. Он веником стал срывать присосавшихся к прилавку мух.

Ровно в час дня, сверкая лощеными задами, потянулись служащие на обед. Базар вымер. Солнце — будь оно проклято, он — голова в тени, да еще какая-то старушонка дремлет поодаль за прилавком. Старушонке можно дремать. У старушонки старая картошка. От жары не протухнет.

Где Лизка? Ушла ли мать на Синельгу?

Нет, не Лукашин привез им весть о беде. О беде дома он, Михаил, знал еще до приезда Лукашина. И знала Лизка. И ребята догадывались. А как же не знать, не догадываться? Мать не приходила к ним три дня, у них вышли хлебы — не будет же она сидеть зря дома!

После обеда он скинул три рубля. Нате, жрите! Одним махом выбрасываю шестьсот рублей. А покупательниц нет. Покупательницы сидят на бревнышках, у ларька с керосином напротив. Накормили своих мужей, спровадили на службу и снова на вахту. Переоделись. С утра были занавешены, а теперь редко у какой телеса не на показ.

Интересно, так же нынче ходит Варвара? Он запомнил только ее глаза — большие карие глаза на побледневшем лице. И еще запомнил колючко...

Подошел санитарный врач с заранее распяленными ноздрями. Отвернул ватник, понюхал.

— Поторопись, парень. Клеймо у тебя действительно до утра.

Нет, гад! Не получишь больше. Утром, чтобы заклеить мясо, я тебе полпечени отрезал. Справки, вишь, нет от ветеринара. А где его взять, ветеринара? Где?

Он сцепил зубы и полторы тысячи швырнул к ларьку:

— По тридцать продаю. Слышите? Еще семь сбавляю.

— Торгуй, торгуй. Наша очередь не подошла. Подождем.

И тогда он понял: он в капкане у них. Они, эти бабы, сделают с ним все, что захотят. И им, Пряслиным, больше не видать коровы.

3

Накрапывал дождь. Телега улитой тащится по Марьиным лугам.

Да, дождь. Стучит по пустому коробу, обмывает зачем-то железные шины на колесах. А что бы тебе, дождь, не начаться на сутки раньше?

Бабы доби́ли его — по двадцать рублей килограмм вырвали. А последние пятьдесят килограммов и вовсе пошли задаром. В столовку. По государственной цене.

Михаил снял с себя ватник, завернул в него деньги, подложил под себя.

Внезапно стало темно. Зашумели, зароптали придорожные кусты, высокая перезрелая трава волнами заходила на обочинах.

Михаил поднял мокрую голову и увидел над собой огромную черную тучу.

Конь перешел на рысь еще до того, как ударила молния.

Какое-то время Михаил широко раскрытыми глазами смотрел на переднее колесо, на его железную игру с жарко пляшущей молнией над самой головой, и вдруг вместе с ливнем сверкающая, долгожданная радость обрушилась на него. Она его любит. Любит! А он-то все это время ломал голову: как назвать то, что у них было? Блажь, каприз безмужней бабы? Нет, нет, и Варвара любила его. Варвара носит серебряное колечко, то самое колечко, которое было у него... И пусть они никогда, никогда больше не встретятся так, как встречались раньше, но она с ним, она у него в сердце...

Гроза не стихала. Конь бежал уже вскачь. И молния, молния чертила свои каленые письмена вокруг него.

И от счастья, от радости, от избытка рвущихся из него сил Михаил вдруг вскочил на ноги, намотал на руку вожжи и начал нахаживать и без того скачущего во весь опор Лысана.

4

Двух суток не прошло, как нет Звездони, а уж жизнь перекроена начисто. Первый раз за свои двадцать лет он сидел ночью в пустой избе.

Печь не топлена — мать, должно быть, еще вчера ушла к ребятам на Синельгу, — и даже кошки не видно, наверное, и кошке стало не по себе в пустой избе.

Он решил сходить за Татьянкой — нечего девке ночевать у Семеновны, коли брат дома.

Дождь еще не кончился. Красным заревом отливает боковое окошко у Марфы Репишной. Что там делается?

Михаил прошел к Марфиному дому, встал под углом, прислушался. Тихо в избе. Ни единого звука не слышно. Только дождь со всхлипами барабанит по раме.

Он зашел в заулок. Ворота на крыльце раскрыты настезь. Что же все это значит?

По шаткому старинному крыльцу он быстро поднялся в коридор, открыл дверь и остолбенел.

Марфа стояла на молитве. Среди ночи. На коленях. И неподвижно, как скала. Медные лики строго взирали на нее с божницы, озаренной красной лампадкой.

— Что случилось? Почему ворота не заперты?

Марфа ни слова.

Михаил зашел сбоку, заглянул ей в лицо. Красные сполохи дрожали в ее сухих глазах, обращенных к богу.

— Чего, говорю, людей пугаешь? Нельзя вечером намолиться? Где Евсей?

— Взяли.

— Куда взяли?

— Криводушники...

— Кто? Кто?

Михаил вдруг вспомнил, как, подъезжая к сенопункту, он увидел трех человек, быстро свернувших с дороги к избушке, и ему тогда еще странным показалось это, а теперь он знал, что это были за люди. Конвой и Евсей.

Тихо, не сказав больше ни слова, он вышел на улицу, запер ворота.

У крыльца шумно кипел переполненный водой ушат. Четкие, еще не смытые дождем следы казенных сапог виднелись в заулке. Следы вели на задворки — значит, Евсея увели задами.

Михаил двинулся на переднюю улицу и еще издали увидел широкое светлое пятно на дороге. Это щепка. Щепка, которой Евсей засыпал нынешней весной грязь перед Марфиным домом. В сухое время щепку не замечают. А в сырость, в непогодь каждый прохожий добрым словом вспоминает старика. В сырость, в непогодь щепка, омытая дождем, светится. И вечером. И ночью.

Ах, дьявол меня задери! — вдруг с раскаянием подумал Михаил. А бревна-то я ему ведь так и не вернул. Два года собирался привезти бревна взамен тех, которые взял у Евсея с избы, да так и не привез...

Глава восемнадцатая

1

— Так-так. Значит, ты хочешь знать, за что арестован Мошкин? Народ, говоришь, волнуется?

— Да, спрашивают люди.

— А сам ты не знаешь?

— Да нет.

— А то, что этот самый Мошкин народ мутил, этого, по-твоему, мало?

— Религия у нас не запрещена, Евдоким Поликарпович.

— Шляпа! — Подрезов вскочил на ноги — ядро раскаленное. — У тебя контрреволюционные листовки под носом стряпают, а ты меня спрашиваешь — за что... — С грохотом распахнув дверку стола, Подрезов вытащил пожелтевший тетрадочный листок, протянул Лукашину: — Читай!

Молитва

Жизнь унылая настала,
Лутче, братцы, умереть.
Что вокруг нас происходит,
Тяжело на то смотреть.
Служба Божия забыта,
Лик священный заключен,
Детский ум грубо воспитан,
Богохульству научен.
И посты не соблюдают,
Божьих праздников не чтут,
В домах шапки не снимают,
Часто в них едят и пьют...

И в таком духе на двух страницах.

— Понял геперь, что у тебя делается? А еще меня спрашиваешь. Иди. И имей в виду: на пощаду не рассчитывай. Строго спросим. Я предупредил тебя насчет староверской молельни. И с женой с твоей у меня тоже был разговор.

Об аресте Евсея Мошкина Лукашин узнал, когда вернулся с Верхней Синельги. И попервости только рукой махнул: ну, арестовали и арестовали. Значит, есть за что. Меня же не арестовали. И других не арестовали.

Но отмахнуться так просто не удалось. Колхозники жалели Евсея. Старик. Два сына на войне потерял. Да сколько же еще мытарить и мучить человека? А кроме того, и у самого Лукашина была не спокойная совесть. Трудно, очень трудно пришлось бы колхозу нынешней зимой, если бы не подмога со стороны Евсея. Сани, подсанки, всякие срочные поделки на скотных дворах, на конюшне — все это делал Евсей. И Лукашин, решив с глазу на глаз переговорить с Подрезовым, хотел напомнить об этом — авось и следствие учтет заслуги Мошкина перед колхозом.

Но сейчас, после того как у него в руках побывала эта молитва, ему стало ясно, что говорить обо всем этом бесполезно.

Конечно, какие-то неграмотные вирши, к тому же написанные простым, наполовину стершимся карандашом, может, и не стоило бы называть листовкой — листовка все-таки это другое, товарищ Подрезов! — но и преуменьшать значения молитвы тоже нельзя. Далеко зашел старик. С душком, с нехорошим душком молитва.

Передав помощнику Подрезова, чистенькому, вежливому брюнету, сводку о надое молока за последнюю пятидневку (Подрезов не потерпел бы зряшного выезда в район во время страды), Лукашин спустился на первый этаж и заглянул в парткабинет.

За длинным красным столом сидел, обложившись брошюрами и книжками, Ганичев. В железных очках. В своем неизменном кителе из чертовой кожи, жестяно отливающей на солнце.

— Что, Гаврило, — с наигранной бодростью воскликнул Лукашин, — идейно вооружаемся? Опять, значит, в поход? Давай — у меня конь под окном стоит.

Ганичев нахмурился и ничего не ответил.

Худы мои дела, подумал Лукашин. раз Ганичев от меня отворачивается. А в общем-то, что же? Все понятно. Ведь и сам он когда-то старался избегать людей, у которых замарано рыло. А тут мало сказать — замарано. Арест по 58-й статье в твоей деревне... Да это же вон чем пахнет!

2

На Лукашина всегда успокаивающе действовало летнее поле — сказывалась, видно, душа крестьянина. Так было и сегодня.

Из райкома он вышел — жуть настроение. Но вот полежал немного за райкомом на зеленой лужайке под рябиновым кустом — тут летом всегда какой-нибудь опальный председатель загорает перед головной койкой либо после — да покурил, и, смотришь, поровнее забилось сердце. А там и думы пошли другие. О доме. О сенокосе. О том, что в колхозе сейчас дорога каждая пара рабочих рук, тем более мужских, а он вот тут расквасился, как баба. Чего раньше времени себя хоронить? Чему быть — тому быть.

Лукашин быстро поднялся на ноги, прошел к коню, который, пофыркивая, хрустел травой у изгороди, начал было отвязывать вожжи и раздумал.

Нет, уж коли он в район выбрался, то надо хоть одно дело сделать. А дело у него было, и нелегкое дело: дом. Тот самый дом, в котором он жил сейчас с Анфисой.

По всем книгам — и по сельсоветским и по колхозным — дом принадлежал Григорию, мужу Анфисы. И разве мог он, Лукашин, чувствовать себя спокойно, живя в этом доме? «А, гусь залетный! Мало того, что ты жену от мужа отбил, когда тот на войне был, так ты и его самого из дому выжил». Ведь вот как могут сказать. А если и не скажут, то уж подумать-то так редкий не подумает. Знает он публику деревенскую. Сам из нее вышел. А зачем ему это? Зачем лишний треп вокруг своего имени, когда его этого треп, и без того достаточно?

Поэтому в первый же день своего председательства Лукашин предложил Анфисе на выбор: либо перебраться на житье к Марине Стрелехе, его бывшей хозяйке, покамест они обзаводятся своей новой халупой, либо вступить в переговоры с Григорием и выкупить у него другую половину дома.

Анфиса, как он и думал, ухватилась за второе. А насчет того, чтобы дом оставить, и слушать не захотела. С какой стати? Ей да из своего дома в чужие люди на постой идти? Ни за что!

И вот Лукашин начал действовать. Не прямо, конечно, чтобы встретились как мужчина с женщиной и давай по-деловому, раз уж так все получилось. Какое там! До встречи ли ему, когда его от одного имени Григория трясет (никогда раньше не знал за собой ревности). Да и у Григория, судя по всему, не было большой охоты встречаться с ним.

Раз как-то вечером, еще в бытность свою инструктором райкома, Лукашин пошел в кино, и будто кольнуло его в затылок, когда он брал билет. Оглянулся: глаза. Как два спаренных пулемета, наведены на него из полутемного угла. И хотя он не знал человека в милицмейской фуражке, он сразу догадался, что это за милиционер.

Короче говоря, Лукашин решил действовать через Кузьму Кузьмича, начальника Сотужского лесопункта, которого, по словам Анфисы, Григорий уважал больше, чем отца родного. Не тут-то было. «Отцовским домом не торгую». И все. Больше рта не разжал Григорий.

И вот сейчас, выходя из райкомовского заулка и вглядываясь в желтое двухэтажное здание милиции с высоким глухим забором, из-за которого выглядывала новая тесовая крыша гурьмы, Лукашин подумал: а не поговорить ли ему самому с Григорием? Сколько еще в прятки играть? Ведь все равно рано или поздно не миновать им встречи, раз в одном районе живут.

— Постой, постой! — вдруг остановился Лукашин и плотно сжал зубы. — Да как же я? Как же я раньше-то не подумал об этом?

Видно, у него очень уж воинственный был вид, когда он, запыхавшись, вбежал в приемную, потому что Василий Иванович — так звали помощника Подрезова — телом своим загородил дверь в кабинет хозяина.

Лукашин оттолкнул его.

— Это не Мошкин написал молитву.

— Что-о? — Подрезов, читавший какую-то бумагу, начал медленно распрямлять спину.

— Я говорю, молитву не мог написать Евсей Мошкин. Он неграмотный, не умеет писать.

— Хм.. Неграмотный? Не умеет писать? А ты откуда знаешь?

— Знаю. Весной он при мне деньги в колхозе за сани получал. И Олена Житова, счетовод наш, еще рассмеялась: «Чего, говорит, кресты-то ставишь? Расписывайся как следует». А Евсей на это и скажи: «А я ведь, говорит, только и умею читать по-печатному, а писать не горазд. Ни одной зимы в школу не ходил».

— Какое значение это имеет?

— Как какое? Факт есть факт.

— Факт пока что такой, — чеканя каждое слово, сказал Подрезов и встал, — по району контрреволюционные листовки под видом молилки гуляют, а в это время коммунист Лукашин берет под защиту попа. Дешевой популярности у старух ищешь — так, что ли, запишем?

— Это еще надо доказать, кто из нас чего ищет. И ты эти штуки брось, товарищ Подрезов. Пуганые!

— Что-о? — Подрезов вдруг весь налился, двинулся на Лукашина.

Василий Иванович, ворвавшийся в кабинет вслед за Лукашиным,

попятился к полураскрытой двери. В побелевших глазах его стоял ужас. Всякого повидал он на своем посту. Случалось даже «скорую помощь» вызывать к проштрафившемуся работяге, но такого, чтобы кто-то из посетителей поднял голос на самого,— никогда.

Подрезов справился с собой еще до того, как за помощником хлопнулась дверь. Он глубоко засунул руки в карманы галифе, прошелся, бычась, по кабинету, встал к окну.

— Ты знаешь, за что твою жену с председателей сняли? — заговорил он, не оборачиваясь.

Лукашин наморщил лоб, стараясь понять, куда клонит секретарь.

— За бабью жалость,— сказал Подрезов.

— Вот как! — удивился Лукашин.— А я помню, ты другое мне говорил, когда я первый раз у тебя на приеме был. За лесозаготовки. И так мне и жена говорила.

— Ерунда! Что ты, не знаешь своей жены? Хозяйственная баба. Этого у нее не отнимешь. И уж если на то пошло, так с лесозаготовками у нее не хуже было, чем у других. А даже лучше. Только жалостлива больно. Всех ей пожалеть хочется. За каждого она заступница. За эту, за ту, за третью...

— Что ж,— сказал Лукашин,— люди, по-моему, заслужили того, чтобы их пожалели.

— Вот-вот! — с азартом воскликнул Подрезов.— И ты в ту же дуду! Заслужили... Всем на отдых... Так? А кто работать? Кто план по кубикам выполнять? А план по кубикам сразу после войны, знаешь, какой дали? Ой-ей-ей! Волосы дыбом. И что бы ты сделал? Ты — бывший работник райкома? Ну-ко, давай! А я, например, ударил по главным жалобщикам, в том числе по твоей жене...

— И поставил вместо нее, хозяйственной бабы, как ты говоришь, этого безмозглого прохиндея Першина?

— Ну что ж,— согласился Подрезов,— и поставил. Никудышный извозчик — согласен. Собака-извозчик, сказал бы мой отец. А лошадь у него побежала. Вытащил лесозаготовки.

— А мой отец,— сказал Лукашин,— когда дело касается лошади, больше на овес советовал нажимать...

— Ах, какой у тебя умный отец! — с издевкой в голосе воскликнул Подрезов.— А мы и не знали, что лошадь овсом гонят. А где, где он, овес-то? О чем я с тобой тут толкую? Ты знаешь, как мы тут войну делали? Да и не только мы, а все прочие?

Лукашин усмехнулся.

— Ах да, ты ведь в сорок втором здесь был... — Подрезов помолчал и решительно рубанул воздух ребром ладони.— Ни черта ты не знаешь! Тебя как фронтовика на руках все носили — рассказывали мне. Да и что такое одно лето? А за этим летом был сорок третий год, а за сорок третьим был сорок четвертый. Ух год! Мох ели, заболонь сосновую толкли. А за сорок четвертым — сорок пятый. И все эти годы мы одно твердили людям: терпите. Терпите, бабы! Кончится война, тогда заживем. Тогда наедемся досыта. Мы даже лекции на эту тему читали: «Наша жизнь после войны». Чего не сделаешь ради победы... В общем, люди, как чуда, ждали победы. Все, все изменится. На другой же день. Понимаешь? А как изменится, когда вся страна в развалинах?

Лукашин покусал в нерешительности губы, затем прямо в глаза глянул Подрезову, подошедшему к столу за папиросой.

— А ты думаешь, никак нельзя было накормить эту бабу досыта... сразу после войны?

— Я думаю... — Подрезов усмехнулся.— Мы с тобой солдаты, а не думальщики. Ладно, обсудили вопросы стратегии войны и мира,— вдруг

с незнакомым Лукашину смущением сказал Подрезов, хлопнул его дружески по плечу и заключил таким напутствием:— В следующий раз, прежде чем крик поднимать, все-таки подумай.

3

Вечер был как по заказу. Днем, после полудня, хлестнул дружный ливень — с луга домой прибежали насквозь мокрые, — а потом опять солнце, опять тепло: парные лужи в ленивых зайчиках, хлебный запах с подгорья и огромная-огромная радуга над заново зазеленевшим лугом.

В этот вечер Лукашин и Анфиса, пожалуй, впервые за нынешнюю страду спокойно, никуда не спеша, пили чай.

Лукашин, с мокрыми пятнами на белой нижней рубаше, с сияющим, до блеска намытым выпуклым лбом (они только что пришли из бани), в руке держал стакан с крепким, янтарным чаем, а глазами был в газете.

— Грибы, должно, пойдут после этого дождя, — сказала Анфиса.

— Пойдут, — вяло отозвался Лукашин.

— Люди уже носят.

— Грибы? А то как же! Харч.

Анфиса вздохнула. Всем хорош у нее муженек, а по дому палец о палец не ударит. Единственная его работа, если не считать воды да дров (и го изредка), — забил вход двухвершковыми гвоздями на половину Григория. А дом — это ведь и приусадебный участок, и сено, и крыша над избой и поветью, которую еще до войны ладили, да мало ли всего! И Анфису тяготило и беспокоило это равнодушие мужа. А главное, она никак не могла понять, откуда оно. Дом своим не чувствует — оттого? Или он рано от деревни оторвался и растерял навыки хозяина?

Вдруг под окном захлопал мотор. Анфиса быстро привстала, посмотрела через мокрую, склонившуюся над газетой голову мужа.

— Подрезов! Глянь-ко, глянь-ко, — зашептала она, — да он к нам.

Подрезов ни разу не был у них дома с тех пор, как ее сняли с председателей.

— Дома хозяин? — еще в дверях загредел знакомый голос. — Ух ты! Прямо к самовару. Есть, есть у меня счастье! — Подрезов шумно снял свой знаменитый кожан и, не дожидаясь приглашения, подсел к столу — свежий, прокаленный солнцем, подстриженный, с белой полоской кожи на крутой загорелой шее.

— Ну что, Минина, — сказал он, искоса поглядывая на Анфису, ставившую перед ним стакан, — все еще дуешься? Но-но, не закатывай глаза. Кого хочешь обмануть? Так я тебе и поверил... А чего это ты такая тонкая? Сколько вдвоем живете? Январь, февраль... — Подрезов начал загибать пальцы. — Пора бы поправляться, а? — И захохотал.

Анфиса, привыкшая к подобным шуткам, довольно спокойно выдержала «мужской» взгляд Подрезова, но за мужа она испугалась, потому что всякое упоминание о ребенке у Ивана Дмитриевича непременно связывалось с его Родькой, с маленьким несчастным Родькой, которого немцы вместе с бабкой и односельчанами расстреляли за связь деревни с партизанами.

Подрезов, видимо, поняв, что хватил через край (он знал эту историю с сыном Лукашина), надсадно закашлял, потом сказал:

— А все-таки прошлым жить нельзя. Что же, у каждого сейчас в доме покойник — жизнь прикажешь остановить? — Он нервно пробабанил пальцами по столу, глянул на улицу: — Что это? У вас кто умер?

По дороге с двойнятами ехал Михаил Пряслин. На телеге могильная пирамидка со звездочкой, выкрашенная красной краской. Краска еще не высохла и жарко горела на вечернем солнце.

— Да нет, слава богу, никто не умер,— ответила Анфиса.— Это, вишь, Михаил памятник Тимофею Лобанову хочет поставить. Перед сенокосом еще сделал, да все краски красной не было. А тут, видно, достал где. А может, и Егорша с району принес. Был у них как-то при мне разговор насчет краски.

Подрезов недовольно хмыкнул:

— Нашел время памятники ставить. Нельзя было подождать до осени?

— Пускай его,— сказала Анфиса.— У парня хоть душа успокоится.

— А с чего она у него не спокойна?

— Да ведь как. Не дерево Каково? Мужика в лес гонит, а тот уж при смерти...

— Ах, Минина, Минина! Опять ты за старые сказки. А до осени, говорю, подождать нельзя? В страду другой работы нету, как могилы устраивать? — Подрезов круто повернул голову к Лукашину, и в глазах уже строгость хозяина: дескать, ты куда смотришь?

— У нас сегодня с полудня дождь, так что всю работу на лугу отбило,— сказал Лукашин.

— Да и не только это, ежели правду говорить,— опять вмешалась в разговор Анфиса.— На сенокосе-то весело, когда корова есть. Это ты не хуже меня, Евдоким Поликарпович, знаешь. А когда коровы нету, и сенокос не в сенокос. Ох, что творилось у тех же Пряслиных попервости! Всех малых на пожню Михаил вывел. Целая бригада из одного дома. А потом корова пала — и вся бригада пряслинская пала.

— Да,— сказал Лукашин,— старались ребята. Я, пожалуй, такого и в жизни не видал. Приезжаю на Синельгу, к ставровской избе, а там — один зарод, другой, третий... Что за чертовщина? — думаю. Кто это залез в наши пожни? Потому что знаю: все люди у меня на Верхней Синельге да на Росохах. А потом вижу: Михаил со своей морошкой. Просто удивительно! Каждый с косой. А самих-то косарей из травы еле видно...

— Корову бы им дать надо, Евдоким Поликарпович, вот что,— прямо сказала Анфиса.

— А что, у Евдокима Поликарповича свое стадо?

— Зачем свое? Из колхоза. Михаил всю войну за мужика в колхозе робил — разве не заслужил?

— Телку, пожалуй, можно выкормить,— кивнул Подрезов Лукашину.

— Корову им надо. Телка-то когда коровой станет, а им сейчас молоко надо.

— Сколько у вас коров этой весной пало?

— Пять,— ответил Лукашин.

— Ну, вот видишь. Пять! — Подрезов сурово, по-секретарски посмотрел на Анфису.— А сколько по плану должно быть? То-то! А потом: одному дал — другому дай. Так, нет — говорю?

Немного погодя, когда Подрезов принялся за второй стакан чая, к нему снова вернулось благодушное настроение. Шумно перекатывая за щечкой кусок сахара, он подмигнул Лукашину:

— Да, насчет твоего подзащитного считай, что ты прав. Он таки действительно неграмотный. И молитву не он писал.

— Ты о Мошкине? — живо спросил Лукашин.

— Да. В общем, порешили так: выслать из района. Нечего ему тут делать.— Подрезов глубоко, но радостно вздохнул.— Ух, насилу уломал Дорохова. Нет и нет. Сперва даже разговаривать не хотел...

— Кто? Дорохов?

— Да, Дорохов. А что?

— Да ничего,— сказал Лукашин и, как ни сдерживался, улыбнулся.

Подрезов, видно, догадался, что скрывалось за улыбкой Лукашина, и лицо его, крупное, угловатое, будто вытесанное из плитняка, налилось кровью. Однако он переломил себя.

— Но-но,— загоготал он добродушно и в то же время мучительно, со слезами на глазах подавляя свое самолюбие,— не удивляйся. Нужна и на Подрезова узда. А то нашего брата не попридержи — что получится? А за подсказку тебе спасибо. Не будь у меня этого козыря, с какой бы мне карты ходить? А тут, когда ты сказал мне, что Мокшин неграмотный, я еще раз прочитал эту молитву. И знаешь, что удумал? — Подрезов победно взглянул на Лукашина, потом на Анфису.— А то, что это вообще не старовер писал. Непонятно? Ну, этого понять нельзя. Для этого самому в староверах побывать надо. Вот что. А я был. Из староверской семьи вышел. И не знаю, как другие староверы, а наши староверы из-за этих самых божьих храмов разоряться не станут — это я тебе точно говорю. Староверам на эти храмы, которые якобы разоряет советская власть, начхать, поскольку у них дело дальше молежни не идет. Вот я этими самыми божьими храмами и срезал Дорохова. Ведь это же, говорю, нас на смех поднимут... В общем, уломал. Ему-то, Дорохову, правда, не очень хотелось расставаться с таким дельцем. Ну, да я тоже не лыком шит. Сообразил, каким оно боком может мне выйти. Н-да,— сказал Подрезов и весело, по-товарищески подмигнул Лукашину,— выдал я тебе свои секреты... А живете вы неважно, прямо скажем.— Он кивнул на пустой стол, затем указал глазами на реку.— По этой водичке, между прочим, не только лес плавает, а и рыбака. Дошло?

Глава девятнадцатая

1

В двадцатых числах августа в Пекашине собралось сразу пять уполномоченных: уполномоченный по хлебозаготовкам, уполномоченный по мясу, уполномоченный по молоку, уполномоченный по дикорастущим — и на них был план — и, наконец, уполномоченный по подготовке школ к новому учебному году. Плюс к этому свой постоянный налоговый агент Ося.

И все эти люди с пухлыми полевыми сумками, в которых заранее все было расписано и рассчитано, с утра осаждали Лукашина. И каждый из них требовал, нажимал на него, ссылаясь на райком, на директивы и постановления. Но, конечно, тон среди них задавал Ганичев, уполномоченный по хлебозаготовкам.

Лукашин, однако, довольно бодро смотрел на свои дела. Урожай на полях вырос хороший — не зря он весной выжидал тепла, есть, значит, в нем хозяйственная жилка; задание по хлебу будет выполнено. И колхозники тоже не останутся в накладе. Во всяком случае, по его расчетам, килограмм хлеба на трудодень он даст. **А это** для начала неплохо. С таким трудоднем уже можно жить.

Как только отравили первый обоз с хлебом, Лукашин сказал колхозникам:

— Ну, товарищи, теперь готовь свои мешки. Попробуем новины сами.

И что тут поделалось с людьми! На полях песни. У молотилки песни — Украина залетела в Пекашино?

У парторга Озерова, только что вернувшегося с инструктивного совещания в райкоме, вдребезги разлетелся план агитационно-массовой работы. Некого агитировать. Некого подгонять. Люди работали дотемна.

И особенно лютовал в эти дни Михаил Пряслин. Жатка в колхозе была одна — вторая рассыпалась еще в прошлом году, — и Михаил жарил по восемнадцати часов в сутки. Три пары лошадей менял за день.

— Не надорвись, — говорил ему Лукашин. — Передохни денек. Найдем подмену.

— Ничего, — хриплым голосом отвечал Михаил. — За три килограмма — (а он выгонял не меньше трех трудодней) — можно и надорваться.

2

Короткое северное лето кончалось. На домашние сосняки вышла белка, еще красная, невылинявшая.

С первым снегом, когда голубым туманом пройдет по ней осень, белка откочует в глухие суземы, на еловую шишку, и туда потянутся заправские охотники, а покамест за ней гоняются ребятишки — нет большей радости для них, чем поймать живую белку.

По вечерам, возвращаясь с поля, Михаил частенько слышит ликующие голоса своих братьев в сосняке за деревней, и хоть криком кричи — не зазовешь домой.

Сегодня, к его немалому удивлению, вся семья была в сборе. Ребята с матерью у окошка перебирали бруснику — не хватало разве Лизки.

— Где она? Не баню топит?

— Нет, — помедлив с ответом, сказала мать и указала глазами на кровать.

Тут Михаил разглядел сестру. Лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и всхлипывает.

— Чего с ней?

Мать опять замешкалась, затем переглянулась с ребятами.

— Чего, говорю, с ней?

— У нас свадьба будет, вот, — выпалила Татьяна.

— Свадьба? Кто — ты собралась замуж?

— Лиза.

— Сиди! Со сна бормочешь...

— Нет, вправду, вправду, — сказала мать. — Егорша только что сидел. «Отдашь, говорит, Анна, за меня Лизку?»

— Ну, допился, сукин сын! А вы уши развесили — слушаете...

Михаил подошел к Лизке, со смехом приподнял ее за плечи.

— Чего ревешь? Невеста. Радоваться надо. Не успела соску из рта вынуть — и уже женихи.

— Дак ведь он по-серьезному, взаболь..

— А когда парень выпьет, он завсегда взаболь. Пора бы тебе это понимать. Ладно, собирайте чего на стол. Хватит об этой чепухе говорить.

За ужином Лизка не притронулась к еде. Она сидела, опустив льяную голову, и Михаил уже с некоторым беспокойством начал поглядывать и на нее и на мать, которая как назло отводила от него глаза.

Дикая, невероятная мысль пришла ему в голову: а что, если Егорша?.. Нет, нет, не может быть! — сказал он тут же себе.

Но когда кончили ужинать, он решил раз и навсегда покончить с этим делом.

— Ребята, давай на улицу. Все. Да, да, и ты тоже, — кивнул он Татьянке.

Он сам закрыл за ребятами дверь, снова сел к столу.

— Ну? Чего в прятки играете? Какая такая у вас свадьба?

— Егорша, говорю, тут сидел. Лизавету сватал.

— Слышал. Дальше.

— А дальше...— Мать строго посмотрела на Лизку.— Так хорошие девушки не поступают. Я думаю, он шутит. Ну, и я в шутку: ноне, говорю, не старое время, парень. Ты с невестой говори. Дак он, знаешь, что мне ответил? «А чего, говорит, мне с невестой говорить? У нас, говорит, с ней все сговорено».

— Сговорено? — Кровь бросилась в лицо Михаилу. Он посмотрел на мать, посмотрел на светлую голову сестры, виновато склоненную над столом.— Вот как! Значит... Говори, что у тебя с ним было!

Лизка еще ниже опустила голову. Светлые и крупные, как дробь, слезы катились по ее пылающим щекам. Потом она вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Сука! Стерва! — Михаил оттолкнул от себя протянутую руку матери, заорал на всю избу: — Я спрашиваю, что у тебя с ним было? Ну?

— Целовались... — захлебываясь слезами, сказала Лизка.

— Целовались? Ты? С Егоршей?

— Он меня поцеловал, не я... Я зимой тогда прибежала из лесу, все хотела рассказать, да стыдно было...

— И все?

— А чего еще...

Михаил схватился руками за голову. Скотина! Какая же скотина! Да как он мог подумать такое о сестре! О Лизке... О своей Лизке...

Под окошками тихонько переговаривались и покашливали ребята. Не поднимая головы — кажется, сквозь пол бы сейчас провалился! — он тихо сказал:

— Мати, чего мы держим ребят на улице? Звви.

Анна встала, вышла из избы. А Лизка все еще плакала. Плакала навзрыд, уткнувшись лицом в стол.

— Ну, ну, сестра... Наплевать... Выкинь ты эту всю чепуху из головы. Ну, наорал... Дернул меня черт...

— Да я ведь это так... Не сержусь...— сказала Лизка.

— А вообще-то, конечно... Ты — девушка. Насчет этого надо строго...— Михаил замаялся.— Нет, я все-таки с тем поговорю. Незачем, понимаешь, чтобы треп всякий шел. Верно?

3

Совсем стемнело, пока он ужинал.

Он шел по темной, еще не остывшей от дневной жары улице и прислушивался к голосам хозяек:

— Пестроня, Пестрюшка! Да куда ты, куда, родимая?

— Иди, иди, кормилица! Иди, иди, мое солнышко...

А и верно, что солнышко, подумал Михаил. Звездоня согревала их, она давала жизнь ихней семье, а не то солнце, которое каждый день катается по небу над их избой. И вот ведь как устроен человек: все худо.

Эх, хоть бы ненамного, на недельку перепрыгнуть в те худые времена!

В колхозной конторе горел свет, и Михаил подумал: а не напомнить ли еще раз Ивану Дмитриевичу насчет коровы? Вскоре после ихнего несчастья Лукашин заверил их: «Дадим вам корову. Хотя бы в половину стоимости. Я перед райкомом вопрос ставить буду». И вот месяц скоро стукнет, а дело не двигается, и сам Лукашин больше не заводит разговора. А они со Степаном Андреяновичем, вместо того чтобы на первых порах хоть козу на вырученные за Звездоню деньги купить, тоже ничего не делают.

Кто-то, резво поскрипывая в темноте новой, еще не сбношенной или

праздничной обувью, шел ему навстречу. Егорша? Кто же еще филонит по вечерам во всем снаряжении?

Нет, не Егорша. Раечка.

Сполохом вспыхнул нарядный шелковый платок в желтых полосах света, падающих на дорогу от окошек конторы.

Михаил круто, как мальчишка, нырнул в сторону.

...Пять дней назад под вечер к нему на поле прибежали ликующие ребята: Егорша приехал.

Он все бросил: лошадей, жатку — и к Ставровым. Больше месяца не виделись — можно часом-двумя пожертвовать ради друга?

Вот с каким настроением прибежал Михаил к Ставровым. А Егорша — нет. Егорша с первых слов начал задирать нос.

Во-первых, он, видите ли, отпускник, а не просто там на побывку после сплава домой пришел, и потому намерен отдохнуть культурно, ибо его здоровье — это уж не его здоровье, а здоровье рабочего класса.

Но это пускай. И пускай отчитывает его за мясо («Купец! За десять верст от райцентра сплавщики стоят — за час бы расхватили твою Звездоню. А он вздумал с бабами районными торговаться...»). Пускай. Тут он, Михаил, действительно недодумал. Можно было съездить к сплавщикам — полторы-две тысячи лишних положил бы в карман. Но Егорша на этом не остановился. Егорша, войдя в начальственный раж, пошел дальше: зачем поставил столб со звездой Тимофею Лобанову?

И тут Михаил вскипел:

— А тебе что, краски жалко?

— Конечно, ежели бы я знал, что ты ради такого дела краску прошишь, я бы еще подумал...

— Отдам. Не жмись!

— Дурило! В краске дело?

— А в чем же?

— В чем? — Егорша постукал себя кулаком по лбу. — А в том, что это политика.

Михаил рассмеялся:

— Политика... Столб могильный красной краской вымазать...

— Да, и столб. А ты думаешь? Больно шикарные кладбища у нас были бы, ежели бы каждый захотел красную звезду себе на могилу! Нет, ты сперва заслужи эту звезду, а потом ставь.

— А Тимофей Лобанов не заслужил, по-твоему?

— Ежели б заслужил, райком бы дал команду, будь спок. Я это знаю, как делается, — работал в райкоме. Перво-наперво, — стал авторитетно разъяснять Егорша, — объявление в газете дают, невролог называется. Вся автобиография сообщается. А какая у Тимофея автобиография? В плену был? Так? Нет, что-то я этого в неврологах не читал. Не приходилось.

Михаил, опустив голову, тупо смотрел на хромовый, до блеска начищенный сапог. Слова Егорши смутили его. Черт знает, может, и в самом деле он поспешил со звездой...

— Вот так, друг ситный, — насмешливо заключил Егорша. — Пора отличать малосольные рыжики от горькуш. А то и за штаны могут взять. Не маленький. А ты из одной грязи едва вылез — в другую хлоп...

— Из какой грязи?

— Но-но! Думаешь, не знаю, как ты тут из-за попа травил... Имеется сведенье...

— А я и сейчас скажу: не знаю, за что закатали старика.

— Да? Забыл, значит, как он нам на мозги капал?

— Он нам капал, да весь вопрос — куда. Я что-то не помню, чтобы он у нас выманивал водку.

— Ну, водкой меня не купишь, — отрезал Егорша. — Выпить выпью, а ежели насчет политики, тут, брат, шалишь. Не за то у меня отец да дядя на войне головы сложили, чтобы я ушами хлопал. Мы, брат, так: пьем, гуляем, а линию знаем. И тебе советую насчет там всяких теплых чувств покороче. Понял?

— Каких, каких чувств?

— Родственных. Чего ты об этом попе разоряешься? Думаешь, там, где надо, не учитывают, что вы родственники?

— Сволочь! — коротко выдохнул Михаил.

Он до того рассвирепел, так взбеленился, что, кажется, скажи еще одно слово Егорша, и он бы бросился на него. Ведь это же надо придумать: он заступает за Евсея, потому что тот его родственник. Да ему и в голову никогда это не приходило. А приходило, уж если на то пошло, совсем другое. Приходило то, что Евсей два года колотил сани для колхоза, а кто теперь их будет делать? Кто будет выручать его как бригадира по скотному двору, по конюшне? А два сына у Евсея на войне погибли — это не в зачет?

И вот как раз в это самое время, когда Михаил на всю катушку собирался выдать Егорше, под окошками появилась Раечка — она шла с большим кузовом травы.

Егорша петухом высунулся в раскрытое окно, закукарекал:

— Раюша! Соседка дорогая! Давай на беседу.

— Некогда! — ответила Раечка.

— Чё некогда. Я музыку новую привез. Ей-бо. Вот Мишка рядом — не даст соврать.

Михаил выпучил глаза: какая еще музыка?

— Древесина пекашинская! Совсем тебе комары мозги выели. Надо девку заманивать, а он — какая музыка?

Подталкиваемый Егоршей, Михаил выглянул в окошко, небрежно махнул рукой: давай сюда, Райка.

И Раечка кузов с травой наземь и — к ним. Через зеленый картофельник. Красиво, легко начала выбрасывать белые ноги. А в избу вбежала — грудь ходуном, и такие радостные, такие летние глаза.

— А где музыка?

Егорша мелким бесом начал рассыпаться: Раечка, Раечка, дорогая соседка... Выставил из-под стола табуретку, обмахнул рукой.

Злость взяла Михаила.

— Райка, ко мне!

Раечка в замешательстве посмотрела на Егоршу, как бы спрашивая того: что у вас тут происходит?

— Ну! — нетерпеливо сказал Михаил.

И Раечка покорно, опустив голову, подошла к нему, села рядом на лавку.

Михаил притянул ее к себе.

— А ты, Райка, горячая. С тобой не замерзнешь.

Раечка по самые глаза залилась вишневым румянцем, выгнула стан.

— Не рыпайся! Не таких, как ты, объезжали. — Михаил торжествующе посмотрел на побледневшего Егоршу — что? выкусил? — и рывком перекинул девушку к себе на колени, так что у той колоколом вздулось пестрое ситцевое платье.

— Тяжелая ты, Райка. Много в тебя добра сложено.

— Может, вам создать обстановочку, а? — язвительно спросил Егорша.

— Создай! Верно, Раечка? — Михаил с напускным ухарством откинул голову, сбоку посмотрел на Раечку.

У Раечки слезы стояли в глазах и губы были закушены...

Михаил все это сейчас вспомнил и подождал, покамест Раечка не прошла мимо.

Щеки ему и сейчас жег каленый стыд. Нехорошо, по-скотски все это вышло. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал всякую пакость рассказывать про баб и девок, а разве он сам поступил лучше? Чем виновата Райка? Прибежала к нему по первому слову — радостная, сияющая, на все готова. А он начал куражиться. Он начал показывать Егорше свою власть над девкой. Вот, мол, какой я, грязный, небритый, нечесаный, прямо с поля, древесина пекашинская, как ты говоришь, а давай потягаемся — чья возьмет?

Ну, погоди, подумал Михаил о Егорше. Когда-нибудь я тебе за все выдам. Действительно, ежели бы Егорша не завел его, с чего бы он начал куражиться над девкой?

Егорши дома не было. Отпускник. Самая рабочая пора у него по вечерам да ночам. А днем его работа — ружьишко. Бродит в первых соснах за деревней да лупит в кого попало. Михаил частенько слышит его выстрелы.

— Ежели к дому не поздно пригребется, пушай ко мне зайдет,— сказал он Степану Андреяновичу.

— Так или дело какое?

— Дело... Бока ему наломать надо! С пьяных глаз зашел к нам — Лизавету за него отдайте.

— Чего? Лизавету сватал?

— Говорю, окосел с перепоя.

Степан Андреянович долго молчал, и вдруг слеза блеснула у него в правом глазу, задрожал подбородок.

— А что, Миша,— начал он издали,— может, это и неплохо?

— Неплохо? Да Лизка еще ребенок!

— Ну, пошто ребенок? Раньше, бывало, и моложе выдавали.

— Чего зря бочку перекачивать. Чтобы я да за такого кобелину сестру свою отдал... Никогда! Так и скажи ему. А то повадки его я знаю. Разрисует. Наплетет такого, чего и в помине не было.

— Да это-то так,— согласился Степан Андреянович.— Хоть и своя кровь, а не хвалю.

4

Михаил ушел, а старик еще долго сидел у стола.

Днем, когда они сели обедать, Егорша заводил носом: и грибы жарены не так, и хлеб дедов ему не по вкусу, и от картошки нечищенной его воротит...

— А ежели воротит, женись! — вспылил Степан Андреянович.

— Ну и женюсь! — ответил с вызовом Егорша.— Нашел чем пугать.

И, видно, после этого сгоряча и брякнул у Пряслиных.

А вообще-то лучше невесты, чем Лиза Пряслина, он бы своему внуку не желал. Еще Макаровна, покойница, нахвалиться не могла Лизаветой: «И такая уж у Пряслиных девчущечка совестливая да работающая. Золото девка...» Хорошая семья. Работающая. Крепкий корень. И если бы Егорша с такой семьей породнился, может, он и сам бы немножко остепенился — повылезла бы из него лишняя дурь...

Да нет, вздыхал Степан Андреянович, близко локоть, да не укусишь. Разве пойдет такая девка за моего шалопаю?

Егорша пришел поздно. И как всегда — под парами.

— Чего не спишь? Утро скоро.

— С тобой уснешь.

- Ха, опять чем не угодил?
- Бесстыдник. Налил шары и ходишь. Уж ежели задумал жениться, по себе сук гни.
- Так,— рассмеялся Егорша.— Значит, оповестили. Кто был? Мишка?
- Чтобы этого у меня больше не было! — сердито сказал Степан Андреянович.— И себя не срами. И людей не смей. Разве отдадут за тебя такую девку?
- Кого? Лизку не отдадут? Да я только свистну — сама прибежит.
- Всех-то ты по себе меряешь.
- Да что — я хуже их, навозников? — возмутился Егорша.
- Эти навозники-то смотри-ко — семью подняли. Что ты против того же Михаила?
- Михаил, Михаил... Ты мне плешь переел этим Михаилом. Подумаешь, хитрость всю жизнь в навозе копать.
- Не хвали себя. Пушай люди хвалят.
- А что — не хвалят меня? В газетах не про каждого пишут. Лизка тебя устраивает?
- Чего попусту говорить.
- Нет, я спрашиваю: Лизка тебя устраивает?
- Такая девка!.. Локтем бы перекреститься можно...
- Ну и все,— сказал Егорша.— Завтра будешь локтем креститься. А теперь давай спать.

5

Егорша мог не глядеть на часы. Он и так знал, который час, потому что есть на земле такая пакость — осенние мухи. А осенние мухи начинают лютовать ровно в десять часов, в ту самую пору, когда в их боковую избу вкатывается солнышко.

Голова у него побаливала. Вчера он определенно перебрал. Сто пятьдесят «сплавных» за обедом, четушка с Осей-агентом, затем «пенсионная» бутылка с довесом у Петра Житова, потом они еще с Анной Яковлевой, чтобы не замерзнуть на повети, раздавили маленькую — сколько это будет?

Потягиваясь и зевая, Егорша прошел в задоски, хватил кружку холодянки, закурил.

Дед постукивал в сарае — тесал березовый полоз. Много теперь у него дела. Евсей на казенных хлебах, Трофима Лобанова нет — один на весь колхоз сановик. Настойчиво, как дятел, долбит березину, и топор, видать, наточен — вполтопора играет жало, а не та, не та сила у старика. Тюкает, тюкает, а зарубки настоящей сделать не может. Разве так он еще два-три года назад справлялся с полозом?

Егорша вспомнил ночной разговор с дедом. А что, подумал он, может, и в самом деле жениться? Вчера от нечего делать он начал травить Лизку — дед огонька за обедом подкинул, а почему бы и не всерьез? Ха! Не отдадут? Мишка против? Всяк в пример ему ставит этого Мишку. Хозяин. А он, Егорша, вроде для забавы у пекашинцев. Художественную часть им поставляет. Нет, стой! Посмотрим, кто из нас последнее слово скажет!

Деятельное, давно не испытываемое возбуждение охватило Егоршу. Он наскоро побрился, вымылся до пояса, надел свою лучшую шелковую голубую рубашку с молнией, а поверх рубашки куртку хромовую — тоже с молнией. Блеск! Звон! И сапоги выходные надраил так, что ногам жарко.

— Дедко! — крикнул он, выходя на крыльцо.— Смотри последний раз на моего конягу. Вечером не будет.

— Куда девается? Пропьешь?

— Пропьешь, пропьешь... В отпуску я. Законно гуляю. В общем, в район еду. Не жди обедать.

Егорша завел стоявший у хлева на зеленом лужку мотоцикл, выехал из заулка на дорогу.

Тепло. Солнце припекает. За болотом, на Широком холме, трещит Мишкина жатка...

Эх! Давай-ко напоследок пропадем из конца в конец пекашинскую улицу. Покажем, какой скок у нашего рысака.

Егорша нажал на рычаг с газом и со свистом, с грохотом полетел вперед.

Глава двадцатая

1

У Пряслиных издавна повелось: если ты в чем-то проштрафился, оправдайся делом. А Лизка считала себя виноватой: она вечер своими глупыми слезами довела брата до белого каления. И поэтому сегодня она работала за троих. Встала еще затемно, затемно пришла на телятник, выгребла навоз, привезла травы для телят, наносила воды — еще что сделать?

Самым большим желанием ее в это утро было выйти на деревню да послушать, что говорят о вчерашнем. Знают ли бабы, что к ней вечер Егорша сватался?

И еще ей хотелось хоть одним глазком, хоть краешком глаза взглянуть на Егоршу: как он сегодня-то, на трезвую голову? Помнит ли, что вчера молот?

И вдруг — вот как бывает! — он сам. Егорша!

Да, только подумала она о нем — загрохотал мотоцикл у маслозавода, а потом и он сам показался. Как ворон черный, вылетел в своей кожанке и — на задворки. Видно, к Илье Нетесову в кузницу.

Нет, постой, ахнула Лизка, да ведь он, дьявол бесстыжий, сюда, на телятник едет. Ей-богу!

Она быстро вытащила ногу из шайки — только-только начала было мыть ноги — и в телятник. Хорошо, в самый раз будет — захлопнуть двери перед самым его носом. Но в последнюю секунду благоразумие взяло верх. Нельзя ей показывать вид, что перепугалась. Иначе он, зубоскал, проходу ей не даст.

И она, собрав все свои силы, сунула ноги в опорки, торопливо поправила рассыпавшиеся на висках волосы и, строгая, недоступная, с высоты бревенчатого настила перед дверьми в телятник стала поджидать завязнувшего в песке за кузницей Егоршу.

Первые же слова Егорши: «Здорово, невеста!» — выкрикнутые тем еще с машины, полымем одели ее щеки.

Но она не растерялась.

— Проваливай! Чего здесь не видал?

А Егорше это как чих. Выстал, нахалюга кожаный, да давай ее своими синими мигалками завораживать. Как змей!

— Проваливай, говорю! Нечего тебе тут делать, — еще строже сказала Лизка и недолго думая показала спину.

— Стой! Не шибко. С женихом или с пнем разговариваешь? — Егорша прыгнул к ней на настил и — не успела она глазом моргнуть — за косу.

Она дернулась, закричала:

— Пусти, дьявол бессовестный!

А ему забава: смеется да наматывает-наматывает косу на руку.

Намотал, притянул ее лицо к своему:

— Ну, теперь поняла, как со мной разговаривать?

— Пусти, говорю,— гневно зашептала Лизка.— Люди-то что скажут? Вот погоди, скажу Михаилу.

— А спать будем — тоже Михаила кликнешь? — прямо ей в лицо рассмеялся Егорша. И вдруг выпустил косу, сделался серьезным-серьезным.— Сядем. Нечего теперь Мишку призывать, коли надо жизнь свою решать.

Лизка посмотрела на кряжи под навесом, на которые указывал взглядом Егорша, посмотрела на него самого — что у бесстыдника на уме? — и села: бог знает, что он еще может выкинуть, ежели не уступить ему.

— Вечером со сватами приду,— объявил Егорша.— Чтобы у меня без этого... Без фортелей.

— Надо мне твои сваты! — хмыкнула Лизка, но глаза отвела в сторону: жар кинулся в лицо.

— Значит, опять сначала?

— Да мы с тобой и не гуляли, жених выискался...

— А в баньке на Ручьих зазря обнимались? Забыла? А я тебя невестой своей с каких пор стал называть?

— Что — в шутку-то можно,— опять в сторону сказала Лизка.

— Сперва все в шутку. А вот ежели я тебе не нравлюсь — тогда другой разговор. Ну? Говори прямо. Бей горшок, покуда не поздно.

Лизка не успела ответить, как Егорша воскликнул:

— Эх, ты — жало зеленоглазое! Чего тут канитель разводить? Ты войди в мое положение. Мне так и эдак жениться надо. Сколько я еще деда эксплуатировать буду? Ты думаешь, я не вижу, каково ему. Живем, как два бобыля. Жистянка — сама знаешь. А вечер я ему говорю: «Как, говорю, дед, посмотришь, ежели я подведу черту под свою холостяцкую жизнь?» Молчит. Насупился. А потом, как я сказал, кто у меня на примете,— расплакался. «Да я, говорит, на такую невестку молиться стану». Ей-богу!

У Лизки дрогнули губы. А глаза заблестели, как первая зелень после дождя.

Егорша и сам расчувствовался:

— Верно, верно, Лиз! Эх, елки-моталки! Я вот в лесу работаю — большие деньги, да? А куда мне с деньгами? Я да дедко — и тот еще от своих рук кормится. Ну и пью. Ну и мотаю, завиваюсь веревочкой. А люди этого не понимают. И, между прочим, твой дорогой братец тоже этого не понимает.

Егорша помолчал.

— Вот так, Лизавета батьковна. Значит — все? Договорились. Порядок в танковых войсках?

— Чего порядок?

— Насчет свадьбы. О чем я толкую с тобой битый час? Первым делом, конечно, надо завести рогатку.

— Корову? — Лизка, словно пробуждаясь ото сна, захлопала глазами.

— Да, корову,— сказал Егорша.— Я-то все думал, Мишка да дедко без меня обмозгуют. Сообразят, почем фунт гребешков. А теперь вижу — ни хрена. В общем, так: в район еду, а вечером приведу корову.

— Будет тебе заливать-то! Ждет там тебя корова.

— Не веришь? Треплется Егорша? Ежели у вас сегодня вечером не будет коровы, ноги моей больше не будет. А ежели я с коровой приду, тогда уж не брыкаться. И на братца своего не кивать. Договорились?

Егорша вдруг притянул ее к себе, вlepил поцелуй в губы и расcмеялся своим обычным, легким и беззаботным смехом:

— А я все-таки улучил моментик! Поставил свое клеймо...

2

В жарком безветренном воздухе долго был слышен рокот мотора, и Лизка мысленно отмечала про себя: вот Егорша выезжает на дорогу за деревней, вот он переезжает по бревенчатым мостовинам болото — тра-та-та, а вот он уже едет сосняком — мотоцикл с воем одолевал песок. Потом и вой стих, и на смену ему пришел другой шум — шум жатки.

Михаил жал за молотилкой — близко. Белая рубаха горела на солнце. Бежать? Рассказать все брату? Так и так, мол, Егорша опять пристаёт...

Из-за сарая вышла Онька — черно-пестрая телка-сеголетыш. Во лбу у Оньки звездочка — такая же, как у покойницы Звездони, и как могла не баловать ее Лизка? Все телята днем в поскотине, а эту не прогонишь. Как хвост, волочается за ней. Лизка к колодцу — и она к колодцу. Лизка за травой — и она за травой. А раз даже вечером приперлась к клубу. Встала у крыльца и давай вызывать хозяйку.

— Онька, Онька,— протянула к ней руки Лизка,— подскази-ко, что мне делать.

Она нисколешенько не верила Егоршиным сказкам насчет коровы. Сбрехнул, для красного словца сказал. Но ей нравился Егорша, нравились его бесстыжие глаза с подмигом, нравилась Егоршина беззаботность и удаль — никогда не унывает. Она представила себе, как бы она пошла с Егоршей по деревне — он с гармошкой, она в новом платье,— и у нее воробьем запрыгало сердце в груди.

Судьба, наверно, подумала Лизка. Семеновну-соседку на шестнадцатом году выдали — и ничего, прожила жизнь. Не хуже других. А сколько было маме, когда она за папу выходила?

Лизка быстро прибрала шайку, в которой мыла ноги, побежала домой. Ну-ко, родимая, присоветуй. Как мне быть? Давай пораскинем умом-разумом вместе. У всех дочерей мать — первая советчица.

Дома никого не было. Все, видно, ушли на поле. А на поле не побежишь. Ведь не заговоришь же на людях: мама, мама, как мне быть? И она села на койку брата и заплакала.

Был, однако, еще один человек, с которым она могла поговорить по душам,— Степан Андреянович. Да, да, Степан Андреянович. И это ничего, что он дед родной Егорше. Степан Андреянович не обманет, расcудит, как надо,— всегда во всяком деле держал ее сторону.

Лизка умылась, надела праздничное платье, цветастый платок на голову.

День разгулялся на славу. И на улице ни единой души — все на работе. А все-таки непривычно, совестно ей было идти среди бела дня по деревне, и она пошла полем, узенькой тропинкой, натопанной вдоль изгороди.

Сколько раз вот этой самой тропинкой — мимо школы, мимо братской могилы за клубом, по дернистому угору с выгоревшим земляничником — бегала она к Ставровым и никогда, ни единожды не обходила стороной правления — тут тропиночка кончается, а сегодня она загодя, еще у школы, решила, что за братской могилой спустится под гору.

Однако не спустилась, потому что в заулке правления она скоро увидела людей и подводы, и мысль ее пошла в другом направлении.

Что же это за подводы? — думала она. Может, товар какой в селпо

привезли? Давно, еще с весны говорили, что конфеты будут на страду давать. А может, уже дают? И пока она ходит к Степану Андреевичу, расхватают начисто...

Она посмотрела вниз, на подгорье, и пошла к людям.

Никто не обратил на нее внимания. И не сельповские товары — мешки с колхозным зерном лежали на телегах.

Районщик с железными зубами, тот, который весной приезжал по займу, кидал речь.

— Как известно, товарищи,— выкрикивал с крыльца районщик,— в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству нашей страны! А поэтому в нынешнем году план заготовок хлеба по нашему району удвоен, то есть мы должны дать в закрома родины двести пятнадцать процентов. Это великая честь, товарищи! И районное руководство выражает твердую уверенность, что ваш колхоз на деле, по-боевому оправдает высокое доверие...

С крыльца раздалась хлопки — Федор Капитонович размял ладошки. И еще вслед за ним два раза два хлопнул Илья Нетесов.

— Езжайте! — махнул рукой Лукашин Васе-маленькому — высокому придурковатому парню в облезлой ушанке, сидевшему на передней подводе.

Лукашина, как только подводы выехали из заулка, обступили люди:

— В два с лишним раза план, а нам-то чего?

— Мы-то как будем? Опять зубы на полку?

— Весной ты нам чего говорил? По килу на трудовень сулил...

Лукашин недобрый голосом закричал:

— Есть у нас первая заповедь — знаете? Ну и баста! Выполнять надо...

И больше ни слова — кинулся в контору.

Лизка пошла домой. На днях как-то, после ужина, они всей семьей подсчитывали заработки. Михаил выгнал за год 450 трудовней, мать — 260, она, Лизка, 100 с лишним — три месяца в колхозе работала, да еще на Петьку и Гришку трудовней 50 падало. «В общем, до конца года еще далеко,— сказал Михаил.— Тысячу-то наколотим. И даже с гаком. Плюс свой участок. Посытнее заживем в этом году». И вот опять голые трудовни, опять ничего, как в прошлые годы. Знает ли об этом Михаил? Так ведь раньше у них была Звездоня, а как теперь они сведут концы с концами?

Слезы закипали у нее на глазах. Она шла передней улицей и ничего не видела вокруг себя.

3

В этот день после полудня Михаил бросил жать. Распряг лошадей, связал их на молодой зелени у болота, а сам отправился в лес.

На Широком холму горланили вороны. Видимо-невидимо слетелось их к пряслу, где еще недавно вешал снопы Петр Житов. А теперь Петра Житова нет. Молотите зерно, вороны. Никто вам не помешает. Вот для кого, оказывается, люди рвали из себя жилы — для ворон.

У Попова ручья Михаил чуть не наскочил на Лукашина — тот верхом скакал по перелескам, склика я баб. Но разве докличешься до баб? Да и чем виноваты бабы? Разве по своей воле побежали в лес? В лесу-то грибы, ягоды можно взять, а с поля что возьмешь? При том плане, который объявили сегодня, на что рассчитывать?

Боже мой, думал Михаил, сколько у них было надежд, когда Лукашина председателем назначили! Вот, думали, дождались хозяина. Этот не чета Першину. Этот колхоз поведет. А куда привел? Как в прошлом году на трудовень ничего не получили, так и в этом.

Грибы в перелесках попадались редко — а он не стал углубляться в лес: не хотелось началить баб — разве от сладкой жизни бежали они с поля? И он шагал-шагал от одного перелеска к другому и так вышел к Сухому болоту.

По сторонам обгорелый ельник, стожок сена горбится на выкошенной полевине, а где пашня? Где гектары победы?

С тяжелым чувством повернул он назад. Сколько сегодня он видел вот таких запущенных полевин! Зарастают поля. На третьем году после войны зарастают. Во время войны всё, до последнего клочка распахи-вали. Старики, бабы, подростки. А теперь что?

Долго, до первой звезды, бродил Михаил по перелескам. Думал, прикидывал, как жить. А когда вышел к болоту да напоил лошадей, стало совсем темно.

Его удивил яркий свет в своей избе, который он увидел еще от задних воротец. Не иначе как зажгли новую, семилинейную лампу, которую он купил нынешней весной в расчете на хорошие перемены в жизни. Но по какому случаю? Что за радость в ихнем доме?

Он поставил короб с грибами на крыльцо, заглянул в окошко. Степан Андреянович сидит за столом, Илья Нетесов, Егорша — серебром переливаются молнии на хромовой куртке.

Так, так, подумал Михаил. Сваты. Егорша решил на своем на-стоять...

Ярость, страшная ярость охватила его. Егорша — понятно: ради того, чтобы сделать по-своему, на все пойдет, вдребезги разобьется. А эти-то? Где у этих-то головы? Разве не предупреждал он вечор Степана Андреяновича?

В избу, однако, он вошел, ничем не выдавая своего гнева. Сваты есть сваты, и хоть век свадьбе не бывать, а честь оказать надо.

Степан Андреянович — первый раз Михаил видел старика под хмельком — воскликнул:

— Ну вот и хозяйня дождалась! А мы, Миша, знаешь, по какому делу? Догадываешься?

Мать, пугливо озираясь, подавала ему знаки: по-хорошему, бога ради по-хорошему!

Степан Андреянович — на старинный лад — заговорил в том духе, что они, мол, охотники, лебедушку ищут, и люди добрые подсказали им, где искать.

— У нашей лебедушки еще перья не выросли,— сказал Михаил.— Рано на сторону лететь.

— Ничего,— вставил свое слово Илья,— и у нас охотник не перестарок.

— Вот именно! Этому охотнику еще года три надо под красной шапкой походить.

— Это ты об армии, Миша? — живо спросил Степан Андреянович.— Господи, о прошлом годе была льгота и о позапрошлом, а разве я молодею с годами?

— Да не в том дело, молодеешь или нет. А какая она невеста?

Егорша молча налил граненый стакан водки, поставил перед Михаилом. Лицо самодовольное, в зубах папироска — все могу. И тут полетели к черту все зарюки, которые давал себе Михаил, садясь к столу.

Он резко, так, что плеснулась водка, отодвинул от себя стакан:

— Впустую разговор!

Степан Андреянович опешил — не ожидал такого оборота. И Илья не ожидал.

— Михаил, Михаил...— потянул его за рукав Илья.

— А что Михаил? Втемяшил себе в башку жениться,— он бросил короткий, разъяренный взгляд на Егоршу,— твое дело. Валяй. Хватает девок — и военных и послевоенных. Всяких. А только адрес выбирай другой. Жених! А дома когда последний раз ночевал? А они? — Михаил кивнул на ребят, сбившихся у кровати.— Их кто кормить будет? Ты небось даже не слышал, какие у нас налоги? Нет?

Егорша невозмутимо, будто все это не касалось его, докурил папироску, заправил рукой волосы. Потом так же невозмутимо обвел прищуренным взглядом избу и усмехнулся:

— А по-моему, у нас кворума не хватает. Вхолостую идет прения. Гавриловна,— обратился он к матери, хлопотавшей над самоваром в задосках,— позови дочерь.

Лизка была в боковушке. Такой уж порядок: пока судят да рядят старшие, девка в стороне. И вот она вышла. В новом, красного сатина платье. С туго заплетенной косой. Поклонилась, как положено.

Так, так, сестра, подумал Михаил. Дадим от ворот поворот, но так, чтобы сватам обиды не было. И Степан Андреянович и Илья Нетесов — что они нам худого сделали?

У Степана Андреяновича в глазу заблестела слеза — разволновался старик.

— Лизавета Ивановна, мы вот тут...

Его оборвал Егорша:

— Постой, дед. Вы поговорили, теперь мы поговорим.

Он сдвинул в сторону тарелки с грибами и стаканы и вдруг начал выбрасывать на стол деньги. Пачками. Одну пачку выбросил, другую, третью... Красные тридцатки, полусотни синие...

— Вот,— сказал Егорша и в упор посмотрел на Лизку.— Как уговаривались. Я свое слово сдержал. С этим довесом можно заводить копыта.

Это он мотоцикл продал, подумал Михаил и почему-то сперва посмотрел на ребят, а уже потом посмотрел на сестру. Глаза их встретились. И надо же было так случиться, что именно в эту самую минуту под окошком раздалась свадебная песня:

Лизавета Ивановна, ты сама до вины дожила,
Ты сама до большой доросла,
Ты сама вину сделала.
Молодѣ князя на сени созвала,
Со сеней в нову горенку.
За дубовый стол посадила.
Чаем-кофеем напоила,
Колачами его накормила,
Колачами круписчатыми,
Прениками рассыпчатыми,
На красно крыльцо ввела,
На коня его посадила...

Бабы и девки по-старинному опевали Лизку.

И, наверно, песня подтолкнула Лизку. Наверно, Лизка в своей простоте подумала: раз уж люди решили — свадьбе быть, то так гому и быть. Поздно теперь отступать.

Она сказала, опустив голову:

— Я согласна.

4

Илья поднялся из-за стола, как только выпили по первой стопке.

— Куда это без разрешения? — спросил Егорша.

— А что-то голове тяжело,— Илья смущенно потер лысеющий лоб.— Надо немного воздуха свежего хлебнуть.

— Давай хлебни,— милостиво разрешил Егорша.

Михаил тоже вышел из избы и под тем же самым предлогом — вроде и ему дышать нечем, он даже для наглядности воздух ртом похватал, а на самом-то деле он вышел, чтобы не остаться с глазу на глаз с новым зятем: просто сил нет видеть его самодовольную рожу.

На улице было звездно и по-осеннему прохладно. И какие-то черные тени скользили по вечернему небу. Высоко. Под самыми звездами. Неужели это уже птица повалила в теплые края? Рановато бы, кажется. Еще ни одного заморозка не было.

— Лебеди, должно,— как бы угадав его вопрос, сказал Илья.

— Лебеди? — Михаил задрал кверху голову.— А разве они по ночам летают?

— А кто их знает.— Илья закурил, оперся грудью на изгородь огорода напротив крыльца.— Может, и летают.

— Нет,— возразил Михаил.— Лебедь свет любит. Разве что он нынче по ночам стал летать. А что, может, поумнел и лебедь. Днем-то нынче лететь — живо срежут. Я где-то читал: животные приспособляются...

Михаил встал рядом с Ильей и уже окончательно разговор с небес спустил на землю:

— Ну как, наносил грибов-ягод?

— Маленько,— глухо ответил Илья.

— А я только сейчас понял, как без коровы жить. А ты ведь который год... Третий?

— Да нет, ежели войну считать, когда Марья одна жила, то все шесть будет.

— Порядочный стаж. Ну-ко давай, раскрой свой секрет — как жить без молока и песни петь.

Илья промолчал. Насмешка не понравилась? Или, поди, и он, как Егорша, на него свысока смотрит? Поди, и по мнению Ильи он деревенская пекашинская?

— Ну да,— зло сказал Михаил,— я ведь и забыл: ты на особом положении, у тебя литер.

А кой черт и молчит! Разве его это не касается? Разве он не ст тех же колхозных трудодней живет? А что, что на трудодень? В прошлом году не дали по случаю засухи на Юге, в этом году — по случаю прошлогодней. А что в будущем году будет?

В это время на крыльцо вышла Татьяна («Чего ушли? Егорша сердится»). И Илья наконец разомкнул свои золотые уста:

— Я, пожалуй, пойду, Михаил.

— Куда пойду? Домой?

— Да.

— Ну, это не я решаю. Есть у тебя начальник. (Егорша Илье по отцу доводился двоюродным племянником.)

— Нет, ты уж, пожалуйста, объясни ему. Скажи, к примеру, домой позвали или еще чего. Худо у меня, Михаил, дома, худо.

— А чего? С Марьей поцапались?

— Ах, как бы только с Марьей! Валентина у меня больна — вот что.

— А чего с твоей Валентиной?

— То-то и оно, что чего.— Илья оглянулся, заговорил шепотом: — С легкими неладно. Помнишь, я тут как-то у тебя Лысана брал, в район ездил? Ну дак я это Валентину в больницу возил. Страшно выговорить... Тэбэцэ...

— Тэбэцэ? А это еще что за зверь? Я такого и не слышал.

— Слышал. Туберкулез легких.

— Что ты говоришь! Н-да...

От злости на Илью у Михаила не осталось и следа. Жалость, горячее сочувствие, желание хоть как-то помочь тому захватили его. Он стал уверять Илью, что это ничего, не страшно, что надо только питание получше.

— И собаку бы хорошо зарезать жирную,— подал он уже конкретный совет.— Салом собачьим заливают больные легкие. Ося-агент, я помню, еще в начале войны всех собак у нас переел, вот он и бегаёт теперь на нашу голову,— пошутил Михаил.— Мне на днях целый ворох налоговых извещений вручил. Поди, и тебя не обнес?

— Не обнес. Эх! — охнул Илья и вдруг всхлипнул.— Ежели что случится с Валентиной, мне не жить... Скоро первое число, все в школу пойдут, а моя Валентина, что же, из окошечка будет смотреть на ребят?

— Подумаешь,— одернул Илью Михаил.— Ну и из окошечка. Не она первая заболела. Не в этом дело. А ты перво-наперво маслозавод себе заводи. Я на днях узнавал: у Прошича коза все еще не продана. А козье молоко, по медицине, говорят, еще питательнее.

— Нет,— сказал со вздохом Илья,— с козой теперь ничего не выйдет. Деньги, какие были заработаны в лесу, все до единого рублика спустили на молоко. И барана на той неделе прирезали... Я вот сидел у вас сейчас за столом — эх! Да что же это такое, думаю? Я здоровый мужик, и ничего у меня не выходит. А ты пацан от отца остался и уже семью вырастил, сестру взамуж выдаешь.— И тут Илья опять всхлипнул.

Михаил торопливо вдавил в верхнюю жердь изгороди свой окурок. Он не хотел видеть плачущего Илью. Не мог. Он был потрясен, размят, раздавлен. Потому что, ведь ежели вдуматься хорошенько,— это же с ума сойти! Кто плачет? Илья-победитель.

И добро бы Илья лентяем, пропойцей был. А го ведь первый работа-тяга! Ведь это же ужас как он в лесу работает! А в колхозе? У кого еще такие руки? И вот не может мужик свести концы с концами. Не может...

— А между прочим, ты знаешь, что я тебе скажу...— заговорил Михаил, в темноте нащупывая руку Ильи.

Слепящий свет ударил с крыльца по глазам. На этот раз на крыльцо вышла мать.

— Я не знаю, брат ты или не брат...

— Сейчас, сейчас,— поморщился Михаил.

Он проводил Илью до воротца на задворках. И высказал-таки ему то, что только что пришло ему в голову.

— А знаешь,— сказал он,— здоровому-то мужику теперь тяжелее... Ей-богу! Я пацаном был — мне легче было...

Илья как-то поспешно, словно боясь этого разговора, сунул ему руку, сказал:

— Ладно, Михаил. Спасибо на добром слове. Мне, ежели говорить напрямую, лучше всего бы сейчас на лесопункт податься. Главное — Валентина поспокойнее была бы. А то ведь голова кругом: все пойдут в школу, а она, первая ученица, дома... Есть для меня место на Со-тюге. Зовет Кузьма Кузьмич. Кузнеца ему надо. Да что об этом думать. Надо же кому-то и в колхозе работать...

Последние слова Илья сказал совсем тихо, с раздумьем, как бы с надеждой, что вот он, Михаил, возразит ему.

Но как он мог возразить? Он — колхозный бригадир...

В третий раз скрипнули ворота на крыльце, и в третий раз кто-то вышел за ними. Кто? Не сам ли молодой князь, которого где-то на

деревне, не то у клуба, не то у нижней молотилки, все еще чествовали и восхваляли бабы и девки?

Да, веселая история. Сестра замуж выходит, а его трясет от одного вида жениха...

— Михаил, Михаил...

Лизка! Ее голос.

— Иду, иду!

И он лихорадочно, с удивившей его самой быстротой кинулся на голос сестры, как если бы та взывала к нему о помощи...

Глава двадцать первая

1

Корову привели в четвертом часу дня, а вечером — еще не успели сгуститься сумерки — сели за стол.

Он, Михаил, говорил: подождем еще хоть недельку. Пускай Лизка хоть недельку походит в невестах. А кроме того, надо вообще время, чтобы собрать хоть мало-мальски сносный стол. Но Егорша — он теперь хозяин — заупрямился: нет и нет.

В задосках дружно выговаривали железные и деревянные ложки — ребята хлебали молоко от новой коровы. И молоко стояло перед ним — в старой, еще отцом заведенной алюминиевой миске. Но он не мог заставить себя притронуться к молоку. Не лезло ему молоко в горло, потому что из головы не выходила мысль, которая засела туда еще давеча, в ту минуту, когда они встречали новую корову: не за молоко ли он продает свою сестру?

К встрече коровы они готовились всей семьей. Ребята еще накануне наносили сухого моха и багульника для подстилки. Лизка с Татьянкой запасли свежей отавы, обмели паутину со стен запущенного двора. А сам он полдня отметывал навоз, вставлял стекло в порушенном окне, поправлял ясли — Звездоня, бывало, если мать запаздывала с обрядней, лихо работала рогами. Но и это не все. Лизка, с малых лет лучше его знавшая толк в скотине, заставила его раздобыть смолы и косяки ворот пометить смолеными крестами — «так в старину-то делали люди. Не повредит».

И вот, наконец, ребята, с полудня дежурившие на крыше избы, возвестили: «Ведут! Ведут!»

Лизка первой выбежала из заулка, обхватила корову руками за шею и навзрыд заплакала...

Отчего она заплакала? От счастья, от радости? Оттого, что она семью спасла-выручила? А может, наоборот? Может, как раз в ту самую минуту, когда она увидела комолую красно-пеструю коровенку, которую вели на вязке Степан Андреянович и мать, может, именно в ту самую минуту она и поняла, какую беду с собой сотворила?..

— Горь-ко-о-о!

Петр Житов гаркнул. В одной руке зажата скользкая сырога, в другой — стакан с водкой.

Петра Житова привел Егорша, так как Илья Нетесов сказался больным. Со стороны невесты, если не считать старой Семеновны, гостей вообще не было. Бегал было перед самым застольем Михаил к Лукашиным, да не застал их дома.

— Горь-ко-о-о! Горь-ко-о-о! — гаркнул Петр Житов и требовательными, похабными глазами уставился на молодых.

Егорша не пошевелился, не выручил Лизку — а уж он ли не мастак по этой части?.. И Лизка встала. Лицо — заревом, а на груди полукружьем янтари. Из незрелых, желтобоких ягод шиповника. И Михаил побледнел, когда эти бесхитростные, доморощенные янтари, для блеска натертые еловой серкой, коснулись кожного плеча Егорши...

Мати, мати, что мы делаем?..

— Кушайте, пейте, гости дорогие.

Учтиво, по-старинному поклонилась Лизка направо и налево. И первый поклон Степану Андреяновичу. Тот прослезился, а когда Лизка назвала его татей, старик просто расплакался:

— Господи! С той самой поры, как Васильюшка убили, никто не назывливал меня так...

Ну, сестра, подумал Михаил, хоть со свекром тебе повезло...

В избу шумно, со смехом ввалились бабы и девки, и Лизка будто только этого и ждала. Встала, через стол поклонилась ему:

— Брателко родимой, Михаил Иванович! Уж и как мне звать-величать тебя... И за брата и за отца ты мне был...

— Так, так, Лизавета,— одобрительно зашептали сразу притихшие бабы.— Поклонись, поклонись брату. Верно, что заместо отца был...

И Лизка кланялась. И доморощенные янтари полукружьем свисали с ее худой, полудетской шеи. Но лицо ее было торжественно и даже величаво. И Михаил дивился: откуда она знает все свычай и обычай? Ведь, кажись, и свадьбы-то настоящей на ее глазах не было...

Прежней, домашней стала Лизка, когда разошлись люди.

В выстуженной избе — двери не закрывались весь вечер, все Пекашино перебивало у них — остались свои да Егорша (Степан Андреянович ушел домой загодя, чтобы приготовиться к встрече молодых). Все стояли под порогом. Егорша, бледный от вина и пляски, хмуро покусывал губы. Он был недоволен затянувшимся прощанием, потому что Татьяна обеими руками вцепилась в Лизку и ни за что не хотела расстаться с нею.

— Не отдам, не отдам Лизку! — вопила она.

И Лизка разговаривала, успокаивала ее и в то же время какими-то потерянными и тоскливыми глазами водила по избе.

И вдруг хлопнула дверь — вышел Егорша.

— Михаил, Михаил...— Ужас плеснул в глазах у матери. Наверно — худая примета.

Михаил выскочил на крыльцо.

— Ну чего ты... Не понимаешь...

Они впервые стояли рядом — зять и свояк.

За столом они не сказали друг дружке ни слова. Чокались молча, молча пили. И мать и Лизка с тревогой поглядывали на него, на Михаила. А что он мог поделывать с собой? Не вчера, не сегодня рассыпалась их дружба.

Яркая полоса света пала на крыльцо. Мимо, как в тумане, проплыло бледное, заплаканное лицо Лизки. Она спустилась с крыльца вслед за Егоршей.

— Господи, господи! Хоть бы у них-то все ладно было...

Никогда, никогда не слышал он от матери мольбы, обращенной к богу. Даже в сорок втором году, когда убили отца.

Он выбежал на улицу перед своим домом...

Глухо. Темно. На задворках, у кузницы, тоскливо воеет Векша. Все лето не было слышно проклятой, а сегодня завывла. Холода, что ли, почуяла?

2

Спит притомившееся за день Пекашино — ни одного огонька в избах. Только он один неприкаянно, как преступник, мотается по ночной деревне. А почему? Отчего ему не спать тоже? Кончен бал, как однажды он прочитал в какой-то книжке. И сколько ни ешь себя теперь, сколько ни рви на себе волосы, ничего не изменишь...

Несколько успокоила его внезапно пришедшая в голову мысль насчет любви.

Да, да! — с отчаянием и надеждой тонущего ухватился он за эту спасительную мысль. Почему он все время думает, что Лизка пожертвовала собой, чтобы спасти семью? Почему? А если это любовь? А если она рада, что вышла замуж за Егоршу? Ведь есть же, есть же на свете такая штука — любовь. Господи, да скажи ему сейчас кто, что Варвара ждет его, он бы побежал куда угодно. В райцентр, на Верхнюю Синельгу, на Ручьи...

Далеко под горой, на излучине реки, жарко вспыхнул красный огонек.

Луч кто бросает тайком от рыбнадзора? Или кто тайком отправился в чужие края — за счастьем?

Много нынче народушку бежит в города. А еще больше людей уходит на лесные промыслы. И Илья Нетесов у них, надо полагать, тоже скоро откочует от колхозной кузницы...

А ему что делать?

Вот за что он не любил осень — за то, что с наступлением ее каждый раз неотвратно, как снег, как холод, надвигался вопрос: как жить дальше? Куда податься?

Рыба на зиму забивается на ямы, белка уходит в дремучие ельники, где полно шишки, птица отлетает в теплые края, а почему он не может дать тяги? Почему он не развернет свои крылья? Разве ему не двадцать лет?

И словно для того, чтобы еще больше раззадорить и воспламенить его, яркая, летучая звезда прочертила ночное небо над головой...

А потом звезда рассыпалась, и в зеленоватых отблесках ее он увидел приземистую, до боли знакомую избу с заиндеветшей крышей.

Вместо эпилога

Дорогой друг!

Это ты когда-то, прочитав моих «Братьев и сестер», подал мне мысль рассказать про жизнь Пряслиных после войны.

И вот эта книга. Правда, книга покамест всего лишь про две зимы и три лета их послевоенного бытия, и я уже как бы слышу твои нетерпеливые вопросы: а что же дальше? Как сложилась судьба Михаила, Лизы и их младших братьев и сестренки в последующие годы? И вообще — что стало с Пекашином?

Наберись терпения, дружище. Я хотел бы написать еще не одну книгу о северной деревне, о моем Пекашине, и в них, в этих книгах, история пряслинской семьи, ее возмужания и нравственного роста займет не последнее место.

Ну, а если все же тебе неохота ждать, почему бы тебе самому — сейчас — не съездить на Пинегу? Ведь Пинега не выдуманная земля. Она моя родина. И стоит тебе только добраться до Архангельска, как оттуда рукой подать до районного центра — пятьдесят минут самолетом.

А там автобусом, на попутной машине. Через сосновые леса, по заливному лугам, вдоль красавицы-реки с чистой и светлой водой, в которой нет-нет да и взиграет царь-рыба — семга.

Да, перемены на Пинежье большие, и на них стоит посмотреть. Деревни отстроились. Новые дома. С электричеством, радио, с мебелью. И у Михаила Пряслина, как и у многих пекашинцев, тоже новый дом. И в доме этом — новые радости, и новые заботы и горести — без них не обходится ни одно время.

Об одном прошу тебя, мой друг, — не ищи людей, с которых списаны мои герои. Это — бесплодное занятие. Ведь даже герои строго документального произведения всегда в чем-то разнятся с реальными людьми. А что сказать о героях моего, как говорили в старину, сочинения?

Ты можешь спросить, зачем я пишу это письмо. Знаю, подобные вещи не в твоём вкусе. Но мне кажется, то, что говорится в этом письме, полезно прочесть и другим читателям. Хотя бы для того, чтобы избежать с их стороны тех вопросов и недоумений, которые обычно возникают по поводу книг с незавершенной судьбою главных героев.

20 ноября 1967 г.



С. НАРОВЧАТОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1920-й

Нет, не своим... Но чутким, зорким взглядом,
Зорчайшим взглядом матери своей
Вгляжусь в тот год. И он возникнет рядом
Живей живого, нового новей.

Застыл в сугробах городок уездный,
И чудится, что он со всех сторон
Холодной, вьюжной, непроглядной бездной
От остального мира отделен.

Но в закоулке свет желтит сквозь ставни,
И злой махоркой старый дом пропах,
К нам на постой солдаты нынче встали,
Все, как с плаката,— в звездах и ремнях.

Ни дать ни взять, как во всемирном штабе,
Сидят они за кухонным столом
И спорят только в мировом масштабе,
Мируются тоже только в мировом.

Доспорили. И, отодвинув кружку,
Тот, с глоткой, что оркестровая медь,
Огромный, протолкнулся в боковушку,
Стараясь сапогами не греметь.

Ведом ему лишь ведомою целью,
Сажень косая — грозен и смешон,
Над детской склонился колыбелью
И загудел торжественным шмелем:

— Ну, будет жизнь! Глядеть не наглядеться.
И — все тебе... Для тела и души.
— Чего ты агитируешь младенца,
Цигарку лучше, дьявол, притуши...

Он вышел. И как будто перед строем,
Но — шепотом! — товарищам своим
Сказал: — Мы наш, мы новый мир построим
И этому мальцу передадим!

Глядят они, смеючись, друг на друга,
Хмельным-хмельны без браги и вина.
Стихает утомившаяся вьюга,
Идет к концу гражданская война...

ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕФОН

Трубка подпрыгивает, звеня,
И снова я повторяю:
— Придется вам обойтись без меня,
Завтра я умираю.

Да, так сказать, покидаю свет.
Идут последние сборы.
У меня, понимаете, времени нет
На лишние разговоры.

Я б ради вас игнорировал смерть,
Раз ей подвержены все мы,
Но мне до завтра надо успеть.
Окончить две-три поэмы.

Книжку стихов отправить в печать
И, постаравшись на совесть,
В прозе успеть еще написать
Средних размеров повесть.

В них до завтрашнего числа
Надо красиво и просто
Решить проблему добра и зла
И смежные с ней вопросы.

И снова стихи, стихи, стихи.
Книжка. Сборник. Тетрадка.
На эти праздные пустяки
Вся жизнь ушла без остатка.

А прежде чем в дверь толкнуться плечом
И неизбежное встретить,
Себя напоследок спрошу кой о чем
И вряд ли смогу ответить.

Меня с порога потом не вернут,
А до того порога
Осталась какая-то тыща минут,
А это не очень много.

Пожалуй, в дорогу с собой возьму,
Все остальное брошу,
Свои зачем, отчего, почему—
Единственно ценную ношу.

Трубка подпрыгивает, звеня,
И снова я повторяю:
— Придется вам обойтись без меня,
Завтра я умираю.

РУССКИЙ ПОСОЛ ВО ФЛОРЕНЦИИ

XV век

Пускай живет по-бесерменски,
Кто хочет в ад попасть живьем...
В латинском городе Флоренске
На свой обычай мы живем.

Соблазн чужого своевольтва
Не ввергнет нас в постыдный грех,
Стоит Великое посольство
На том, что мы превыше всех.

Что в древлей вере мы не шатки,
Что все, как было, будет впредь...
В двух шубах и в горлатной шапке
В июльский полдень буду преть.

Осипну в споре с толмачами,
Сличая с нашим ихний слог,
Чтоб нужных строк не замолчали,
Не переврали б важных строк.

Нет, это дело не простое,
Терпя жару и маету,
Заставить Дука слушать стоя,
Пока я грамоту дочту.

В ней речь о том, что к пушей славе,
К приумножению красы
Нужны искусники державе,
Нужны умельцы на Руси.

Зане мы в них имеем нүжду,
То за ценой не постоим,
Пускай Москве сослужат службу,
Москва да будет третий Рим.

Во славу нашу бесермены
Помогут грешною рукой
Воздвигнуть башни, церкви, стены,
Твердыню над Москвой-рекой.

Тут не нужна, избави боже,
Ума лукавая игра,
Нам мастера нужны построже,
Нужны потверже мастера.

А то и в немцах, и в латинах
Одни разврат и баловство,
Везде на расписных холстинах
Нагое видишь естество.

В цветах диковинных поляны,
А вокруг полян, смущая взгляд,

Русалки, ведьмы и полканы
Бесстыжим мрамором блестят.

Но сколь прелестна эта скверна!
Я сам поддался сатане —
И баба голая Венерка
Мне стала чудиться во сне.

Вконец намучусь и намычусь,
Но все ж до проку доберусь,
Лаврентий прозвищем Медичис
Пошлет искусников на Русь.

Наказ исполню государев
И успокоюсь без затей
Подальше от заморских марев
В тишайшей вотчине своей.

Флоренция — Москва.
1966—1967 гг.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ГЕОРГИЙ ШТОРМ

★

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

(Новые страницы из книги «Потаённый Радищев»)

1

Печатавшееся в «Новом мире» и изданное затем в 1965 году отдельной книгой мое исследование «Потаённый Радищев» получило живой отклик как в среде литературоведов, так и в широком читательском кругу.

Затронутые в книге вопросы вызвали и целый ряд возражений. Проверив, основательны ли сделанные мне упреки, я продолжил разыскания и кое-что дополнительно нашёл¹.

Об этих моих новых находках я и хочу рассказать читателю. Думаю, что предварительно будет нелишним напомнить ему, что именно доказывается в моей книге и о чем идет спор...

Долгое время считалось, что Радищев, арестованный и сосланный в 1790 году в Сибирь за написанное и напечатанное им в собственной типографии «Путешествие», больше не возвращался к этому произведению, пребывая сломленным до конца своих дней.

Но несколько рукописных копий «Путешествия», гораздо более полных, чем издание 1790 года, заставили заподозрить, что Радищев вернулся к работе над своей запрещенной книгой по возвращении из ссылки. На это указывали также новые привлеченные мной материалы. Удалось установить, что первый из этих списков, так называемый «лонгиновский», наиболее тщательно изготовленный и ныне хранящийся в Пушкинском доме, был тайно переписан, видимо при прямом участии двоюродной тетки Радищева Анны Ивановны Аргамаковой в Саровской пустыни в 1800 году.

Настаивать на этом позволяла румынская или молдавская запись, сделанная русскими литератами в верхней части оборотной стороны переднего форзаца рукописи².

Эта запись явилась концом нити, позволившей углубиться в тайную творческую историю «Путешествия».

В 1966 году в издательстве «Наука» вышла книга Д. С. Бабкина «А. Н. Радищев». Текст ее последней главы (на стр. 293) имеет прямое отношение к моему «Радищеву». Та же глава, переработанная в виде статьи, появилась в 1966 году в № 1 журнала «Русская литература». Статья была напечатана с фотоснимком. Бабкин, имея в виду хранящуюся в Пушкинском доме рукопись, писал: «Я. Л. Барсков и Г. П. Штурм недостаточно обследовали лонгиновский список, не рассмотрев водяные знаки на форзаце. Форзац списка, на котором сделана названная надпись, имеет водя-

¹ Новое, дополненное издание книги «Потаённый Радищев» выходит в издательстве «Советский писатель» в 1968 году.

² «Румынской» эта запись названа в монографии Я. Л. Барскова (1935) и в первом томе Полного собрания сочинений Радищева, выпущенном Издательством АН СССР в 1938 году.

ные знаки 1804 года. Это свидетельствует о том, что дата, указанная в румынской надписи, является ошибочной. Совершенно очевидно, что лонгиновский список был составлен не в 1800 году, а минимум лет на семь-восемь позднее...»

В данном отрывке текста, за исключением важного и не вызывающего сомнений сообщения о замеченном Бабкиным водяном знаке, содержится ряд неточностей, сбивающих читателя с толку. Это следует разъяснить.

Прежде всего филигрань (или водяной знак) «1804» относится только к форзацу, а не к рукописи, относительно которой известно еще со времени издания монографии Я. Л. Барскова, что «лонгиновский» список (иначе — список Б) имеет водяные знаки 1794 и 1796 годов. Таким образом, замеченный на форзаце водяной знак, относящийся, так сказать, к «одеянию» рукописи (к ее переплету и прилегающему к нему листу бумаги), может поставить под сомнение только датировку записи — «1800 года», а вовсе не время изготовления списка. Бабкин же сделал далеко идущий и абсолютно неправильный вывод: раз дата сомнительна, ибо на форзаце — год 1804-й, значит, и самый список составлен лет на семь-восемь позднее 1800 года. Иначе говоря, Бабкин относит редакцию списка Б к концу первого десятилетия XIX века. Но список этот по составу имеющихся в нем элементов идентичен списку В (Центрального государственного архива литературы и искусства) и списку Г (Исторического музея). По Бабкину выходит, что и редакцию этих двух списков нужно отнести к началу XIX столетия. Но сам же он (на стр. 102—103 своей книги) утверждает, что дополняющие канонический текст строфы «Вольности» и поэма «Творение мира» написаны Радищевым после его возвращения из ссылки. Во всем этом одно никак не сходится с другим.

Нельзя также понять, что означает фраза на 293-й странице: «По-видимому, румынская надпись была перенесена в этот список переписчиком с печатного экземпляра «Путешествия». Что это за печатный экземпляр? И почему — «с печатного»? Ведь загадочная запись говорит о рукописной копии: «Эта книга изготовлена для меня»...

Как бы то ни было, усмотренный Д. С. Бабкиным водяной знак «1804» позволял заподозрить датировку записи; но отнюдь не время изготовления данного списка. Все же это было сильным ударом по основному сюжету моего исследования, но, прежде чем его парировать, нужно было увидеть обнаруженную Бабкиным филигрань.

Я немедленно выписал в Москву из Пушкинского дома «лонгиновский» список — Отдел рукописей Библиотеки СССР имени В. И. Ленина любезно мне в этом помог.

Я был уверен, что запись на обороте форзаца этой рукописи отнюдь не «ошибочная» и что список этот изготовлен не позже 1800 года. Но сообщение Бабкина требовало объяснить необъяснимое: каким образом на поздней бумаге могла появиться ранняя запись? Для этого требовалось еще раз обследовать рукопись и только потом попытаться решить вопрос.

При предпринятом повторном обследовании был обнаружен ряд новых, мало понятных, особенностей и загадок списка Б.

Титульный лист не просто отсутствовал, а оказался вырванным: в связи с этим в первой тетради рукописи насчитывалось семь, а не восемь листов, причем лист, парный вырванному, был закреплен — держался на клею.

То же самое обнаружилось и в конце списка — в последней его тетради, где отсутствует полулист, следующий за окончанием текста рукописи. Когда эти листы удалены — до переплетения списка или после, — определить нельзя.

Кроме того, на переднем форзаце, на той его стороне, которая наклеена на внутреннюю сторону переплета, при пристальном изучении желто-голубых, довольно темных («мраморных») разводов удалось обнаружить следы трех черных сургучных печатей; место четвертой, видимо счищенной, закрывает архивный ярлык. Эти печати, надо полагать, в свое время служили для прикрепления к форзацу прямоугольного листка бумаги, так как на одной из них сохранились остатки бумаги голубоватого цвета с вержерями — прозрачными параллельными линиями, видимыми в бумажном листе.

Следы таких же двух черных сургучных печатей имеются также и на правой разворотной стороне заднего форзаца.

Вырванные листы рукописи и остатки некогда прикрепленного к форзацу листка бумаги, по всей вероятности, свидетельствуют о том, что список этот был сопровожден какими-то «паспортными» данными, но один из владельцев рукописи почему-то уничтожил их.

На заднем же форзаце списка, на левой, свободной его стороне, действительно вполне отчетливо просматривается на свет филигрань «1804».

Цветной, темных тонов форзац имеет белый, как обычно, испод; на белой, исподней стороне переднего форзаца имеется запись, сделанная на румынском или, вернее, молдавском языке.

Обследование форзаца было, как мне казалось, уже закончено, когда мое внимание привлекла едва заметная, узкая, как лезвие бритвы, светлая полоска, окаймлявшая этот цветной бумажный лист.

Мои оппоненты, наверное, никогда не простят мне тот вульгарный и легкомысленный жест, который я себе тут позволил. Но мелькнувшая догадка заставила меня пойти на это: я подул на белевшую кромку форзаца, и он... расщепился миллиметров на пять. Я подул еще раз, в другом месте — результат такой же. Подул в третий раз — то же самое. Вне всяких сомнений, форзац был склеен из двух листов.

Но на каком же стоял водяной знак «1804»? На цветном или на белом? И если даже на цветном, то какая филигрань на белом, на котором сделана запись? Согласуется ли она с датой записи — 1800 годом? Все это можно было узнать, только расклеив форзац, но для этого требовалось разрешение владельца рукописи, каковым является Пушкинский дом.

Пока Отдел рукописей Ленинской библиотеки переписывался по этому поводу с Пушкинским домом, я попросил С. А. Клепикова, моего постоянного советника в подобных затруднительных обстоятельствах, дополнительно обследовать список Б.

Исполнив мою просьбу, С. А. Клепиков сделал одно очень важное наблюдение: белый лист форзаца был пропущен сквозь блок рукописи и после первой тетради загнут пальцем; цветная же бумага в этом процессе не участвовала: ее наклеили позже на белый лист.

Это наблюдение распространялось на оба форзаца — передний и задний: белый лист, пропущенный сквозь блок списка, был загнут после первой тетради, в начале рукописи, и перед последней, в ее конце.

И все же датировка белого листа продолжала оставаться загадкой впредь до расклейки обоих форзацев.

Разрешение на расклейку было дано.

Сотрудница Отдела гигиены и реставрации Библиотеки СССР имени В. И. Ленина мастер М. С. Боголюбова искуснейшим образом расщепила передний и задний форзацы. Водяной знак «1804» оказался на цветной бумаге; на белой же удалось обнаружить только единицу; остальные три цифры филигрании бесследно исчезли в связи с деформацией бумаги под влиянием клея, воды и других причин.

Определить эту филигрань с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей не удалось — для этого требовались какие-то иные средства. И в Главном архивном управлении мне подсказали, что непревзойденным способом для выявления «исчезнувших» водяных знаков является бета-радиография, то есть воздействие бета-лучей на исследуемый предмет.

Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз взялся выполнить этот заказ по официальной просьбе Главного архивного управления. Мне было сказано, что ждать результатов придется месяца два...

Работы по восстановлению «угасших» текстов и воспроизведению водяных знаков ведутся в СССР с 1950-х годов. Ленинградский искусник этого дела Д. П. Эрастов не раз совершал в этой области чудеса. Особую известность приобрело его участие в восстановлении французского легендария (сборника житийной литературы) XIII века — рукописи, которая казалась безнадежно погибшей от воздействия чрезмерной влажности воздуха, бактерий и плесневых грибов. Она имела вид твердого обугленного кирпича, издававшего «сухой костяной звук» при постукивании о него «карандашом или его металлическим наконечником». Никто не поверил бы, что этот

«кирпич» вдруг «физически раскроется на две сотни листов». И тем не менее это произошло. Выступил готический старофранцузский почерк, заголубли неожиданно краски, и затеплилось золото миниатюр и орнамента, выполненных с необыкновенным изяществом и навсегда утраченным мастерством.

Рукопись эта была исследована в отраженных фиолетовых, ультрафиолетовых и отраженных инфракрасных лучах. Но Д. П. Эрастов применял и бета-радиографию — в тех случаях, когда нужно было сфотографировать только водяные знаки, устранив сопутствующий им текст.

В Москве тоже велись аналогичные работы, но применение их почти всегда замыкалось в сфере криминалистики. Сможет ли Институт судебных экспертиз уделить достаточно времени и внимания моему заказу? Но сомнения были напрасны: ровно через полтора месяца старший инспектор института Василий Степанович Величко вызвал меня к себе. Он сказал:

— В Ленинграде источником бета-радиографии служит препарат радиоактивного изотопа кальция — 45. В данном случае он оказался бессильным. Пришлось применить новую методику, испробовав более десятка различных изотопов. Я увлекся, сделал около ста снимков, и вот — поглядите! — результат...

Он стоял передо мной, держа в руке свой трофей.

— Вглядитесь!..— предложил он, отдавая мне фотопленку. И когда я после некоторого напряжения начал различать цифры, произнес:

— Водяной знак воспроизведен замкнутым в двух окружностях. Это дискообразная форма изотопных препаратов, так называемых «мишеней», позволяющих определить плотностную структуру просвечиваемого материала. В одной «мишени» помещается только три цифры, четвертая — в другой... Что вы видите?

— Вижу филигрань «тысяча семьсот восемьдесят девять»...

— Совершенно верно... Но придется немного еще поработать — усилить изображение. И тогда выдадим вам заключение и негатив...

Восемнадцатого ноября 1966 года Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз Юридической комиссии при Совете Министров РСФСР выдал мне заключение за № 1703/б.

Упомянув, какого рода исследование должен был по просьбе Главного архивного управления провести институт над списком «Путешествия» Радищева, принадлежащим Пушкинскому дому (был указан шифр рукописи), текст заключения гласил:

«Проведенным исследованием с помощью бета-радиографии установлено, что на втором листе белой бумаги расклеенного форзаца в конце книги имеется водяной знак «1789».

Бумага белых листов расклеенного форзаца в начале и конце книги по своим физическим свойствам одинакова. Первый белый лист отличается от остальных лишь облачностью».

Следовали подписи специалистов — А. Гусева и В. Величко, — и была приложена печать.

2

Теперь, зная точно дату изготовления белой и цветной бумаги расклеенного форзаца, можно с достаточным основанием попытаться объяснить, что же в свое время произошло.

По всей вероятности, сначала, при переплетении рукописи, ей был придан простой белый форзац из макулатурной бумаги 1789 года, на обороте которого в 1800 году была сделана запись. Спустя несколько лет неизвестный пока нам владелец рукописи решил украсить ее более нарядным форзацем и наклеил на белую простую бумагу цветную, изготовленную в 1804 году.

Случаи же употребления в качестве форзаца белой дешевой бумаги известны. Так, в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде в фонде В. Ф. Груздева (шифр 206.6) имеется список «Путешествия», изготовленный на простой бумаге конца XVIII века с форзацем из

этой же самой бумаги. Любопытно, что титульный лист в названной рукописи отсутствует, и текст его вынесен на правую, лицевую сторону форзаца почти так же, как и эпиграф из перевода Тредиаковского — «Телемахида» — в списке Б.

Таким образом основной сюжет исследования в «Потаённом Радищеве» остается неизвешивым, и наблюдение Д. С. Бабкина нисколько не подрывает версии о переписке «Путешествия» в Саратовской пустыни в 1800 году.

Что касается другого его утверждения — будто Радищев подготавливал при Александре I второе (легальное) издание своей книги, — то и по этому вопросу следует кое-что сообщить.

Основой для такой гипотезы Бабкина послужил хранящийся в Пушкинском доме экземпляр «Путешествия» издания 1790 года с собственноручными, сделанными карандашом заметками А. Н. Радищева на многих страницах в тексте книги и на одном отдельном листе.

На переднем форзаце этого экземпляра неизвестным лицом сделана карандашная маловразумительная надпись: «NB. Записана на белые листы 11 прибавлений» к стр. 377».

Критикой уже было отмечено, что на странице 377 книги Радищева находится текст главы «Городня», относить к которому одиннадцать прибавлений и в том числе оду «Вольность» более чем сомнительно.

Но Бабкин по этому поводу говорит:

«Из прибавлений, упомянутых в приведенной записи, сохранилось только одно — доработанный полный текст оды «Вольность»...» Где же он сохранился? В списках или при этом печатном экземпляре? Бабкин продолжает: «...остальные листы выпали из книги и затерялись». Значит, ода «Вольность» не выпала и не затерялась? Но при книге ее нет.

Далее, рассуждая об экземпляре «Путешествия» с «приписками» и «приправками», который Радищев на заседании Петербургской уголовной палаты назвал «корректирным», Бабкин обосновывает свою гипотезу так:

«Для сличения почерка Радищева заставили написать слова, имевшиеся в его «корректуре». Ни одно из них не совпадает с теми исправлениями, которые приведены выше (имеются в виду заметки в экземпляре Пушкинского дома.— Г. Ш.). Отсюда следует, что все поправки, имеющиеся в исследуемом экземпляре, были сделаны уже после того, как Радищев вернулся из ссылки».

Но из чего это следует? Ведь это мог быть и другой «корректирный» экземпляр.

Бабкин выдвигает аргумент.

«Это важное обстоятельство, — говорит он, — подтверждается следующим фактом. Многие из приведенных поправок написаны Радищевым на приставном форзаце книги. Бумага этого форзаца гладкая, нисколько не похожая на вержированную бумагу, на которой напечатана книга».

К сожалению, должен заметить, что это не совсем так

Описанный Бабиным экземпляр хорошо мне известен. Недавно держал его в руках и могу сообщить читателю: к форзацу книги серовато-розоватых тонов действительно «приставлен», но одновременно с ее переплетением белый испод, образующий перед титульным листом разворот; на правом полулисте этого разворота, у сгиба, довольно ясно виден водяной знак «1788», что же касается «многих поправок» (вернее, заметок.— Г. Ш.) Радищева, то они писаны им вовсе не на приставном форзаце и отнюдь не на листе, вклеенном в книгу, как утверждает Бабкин, а просто-напросто на последнем ее листе — на бумаге с отлично видимыми вержерами, то есть на той же самой, на которой было напечатано «Путешествие» в 1790 году.

3

Один из моих читателей, Михаил Тарасович Кокунов, заведующий биохимической лабораторией Московского онкологического института имени Герцена, дал мне совет.

Мы сидели в одном из кабинетов торжественной архитектуры дома с колоннами в начале Боткинского проезда и почти на углу Беговой. С интересом слушал я своего собеседника, плотного, коренастого человека лет семидесяти. Говорил он возбужденно и произносил слова с белорусским акцентом: вместо «взять» — «узять».

— Стоит мне узять вашу книгу,— уже не в первый раз повторял он,— и меня охватывает почти охотничья страсть!.. Хочется по-новому разгадать иностранную записку на писте «Путешествия», то есть ее зашифрованное, загадочное начало... Я немного молдавский язык знаю и вот что хочу предложить вам для прочтения первой строки...

То, что мне посоветовал М. Т. Кокунов, было ошеломительно по своему смыслу и пленяло своей наибольшей вероятностью и вместе с тем простотой.

Перевод начальной строки этой записки — «Уединенного жития моего ради для будущих веков дар!» — был дан мною в первом издании книги предположительно. При этом основой для перевода послужила возможная, но явно громоздкая конъектура «вякурулоръ даръ» (из сокращений «в. др.»). Поэтому я счел целесообразным воспользоваться любезно предложенной мне новой, удивительно простой, конъектурой, тем более что с принятием ее самый контекст записки неизбежно приводил к автору «Путешествия» и подтверждал, что «благородная девица Аннушка» и Анна Ивановна Аргамасова — одно и то же лицо.

И если прежде прочтение позволяло считать первым владельцем рукописи Николая Афанасьевича Радищева, отца писателя, то теперь, при новом предположительном толковании, Александр Николаевич, автор «Путешествия», с полным правом и основанием замещал в этом контексте Николая Афанасьевича, своего отца.

Текст исследуемой русифицированной записки наверняка уже изгладился из памяти читателя, и я позволю себе — для наглядности — еще раз его повторить:

В. ДР!
 ПЕНТРУ МИНА¹ МЕУ..... ..
 АИСТА КАРТУ ДАРУЕШТИ ЛА
 МИНЕ ПРЕБУНА ПРИЕТЕ[НЭ]²
 ФАТА КОКОНИЦА АНКУЦА, 1800-ГО
 АНЬ
 ШИ БУН ПРИЕТЕЛЬ ТАТА ПАРЕ
 НТИИ, ТАТ. КИРПИЯНЬ ЛАБИСЕРИ
 КУЛУИ САРОВСКИИ МОНАСТЫРЬ
 ХАЗНОДАРЬ. АЧАСТА КАРТА СОФО
 КУТЬ ПЕНТРУ МИНЕ

Совет М. Т. Кокунова состоял в том, чтобы расшифровать аббревиатуру «в. др.» как «в <эръ> др <агъ>»: «вэръ» — двоюродный брат, «драгъ» — дорогой, любезный. Посоветовавшись на этот счет с московскими специалистами Ф. А. Грекулом и Д. Е. Михальчи, я получил о новой конъектуре вполне одобрительный отзыв; мне было сказано, что она подкупающе проста, вполне допустима и что ею не следует пренебрегать.

И вот я приступил к вторичной расшифровке первой строки записки, исходя из того, что слово «мона» я буду читать — «мина» (рука, руки), как предлагал румынский академик Оцети несколько лет назад.

Итак, «пентру мина» я перевел теперь: «для руки», «для рук» или, точнее, «в руки [твой]», то есть «в [твою] собственность».

¹ Произносится: «мына».

² В подлинном тексте записки после слова «приете» стоит двоеточие — старинный знак того, что слово написано сокращенно; в этой неправильной и, возможно, архаической форме «приете» не хватает слога «нэ», указывающего на женский род. Между прочим, до первой половины XVIII века, как мне разъяснил знаток румынской и молдавской письменности XVII—XVIII столетий Ф. А. Грекул, в румынском языке женского рода не было, и дочери назывались всегда «сыновьями», так что различать их в текстах документов можно только по именам.

Вторая же половина строки — «меу в. др!» — расшифровывалась как «меу в <эръ> др<агъ>!» («мой любезный двоюродный брат!»), что было очень правдоподобно.

Все же вместе — в переводе — читалось: «В руки [твой], мой любезный двоюродный брат!»

(Критика отмечала, что в конце первой строки записи якобы нет восклицательного знака. Но в подлинном тексте он виден довольно ясно; на репродукции же, при уменьшении, его можно и не найти.)

Теперь внимем в смысл нового перевода.

«Коконица Анкуца» (девица Аннушка) принесла рукопись в дар своему любезному двоюродному брату. Но ведь Анна Ивановна Аргамакова была двоюродной теткой Александра Николаевича Радищева, при этом моложе его на четыре года. А в XVIII веке в подобных случаях дядя и тетки называли своих племянников двоюродными братьями, да и в старорусском языке «племянник» часто подменялся словом «братан» (Даль).

Получалось, что девица Аннушка и Анна Ивановна Аргамакова — одно и то же лицо и что рукопись была ею подарена автору «Путешествия» Александру Николаевичу Радищеву. Все это было в высшей степени правдоподобно и, главное, вытекало из самого контекста записи, из новой конъектуры, подсказанной читателем, послужившей ключом к такому толкованию этой строки.

Достигнутый результат заставлял без промедления двигаться дальше.

Если первая строка являлась дарственной записью, сделанной от имени девицы Аннушки, то последующая фраза, кстати сказать, отделенная от первой строки явственным интервалом, говорила об «Аннушке» уже в третьем лице:

«Эту книгу дарит мне (будучи у меня) добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка. в 1800-м году».

Следовательно, первая строка и следующая за нею фраза были написаны или продиктованы разными лицами. Они были именно продиктованы кому-то, потому что вся записка написана одним почерком, а содержание первой и второй фраз не могло принадлежать одному и тому же лицу¹.

Но текст, продолжающий запись после слов «в 1800-м году», как будто снова принадлежит девице Аннушке, ибо в нем упоминается «отец наставник», казначей Саровской пустыни Киприан. Так скорее могла назвать Киприана вкладчица пустыни Анна Ивановна Аргамакова, но не Радищев; по собственной инициативе он вряд ли назвал бы казначея наставником, хотя не исключена возможность, что он мог его лично знать.

И наконец последняя фраза «Эта книга изготовлена для меня» не может быть отнесена к девице Аннушке, потому что она дарительница, а не лицо, которому дарят рукопись. Эту фразу, видимо, продиктовал Радищев, так как список изготовлен был для него.

Таким образом молдавская записка оказывается своеобразным диалогом, продиктованным думая предположительно, но с большой вероятностью установленными лицами третьему, неизвестному, лицу.

Здесь необходимо сообщить читателю одну важную, обнаруженную мной бытовую подробность: невдалеке от московского дома Анны Ивановны Аргамаковой, в ее церковном приходе Георгия на Всполье, находился дом артиллерии фейерверкера Афанасия Колесова, в котором, по данным исповедных ведомостей, с 1778 года по 1812 год «жили московские цыгане», как называли тогда в Москве главным образом молдаван.

Не исключена возможность, что один из них служил у Анны Ивановны приказчиком, садовником или кучером и однажды осенью 1800 года сослужил ей службу своим относительным знанием молдавского языка.

¹ Ф. А. Грекул обратил мое внимание, и я за это чрезвычайно ему признателен, на выражение «фата коконица Анкуца», что оно видимо, принадлежит писавшему (или диктовавшему) записку, а не девице Анкуце, ибо в Молдавском и Валахском княжествах в XVIII веке так представляли девиц, знакомя их с кем-нибудь.

Нам известно, что А. И. Аргамакова в 1797 году намеревалась строить у себя на дворе «каретный амбар» и что у нее были в этом дворе конюшни. Вряд ли будет большой натяжкой допустить, что она имела и собственный, выездной экипаж — дор-мез или кибитку,— в котором в один из погожих осенних дней 1800 года отправилась в недалекий Боровский уезд к своей сестре Екатерине Ивановне Полуектовой, где у мужа ее было имение, и по дороге заехала в село Немцово к своему племяннику Александру Радищеву, чтобы вручить ему драгоценный дар.

Заодно допустим, что и молдаванин, который, как я предположил, быть может, служил у Анны Ивановны, тоже поехал с нею.

Дальнейшее представляется мне так.

Радищев, счастливый, обрадованный, что получил наконец восстановленную и дополненную свою книгу, тут же придумал, как сделать на ней мемориальную надпись, чтобы отразить в ней участие в переписке рукописи и свое собственное, и своей тетки и в то же время все это зашифровать.

Сопровождавший А. И. Аргамакову молдаванин с его нетвердым знанием молдавского языка мог как нельзя лучше помочь в этом деле.

Он должен был переводить и записывать.

И Анна Ивановна начала диктовать:

— «В руки [твон], мой...» — Тут она запнулась и, должно быть, попросила своего переводчика поставить после слова «мой» многоточие, чтобы не назвать Радищева. Затем выход был найден, она продиктовала: — «...любезный двоюродный брат», — но велела сократить эту часть фразы.

И переводивший приписал над многоточием вместо «взръ драгъ» два сокращения: «в.» и «др.».

Тогда начал диктовать Радищев:

— «Эту книгу дарит мне...— с такой же осторожностью подыскивал он слова для надписи, — ...добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка, в 1800-м году...»

Он не назвал ее ни двоюродной сестрой, ни теткой, заменив ее имя, отчество и фамилию ласкательным именем, так же стараясь не выдать ее, как не выдала его она.

Но тут Анна Ивановна подсказала, что в записи нужно отметить и участие Киприана, ее доброго приятеля и наставника, монастырского казначея.

Радищев, согласный с этой характеристикой, продиктовал:

— «...и добрый приятель, отец наставник, отец Киприан, братства Саровского монастыря казначей».

Так запись отразила почти все необходимые элементы.

И Радищев глухой, анонимной фразой величественно закончил:

— «Эта книга изготовлена для меня»...

Надо думать, что сразу же после того, как маскирующий историю списка Б текст записи был составлен, Радищев вырвал из него титульный лист. Это подтверждается тем, что на обороте переднего форзаца значительно ниже записи тем же почерком воспроизведен эпиграф из «Телемахиды» в переводе Тредиаковского, напечатанный на титульном листе «Путешествия»: «Чуд. озо. огр. игла. Телемахида». Видимо, его переносили под диктовку, так как он сильно искажен.

Очень возможно, что последний лист списка тоже был удален из него Радищевым при этом свидании с Анной Ивановной. Очевидно, на этом листе были записаны какие-то сведения о рукописи, которые не следовало оставлять.

...Милый Михаил Гарасович! Спасибо Вам великое за ценную подсказку, обогатившую мою работу, за текстологический диалог, который я благодаря Вам ввел...

Но какой же был для Радищева смысл в столь наивной конспирации, если запись выдавала Анну Ивановну, казначея Киприана и место тайной переписки «Путешествия» — Саровский монастырь?

Оставить след многострадальной истории своей книги, к тому же ее последнего, потаённого этапа, пусть след запутанный, но связанный с его великим подвигом! Или не оставлять никаких следов?.. Искушение было слишком велико.

При отсутствии титульного листа в рукописи, при наличии крестов на корешке переплета и упоминании в записи казначея Саровской пустыни Киприана можно было кое-кого и обмануть. Расчет был на первое впечатление от рукописи: какая-то церковная книга... В крайнем же случае — отговориться: ведь в записи сказано, что список «Путешествия» изготовлен «для него», то есть для него одного и ни для кого больше; к тому же переписали его монахи, как проповедь (так, видимо, объяснил дело и казначей Киприан)...

4

Одно из предположений, высказанных в первом издании «Потаённого Радищева», состояло в том, что автор «Путешествия» уничтожил перед арестом не все черновики своей книги и некоторые из них успел переправить в безопасное место. Лицом, которое, возможно, помогло ему в этом деле, был предположительно назван служивший в Петербургской таможне секунд-майор Андрей Радищев, числившийся по ведомости 1790 года уволенным в отпуск в Москву.

А в книге записи подорожных того же 1790 года, хранящейся в Центральном государственном архиве города Москвы, мной была обнаружена запись двух подорожных: до Клина — коллежскому асессору Николаю Радищеву (отцу писателя) и до Дорогобужа — секунд-майору Андрею Радищеву; обе были выданы им как членам одной семьи 6 февраля.

Так как об Андрее Радищеве, служащем таможни, уехавшем в отпуск в Москву, больше нигде никаких сведений не было, я решил, что в Москве получил подорожную до Дорогобужа тот же самый служащий таможни и что это дальний родственник А. Н. Радищева, владелец сельца Ларино в Вяземском уезде, Андрей.

Но ленинградские и московские литературоведы стали доказывать, нисколько не интересуясь личностью служившего в таможне Андрея Радищева, что секунд-майор, получивший в Москве подорожную, вовсе не дальний родственник писателя, а его родной брат.

Московский исследователь В. П. Гурьянов обратил при этом мое внимание на известие в посмертной статье П. Г. Любомирова (1936) о том, что Николай Афанасьевич Радищев (отец) приобрел в Дорогобужском уезде имение примерно в 1790 году.

Пришлось заглянуть в архивы. Приобретенными Н. А. Радищевым около 1790 года в Дорогобужском уезде оказались: сельцо Ретки, деревня Москова и сельцо Савино; последнее, купленное у двоюродного брата Николая Афанасьевича — Федора Афанасьевича, имело общую межу с деревнями Лебедевой и Кудрявцевой, принадлежавшими М. И. Грибоедовой, впоследствии Розенберг.

Это обстоятельство заставило меня прозереть основательность упрека моих оппонентов, и я стал просматривать биографические, родословные и служебные материалы, касающиеся всех Радищевых, которых звали Андреями и которые имели военный чин.

Вскоре же было установлено, что Андрей Радищев, владелец сельца Ларино в Вяземском уезде, имел чин капитана, а секунд-майор Андрей Радищев, получивший в Москве подорожную до Дорогобужа, был действительно родным братом писателя, ибо никакого другого Андрея Радищева, секунд-майора, не было, а тот, что служил в таможне, и этот, получивший подорожную, — одно и то же лицо.

Как видно из ведомости, жалование этот таможенный служащий не получал. Вместе с ним на таком же положении (ученика) находился капитан Петр Юшневский. В 1792 году в той же таможне учеником «для познания таможенных дел» служил подпоручик Нежданов. Говоря современным языком, они, очевидно, зарабатывали себе стаж...

Разбираясь в вопросе о капитане и секунд-майоре и просматривая материалы о прохождении разными Радищевыми военной службы, я остановил свое внимание на заметке в № 10 части IV журнала «Друг просвещения» за 1804 год. На страницах 35—36 этого журнала был помещен так называемый «Русский анекдот», сообщенный издателем неизвестной особой. Привожу его целиком.

«Саратовской губернии дворянин г. Радищев, служивший в армии на Кавказской линии офицером, в течение 1785 года на одном сражении с лезгинцами, был взят в плен с несколькими другими. Радищев и другой офицер (которого имя неизвестно) по жеребью достались в неволю в одни руки. Несколько месяцев страдали они в тяжелой работе, наконец горский татарин, которому они принадлежали, видя изнурение их сил, позволил им писать в Россию о присылке за них выкупа, и назначил по 300 руб. за каждого. Радищев хотя был уверен, что получа письмо, его отец непременно пришлет требуемые деньги, но не мог надеяться, чтобы письмо его верно доставлено было, а еще того менее деньги. Товарищ же его, которого родственники были весьма не богаты и не в состоянии заплатить этой суммы, совершенно лишился надежды получить когда-либо свободу. Но проведенное ими время в отдалении от единоплеменников, общие их несчастья, страдания, свечка сделали их друзьями. Радищев не хочет один пользоваться свободой и решился во что бы то ни стало избавить своего сотоварища. Они, уговорившись, приходят к татарину, называя себя родными братьями, и просят его отпустить одного из них для принесения денег на выкуп обоих, между тем, как другой останется в залоге. Долго татарин противился, наконец убежденный их слезами и надеждой получить выкуп, склонился, но с условием, чтоб деньги непременно были доставлены к назначенному им сроку; в противном же случае оставший из двух у него в залоге лишен будет жизни. Радищев отпущен, а другой офицер остается. Срок был назначен очень короткий, так что ему никак не возможно было приехать в дом и оттуда доставить деньги; но татарин иначе не соглашался. Радищев отправляется в путь с поспешностью и по многотрудном шествии достигает до расположенных по линии войск наших. Тут по счастью находит он заняты 600 руб. Ни с чем нельзя сравнить его радость. Нимало не мешкая, презирая труды, усталость, летит обратно в горы и приходит в самый тот день, когда назначено было товарища его лишить жизни. Всякий почувствовать может, с каким восторгом сей несчастный встретил своего избавителя! Они отдают татарину за себя выкуп и возвращаются в свое отечество, имея сердца преисполненные, один благодарностью, а другой удовольствием, что сделал доброе дело».

Проспранность этой довольно сентиментальной цитаты имеет свое оправдание: перед нами вернее всего — исторический и литературный источник «Кавказского пленника» Л. Н. Толстого, печатный источник, неизвестный толстоведом, самый ранний из всех.

И хотя этот факт, сам по себе в высшей степени интересный, казалось, не имел никакого отношения к моему разысканию, нужно было на всякий случай доследовать новое направление до конца.

О каком Радищеве сообщал приведенный «Русский анекдот»? Не о близком ли родственнике писателя?

Занимаясь просмотром личных документов Радищевых, я нашел в ЦГАДА, в фонде Герольдмейстерской конторы (книга 891, лл. 81—об.—82), формулярный список кузнецкого дворянского предводителя секунд-майора Андрея Николаевича Радищева, родного брата писателя, и выписал из этого списка с сохранением орфографии несколько строк.

Найденный формулярный (или послужной) список вшит в толстую книгу таким образом, что литеры некоторых слов оказались перехваченными шивкой; эти литеры восстановлены мной в ломаных скобках.

Привожу отрывок из послужного списка Андрея Радищева на 1796 год:

«...В 783¹ мая 16 пожалован капи<таном> в Кабардинской егерской батальон в ко<ем> был по реке Кубане около Кавказских гор в сражениях противу неприятеля за рекою Сун<жею> при деревне Алде в Больших Чечнях з г<орск>ими народами где и в полону находился дв<ад>цать дней...»

«Анекдот», сообщенный издателями «Друга просвещения», и найденный мною формулярный список Андрея Николаевича Радищева, взаимно дополняя один другого, относились к одному и тому же лицу.

Следует отметить присущую «анекдоту» в «Друге просвещения» и рассказу Толстого общую моральную направленность, подчеркнута выраженную в словах героя рассказа Жилина: «Бросать товарища не годится»,— чего в других источниках нет...

Так у Андрея Николаевича появились неизвестные до того черты характера (мужество, благородство и чувство товарищества), которыми можно объяснить и увоз им черновиков брата. Эта версия становится еще более правдоподобной оттого, что

¹ В 1783 году.

нам известно о его поездке 1790 года в имение, купленное его отцом в Дорогобужском уезде и находившееся рядом с деревнями сестры А. И. Аргамаковой — М. И. Грибоедовой.

Тут, конечно, могут заметить, что Александр Радищев должен был доверить заветные свои бумаги только человеку, идейно ему близкому, а нам об идейно-политических взглядах Андрея Радищева ничего не известно. Критика уже высказывала сомнение, что «богомольная пожилая девица» А. И. Аргамакова вряд ли могла спасти крамольную книгу и что это скорее было под стать какому-нибудь сослуживцу Радищева по таможе, в частности одному из них, у которого дети писателя крестили младенца в 1789 году. Но жизнь ходит неуказными путями, и бывает так, что люди, которых, казалось бы, должны объединять освободительные идеи, ограничиваются тем, что крестят младенцев друг у друга, а «богомольная пожилая девица» спасает революционное произведение, хотя, наверное, предпочитала жития святых великомучеников книгам Рейналя и Монтескье.

5

Но поиск, связанный с «анекдотом» в журнале «Друг просвещения», на этом не кончается. Только теперь, читатель, мы обратимся уже не к тексту названного журнала, а к его титульному листу.

В нижней части этого листа под волнистой чертой изящнейшим шрифтом напечатано: «Москва, в типографии Платона Бекетова. 1804».

Вспомним, что на титульном листе первого издания «Краткого исторического описания Саровской пустыни» игумена Маркеллина точно так же внизу под чертой напечатано: «Москва, в типографии Платона Бекетова. 1804».

Сведения об Аргамаковых и Радищевых в этих изданиях даны не случайно: издатель их Платон Петрович Бекетов знал тех и других достаточно хорошо.

Предки П. П. Бекетова владели землями в Симбирском, Саранском и Арзамаском уездах и были прочно связаны с Саровской пустыней, а один его близкий родственник даже продал всю свою недвижимость и вырученные деньги пожертвовал в этот монастырь.

В фонде А. И. Барятинского, хранящемся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ед. хр. 71), имеется два полных списка «Вольности» Радищева в объеме пятидесяти четырех строф. Оба списка — на голубоватой бумаге, с на редкость громоздкой литерной филигранью КГКОСНДММ, означающей: «Костромской губернии Кинешмской округи села Новодемидовского Маржел Мещанинов». Водяной знак на бумаге обоих списков обозначает один и тот же 1804 год.

И, наконец, вспомним, что форзац драгоценного «лонгиновского» списка, состоящий из двух листов — белого и цветного, — имеет на более поздней, цветной, бумаге ту же филигрань «1804». Позволю себе высказать и обосновать догадку, что выявленные четыре совпадения в датировке бумаги случайными считать нельзя.

П. П. Бекетов был страстным собирателем книг и рукописей, а также лучшим московским издателем начала XIX века. В 1807—1811 годах¹ он издал первое собрание сочинений А. Н. Радищева в шести небольшого формата томах, подготавливая от одного до двух томов в год.

Сыновья Радищева — видимо, Николай и Павел — доставили Бекетову рукописный материал для этого издания. Ни «Путешествие», ни пространная ода «Вольность» по цензурным условиям в его состав не вошли.

Но ода намечалась к печати — об этом свидетельствуют два ее экземпляра, оставшиеся в архиве издателя. Надо думать, что он должен был располагать и списком «Путешествия из Петербурга в Москву».

Ведь именно этой книгой и объяснялся повышенный интерес Бекетова к Радищеву: подготовка к изданию его сочинений, включение сведений о его родне в

¹ Встречаются редчайшие экземпляры первой части этого издания с титульным листом 1806 года.

«Историю» Саровской пустыни и «анекдота» о брате писателя в журнал «Друг просвещения», причем все это, или почти все, в 1804 году.

В течение этого года, но, может быть, и следующего, шла подготовка к изданию первого тома. В это самое время Бекетову следовало получить от сыновей Радищева «Путешествие», и очень похоже, что они предоставили издателю список, найденный ими после смерти отца в его библиотеке,— список, изготовленный для него в Саровском монастыре.

И вот тут-то Бекетов, библиофил и любитель изящного оформления книг и рукописей, оценив по достоинству поступивший к нему список, вероятно, и украсил его форзацем из цветной бумаги с водяным знаком, обозначавшим 1804 год.

Когда же выяснилось, что включить «Путешествие» в собрание сочинений Радищева невозможно, Бекетов, должно быть, возвратил сыновьям писателя эту рукопись, но оставил у себя два списка «Вольности» в составе пятидесяти четырех строк.

А список «Путешествия», изготовленный в Саровской пустыни, скорее всего хранился затем в радищевском селе Веденском, Клинского уезда, Московской губернии. В 1840 году (судя по мемориальной пометке на первой странице рукописи) он был куплен московским богачом П. В. Голубковым, который пять лет спустя — в 1845 году — приобрел и самое это село...

6

Большую услугу оказал мне читатель «Потаённого Радищева» талантливый советский архивист Р. В. Овчинников, обратив мое внимание на одно дело в Центральном государственном архиве древних актов, имеющее такой невыразительный заголовок, что мимо него легко можно было пройти.

Дело это (Госархив, VII разряд, № 2049) называется «О перемещении чиновников Тайной экспедиции...». Архивный фонд этой розыскной канцелярии сохранился далеко не полностью. Неполным, по-видимому, является и дело Радищева, которым Тайная экспедиция занималась во второй половине 1790 года. Во всяком случае документ, вшитый вместе с прочей перепиской в папку с надписью «О перемещении чиновников...», подтверждает эту неполноту.

Листы 274—275 названного дела занимает «Реестр бумагам, находящимся у генерал-прокурора князя Алексея Борисовича Куракина и принадлежащим Тайной экспедиции». Реестр составлен в 1798 году, при передаче дел Куракиным новому генерал-прокурору — П. В. Лопухину.

С воцарением в 1796 году Павла I более других приближенный к нему А. Б. Куракин был назначен генерал-прокурором и одновременно ведающим Тайной экспедицией. Поэтому вполне понятен его интерес к хранящимся в ней делам.

Все вошедшие в реестр бумаги относились к минувшему царствованию. Среди них под № 1 значатся собственноручные замечания Екатерины II о Новикове, под № 4 — дело об издании Рахманиновым сочинений Вольтера, а под № 15 — «Несколько корректурных листов сочинения книги Путешествие из С.-Петербурга до Москвы».

Генерал-прокурор почему-то занимался делами, давно законченными и решенными. Не ясно также, почему он проявил внимание не к следственному делу Радищева в целом, а только к корректурным листам его книги, словно сличал их с каким-то другим текстом, потому что это имело для него некий особый смысл.

О корректурных листах «Путешествия» мы до сих пор ничего не знали. В деле Радищева они отсутствуют. Значит, это «вещественное доказательство» — какая-то часть следственного дела писателя, не фигурировавшая на процессе в 1790 году.

На одном из заседаний Петербургской палаты уголовного суда рассматривался экземпляр «Путешествия» с «приписками и приправками». Но то была отпечатанная и сброшюванная книга, а не корректурные листы.

Во всяком случае упомянутая запись в реестре бумаг, находящихся у генерал-прокурора, подтверждает догадку о неполноте дела Радищева. Кроме того, она, естественно, вызывает вопрос: зачем материалы по истории издания «Путешествия» изучал генерал-прокурор в 1796—1798 годах?

Из дела Радищева известно, что А. Б. Куракин наблюдал за возвращением автора «Путешествия» из Сибири, а затем за его поведением по приезде из ссылки и за его перепиской. Корректуру радищевской книги он мог получить в подведомственной ему Тайной экспедиции, но также и другим путем — при возложенной на него разборке бумаг умершей императрицы. Если верно последнее — это означает, что Екатерина II, тщательно изучая «Путешествие», держала в руках не только печатную книгу, но и ее корректурные листы.

Зачем они понадобились спустя столько лет Куракину, мы пока не знаем. Да и самые листы эти еще не найдены, их еще предстоит найти. Но одно очень важное обстоятельство несомненно: Тайная экспедиция не упускала из своего поля зрения Радищева как автора «Путешествия» даже после его возвращения из Сибири, хотя сам он вряд ли об этом знал.

Уступая свою должность новому генерал-прокурору, Куракин передал ему корректурные листы «Путешествия» как некую своеобразную эстафету. Таким образом особое внимание Тайной экспедиции к Радищеву, проявленное ею в 1796—1798 годах, не иссякло ни в 1799-м, ни в 1800-м, то есть и в те годы, когда он должен был восстанавливать и дописывать «Путешествие» и оно скрытно переписывалось в монастыре.

Обнаруженный реестр бумаг Тайной экспедиции с корректурными листами «Путешествия», изучавшимися в 1796—1800 годах генерал-прокурорами, — факт примечательный, указывающий на опасность, чрезвычайно возросшую для автора гонимой книги как раз к моменту, когда он, по всей видимости, принялся дорабатывать ее текст.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант танковых войск*

Д. А. ДРАГУНСКИЙ

★

В КОНЦЕ ВОЙНЫ*

Оперативная группа, находившаяся со мною, вначале небольшая, постепенно разрасталась. К ней примкнули штабы артиллерийских бригад и дивизионов; подходили и подъезжали ко мне командиры приданных подразделений. Вдобавок ко всему без вызова прибыл начальник тыла нашей бригады Иван Михайлович Леонов, за ним потянулись обозы с запасами, санитарные машины и цистерны с горючим

— Зачем явились? Вы же связываете нас по рукам и ногам, создаете пробки, сутолоку.

Спокойствие и выдержка и на сей раз не оставили нашего Ивана Михайловича.

— Не мог поступить иначе, товарищ комбриг. Целую ночь стоял с тылами на станции Рейхшпортфельд. Видимости никакой, обстановка не ясна. Из станции метро выскочили немцы и давай нас колошматить — прут, сволочи, прямо из-под земли. Два часа вел бой, насилу отогнал. Вот и решил спасти боеприпасы, горючее и продовольствие. Целую ночь до вас добирался.

Я понимал Леонова. Не сладкой жизни искал он, оставляя свой удаленный от передовых подразделений район. Он примчался к нам и не в поисках защиты — это был храбрый и опытный командир, который сумел бы в обычной боевой обстановке отбиться своими силами в случае нападения мелких групп противника. Но он был прав: мы не учли своеобразия обстановки в Берлине. Тыловые подразделения на каждом шагу подстерегала опасность, они были уязвимы в любом месте, в любой момент. Немного подумав, я оставил в распоряжении Леонова танк, взвод автоматчиков и крупнокалиберный зенитный пулемет.

Два часа добивались мы связи с Гулеватым, но безуспешно. Как в воду канул. Его рация молчала, посланный к нему офицер штаба не вернулся. Я решил двигаться по следам Гулеватого.

Ориентироваться становилось все труднее. Улицы были завалены, по компасу определить трудно — магнитная стрелка мечется, кругом металл. Обходя разрушения, баррикады, мы отклонялись в сторону. Приходилось вчитываться в уличные таблички. Большим подспорьем для нас были деревянные указки с эмблемой бригады. Теперь эти два круга с цифрой «2» в середине для нас были настоящей находкой.

Мы ползли за главными силами бригады. Голос Новикова преследовал меня: он требовал через каждые десять — пятнадцать минут: «Доложить обстановку!» На все вопросы радиостанции командарма я отвечал лаконично: «Продолжаю вести бой». Конечно, этот ничего не говорящий ответ не мог удовлетворить стар-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

ших начальников: ведь в Берлине мы не одни «продолжаем вести бой», а в данный момент внимание командира корпуса и командарма приковано к действиям нашей танковой бригады, потому что она оказалась острием ударной группировки 3-й танковой армии, выполняющей роль передового отряда, предназначенного для соединения с войсками Первого Белорусского фронта.

Не удовлетворившись моими ответами, генерал Новиков прислал офицера связи, который сказал, что комкор недоволен действиями бригады и требует форсировать наступление в сторону Шпрее. Рыбалко, тоже через специального гонца, категорически потребовал, чтобы к полудню мы замкнули кольцо окружения.

Нервозность начальников передается и нам, грешным. Я также не остался в долгу перед моими подчиненными: выразил свое неудовольствие начальнику штаба за состояние связи с батальонами; больше всех попало начальнику связи майору Засименко, так что этот здоровенный, краснощекий детина, чтобы избавиться от меня, втиснулся в командирский танк, ища там убежища. До моих ушей сквозь толщу брони доносился его бас. Этот человек, который постоянно ратовал за соблюдение радиодисциплины, теперь сам посылал в эфир такие словечки, которые не закодируешь никакими таблицами:

— Я до вас доберусь, сукины дети... Нашли время спать, бездельники... Я с вами расправлюсь...

Конечно, я тут же понял, что все это специально для меня разыгранная сцена, чтобы создать видимость «крутых мер», и не мог удержаться от смеха.

По другой радиостанции Шалунов распинал старшего адъютанта первого батальона. Начальник штаба бригады не употреблял резких выражений, но тем не менее, слушая его радиоразговор, я понял, что и этого хладнокровного, уравновешенного офицера покинуло его неизменное спокойствие.

Непрекращающиеся запросы сверху, потеря связи с батальонами — особенно с первым, решавшим главную задачу дня, — вынудили меня немедленно пересест в танк и собрать в единый кулак резерв, а его оказалось достаточно, чтобы двинуться вперед, не дожидаясь, пока Засименко установит радиосвязь.

Шалунов пытался что-то мне посоветовать, но я впервые за эти дни не сдержался:

— Хватит, товарищ Шалунов! Сверните штаб и все за мной, к Шпрее, к Рулебену. Там разберемся.

Наступление в данных условиях означало продвижение по несколько десятков метров в час. Но это все-таки было движение вперед, к цели, которая должна быть достигнута сегодня во что бы то ни стало.

Перевалили Рулебен, повернули направо, пересекли железнодорожную ветку, идущую из Штрезов к вокзалу Шарлоттенбург, и очутились на небольшой площади, куда выходили улицы Рейхштрассе, Шпандауэр-Дамм и Сифо-Шарлоттенштрассе.

Здесь мы встретились с нашим обшарпанным зенитным броневичком. Бригадный разведчик Борис Савельев взволнованным, но радостным голосом кричал:

— Получайте пленных!

Я оторопел. Какие пленные?! Зачем они нам нужны сейчас? Уж не захватили ли наши разведчики важных особ — в те дни всего можно было ожидать.

С волнением всматриваясь в людей, сидевших на бронетранспортере, я не заметил ни одного немца. С машины спрыгнули два незнакомых мне советских офицера. Высокий, подтянутый, небритый майор четко представился:

— Командир батальона тридцать пятой бригады Первого Павлоградского механизированного корпуса Первого Белорусского фронта майор Протасов. Представляюсь по случаю соединения с вверенной вам бригадой Первого Украинского фронта.

Майор сделал шаг в сторону, освобождая место другому офицеру.

— Капитан Туровец из этой же бригады Первого мехкорпуса, — скороговоркой выпалил он и, переведя дыхание, продолжал: — Соединились с вами в

двенадцать часов двадцать седьмого апреля в районе железнодорожной будки между станцией Сименштадт и заводским районом Рулебен.

— Ох ты, мать честная! — вырвалось у меня. — Так вот каких пленных захватили мои разведчики!

Никогда еще я не испытывал таких крепких объятий, не слышал таких радостных возгласов. «Пленные» переходили из рук в руки. На площади стоял неистовый шум.

Приказ выполнен! На западной окраине Берлина замкнулось внутреннее кольцо окружения. Соединились танкисты генерала Богданова Первого Белорусского фронта с нами, танкистами Рыбалко Первого Украинского фронта.

Как только комкор и командарм узнали, что бригада поставленную задачу выполнила, посыпались расспросы. Радиодонесения не могли дать исчерпывающий ответ. Генерал Новиков потребовал доставить одного из офицеров 35-й мехбригады к нему в штаб. «Белорусы» отказались — им пора было возвращаться к себе. Но комкора трудно было отговорить от его решения — лично увидеть представителя 1-го мехкорпуса.

— Хочу сам убедиться.

Пришлось уговаривать гостей. В свою очередь вместо «задержанного» капитана Туровца мы делегировали своего представителя в штаб 1-го мехкорпуса.

Сознание того, что сегодня соединились внутри Берлина два фронта и острием этого клина стала наша бригада, радовало нас.

Остаток дня и всю ночь мы вели бои по очищению района Вестенд, улицы Шпандауэр-Дамм. Бригада получила задачу повернуть на вокзал Шарлоттенбург, станции Савиньплац, Зоологический сад.

Ночью бои немного стихли, но с утра они возобновились с новой силой. Центр тяжести боевых действий переместился к западу от Тиргартена.

В западные районы Берлина хлынули большие группы гитлеровцев, теснимые с востока и севера армиями Первого Белорусского фронта, а с юга — войсками Первого Украинского.

Ареной боев стали станции метрополитена, подземные пути, многие неизвестные нам ходы. Зная свой город, немцы маневрировали, выходили к нам в тылы, наносили чувствительные удары.

Опять подвергся нападению леоновский тыл. Несколько часов ему пришлось вести неравный бой с большой группой противника, пытавшейся прорваться на запад к Хавельзее, — но он этот бой выиграл.

Фронт напоминал слоеный пирог. Все труднее становилось ориентироваться — где свои, где противник. Наша авиация все время висела в воздухе, но с трудом выискивала цели; нередко нам приходилось по всем радиоканалам просить летчиков не бомбить тот или другой район. Порою нам доставалось от нее... По мере сжатия кольца в Берлине становилось тесно от такой массы сил и средств. Тесно было и нашей авиации в небе.

Главной силой в этих сложных условиях были наша пехота, танки, артиллерия сопровождения, саперные части. Впервые за все дни боев мы установили локтевую связь с бригадой полковника Слюсаренко в конце улицы Курфюрстен-Дамм. Больше двух месяцев мы с ним не виделись. Обнялись, конечно, но еще не выпустив друг друга из объятий, мы не удержались, чтобы не обвинить друг друга — за отсутствие связи, за недостаточную поддержку и многие бывшие и не бывшие грехи...

Весь наш корпус стал на пути, которым немецкая группировка могла отходить на запад. Удержат ли наши бригады такой напор? Положение было опасное. Но в тот день нам улыбнулось счастье: рядом с нами стала 55-я стрелковая дивизия армии Лучинского, мы связались с генералом Адамом Петровичем Турчинским, командиром этой дивизии; вместе с ней наш танковый корпус образовал сильное ядро. К утру следующего дня, изменив границы фронтов, командование начало усиливать наше, западное направление.

Для обороняющихся настали критические дни. Теперь они окончательно поняли, что чуда не будет. «Сверхмощное новое оружие», о котором трубил Геббельс, так и не появилось. Тысячи гитлеровских офицеров и солдат ринулись в нашу сторону. На всех прилегающих к нашему району улицах не умолкали бои. Усилились пожары. Под землей не прекращалась пулеметная и автоматная стрельба.

Какая-то крупная немецкая часть, в составе которой оказались артиллерия и танки, прорвалась из района Тиргартена, вышла к Зоологическому саду, обошла станцию Савиньплац и хлынула на запад, в направлении вокзала Шарлоттенбург и станции Весткройц. К этой части стали присоединяться одиночки и группы, выскочившие из метро и канализационных труб, грязные, обросшие, звероподобные фашисты. С остервенением они набросились на наши передовые подразделения, пытаясь пробиться. Всю ночь здесь была мясорубка.

Как кстати были теперь стрелковые дивизии командарма Лучинского! Каждый из нас в эти часы готов был стать на колени перед царицей полей. Солдаты-пехотинцы были настоящими ангелами-хранителями для нас, танкистов.

Врагу прорваться не удалось. Но они еще не знали, что прорываться им, в сущности, уже и некуда, — поэтому упорство и ожесточенность их атак не ослабевали.

С группой автоматчиков, разведчиков и офицерами штаба я пробирался к своим батальонам, действующим на этом участке. Наш танк, продвигаясь по горячей улице, цеплялся за остовы машин, застревал в нагромождениях обломков. И вдруг мы чуть не ударились головами о сапоги повешенных прямо поперек улицы трех немецких солдат. Хотелось скорее проскочить это место, но один из автоматчиков обратил внимание на досочку, прибитую к виселице. На ней была надпись по-немецки. Я с трудом перевел на русский язык: «Повешены за трусость. Так будет с каждым, кто не хочет защищать отечество. 25 апреля 1945 года».

Привычные, казалось, ко всему, что можно встретить на войне, мы все-таки с чувством омерзения ехали по улицам Берлина, на которые опускались тяжелые сумерки, пропитанные дымом, гарью и кровью, по городу, где фашизм на все наложил печать насилия, предательства, гнуснейших преступлений.

Кончился еще один день в Берлине. Мы получили одно за другим противоречивые распоряжения: начальник штаба корпуса полковник Пузанков от имени командира корпуса приказывал приостановить наступление бригады в направлении Зоологического сада, а генерал Новиков по радио требовал ускорить наступление в этом направлении. К счастью, уже наступила ночь — мы решили использовать ее, чтобы подтянуть тылы, собрать разбросанные батальоны, расставить артиллерийские дивизионы.

В Берлине скопилось до десятка общевойсковых и танковых армий, то есть сотни полков всех родов войск, несколько тысяч танков, несколько десятков тысяч орудий и минометов. Части легко могли между собой перемешаться, не исключена была и возможность ударов по своим частям. Таким образом, обстановка не позволяла уменьшать усилия, а требовала наибольшей организованности и скорейшего окончания войны.

Пока Ставка Верховного командования занималась координацией фронтов, мы, исполнители, продолжали трудиться над последовательным разгромом вражеских военных групп в Берлине и вне его. Приказы сверху доходили до нас с опозданием, информация о действиях соседей была не всегда достоверной. Но это нас не останавливало. Командиры корпусов, дивизий, бригад сами ставили себе конкретные задачи. Мы с Захаром Слюсаренко делили улицы, по которым должны были идти подразделения его и моей бригад; находили стрелковые полки, взаимодействовали с ними, делились друг с другом боеприпасами, горючим, хлебом, консервами.

Всю ночь проблуждал офицер штаба корпуса, который должен был доставить мне приказ генерала Новикова, а распоряжение было срочное и важное: при-

казано было оттянуть бригады от станции Савиньи. Менялось направление действий, изменялись границы участков. Все это надо было сделать еще в первой половине ночи. А теперь что предпринять? Ночь на исходе. Выполнение приказа может быть сорвано...

Наказать офицера, изругать его, арестовать за невыполнение приказа? Но передо мною еле стоял на ногах человек, хлебнувший уже достаточно горя за прошедшие сутки. Всю ночь на броневичке, потом пешком он метался по улицам и переулкам. Попадал в другие части, даже влетел к немцам, чудом спасся и все-таки добрался до моего штаба. Выслушав его рассказ, я велел накормить офицера и дать ему отоспаться.

Чтобы обеспечить предстоящие действия бригады, я оставил штаб на месте, а сам тотчас же направился к батальонам. Добирался сначала на «виллисе», потом пересел на танк и завершил свое путешествие перебежками от одного укрытия к другому.

Расстояние в один километр, отделяющее штаб бригады от передовых подразделений, я преодолевал свыше двух часов. Теперь я еще больше сочувствовал тому офицеру связи: ему было труднее, чем мне, он был один, а со мною еще два десятка человек. Хорошо, что я не дал разыгаться в себе гневу и с посланцем командира корпуса поступил по-человечески, хотя, обвинив его, мог бы оправдаться перед командиром, выгородить себя. Ведь на войне иногда и так случалось...

Светало, когда возле трехэтажного белокаменного особняка я увидел танки, артиллерию, наших солдат. В огромной гостиной, куда привела меня лестница, вьющаяся винтом, к моему удовольствию, были Осадчий, Гулеватый, Старухин, командиры артдивизионов, саперы, разведчики бригады — все, кого, я думал, придется ждать, пока их созовут поодиночке. Некоторые сидели у стола, большинство стояло.

Увидев меня, сидящие вскочили с мест.

— Чем занимаетесь, товарищи?

— Ждем вас, — отозвался Старухин.

— Откуда узнали, что я к вам направился?

— Начальник штаба бригады передал, — вступил в разговор Гулеватый, — удалось установить связь.

Он вытащил из-за голенища измятую карту, на которой пунктиром был обозначен маршрут. Я сразу же приступил к делу, коротко изложил офицерам требования командира корпуса, поставил каждому из командиров боевую задачу, определил срок ее выполнения.

Подкрепившись чаем, я готов был уже проститься и направиться во второй батальон, как вдруг спохватился: почему в этой большой и людной комнате стоит такая тишина?

— Что случилось? — спросил я Гулеватого.

Он только показал рукой на дверь в соседнее помещение.

В небольшой продолговатой комнате на полу у стены лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост, замполит Андрей Маланушенко, накрытый плащ-палаткой. Смертельная бледность уже покрыла его лицо. Мы молча постояли, обнажив голову, у тела и спустились вниз.

Весь этот день я думал об Андрее Маланушенко и не мог себе представить, что его уже нет.

На войне люди гибнут ежечасно. Говорят, что с этой мыслью можно свыкнуться настолько, что постоянное общение со смертельной опасностью притупит чувства. Не знаю. Пройдя всю войну, я так и не смог привыкнуть к тому, что смерть вырывает из наших рядов то одного, то другого товарища.

Совсем незадолго до своей гибели Андрей был ранен в бою за Целлендорф. Раны были серьезные, но он наотрез отказался покинуть батальон. Разгоряченный спором замполит запальчиво кричал мне и Дмитриеву:

— Да разве ж это раны? Царапины! Пустяки! А убраться меня из батальона

не имеете права, я не провинился. Убейте, не оставлю свой батальон! С ним я до Берлина дошел...

Мы оставили его в покое.

Дело в том, что Маланушенко имел к немцам свой особый, «личный» счет. До войны он учительствовал в Смоленске. Потом был директором школы и продолжал преподавать. Он был историком, преподавал и русскую литературу. Однажды, когда заболел учитель рисования и детишки, обрадованные «пустым» часом, устроили возню, Маланушенко заглянул в класс, спросил, какое было у них задание, подошел к доске и начал быстро рисовать мелом. Школьники заинтересовались, сами взяли за карандаши, и урок прошел оживленно.

В той же школе, что и он, рядом с ним работала его жена — тоже педагог, математик. Жили они дружной семьей, было у них двое детей.

В первые дни войны Андрей Маланушенко ушел в армию. Закончил ускоренные курсы политработников — и на фронт. С ним я встретился уже в Польше. Высокий, красивый, он сразу обращал на себя внимание. Появление его рядом с маленьким комбатом Федоровым вызывало у всех улыбку. Но каждый из них был по-своему хорош: экспансивный и подвижный Федоров, статный, уравновешенный Маланушенко замечательно дополняли друг друга.

В боях мы хорошо познакомились с волевыми качествами этого смелого человека. Но даже на фронте он оставался учителем по призванию, талантливым, ненавязчивым педагогом. Его внимание к личности каждого человека в сочетании с разнообразными и серьезными его познаниями делали беседу с ним для всех желанной.

В конце сорок четвертого года, после окончания боев на Висленском плацдарме, мы были выведены на отдых и пополнение в Тарнобжегские леса, совсем недалеко от Вислы. У каждого батальона был свой район, свое хозяйство, своя собственная баня.

Однажды мы посетили батальон Федорова. Нас поразило обилие в лагере картин, особенно же со вкусом выполненная галерея портретов героев-танкистов. Двадцать танкистов этого батальона, отличившихся в последних боях, были запечатлены портретистом.

— Кто художник? — спросил Дмитриев.

— Его нет, он выбыл из батальона, — ответил нам замполит Маланушенко.

А через несколько дней Федоров — под честное слово, что мы никому не скажем, — выдал их «семейный» секрет: художником был сам замполит.

Как-то мы с ним встретились в бане, в парной. Мы оба оказались любителями часок-другой попариться. А после бани заглянули ко мне в домик, где провели целый вечер.

В тот вечер Андрей Маланушенко был необычно для него разговорчив. Оказалось, он получил из освобожденного Смоленска письмо от матери. Она писала, что немцы уничтожили тысячи жителей, превратили город в руины, сгорел и их дом. Его жену и детей угнали в Германию. Долго от них не было вестей, и лишь с какой-то случайной оказией жена Андрея дала знать матери, что живет в Берлине, работает уборщицей на киностудии, а малолетние дети отбывают трудовую повинность, голодают, мытарствуют, подвергаются оскорблениям.

— Ох, товарищ комбриг, — воскликнул Маланушенко, — неужели ко мне не вернется счастье? Неужели не удастся мне оказаться в Берлине, войти в эту проклятую киностудию и крикнуть: «Выходите, мои дети! Выходи, жена! Выходите все невольники!»

И вот бригада была нацелена на Берлин. Батальон Федорова шел головным. Всегда выдержанный, Маланушенко стал нервничать, торопить танкистов, не спал ночами, находя себе работу.

Преодолевая боль, он по-прежнему водил штурмовые группы в атаку, воодушевлял подчиненных. Кто-то из пленных сообщил ему, что какая-то большая киностудия находится совсем рядом — всего в двух километрах. Наверное, думал Маланушенко, это именно та киностудия, где он найдет свою семью!

Он мог найти смерть под Москвой, под Харьковом, на Днестре, в Польше, но умер накануне победы, может быть, совсем близко от семьи.

В штабе бригады распорядились вести поиски семьи Маланушенко. Но искать пришлось долго. В Европе умолкли последние выстрелы. Жизнь понемногу начала восстанавливаться. И вот когда эшелоны с освобожденными из фашистской неволи советскими людьми готовились к отправке в Белоруссию и в Смоленск, наши офицеры невдалеке от Берлина обнаружили эту семью.

Молча стояли жена и дети Маланушенко перед братской могилой, где покоился прах Андрея, его друга Немченко, комсомольца Лисунова и сотен других героев, верных сынов советского народа.

Конец фашистского вермахта

Приказа командира корпуса — выйти в район Весткройц — бригада так и не выполнила. Мой выезд в батальоны не изменил положения дел, к тому же во втором батальоне я застрял: убийственный огонь противника загнал нас в подвал на несколько часов, а средств связи под руками не оказалось.

И хотя Шалунов доложил, что «бригада приступила к передислокации», на самом деле двойная жирная красная линия, делившая на карте Берлин между двумя фронтами, на моем маленьком участке осталась только на бумаге. Роты и батальоны с утра возобновили боевые действия; правее нас вели ожесточенные бои «белорусы»; боевые порядки наших автоматчиков и танкистов смешались с пехотой Турчинского, и все мы продолжали драться на прежних местах.

Оказавшаяся между двух наших фронтов берлинская группировка гитлеровцев все больше расчленялась на части, но продолжала сопротивляться. Гонимые смертоносным огнем к западным окраинам, фашисты набрасывались на нас в поисках выхода. К этому времени Берлин был окружен уже несколькими плотными кольцами войск — и все-таки фашисты продолжали отстреливаться, а на отдельных участках даже переходили в контратаки. Берлинский гарнизон состоял из отборных, преданных гитлеризму войск: военно-учебные заведения, кадровые офицеры и унтер-офицеры учебных полков, аэродромных частей, всевозможные охранные отряды, части СС, СД, офицеры военного министерства, верховного командования, генштаба.

Только к ночи гитлеровцы выдохлись настолько, что нам без особого труда удалось оторваться от противника, чтобы разобраться в своих боевых порядках.

А путаница произошла великая: на моем участке оказались танки танковой армии генерала Богданова и пехота 55-й дивизии. Наши танки застряли на участках Белорусского фронта, и автоматчиков пришлось собирать в разных местах. В полном порядке оказались только артиллерийские бригады, приданные нам корпусные части усиления, которые Шалунов держал на привязи.

Эта ночь не прошла для нас даром. Офицеры штаба, политотдельцы, тыловики — словом, все, кто остался под руками, были направлены, разосланы, разогнаны в разные стороны в поисках наших подразделений, и к утру мы вышли в свой район, заняли исходные позиции в знакомых нам местах между станцией Рейхшпортфельд и улицей Рейхштрассе, примыкающей к наземной части берлинского метрополитена.

Мы использовали передышку, чтобы заправить танки горючим, пополнить боеприпасы, да и самим закусить.

Никто не ожидал, что теплый, солнечный день 30 апреля окажется самым для нас напряженным днем.

В нашем секторе шла обычная перестрелка автоматчиков, изредка стреляла артиллерия. Зато с центральных улиц Берлина, с Унтер ден Линден, Шарлоттенбургшоссе, из района Тиргартена и рейхстага доносились огромной силы взрывы. Не стихал там и гул артиллерии, в том числе орудий большой мощности. Со стороны Ванзее и Потсдама также доносилась несмолкаемая артиллерийская стрель-

ба. С южной и северной окраин города отчетливо слышны были выстрелы зенитных орудий и голоса танковых пушек. Относительно спокойным оставался район, занимаемый нашим корпусом.

Но затишье длилось недолго. В середине дня разведчики донесли о большом скоплении немцев в районе улиц Шпандауэр-Дамм, Вестенд. Серажимов радировал о прорыве крупной группы по улице Бисмаркштрассе. Мы пришли к выводу, что в ближайшие часы гитлеровцы начнут штурмовать наши войска, которые преградили им путь на запад.

Во второй половине дня отдельными отрядами, небольшими группами и целыми колоннами гитлеровцы начали выдвигаться на земле и под землей в направлении Вацлебен, Хеерштрассе, станции Рейхшпортфельд. Беспорядочная стрельба из всех видов оружия обрушилась на наши головы. Разноцветные ракеты исполосовали небо, слышались дикие крики, завывания, началась какая-то «психическая атака»: впереди бежали, не стреляя, эсэсовские офицеры, сзади с автоматами наперевес двигались штурмовики. Окаймляя эту колонну, ползли танки и самоходки.

(Через двадцать лет, роюсь в архивах, я нашел документальное подтверждение, что это были действительно отборные головорезы из личной гвардии Гитлера, эсэсовских отрядов и молодежной военизированной фашистской организации.)

В первые минуты мы были озадачены: то ли они наступают, то ли сдаться хотят? Совсем недолго длилось замешательство. Наш артиллерийский дивизион открыл сосредоточенный огонь по одной из этих колонн, не дожидаясь приказа обшейвойского командира. Через несколько минут по моему приказу заговорила вся наша артиллерия. Минометчики, расположенные на стадионе «Олимпия», доставали крутой траекторией мин засевавших за стенами домов. Вступили в бой танкисты и автоматчики. Я наблюдал с чердака трехэтажного дома. Улицы заполнились сотнями убитых и раненых. Наш огонь преградил колоннам фашистов путь к Хавельзее, но небольшими группами они продолжали пробираться туда по обочинам дорог, по краям улиц.

В этот же день ожесточенные атаки отбивали и танковая бригада Слюсаренко, и мотострелковая бригада Шаповалова, и весь наш 7-й танковый корпус и части 55-й стрелковой дивизии армии Лучинского.

Бой не стихал до самого позднего вечера, когда последняя попытка гитлеровцев прорваться была сорвана.

Стало темнеть, мы спустились с наблюдательного пункта на первый этаж, немного отдышались. Собрались мои заместители, офицеры штаба. Обменялись мнениями о прошедшем дне, посоветовались, что делать дальше. Я отдал распоряжения относительно подготовки к ночным действиям и к боям следующего дня. В ушах еще отдавался гул артиллерии, а перед глазами стояли мечущиеся толпы обезумевших врагов.

Шалунов усталым голосом докладывал:

— Немцы отходят к Бисмаркштрассе и в северную часть Шарлоттенбурга.

— Пусть отходят. Далеко не уйдут. Там их встретит генерал Богданов.

Подошел начмед Богуславский:

— Куда девать раненых?

Вопрос его удивил меня:

— Отправьте в медсанбат, в госпиталь. Разве вы не знаете куда?

— Вы меня не поняли, я говорю о немцах. Их там сотни лежат на улицах.

Я посмотрел на нашего начмеда. Посеревшее лицо, красные от бессонных ночей глаза. Человек может сделать очень много. Он может даже больше того, что в обычных условиях считается пределом человеческих возможностей. Этому мы видели множество примеров. И я, многое повидавший за время войны, привыкший многому не удивляться, все-таки всегда с каким-то удивлением смотрел на наших фронтовых медиков. Многие из них потеряли в этой войне родных и близких, ежедневно имели дело со своими ранеными, своими глазами видели зверства гитлеровцев на оккупированных территориях и в концлагерях. Казалось бы, в их душе дол-

жен был все заглушить голос, призывающий к мести. Но беспощадные к вооруженному врагу, наши воины были милосердны к раненым солдатам и офицерам противника не только в дни наших побед, но и в тяжкие времена отступления. Я чувствовал, что Леонид Константинович Богуславский уже распорядился насчет госпитализации раненых немцев, а его вопрос был лишь формальностью — просто для того, чтобы поставить комбрига в известность о сделанном.

Так оно и было. Еще 26 апреля, когда бригада только вступала на западную окраину Берлина, там оказался немецкий военный госпиталь. Триста тяжелораненых офицеров размещены были в большом здании школы. Все эти дни нам было не до них. Теперь Богуславский решил собрать раненых немцев с нашего участка и поместить в этом госпитале.

Через час после ухода Богуславского передо мною стояли испуганные немецкие врачи. Они не поняли его намерения, подумали, что мы расправимся с ранеными офицерами, и пришли уговаривать нас не делать этого. Переговоры от имени немецкого госпиталя вела женщина-врач.

— Умоляю вас, не расстреливайте офицеров. Раненые люди — не враги, — говорила она.

Отравленная фашистской пропагандой, она считала нас способными на такую же расправу, какую чинили гитлеровцы над нашими ранеными, когда те попадали к ним в плен.

Дмитриев ответил немке:

— Мы не убиваем пленных, и тем более раненых. Мы советские люди, коммунисты. Понимаете?

Немцы с недоверием смотрели на начальника политотдела. Потом поверили и долго благодарили нас. В ту же ночь заставили пленных немцев под руководством наших санитаров собрать их раненых. Богуславский побывал в госпитале и выяснил, что там нет света, воды, хлеба. Леонов передал немцам сто буханок хлеба, сахар, консервы.

Надвинулась беспокойная берлинская ночь — канун 1 мая; бои стихли, но надо было быть готовыми ко всяким случайностям. А штаб корпуса молчал.

Я решил позвонить комкору. Генерал Новиков долго не подходил к телефону, потом послышался его тихий голос. Я назвал себя, поздоровался и начал излагать свои обычные просьбы:

— Товарищ генерал, помогите мне пехотой. Дайте хотя бы батальон автоматчиков.

Не слыша ответа Василия Васильевича, я переспросил:

— Алло, вы слышите меня?

— Да, хорошо слышу. Пехотой помочь не могу — у меня ее нет. — Генерал опять умолк. И вдруг сказал: — У меня горе, полковник, большое горе: вчера погиб мой сын Юра. Убит в Берлине...

Я замер. Командир корпуса продолжал:

— ...Тело находится на моем командном пункте.

— Василий Васильевич, мне трудно собраться с мыслями, нет у меня слов, чтобы вас утешить. Обещаю отомстить за вашего сына, за всех.

— Спасибо...

Дмитриев и Шалунов тотчас же передали в батальоны весть о гибели капитана Юрия Новикова, заместителя командира самоходного полка.

О Василии Васильевиче Новикове говорили, что он — «истинно русская душа», и сам он, случалось, с улыбкой повторял: «Вы ведь знаете, что у меня истинно русская душа». И это не было рисовкой. Действительно, трудно себе представить человека, который всем своим жизненным поведением лучше выражал бы широту русской души.

Родился Василий Васильевич в центре России, в деревне Тверской губернии. Юношей, как только наступала зима, уходил в Питер на заработки. В первую мировую войну его забрали в солдаты. Три года провел он в окопах, и как

только на фронт докатилась весть о революции, рядовой Василий Новиков стал ее верным солдатом.

Василий Васильевич прославился беззаветным героизмом в Первой конной армии. Грудь конармейца украсили два боевых ордена Красного Знамени. Вскоре лихой кавалерист стал красным командиром.

Отгремела гражданская война. Василий Васильевич остался в Красной Армии. На смену коннице пришел танк, и краском Новиков стал одним из организаторов бронетанковых войск, одним из первых командиров танковых бригад. Он женился, у него было два сына — Дима и Юра.

Война против гитлеризма застала Новикова на юге, на самой границе. Командуя большим соединением, он в составе советских войск совершил марш в Иран, преграждая путь немцам на Ближний Восток, куда они всячески старались проникнуть в осенние дни сорок первого года.

Но этот человек не мог «отсиживаться» в тихих гарнизонах Ирана. Он непрерывно слал рапорты о переводе в действующую армию. В ответ получал отказы, внушения и даже взыскания. Наконец упрямый Новиков одолел начальство. Он сумел убедить и жену, что сыновья их должны идти с ним на фронт.

Штурмовать Берлин довелось всем троим: Василий Васильевич был командиром корпуса, Юрий — заместителем командира танко-самоходного полка, Дмитрий — командиром танкового батальона.

Герой гражданской войны, Новиков-старший стал Героем Советского Союза; на груди обоих капитанов-танкистов Новиковых были ордена Красного Знамени, Отечественной войны и медали «За отвагу». Как-то за Шпрее встретились все трое. А к вечеру того же дня возле Тельтов-канала был тяжело ранен младший Новиков — Дмитрий. Выслушал это известие Василий Васильевич, спокойно распорядился эвакуировать сына в тыловой госпиталь, а сам в ту же ночь выехал на свой командный пункт, притаившийся на берегу Тельтов-канала. Через несколько дней он узнал, что жизнь Дмитрия вне опасности. Но вот теперь, накануне долгожданной победы, погиб Юрий.

Старый солдат, участник трех войн, был потрясен. Никогда не плакавший, закаленный, мужественный воин не мог удержать слез, сидя у изголовья мертвого сына.

Утром 1 мая бригада получила приказ наступать в северо-западном направлении, очистить районы Пихельсберг, Нойе Вельт, Штрезов.

После кровавого побоища 30 апреля немцы притихли. Их артиллерия замолкла, танки не показывались, исчезли «фаустники». Гитлеровские солдаты упрятались в подземелье, туннели, подвалы и ждали там своей судьбы. Мы продолжали, извлекая их из укрытий, продвигаться вперед, очищая улицу за улицей, квартал за кварталом. Однако посланная с утра рота автоматчиков во главе с молодым капитаном Хадзараковым напоролась на немецкую засаду на северной окраине улицы Рейхштрассе и понесла большие потери. Погиб и сам Хадзараков — молодой черноглазый осетин. Не вернулся также с задания разведчик Саша Тында — последний из трех харьковских комсомольцев-добровольцев; ненадолго он пережил своих друзей — Васю Зайцева и Виктора Лисунова...

С утра поползли слухи о самоубийстве Гитлера, о капитуляции фашистских войск в Берлине. Но толком еще никто ничего не знал. Однако стало очевидным — развязки можно ожидать в ближайшие часы.

К середине дня стал стихать огонь и с нашей стороны. Но по радио, по телефону и всем другим средствам связи был нам передан приказ: усилить штурм Берлина. В 18 часов 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь. Поддерживающие мою бригаду дивизион «катюш», шесть дивизионов артиллерийской дивизии прорыва включились в многотысячный артиллерийский ансамбль. Однако этот мощный удар всей артиллерии носил символический характер: он предупреждал немцев о необходимости немедленно и безоговорочно капитулировать.

Весь вечер и всю ночь мы продвигались по улицам и кварталам севернее

станции Пихельсберг. Напуганные, голодные, никем не управляемые немцы стали перед рассветом выползать поодиночке, группами, толпами из своих нор, бросать оружие и сдаваться. Берлинский гарнизон капитулировал.

Все утро и весь день шли толпы шатающихся от изнеможения, обросших бородами немецких солдат на сборные пункты для военнопленных. В этот день я со многими из них разговаривал. В их безжизненных глазах можно было прочесть полную апатию ко всему. Казалось, все они в это время думали одно: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Всем им хотелось одного — попить, съесть кусок хлеба, уйти от нечеловеческих страданий, уйти из этого горящего и смердящего города, уснуть... Они даже не спрашивали, как раньше: «Что с нами будет?» Они были ко всему безразличны.

С полной победой в Берлине связывалось у всех нас и окончание войны, а вместе с ней — уничтожение фашизма.

Но трудно оказалось расстаться с фронтовыми привычками, приобретенными за годы войны. Я видел, как танки по-прежнему прижимались к толстым стенам домов, автоматчики по привычке перебежками преодолевали улицы и ныряли в подвалы, шоферы загоняли машины на теневую сторону, хотя никто уже не стрелял, никто не бомбил, никто ничем не угрожал. Просто чувства не могли сразу перейти в новое состояние, хотя мы ждали долгих четыре года, почти полторы тысячи дней, этого часа.

По-разному переживают люди потрясающие события. Но почти всегда эти события накрепко остаются в памяти до мельчайших подробностей, хотя в минуты переживаний нам кажется, что мы ничего не видим вокруг.

Мы стояли в просторной гостиной чудом уцелевшего особняка. Со мною были те, кто через кровь и страдания пришел сюда длинными дорогами войны. Мы стояли ошалевшие от счастья, хмельные от радости и не находили слов. Да и не нужны были слова. Каждый выражал свои чувства по-своему: бывший секретарь райкома партии Дмитриев, ставший начальником политотдела бригады, не стесняясь, плакал; начальник штаба Шалунов, сильной воли человек, по-детски растирал кулаком слезы и что-то невнятно бормотал; неуклюжий, обросший бурой щетиной Андрей Серажимов кричал во весь голос: «Ух, какого зверюгу мы заваляли!» — и сыпал по адресу этого зверя отборные непечатные слова... Кто-то повторял лишь одно слово: «Ребята... Ребята-а!..» И все это покрывалось несмолкаемым «ура!».

Первым пришел в себя начальник штаба.

— Что будем делать?

Его вопрос поставил в тупик и меня. Впервые за все годы войны я не знал, что делать. Сказал первое, что пришло на ум:

— Василий Матвеевич, отдайте команду: стоять на месте, собраться в свои батальоны. Остальные подразделения подтяните к штабу.

Прошло еще несколько часов. Никаких распоряжений не поступало.

Александр Павлович Дмитриев острил:

— Теперь мы никому не нужны. А это даже совсем неплохо: ни донесений от тебя не требуют, ни обстановки не запрашивают и даже не ругают, почему топчемся на месте. Райская жизнь!

«Райская жизнь» длилась недолго. Вскоре из штаба корпуса посыпались приказания. Потребовали и донесений, и самых разнообразных сведений, подсчета людей, танков, артиллерии в наличии. Поступил также приказ быть готовыми для дальнейших действий.

Шалунов забеспокоился:

— Где же еще будем воевать?..

Постоянно действующий штабной механизм снова заработал четко и ритмично.

К вечеру в бригаду приехал начальник политотдела корпуса Андрей Владимирович Новинов. Мы побывали в одном из ближайших батальонов, поздравили бойцов с победой и вернулись на КП.

Адъютант и повара сервировали столы. Выложили все, что было запасено и припрятано для этого дня. В особняке раздобыли белоснежные скатерти, хрустальные фужеры. За стол на почетное место сели ветераны бригад, а вокруг все те, кто оказался в это время с нами.

Дмитриев включил радиоприемник. Знакомый торжественный голос московского диктора заполнил весь дом. Передавали приказ Верховного главнокомандующего. При упоминании отличившихся в штурме Берлина танкистов армии генерала Рыбалко мы вскочили с мест и громким «ура!» заглушили Левитана. Ползли стрелки на часах. Вот-вот Москва от имени Родины будет салютовать в честь одержанной победы, в честь успешного завершения штурма столицы фашистской Германии.

Оставалась минута до салюта — и вдруг дом вздрогнул, тонко зазвенели на столе фужеры. Мы ринулись на улицу: не случилось ли что-нибудь? И тут нашим взорам представилась незабываемая картина. Вздернутые к небу стволы танковых пушек, артиллерия всех калибров, зенитные крупнокалиберные пулеметы, автоматы, ракетницы посылали в берлинское небо трассирующие снаряды, снопы пуль, разноцветные ракеты.

Москва в эту минуту салютовала нам. Мы в Берлине салютовали в честь Москвы, в честь нашей партии, нашей Родины, нашего народа...

Впервые за многие годы я спал безмятежным сном. Спал долго, на настоящей кровати, раздетый. Блаженство!

Разбудил меня Дмитриев.

— Подъем, подъем! — кричал он во весь голос.

По привычке, выработанной годами, я вскочил. По-солдатски проворно стал одеваться, недоуменно озираясь вокруг:

— Что случилось?

Дмитриев хохотал, глядя на меня.

— Ничего не произошло. Мы же вчера договорились осмотреть город.

И я вспомнил все. Посмеялся над своей паникой. Посмотрел на часы — проспал подряд двенадцать часов!

В соседней комнате уже собрались командиры батальонов, офицеры штаба. Мой адъютант Петр Кожемяков шумно распоряжался на улице: распределял машины, давал «ценные указания» шоферам.

Вскоре мы двигались по улицам Берлина, разглядывая каждый дом. еще совсем недавно бывший объектом атаки, объезжая те улицы, по которым невозможно было проехать.

Знакомые мне по довоенным фотографиям улицы Унтер ден Линден, Фридрихштрассе, некогда блиставшие чопорной чистотой, напоминали непроходимую свалку, и на ней копошились женщины и дети в поисках чего-нибудь съедобного. Голод...

Мальчишки остаются мальчишками везде. Они первые покинули убежища и сперва робко, а потом все смелее стали подходить к нашим солдатским кухням, пугливо глядя на поваров. Маленькие берлинцы не только сами кормились у наших солдатских кухонь, но и уносили домой банки, миски, котелки борща и каши.

Объездив много улиц, мы подъехали к рейхстагу. Тысячи наших воинов осматривали, ощупывали его изрешеченную колоннаду, изуродованные стены, вырванные двери. Чего только не написано было на стенах, на полу, на колоннах, на каждом камне этого здания! Каждый, кто мог, считал для себя обязательным прийти сюда и поставить свою подпись, как бы скрепляя тем самым нашу победу. И я тоже вытащил нож и, выбрав свободное еще место на одной из колонн, выбил слова: «Драгунский. Я из Брянщины. 3 мая 1945 г.». Вокруг меня кипела работа — мои друзья делали то же самое.

Одна фамилия, выдолбленная на серой каменной стене, привлекла внимание. «Москалев Петр. 2 мая 45 г.». Неужели это Петр Москалев, тот самый комсомолец из Батурина? Вот бы встретиться!

...Было это в июле 1941 года на Смоленщине. Я командовал курсантским танковым батальоном. Мы с тяжелыми боями катились назад. Фронт проходил севернее Ярцева, неподалеку от города Белый. Мой танковый батальон нанес фашистам первый чувствительный удар у поселка Батурино.

Горели неубранные хлеба, полыхали деревянные дома поселка, черный дым окутывал подбитые нами вражеские танки. Мутило от едкого запаха раскаленного металла, горящей краски и мертвых человеческих тел.

Именно там, у поселка Батурино, все, кто уцелел тогда в бою, обрели веру в нашу грядущую победу. Именно тогда мы увидели впервые своими глазами, что враг смертен. А это много значит для молодых солдат, не обстрелянных, не прошедших боевого крещения!

Бои были тогда тяжкие. В одном из них был убит комиссар батальона, в прошлом железнодорожник Андрей Ткачев. На братской могиле комиссара и других наших танкистов, павших в бою, стихийно возник митинг. Трибуной служил танк. Бойцы клялись мстить. Оружейники выгравировали на снарядных гильзах: «Мы победим» — и положили в изголовье погибших, прямо в гробы, сколоченные из досок от снарядных ящиков.

Будто сейчас стоит перед моими глазами лейтенант Петр Москалев, родом из того самого поселка Батурино, буквально на окраине которого мы вели бой и хоронили своих товарищей. Страшен был вид лейтенанта: в клочья изорван обгоревший комбинезон, на обожженном лице запеклась кровь. Петр не говорил, а кричал:

— Сегодня мы хороним наших друзей. На моей родной Смоленщине, на моей колхозной земле! Дорого враг заплатит за их жизнь! Но еще возрастет эта цена! Придет день, когда фашистские танки запылают в Берлине. Слышите? В самом Берлине! Мы будем там!

По лесу, где мы укрылись, пронеслось многоголосое:

— Будем там!

Шла война. Были у нас успехи, но больше неудач. Москалева тяжело ранило. Лесами и болотами мы отходили тогда, в октябре 1941 года. Нелегко было тащить его с собой; его спасли, но больше я его не видел. Читал как-то в газете о танкисте Москалеве в войсках Белорусского фронта. Но он ли это был? Хотелось верить, что надпись на стене рейхстага сделал именно тот Петр Москалев, которого я знал под Багурином.

Да здравствует свободная Прага!

В штабе бригады с нетерпением ждали моего возвращения. В мое отсутствие получен был приказ — к ночи вывести бригаду из Берлина, сосредоточиться южнее Эйхкампа, у озера Тейфельсзее.

«К чему бы это?» — ломал я себе голову.

Генералу Новикову я не звонил несколько дней. Мне казалось, что в суматохе торжеств, связанных с победой, он, подавленный гибелью сына, чувствует себя словно бы неуместным в среде веселящихся людей. А тут еще по чьему-то недосмотру в приказе Верховного главнокомандующего о взятии Берлина не была названа его фамилия. Я чувствовал себя как будто виноватым перед ним, хотя и не был виноват, если не считать того, что печаль о потерянных нами людях отступала в моих чувствах перед радостью победы.

Но получив приказ о подготовке к маршу, я отважился побеспокоить генерала Новикова телефонным звонком.

К моему удивлению, голос Василия Васильевича звучал в трубке спокойно, уверенно и даже как будто весело:

— О ваших заботах знаю. В подобном же положении Слюсаренко и Чугунков. Но учтите, что и враг уже не тот. Вам предстоит его добивать, а для этого у вас сил достаточно. Кое-чем, правда, поможем.

— Все-таки позвольте узнать, к чему быть готовым?

— Завтра из нового района будем выступать.

— Куда?

— Приказа еще не имею. Но готовьтесь к большому маршу. На многие сотни километров.

У меня сорвалось с языка:

— На Рейн пойдем?

— А что там делать? Союзники наши давно обжили этот край. И вообще не вынуждайте меня говорить об этом по телефону. Завтра получите приказ.

Но уже через час секрет, хранимый в глубокой тайне штабом корпуса, стал известен топографам и писарям: они получили карты районов Виттенберга, Дрездена, Судетских гор, Праги. А когда вскоре к нам прибыла целая колонна бензоцистерн для заправки танков и автомашин, словоохотливый интендант грозно предупредил:

— Смотрите, хлопцы, больше горючего у меня не получите до самой Праги...

Ночь была такая, что хоть глаза коли. Затемненный город стоял на пути непроходимой цепью скал. Колонна ощупью ползла по западной окраине, втягиваясь в улицу Хеерштрассе. Эта улица, восемь дней назад гремевшая выстрелами, была для нас воротами в Берлин. Теперь она безмолвно провожала нас, когда мы уходили из города.

Миновали последние дома, повернули на юг.

В леса, расположенные южнее Берлина, мы вышли только к утру, и сразу вся бригада, словно по команде, завалилась на отдых. Солдаты спали в танках, на разостланных брезентах, в кабинах и кузовах автомашин — повсюду, где их настиг и свалил сон. Спали сидя, лежа, кто как мог. Люди отказались от еды, от воды: сон сильнее всех соблазнов. Спать, выспаться, отоспаться за все эти двадцать ночей — вот было единственное желание.

Уже перевалило за полдень, а наш лагерь по-прежнему был мертв, только небольшая группа офицеров стояла у штабного автобуса, ожидая распоряжений.

Мы с начальником штаба засели за разработку приказа, полученного из корпуса, — отмечали на карте пункты, прокладывали маршруты, прикидывали планы дальнейших действий. Обстановка прояснилась: наш корпус входит в состав сильной танковой группировки, которую создал командующий фронтом Иван Степанович Конев. Две танковые армии — Рыбалко и Лелюшенко, несколько отдельных танковых и механизированных корпусов — вся эта ударная армада была нацелена маршалом Коневым на юг для разгрома миллионной армии группы «Центр» гитлеровского фельдмаршала Шернера. Это была последняя сильная карта вермахта.

В конечном счете судьба этой группы была предreshена. Но еще много беды мог натворить этот миллион фашистских солдат в Чехословакии. Вот почему Конев и Рыбалко требовали — в частности, от нашего корпуса — стремительных действий. Задача: ударить во фланг этой группировки, смять ее, уничтожить или заставить капитулировать до того, как она успеет расправиться с Прагой. Сведения о таком мстительном намерении фашистов были, к сожалению, достоверными.

Генерал Новиков приказал мне выступать немедленно. Пронзительные звуки горна распорили тишину леса. Несколько часов сна ободрили людей — подготовка к маршу шла споро. Командиры и политработники доводили до каждого солдата боевую задачу, рассказывая попутно о Чехословакии, о ее свободолюбивом народе. И едва опустилась на землю ночь, мы оставили лес и взяли курс на юг.

Предстояло сейчас совершить бросок на сто пятьдесят километров. Я переночевал из «виллиса» в черный комфортабельный «мерседес-бенц». Ко мне пересели также Дмитриев и Осадчий.

К утру наша бригада втянулась в леса севернее Эльбы. Только позднее мы узнали, что идем рядом с линией фронта: Дрезден и его пригороды противник еще удерживал, южнее Ризы, по рубежу Неида — Нишотц — Нигерода, оборонялись 344-я пехотная, 20-я танковая дивизии, запасные и охранные части немцев.

Обстановка сложилась парадоксальная: война заканчивалась, столица Германии была взята, правительства, как такового, не осталось, а боевые действия не прекращались.

Вечером перед выходом нашей бригады на исходное положение в район Мергендорф к нам прибыли сразу два Новиковых: Василий Васильевич и Андрей Владимирович.

У Василия Васильевича был бодрый, подтянутый вид. Мы зашли в штабной автобус, я доложил о состоянии бригады, о наших возможностях и, конечно, не утерпел — стал жаловаться на нехватку пехоты, на большие потери в танках, на изношенность машин.

— Боюсь, не осилят наши танки Судетские горы. Многие дымят, нуждаются в замене двигателей — все сроки эксплуатации вышли!

Новиков посмотрел на меня удивленно:

— Не узнаю тебя: ты говоришь языком помпотеха. Если даже половина твоих танков не дойдет до Праги, и то не беда. Пойми, друг мой, война-то кончается. Хватит паниковать! Пехотой я тебе помогу. Уже распорядился. К тебе придет батальон мотопехоты из бригады Шаповалова. И хватит с тебя.

Мне оставалось поблагодарить комкора. Пригласил его поужинать, но он отказался — спешил в бригаду Слюсаренко, которая должна была действовать в первом эшелоне в полосе армии Гордова.

У своей машины Василий Васильевич на минуту остановился, вытащил из бокового кармана бумагу.

— Справедливость все-таки восстановлена. Вот, читайте телеграмму Сталина.

Я взял листок, пробежал глазами текст, потом перечитал еще раз, стараясь запомнить телеграмму слово в слово.

Генерал обратился к начальнику политотдела:

— Андрей Владимирович, ты все равно останешься в бригаде, заодно расскажи им, что произошло. Хорошо бы довести содержание телеграммы до сведения всего личного состава.

Василий Васильевич уселся на переднем сиденье. Уже на ходу крикнул:

— До встречи в Праге!

За ужином Андрей Владимирович рассказал, что имел в виду комкор, заговорив о телеграмме.

Василий Васильевич Новиков был в большой обиде на операторов Первого Украинского фронта оттого, что летом 1944 года, при освобождении Перемышля, корпус генерала Новикова (он тогда командовал 6-м корпусом) не был отмечен в приказе Верховного главнокомандующего в числе войск, отличившихся при взятии города, хотя и сыграл немаловажную роль. Но генерал тогда промолчал. Вторично его корпус не назвали в приказе об отличившихся при захвате одного важного пункта уже в самой Германии. Тогда Новиков кому-то звонил, пытался выяснить причину этой повторяющейся несправедливости. Старый солдат, он знал воодушевляющую силу поощрения, тем более в приказе Верховного главнокомандующего. Не ради собственной славы он «обивал пороги» вышестоящих штабов и пытался добиться правды, а ради своего корпуса, ради солдат и офицеров, честно заслуживших награду. Ему обещали разобраться. Но непрерывные бои мешали работникам вникнуть до конца в суть, и дело не сдвинулось с мертвой точки. Он терпеливо ждал.

Однако когда 2 мая 7-й гвардейский Киевский танковый корпус, принимавший активное участие в штурме Берлина, не был упомянут в приказе, терпение комкора лопнуло. Этой оплошности он не мог простить никому. Ведь целый кор-

пус самоотверженно сражавшихся, не щадивших себя и громивших врага советских воинов был обойден вниманием!

Генерал всю ночь не спал. Думал. Все, что накопилось за эти дни, вылилось в телеграмме, которую он послал наутро Сталину:

«...Справедливость требует отметить действия корпуса, которым я командовал в Берлине, почтить память тех, кто погиб в этом городе, отдать должное живым. Я пишу вам как генерал и как отец убитого сына, тело которого находится на моем командном пункте...»

Василий Васильевич Новиков получил ответ, который стал достоянием личного состава всех фронтов и флотов. Особым приказом Верховного главнокомандующего нашему 7-му гвардейскому Киевскому танковому корпусу было присвоено почетное наименование «Берлинский».

— А все-таки кто же в конце концов виноват в этой истории?

Начальник политотдела корпуса расхохотался:

— Мы, Новиковы, виноваты: уж больно много нас собралось на одном фронте. И к тому же, как нарочно, все — танкисты. Мы и ввели в заблуждение операторов, составлявших донесение в Ставку.

И это было действительно так. Командующим бронетанковыми войсками фронта был Новиков Николай Александрович, корпусом командовал Новиков Василий Васильевич, было и еще несколько Новиковых — командиров-танкистов. А офицер, который в оперативном отделе ведал представлением сведений в Ставку, решив, что вкралась ошибка в донесение, на всякий случай сократил список на одного Новикова и не включил его в проект приказа...

Утром мы не обнаружили наших соседей: бригады Слюсаренко и Чугункова за ночь переправились на западный берег Эльбы и заняли исходные позиции для наступления, после того как армия Гордова прорубит ворота в обороне противника.

Наша бригада оставалась на месте, в резерве командира корпуса. Нам предстояло после овладения дрезденскими позициями выступить на Судетские горы с задачей перевалить их и, составляя передовой отряд корпуса, устремиться на Теплице-Шанов, обойти с запада Терезин, выйти в Кралупы и с ходу ворваться в Прагу.

Решение командарма и приказ командира корпуса были рассчитаны на стремительные непрерывные действия, на сильные удары танковых войск во фланг группы «Центр».

Утром мне доложили, что к переправе в самой Ризе трудно пройти: на подступах к городу смешались танки и кухни, пушки и цистерны, машины с боеприпасами и санитарные повозки — нас со всех сторон обступили обозы и тыловые подразделения двух армий. В такой неразберихе трудно было управлять боевыми подразделениями и частями. А время подпирало — штаб нашего корпуса еще накануне снялся с места, ушел догонять главные силы и теперь связь с ним и со штабом армии была прервана.

В эфире творилось что-то невероятное: переговорами заняты были все волны, снизилась и радиодисциплина — опасность налетов вражеской авиации стала невелика, распоряжения шли открытым текстом. Эфир был наполнен разноязычным гоном, русская речь мешалась с английской, и до хрипоты надрывались немцы.

Вдруг сквозь ералаш звуков пробился тревожный голос на чешском языке, сообщивший о начавшемся в Праге восстании чехов. Повстанцы захватили радиостанцию и обратились к советским войскам с призывом о помощи. Через каждые пять минут в эфире набатом звучали слова: «Пбзор!», «Пбзор!» («Внимание!») Эти слова будто током ударяли в сердце — нельзя было допустить повторения в Праге варшавской трагедии, тем более что здесь и помочь было можно: не было такой преграды, как Висла, да и немецкая армия уже не могла идти в сравнение с той, что стояла в августе—декабре 1944 года в районе Варшавы.

Но и на нашем пути в Чехословакию был тоже довольно плотный заслон из фашистских танковых и пехотных дивизий и отдельных частей. Наши попытки с ходу смять эти войска не имели успеха. В 14 часов заговорила «коневским языком» артиллерия нашего фронта. Она обрушилась на очаги сопротивления, опорные пункты в районе Дрездена, Радебейля, Вильсдруффа, перемалывая живую силу и технику врага. Боеприпасов не жалели: дадим больше огня — затратим меньше крови!

К вечеру были брошены в бой корпуса и дивизии Гордова и Пухова, танковые соединения Рыбалко и Лелюшенко. Всю ночь и весь день 7 мая шли бои в районе Дрездена, в пределах Судет. Удар войск Первого Украинского фронта слился с наступлением войск Четвертого Украинского. Генерал Еременко, спустившись с карпатских круч, спешно двигал свои дивизии на запад.

Из Австрии, с юга, вышли 7 мая танковая армия генерала Кравченко и 7-я гвардейская армия генерала Шумилова.

Группу «Центр» фельдмаршала Шернера — последний бастион фашистской Германии — концентрические удары трех наших фронтов раскалывали на куски. Предстояло сделать еще один бросок, чтобы очутиться в центре Чехословакии и одновременно, подобно тому как это было сделано в Берлине, плотно закрыть врагу выход на запад.

Надвинулась ночь, а мы все еще теснились в лесу. Потерянная еще днем радиосвязь со штабом корпуса так и не была восстановлена. Меня неотступно тревожила мысль: вдруг еще сегодня или завтра с утра бригада потребуется для боя, а мы торчим здесь! Оправдываться потом, что нам приказано было стоять на месте и ждать сигнала? Выискивать какую-нибудь яричину? Конечно, легче всего свалить все на штаб корпуса, но это не в нашем характере. Решил: через час выступать. Разведку — вперед, саперов — к переправе.

Всю ночь ползла колонна. Дождь лил как из ведра. Вода пробилась в танки, проникла в кабины машин. Не спасла броня, не помогли брезенты и плащ-палатки. Нитки сухой не было на нас. Машины юзом сползали в кюветы, походные кухни опрокидывались. Танки превратились в буксиры, волокли все, что не могло самостоятельно двигаться по этой адской грязи.

Тянулись долгие часы. Что делать? Ведь все горючее так сождем и к утру к своим не выйдем... А вдруг Новиков еще и спросит, почему мы появились здесь?

К утру, совершив пятидесятикилометровый марш, растолкав на своем пути обозы, отцепившись от тылов, мы вплотную подошли к главным силам нашего корпуса. Наши люди в эту ночь победили еще одного сильного врага — стихию: будто капитулировав, дождь утром перестал, взошло солнце. Танкисты вновь обрели бодрость. А за тяжкий ночной труд и за проявленную своевременно инициативу нам досталась еще и похвала от генерала.

В то же утро наша бригада была введена в бой и вместе со всем корпусом содействовала войскам генерала Жадова и наших братьев по оружию поляков в овладении Дрезденом и разгроме сильной немецкой группировки.

Несколько часов потребовалось, чтобы собрать бригаду. Тем временем подоспела и пехота: генерал Новиков сдержал свое слово — прислал мотострелковый батальон Героя Советского Союза Давиденко.

Теперь нам предстояло взобраться на вершины Рудных гор, разгромить немецкие части прикрытия и отдельные узлы сопротивления и устремиться в Прагу. Оттуда все еще зывали о помощи.

56-я танковая бригада, задержавшаяся на расчистке лесных завалов, догнала нас. Ко мне подошел Слюсаренко:

— Выручай, брат!

— А что случилось?

— Танки мои стоят. Нет дизельного топлива. Дай хоть три-четыре цистерны, чтобы дотянуть до Праги.

Через несколько минут получил от тыловиков неутешительные сведения: в наличии всего пять цистерн, этого едва хватит нам самим — до Праги оставалось около ста пятидесяти километров.

Слюсаренко, узнав об этом, вспылил:

— Это уже не по-братски...

— Не могу, Захар, отдать последнее горючее. Получится так, что ни ты, ни я не выполним задачу.

— Интересы дела требуют, чтобы ты дал мне хотя бы две цистерны...

В наш разговор включился Дмитриев, но и его доводы, что в этом случае мы только растеряем все танки на дорогах Чехословакии, не подействовали — Слюсаренко продолжал упрашивать.

В конце концов голос дружбы победил. Я написал начальнику ГСМ Милину записку — отпустить горючее. Захар Карпович ушел довольный. И все же в Прагу бригада Слюсаренко вошла спустя много времени после окончательной победы из-за... нехватки горючего. Моя записка не была реализована, офицеры, посланные Слюсаренко на поиски наших цистерн, вернулись ни с чем: колонна бензовозов проблуждала где-то всю ночь и догнала нас уже у самой Праги. Это чуть не сорвало и нам выполнение боевой задачи.

Путь на Прагу был труден. На узких извилистых горных дорогах немцы нагромодили сотни завалов из вековых сосен, перевили их колючей проволокой, нашпиговали минами, а обходов в предгорьях Судет не нашлось. Свернув с дороги, можно было свалиться в пропасть или очутиться на непроходимых горных кручах, заросших лесами. Приходилось расчищать завалы, обезвреживать минные поля, сбивать огнем вражеские отряды, прикрывающие эти заграждения.

Тяжело поднимались танки на кручи Рудных гор. Перегретые машины задыхались и делали частые остановки. Танкам приходилось тянуть на буксире артиллерию, за броневиками на буксире тащились мотоциклы, по обочинам дорог поднимались на вершины гор усталые автоматчики. А генерал Новиков, наладив с бригадой радиосвязь, требовал, чтобы она ускорила свое продвижение, и Рыбалко не отставал от комкора, его радиogramмы тоже догоняли нас, подхлестывая: «Топчетесь! Быстрее вперед! Вперед!!» Сильнее же всего — можно сказать, до боли сильно — подхлестывала нас пражская радиостанция, взывающая о помощи.

И все же последние километры горного хребта мы преодолевали медленно: не выдерживали тормоза, вода в радиаторах кипела, машины пятились по круче назад. Мы толкали плечами машины, тащили на руках пушки и минометы. Механики-водители танков, используя все свое мастерство и богатый фронтовой опыт, делали почти невозможное.

Наконец подъем на главный хребет Рудных гор был закончен. Перед нами открылись долины, лесистые пригорки, белые домики с красными черепичными крышами.

Вдоль колонны сквозь рев моторов, скрип и лязг гусениц понеслась команда:

— Командира бригады — в голову колонны!

Добираясь до батальона Гулеватого, я думал: «Зачем это меня? Только что уточнил задачу авангардному подразделению, проинструктировал его, разведку выслал...»

На дороге стояли легковые машины, на обочине — бронетранспортер с автоматчиками. Подъехав вплотную, я увидел Рыбалко в окружении генералов и офицеров штаба армии. Соскочил с машины, подтянулся и приготовился доложить о трудном ночном броске, о готовности бригады к дальнейшему маршу. Но Рыбалко не дал мне и слова сказать.

— Почему стоите на месте? — строго спросил он. — Калинин и Попов уже на подходе к Праге.

— Через несколько минут выступаю.

Павел Семенович уже более мягко добавил:

— Ну и хорошо. Требую от вас: сегодня ночью вступить в Прагу. В бои в пути не ввязывайтесь, противник уже обречен. Мы должны спасти от разрушения столицу.

Командарм расспросил о состоянии бригады, о запасах продовольствия, наличии горючего.

— Дотянем, товарищ генерал.

— Не то слово! Мы идем к нашим друзьям. Они должны увидеть нас, гвардейцев, подтянутыми, во всей красе и силе.

Вокруг толпились офицеры, солдаты. Командарма всегда окружали люди, как только он появлялся. Глаза его загорелись, когда он поглядел на них, и он сказал уже не мне, а всем:

— За Берлин мы вас крепко благодарим. Молодцы, не подкачали. Многие будут по достоинству отмечены.

Я осмелел:

— Вы обещали, товарищ генерал, прибыть к нам на Вильгельмштрассе. Но мы так и не дождались вас.

Генерал улыбнулся:

— Разве за вами угонишься? Ищи вас повсюду, неведомо где... Это я, конечно, шучу. Прошу извинить меня, не успел. Теперь воспользуюсь вашим приглашением и завтра буду в Праге. Но не дай вам бог, чтобы я оказался там раньше вас.

Бригада спустилась с вершин Рудных гор, и вскоре мы подходили к пограничному городу, расположенному на чехословацкой земле, — Теплице-Шанов.

Город был украшен транспарантами, над ратушей висели советский и чехословацкий флаги. Встречать нас вышло, должно быть, все население.

Войска вражеской группировки «Центр», зажатой стальными тисками наших танковых армий, были охвачены паникой. На дорогах стояли орудия без расчетов, танки без экипажей, машины без шоферов. Солдаты, бросая оружие, дтыались уйти по лесным дорогам и горным тропам в Карловы Вары, Пльзень, Ческе-Будейовице. Но им отрезали отход — войска трех Украинских фронтов днем и ночью преследовали врага.

Я покинул командирский танк, пересел на «виллис», поставил машины штаба в голову колонны и повел бригаду на больших скоростях в направлении Праги, где чехи еще продолжали сражаться на улицах города.

По следам быстро отходящих немцев мы ворвались в небольшое село возле Праги — Джинов. Фашисты успели здесь учинить расправу: среди жителей были убитые и раненые, сгорело несколько домов.

Джиновцы обступили наши танки, засыпали люки розами, обнимали танкистов. Прелестная маленькая девочка доверчиво пошла ко мне на руки — так нас и сфотографировали.

Последнюю ночь войны мы провели в движении, и предутренний рассвет застал нас на окраине Праги.

И вот стоим на окраине города час, другой, а распоряжений от Новикова нет. Разворачиваю карту Праги. Нахожу центральную часть города и решаю сам, на свой страх и риск, выйти на Вацлавскую площадь.

Откуда-то — возможно, из центра города — доносятся глухие раскаты артиллерийских выстрелов и совсем близко трещат автоматные очереди. А на улицы уже высыпали нарядные, празднично-радостные пражане.

Перестроил бригаду так, чтобы в голове колонны шли автоматчики батальона Давиденко на случай встречи с «фаустниками», следом за ними — танковые батальоны, потом штаб и тылы; замыкал колонну батальон Старухина.

Но в город со всех окраин уже входили бригады армий Лелюшенко и Рыбалко.

Устремившись к Вацлавской площади, мы обошли несколько баррикад из поваленных трамваев и вступили в узкие улочки. И тут наше продвижение встретило неожиданное препятствие: на тротуарах вдоль улиц и на самой проез-

жей части толпились тысячи людей, и, пожалуй, преодолевать баррикады противника было бы не труднее, чем вырваться из этой ликующей толпы. Страшно было подумать, что скажет Рыбалко, если узнает, как долго мы шли эти несколько километров от окраины до центра Праги...

Конец войны

Люди заполнили все улицы и площади города. Летели вверх фуражки, шляпы, шлемы танкистов. Чешское «наздар» и русское «ура» сотрясали небо. Я прислонился к броне — от всего пережитого я был точно пьяный. Там меня и нашел начальник связи Засименко, он подбежал раскрасневшийся, взволнованный.

— Радио, радио из Москвы!.. — во все горло кричал он. — Кончена война! Безоговорочная капитуляция Германии! Ур-ра!

В первую минуту все молча смотрели друг на друга. И вдруг все разом закричали «ура», бросились обниматься...

Уставший, охрипший я стоял на Вацлавской площади возле моего верного фронтового друга, возле моей «двухсотки» — танка, который пронес меня по тысячекилометровому пути сквозь огонь, десятки раз заслоняя своей могучей, уральской выделки броней от смерти. Ведь нет ничего удивительного в том, что фронтовики-танкисты очень часто обращались к своему танку, как к живому, ласково называли его «моя тридцатьчетверочка», «моя Танечка»...

От двигателя еще струилось чуть заметное тепло. Казалось, боевая машина, утомленная многодневными боями и трудным маршем, отдыхала. Я взобрался на корму, сел на сетку над мотором, облокотился о скатанный в рулон брезент. Задумался.

В этот вечер последнего дня войны вспоминался ее первый день — 22 июня 1941 года.

Я служил тогда в крепости Осовец на Буге. В 4 часа утра нас разбудили взрывы. Война!

Начались горькие дни нашего отступления: Барановичи, Минск, бои под Смоленском и Ржевом, оборона Москвы, керченская трагедия, бои под Новоросийском и у Калинина. А потом — Белгородское сражение, освобождение Харькова, форсирование Днепра и вызволение Киева. Борьба за правобережье Украины, вступление в Польшу, Германию, в Берлин и Прагу — вот путь войны, который прошел я с моими фронтовыми товарищами за тысячу четыреста семнадцать дней и ночей.

Вспомнились больницы и медсанбаты, армейские и фронтовые госпитали, вспомнился «дом инвалидов», где долгие месяцы врачи «штопали» мне печень и разорванный осколком живот...

И вот все это позади.

Видя слезы радости на глазах людей, я думал о том, что вот таким безоблачным небо над нами останется навсегда, что никогда не будут больше люди смотреть в него со страхом. Тогда, в сорок пятом году, так думал не один я...

* * *

Рыбалко сдержал свое слово. В сопровождении наших двух генералов Новиковых он добрался до Вацлавской площади, где по-отцовски обнял меня.

— С победой вас, дорогие мои боевые друзья! Жаль, что не всем довелось отпраздновать этот день.

Павел Семенович был взволнован, глаза его были влажны. Василий Васильевич Новиков то и дело снимал и протирали очки дрожащими руками. Спазмы перехватили горло и мне. И никто не стыдился слез, потому что были они о погибших...

Никто, даже Рыбалко, который из-за болезни почек не пил вина, не отказался в этот день выпить бокал шампанского.

Взбудораженная Прага всю ночь не спала. На улицах и площадях, у подъездов домов и на балконах толпился народ. Ярко сияли огни в домах, снявших черные очки светомаскировки.

Моя бригада была выведена из центра. Мы расположились недалеко от аэродрома. Это была тихая, окраинная улочка. Теперь туда на звук гармошек и гитар бежали молодые люди, девушки, ребята, и все кружились в танце. Зеленели сады, цвели деревья. Все отдыхали телом и душой.

А на наш штаб тут же обрушились новые заботы: посыпались запросы, потребовались отчеты о боевых действиях, о наличии танков и т. д. и т. п. У хозяйственников что-то не «стыковалось» наличие запасов с нормами расходов. Я был занят составлением наградных материалов. Дмитриев корпел над отчетом о политико-моральном состоянии личного состава.

И лишь солдаты почти все отдыхали и праздновали «отбой войне».

Двенадцатого мая на большом пригородном стадионе Праги тысячи людей ждали поединка между импровизированной футбольной командой нашей бригады и пражской командой.

Играли азартно. С каждым забитым мячом (а они летели чаще в наши ворота) атмосфера накалялась. Чехи, мои соседи по ложе, ерзали, кашляли и о чем-то шептались. Наши ребята суматошно металась по полю, били по воротам неточно. Но надо отдать им должное — играли очень корректно. Раздался финальный свисток судьбы, табло возвестило счет матча — 5:2 в пользу хозяев поля. Я был немного смущен. А к центру поля со всех концов бежали люди. наших футболистов обнимали, подбрасывали в воздух. Стихийно, тут же на стадионе, возник митинг. Выступали чехи, благодарили Советскую Армию. Предоставили слово и мне.

— Наша команда проиграла с крупным счетом, — сказал я, — но проиграть вам — это не поражение. Сегодняшний матч закончился в нашу общую пользу, в пользу дружбы наших народов. Должен вам сказать, что наша танковая команда совсем недавно одержала крупную победу на олимпийском стадионе. Но то было в Берлине, на стадионе «Олимпия». Перед нами были враги. И не такими мячами, как сегодня, там били...

Дружные аплодисменты и приветственные крики толпы вознаградили наших футболистов.

А потом мы сидели в доме чешского любителя спорта, пожилого инженера, за чашкой кофе. И когда прощались, хозяин виновато и немного лукаво произнес:

— Вы уж извините наших футболистов, они проявили большую бестактность. Перед игрой мы договорились, что они проиграют. А они, черти, разошлись и...:

Мы расхохотались, и он вместе с нами.

Через несколько дней в пражском Кремле советским и чехословацким воинам вручались ордена Чехословацкой Республики. После церемонии, слившись в единый могучий поток, мы шагали по Градчанам, по Вацлавской площади. Прага все еще праздновала.

Минули годы. В составе делегации ветеранов войны я снова побывал в Праге. Целыми днями бродил по знакомым улицам. Пребывание мое здесь уже подходило к концу, а мне все не хотелось уезжать. Я привез с собой уже слегка выцветшую фронтовую фотографию, сделанную когда-то в селе Джинов. Хотелось побывать там, узнать о судьбах людей, встречавших нас в мае сорок пятого года.

Знакомый чешский генерал, узнав о моем желании, обещал мне помочь. Утром в гостиницу явился статный военный:

— Полковник Петрась, к вашим услугам.

От меня не ускользнуло правильное русское произношение полковника. На его мундире сверкал орден Ленина, прикрепленный выше многочисленных орденов планок; среди них я увидел ленточки орденов Красного Знамени и Красной Звезды.

И вот мы в Джинове. Села я не узнал совсем.

К правлению сельскохозяйственного кооператива валил народ. Не успела наша машина остановиться, как ее облепили мальчишки, в упор разглядывая нас. Познакомились с председателем кооператива. Фотокарточка моя переходила из рук в руки, и через несколько минут ко мне подошла стройная девушка с черными как смоль волосами. Жители села наперебой уверяли, что именно с нею запечатлел меня фотограф.

— Ты же была блондинкой? — неуверенно сказал я.

— Да! Да! У моей дочки в детстве были льняные волосы, — объяснял ее отец, и это подтверждали соседи.

За большим столом, за которым меня принимали, расспросам о Советском Союзе не было конца. Звенели бокалы в честь вечной дружбы братских народов. Вдруг зазвонил телефон. К аппарату попросили полковника Петрася:

— Ну, где же советский гость? Мы ждем.

Говорили из... Джинова.

Все замолкли. Мы в недоумении смотрели на Петрася. А он, покраснев, почесывал затылок.

— Вот незадача... Забыл, что у нас два Джинова, — бормотал он. Потом весело улыбнулся, махнул рукой и крикнул в трубку: — Хорошо! Сейчас приедем.

Хозяева запротестовали.

— Друзья мои, — дипломатично убеждал их Петрась, — конечно, это ваш гость. Но можно ли обижать соседей?

Не прошло и часа, как на пригорке показалось большое село. Нет, не все изменило время! Память подсказала: вот оно, то самое село... Это и был «мой» Джинов — Джинов-Восточный.

Машина сбавила скорость, шофер затормозил на небольшой, обсаженной высокими деревьями площади. Между деревьями колыхалось белое полотнище с крупными четкими буквами «Добро пожаловать!». Вокруг — празднично одетые люди, у каждого в руках букеты роз — красных, белых, желтых, как и двадцать лет назад.

Полковник Петрась представил меня джиновцам. Слово взял секретарь местной партийной организации. Потом горячо говорил председатель кооператива. В свою очередь я поблагодарил всех собравшихся за теплую встречу, передал привет от советских людей. Рассказал и о забавном случае, только что происшедшем с нами в другом Джинове.

И вдруг...

То, что произошло, буквально сбило меня с толку: у меня на руках оказалась двухлетняя белокурая девчушка с букетиком алых роз — та самая, которая обнимала меня в день освобождения Джинова. Та же улыбка, те же ясные глаза. Я достал фотографию. Она!

Все молчали и ухмылялись, наблюдая за мной. А я не знал, что сказать. В этот момент полная моложавая женщина, стоявшая рядом, протянула мне фотографию. Я взглянул — это был отпечаток с того же негатива, что и моя карточка.

— Это моя доченька Славка, — сказала женщина. — А у вас на руках моя внучка Аленка.

Мы, как родные, расцеловались. Радостный гул прокатился по площади, когда подошла и крепко обняла меня молодая белокурая красивая женщина. Конечно, трудно было узнать в ней — Славке Козубовской — ребенка, в образе которого мне представлялся день освобождения Чехословакии. Но Аленка обнимала меня сейчас так же доверчиво, как ее мать двадцать лет назад.

Славка вынула из маленькой бархатной коробочки, должно быть из-под золотого перстенька, пятиконечную солдатскую звездочку.

— С вашей фуражки. Это помнят все в нашем селе.

Нас и провожали всем селом. Машина плелась где-то сзади. А мы, взявшись под руки, шли и пели. Было хорошо — так хорошо, что и не передать.

Наша «Татра» плыла уже в темноте по асфальту в сторону Праги. Но чудеса этого дня еще не кончились. Сидя рядом с Петрасем на заднем сиденье, я спросил:

— А за что вы получили орден Ленина?

— За Киев, за Днепр.

У меня даже вдруг голос охрип, когда я спросил:

— А не были вы в селе Ново-Петровцах, на КП Ватутина, тридцатого октября сорок третьего года?

— Был. Сопровождал генерала Свободу.

«Он, — подумал я. — Он самый!»

— А помните посреди села колодец?

— Воду пил из него...

Я обнял Петрася. Это с ним и его друзьями мы тогда повстречались у колодца. Это с ними, с чешскими парнями, входили в освобожденный Киев в ночь с 5 на 6 ноября 1943 года. Это они тогда говорили, что путь на их родину лежит через Киев...

Есть события, которые не тускнеют, не выветриваются из памяти людей. Поблекли многие фотографии в моем фронтовом альбоме, но живые образы тех времен все так же ярки в моем сознании.

Народ-победитель

Май 1945 года был на исходе. Все, что было, становилось историей. Чехословакия переживала первые дни своего обновления, к которому только еще приступала.

Для моей бригады, выведенной в леса севернее Праги, в район временной дислокации, тоже началась мирная жизнь — в том ограниченном смысле, в каком этот термин применим к солдатской службе: зазвенели пилы, застучали топоры, в лесу выросал лагерь.

Проводили политические занятия, занимались строевой подготовкой, несли внутреннюю службу, ремонтировали технику и вооружение. А по вечерам из окрестных деревень и поселков стекалась молодежь: вместе с нашими солдатами плясали, пели, смотрели кинокартины «Чапаев», «Щорс», «Два бойца», «Секретарь райкома».

В один из субботних дней, когда я собирался поехать в Пражский театр послушать «Проданную невесту», раздался звонок. Говорил командир корпуса:

— Тебя вызывает Рыбалко.

Я встревожился:

— По какому поводу?

Василий Васильевич мялся, недоговаривал.

— Подробности не знаю. Скажу одно — тебе предстоит сдать бригаду и выехать в Москву.

— Как так оставить бригаду? Прошу вас, не делайте этого.

— Ненадолго, — успокоил Новиков. — В такую командировку я бы пешком пошел. Не забудь: к командарму в десять ноль-ноль.

На подходе к Мельнику — резиденции штаба армии — руль машины я передал шоферу, зная, что Рыбалко не прощает офицерам ухарства. Регулировщик указал дорогу к особняку, скрытому сплошной стеной зелени и цветов. Рыбалко встретил меня радушно. В гостиной собрался весь Военный совет армии.

Церемония вручения ордена Суворова длилась недолго. Я почему-то смутился, хотя об этом награждении знал еще несколько месяцев назад и когда был издан указ, и вместо уставного ответа: «Служу Советскому Союзу!» — выпалил: «В следующий раз буду воевать лучше». Член Военного совета Семен Иванович Мельников засмеялся:

— Драгунскому хочется еще воевать! В этой войне ему, видно, мало досталось от фашистов.

Вместе с орденом командарм вручил мне личное письмо Михаила Ивановича Калинина — таков был хороший порядок, заведенный в годы войны при вручении полководческих орденов.

После рукопожатий и поздравлений разговор принял отвлеченный характер: говорили обо всем, но ни слова о той командировке, в которую генерал Новиков, по его словам, «пешком бы пошел». И вдруг Рыбалко повернулся ко мне. Все замолчали.

— Военный совет армии, — сказал он, — решил направить вас в Москву на парад Победы. Вы будете возглавлять танкистов нашей армии. Как вы смотрите на это?

Мне до сих пор стыдно за себя. Видно, и впрямь люди глупеют от неожиданного счастья. Никогда не замечал я за собой чванства и никогда не кокетничал, а тут вдруг брякнул:

— Боюсь, без меня в бригаде такое начнется...

Рыбалко укоризненно поглядел на меня и сказал:

— Не набивайте себе цену. Вы говорите одно — думаете другое. Ну что ж. Дмитрий Дмитриевич, на всякий случай вызовите Слюсаренко, Шаповалова, Архипова. Может, и вправду оставим Драгунского, а то еще развалится бригада.

Ох, и ругал же я себя в ту минуту! Вид у меня был, наверное, жалкий. Стоял, не смея поднять глаза, чувствовал, что лицо и уши горят, как у школьника. «Эх, ты! — думал я. — Вот уж и Рыбалко подозревает тебя в гордыне, в зазнайстве...»

Выручил меня Мельников, который понял мое состояние.

— Павел Семенович, — сказал он Рыбалко, — что же тут худого, если командир о людях беспокоится? Дел у них сейчас много, солдаты трудно переживают переход к новым условиям... Мне кажется, не стоит менять кандидатуру.

Мельникова поддержал Бахметьев:

— Разрешите, Павел Семенович, я пройду с Драгунским в штаб и там все вопросы решим.

Рыбалко подошел ко мне вплотную:

— Ну как?

— Извините, товарищ командующий, сам не знаю, как это у меня вырвалось.

Генерал положил на мое плечо руку:

— Идите с Дмитрием Дмитриевичем, готовьтесь. Завтра к вечеру с сотней молодцов быть в Дрездене. Да смотрите перед Коневым не подкачайте, как у нас тут...

В одном из уцелевших военных городков Дрездена, на огромном плацу бывшего юнкерского училища, застыли батальоны сводного полка Первого Украинского фронта. Ожидали прибытия на генеральный смотр командующего фронтом. Волновались все. И больше всех, пожалуй, волновались я и еще два полковника. Настроение нам испортил начальник штаба фронта генерал армии Иван Ефимович Петров.

Накануне, производя разбивку по батальонам и ротам, определяя наши места в общем строю, Иван Ефимович высказал неудовольствие мне, полковнику-танкисту Зайцеву и полковнику-кавалеристу Демидову. Со свойственной ему солдатской прямотой Петров во всеуслышание заявил:

— Вам трем придется уехать. Не подходите по росту. Приказано отбирать гвардейцев не менее ста семидесяти двух сантиметров. А у вас сколько?

Услышав, что мы далеки от этой нормы, он покачал головой, поправил пенсне и, видимо, отложил этот вопрос до решения командующего.

Что верно, то верно — сравнение с другими кандидатами на парад было для нас невыгодным. Сводным полком командовал высокий, стройный, изящный и подтянутый генерал Глеб Владимирович Бакланов. Батальон пехотинцев возглавлял рослый красавец генерал Иванов. Во главе артиллеристов стоял генерал Сергей Сергеевич Волкенштейн, отличавшийся и ростом и выправкой. Александр

Иванович Покрышкин, стоявший на правом фланге сводного батальона летчиков, также отвечал всем требованиям, предписываемым инструкцией. И только мы «подкачали».

Замечание Ивана Ефимовича Петрова стало предметом всеобщего обсуждения во время ужина. Покрышкин советовал поскорее шить сапоги на высоких каблуках, кто-то придумывал, как удлинить нас за одну ночь.

Наутро протяжная команда: «Смирно!» — поставила нас перед невеселой действительностью. Конев в сопровождении начальника штаба и командира сводного полка медленно проходил вдоль фронта. Останавливался перед каждым батальоном, здоровался, пристально всматривался в лицо солдат и офицеров и узнавал многих.

Очередь дошла до нас. Сердце мое сильно билось. Я представил танкистов сводного батальона. Маршал был в приподнятом настроении. Улыбался, шутил и остался доволен внешним видом танкистов. Тут я услышал, как Петров произнес:

— Товарищ маршал, каково будет ваше решение?

И сразу понял, что Конев уже информирован о нас. Я буквально впился глазами в командующего, умоляя его взглядом оставить «недомерков» в строю.

Командующий в упор посмотрел на меня, перекинул взгляд на моего соседа Зайцева и вдруг широко улыбнулся.

— Иван Ефимович, оставим их. Ребята подтянутые, стройные, а что ростом не вышли, так это не их вина. Рыбалко ведь тоже такой же, да и Новиков Николай Александрович недалеко от них ушел. Когда эти командиры бригад первыми входили в Берлин, в Прагу, мы не мерили их рост. Ну, и к тому же им не в строю стоять, а впереди идти. Не так заметно. Сойдут. А вы посмотрите на них — не мундиры, а иконостасы...

Как только от нас отошло высокое начальство, по рядам танкистов прошеле-стел смех.

А ночью меня вызвал начальник штаба фронта.

— Командующий назначил вас начальником эшелона. На вас возлагается задача — доставить подразделения сводного полка в Москву организованно и без происшествий.

Еще долго, склонившись над столом, Иван Ефимович разъяснял мне график погрузки, давал указания об организации питания в пути.

— Главное, чтобы был порядок в эшелоне. Некоторые после боев распустились, нарушают дисциплину, полагают, что им, победителям, все дозволено...

— Постараюсь, товарищ генерал, чтобы был должный порядок.

— Что **вы** понимаете под «должным порядком»?

Веселое настроение теперь уже не покидало меня, и я выпалил:

— Танковый порядочек.

На утомленном и суровом лице начальника штаба промелькнула едва заметная улыбка. Он пожал мне руку, и мы расстались.

На станцию Львов поезд пришел в первом часу ночи. Несмотря на позднее время, из всех вагонов повыскакивали люди. Те, которые в прошлом году освобождали этот город, в их числе и я, ринулись на привокзальную площадь. Картина, которая открылась, потрясла меня: залитые огнями улицы, сотни людей.

Я заглянул в военную комендатуру станции, предъявил документы, чтобы мне сделали нужные отметки.

Войдя в зал ожидания, я был ослеплен прямо-таки довоенным ярким светом и оглушен гудением многочисленных пассажиров. Оглядевшись по сторонам, увидел надпись «Телеграф». Захотелось, как было до войны, дать традиционную телеграмму: «Встречайте поездом №... вагон № ...»

Но кому? Вся моя большая дружная семья уничтожена войной...

Миловидная девушка протянула мне телеграфный бланк и с легким кокетством укорила:

— Товарищ военный, вы слишком долго застаиваетесь у окна. Не создавайте очередь.

Я оглянулся: за мной уже образовался хвост. Отошел в сторону, машинально держа в руке бланк. И написал:

«Железноводск. Дом инвалидов. Моим лечащим врачам. Ура! Возвращаюсь на родину. Ваш наказ выполнил: в Берлине был, следую на парад Победы. Спасибо за возвращение к жизни. С победой вас, мои дорогие друзья...»

Первую телеграмму хотелось послать именно этим людям, которые полтора месяца назад вторично возвратили меня на фронт.

Девушка пробежала глазами телеграмму, покачала головой:

— Не дойдет она — не указано кому.

— Добрым людям. Не беспокойтесь, милая девушка. Дойдет.

Телеграфистка улыбнулась и доверительно сказала:

— А знаете, за последние дни очень часто попадаются такие вот странные телеграммы: без адресов, без фамилий...

Подавая мне квитанцию, она попросила разборчиво написать мою фамилию под текстом.

— Ну вот, а сегодня в газете есть указ Президиума Верховного Совета о награждении Драгунского второй золотой медалью Героя Советского Союза. Это не вас?

— А газета у вас есть?

— Есть.

— Ну тогда, прошу вас, подарите ее мне.

— Это почему же? — кокетливо улыбнулась девушка.

— Потому что моя фамилия Драгунский.

Стоявшие в очереди люди притихли, прислушиваясь к нашему разговору. Я схватил газету, пробормотал какие-то благодарственные слова девушке и поспешил уйти к себе в вагон.

Газета прыгала в моих руках. Тусклый свет вагонной лампочки позволял еле различить слова указа. Рядом с моей стояла фамилия Слюсаренко. Война соединила нас с Захаром на Днепре. С тех пор мы были неразлучны. На одном фронте, в одной армии, в одном корпусе, даже номера бригад стояли рядом: моя 55-я гвардейская танковая, его 56-я. Бок о бок форсировали мы Вислу и Одер, вместе брали города, освобождали Украину и Польшу. Плечом к плечу наши части штурмовали Берлин.

Вспомнились радостные дни сентября 1944 года, когда нам с Захаром Слюсаренко одним указом было присвоено звание Героев Советского Союза. Неразлучные друзья, соседи по фронту, мы тем не менее нередко спорили, даже доходили до ссор, но быстро мирились. И вот судьба снова соединила нас в одном указе.

Да и послевоенные годы не разлучили нас с Захаром — учились вместе в Москве, потом оба были направлены на Дальний Восток, командовали танковыми дивизиями. Генеральские звания нам были присвоены опять-таки одним постановлением правительства.

Еще перед отъездом в Москву меня донимал начальник политотдела:

— Не забудьте взять с собой Ускова.

Я не очень хотел этого: старший лейтенант Василий Усков — типичный «командир из запаса».

— Александр Павлович, — говорил я Дмитриеву, — это же парад, понимаешь? Нужно видом блеснуть, а Усков, сам видишь, какой «строевик», и к тому же не кадровый офицер. Все равно на фронтовом смотре его забракуют.

— А восемь боевых орденов?

Я сдался.

В Дрездене на фронтовом смотре Ускова не забракуют. Он старался изо всех сил. И мне даже стало казаться, что подменили парня: куда девалась его

сутулость, мешковатость. Затянутый в синий комбинезон с множеством орденов на груди, он даже выделялся из общей массы участников парада.

Есть люди, характер которых раскрывается не сразу, а подчас даже мучительно долго, поворачиваясь разными и тоже лишь отдельными своими гранями. А потом как-то разом вспыхивает весь, многоцветно загорается. Таким был командир танка Василий Усков. Незаметный парень, молчаливый, даже угрюмый, он не располагал к себе людей, да и для себя ничего не хотел. Помнится, ему достался старый танк № 223, который прожил большую жизнь: ходил в бой на Западном фронте в 1942 году, участвовал в сражениях под Орлом и на Днепре. Менялись его экипажи, а танк продолжал жить. Уже давно двигатель перевалил норму отведенных ему моточасов, износились и стали похожими на стоптанные башмаки траки, облезла краска. А чадила машина так, что издали казалось, будто она горит. Товарищи посмеивались над Усковым: «Командир чертовой машины»...

Но везло ей, этой «чертовой машине»! Трижды подбивали немцы танк № 223 и все же не добились. Дважды он горел, но не сгорел. Бесстрашный Усков не только храбро воевал, но и любил этот «заколдованный» танк и не оставлял его. Я следил за этим экипажем. Как-то возле Львова я нагнал танковую колонну и еще издали заметил дымовую завесу — усковский танк!

— Вот что, Усков, — сказал я лейтенанту, — доведешь танк до Вислы и топи его в реке. Уж больно он страшен.

Усков ухмыльнулся:

— До Вислы доведу. А топить погожу, товарищ полковник. Я на нем еще и до победы доеду. А там уж можно будет и в музей сдать. Как-никак заслуженная машина...

И не только довел до Сандомирского плацдарма, но сумел подбить еще три фашистских танка. Исполнилось и другое желание Ускова — его «черт» подбил немецкого «тигра». Командиру и водителю танка № 223 были вручены ордена: Отечественной войны — за боевые дела, и Красной Звезды — за сохранение материальной части. Танк прошел с боями две тысячи восемьсот километров, превысив вдвое норму моточасов.

Вот только в музей машина не попала: немецкая фугаска доконала все же танк. Василий пересел на новый танк. По сравнению с «чертом» это был красавец, вооруженный восьмидесятипятимиллиметровой пушкой. Но в тот же день в одной из атак новый танк сгорел, а лейтенант Усков был ранен. Встретились мы с ним в Берлине; Василий все еще жалел о своем старом боевом «коне», на котором воевал два с лишним года.

А сейчас он забился в угол купе и молча слушал разговоры.

Рядом с Усковым сидел механик-водитель Клим Антонович Мокров. На своем танке он прошел с боями не одну тысячу километров, стремясь к одной точке земного шара — к Берлину. Одним из первых в бригаде Мокров подхватил и воплотил в жизнь лозунг — удвоить нормы пробега танка. Он их удваивал и утраивал, словно волшебник омолаживая свою машину.

Клим Мокров ходил в атаку на предельной скорости, виртуозно управлял машиной, искусно маневрировал на поле боя, выбирал неожиданные позиции, поюгая наводчику метко поражать врага. Страшен был в своей мести врагу этот внешне спокойный человек: однажды он смелым тараном раздавил немецкий танк.

Совсем другим, непохожим на молчаливого Василия Ускова и спокойного Клина Мокрова, был Григорий Гасишвили. Словоохотливый, не в меру горячий и чрезмерно смелый, он был общим любимцем. Нам всем казалось, что этот огненный грузин нарочно ищет самые сложные ситуации, чтобы дать выход кипящей в нем юношеской энергии.

Григорий был на все руки мастер: он и механик-водитель танка, и наводчик орудия, а в свободное от боев время осваивал специальности электрика, шофера, ремонтника. «Золотые руки у тебя», — говаривали танкисты и несли ему в починку часы, хитроумные трофейные портсигары, зажигалки...

Григорий Гасишвили был готов на все ради товарищей. Однажды он спас и меня, набросившись с автоматом на гитлеровцев в тот самый момент, когда смерть казалась мне неотвратимой.

Сейчас его голос заполнил все купе: Григорий был беспредельно счастлив тем, что будет представлять в Москве на Красной площади танкистов Первого Украинского фронта.

Вот сидят разведчик сержант Заблудаев, наводчик старшина Банников и другие ребята. О каждом из них можно часами рассказывать удивительные истории — в каких только стычках и атаках они не участвовали! На груди каждого — ордена и медали.

Ранним июньским утром эшелон прибыл в Москву. В Лефортовском тупике, куда нас отвели, было полно народу. Москвичи встречали своих родных, близких, знакомых. Наши патрульные бессильно разводили руками: кто мог удержать эту лавину людей? Да и нужно ли было удерживать?

Почему-то ни у кого из встречающих не было в руках обычных в таких случаях цветов. И отсутствие цветов, слезы радости и горя придавали встрече какую-то суровость и величественность, вызывающую невольный душевный трепет.

В стороне от платформы увидел небольшую группу молчаливо стоявших людей. Спросил их:

— Вы отчего не подходите ближе?

Старик в солдатской гимнастерке с расстегнутым воротом сокрушенно махнул рукой и тихо ответил:

— Ближе и некуда. Второй день приходим, все смотрим, не появится ли наш сынок.

— А разве он должен быть с нами? — допытывался я.

— Как вам сказать, все может быть. Да вряд ли. Вот у нас извещение на руках: «Без вести пропал». А все думаем — не ошибка ли? Люди говорят, такие случаи бывают.

Я отошел молча. Ведь все мы надеемся на возвращение тех, кого уже давно нет в живых. Все надеемся, что ошибся полковой писарь...

В эти дни в разные концы Москвы прибывали эшелоны с участниками парада, полки всех фронтов — от Крайнего Севера, с берегов Ледовитого океана, до Балканского полуострова и Адриатики.

Наш полк разместился в Лефортове. Начальник училища имени Верховного Совета РСФСР, мой однокашник, дважды Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин гостеприимно предоставил нам здание своего училища. Огромный строевой плац с трудом вмещал всех участников парада нашего фронта. А занимались мы много: маршал Конев потребовал от нас высокой строевой выучки.

— Пройти не хуже московских академий — вот мое к вам требование! — сказал он перед строем.

Мы понимали, как трудно выполнить этот приказ. Большинство участников парада до войны не служило в армии. На войне же некогда было заниматься строевой подготовкой. Кроме того, среди участников парада были летчики, танкисты, представители других военных специальностей, строевой подготовкой почти не занимавшихся.

Эту «сырую» в строевом отношении массу надо было подготовить в кратчайшие сроки по самым высоким требованиям. В нашем распоряжении было всего три недели. Мы, кадровые офицеры, вспоминали предвоенные годы, когда к октябрьским и первомайским парадом наша «Фрунзенка» готовилась не менее двух месяцев. Начальник академии Хозин гонял нас до десятого пота. А ведь до академии за плечами у нас были полковые школы, военные училища, командование взводом, ротой...

Страшно было представить себе день парада Победы, когда наш сводный полк выйдет на брусчатку Красной площади. Только бы не опростоволоситься...

Барабанный бой, егерский марш, многоголосые команды оглушали Лефор-

тово. На первых порах дело не клеилось, да фронтовики поначалу и не выказывали особого рвения. Кто-то почему-то распорядился выдать офицерскому составу кавалерийские шашки. Может, это было бы и красиво в умелых руках кавалеристов, но в руках Покрышкина и Глинки, в руках танкистов шашки выглядели смешно — мы махали ими, словно палками, и с опаской тыкали клинки в ножны, чтоб ненароком не промахнуться и не всадить в собственную ногу.

Мамсуров поиздевался над нами вдоволь — наши кавалерийские приемы смешили его до слез. Александр Иванович Покрышкин бурчал под нос:

— Легче полдня быть в воздухе, чем полчаса махать этой железякой.

Немало было мороки и смеху со шпорами. Как мы их ни привязывали, как ни пристегивали, они все время соскакивали. При поворотах мы путались в них и на чем свет кляли «кавалерийские традиции».

Мы готовы были расцеловать Георгия Константиновича Жукова, положившего конец нашим мучениям. На одной из предпоследних репетиций, проведенной на Центральном аэродроме, со мною случился форменный конфуз. В очередном заходе, проходя мимо трибуны, когда надо было шашку держать «под высь», я запутался и начал ею по-чудному вертеть. Сквозь шум сводного оркестра до меня донесся с центральной трибуны пронзительный голос:

— Танковый полковник, шашку поднять!

«Все пропало, — мелькнуло у меня в голове, — чертова шашка! Теперь уберут с парада. И надо же такому приключиться...»

Но мне повезло. Не один я выкидывал в этот день фортели с шашкой. Командующий парадом отменил летчикам, танкистам и еще некоторым категориям военных шашки, шпоры и другие кавалерийские «причиндалы».

В офицерской столовой мы отметили это событие. Все шумно выражали свою радость, и лишь Ходжа Мамсуров притворно ворчал:

— Рожденный ползать скакать на лошади не может. Настоящий мужчина, джигит, должен владеть шашкой.

Упорство участников парада, ежедневные многочасовые тренировки, большой опыт кадровых офицеров принесли свои плоды. Постепенно наш шаг становился тверже, взмах руки четче, корпус прямее, равнение в шеренгах и в «коробках» достигло совершенства. Нелегко было получить похвалу такого требовательного человека, как наш командующий фронтом. И тем не менее на одном из смотров он высоко оценил нашу строевую выучку, даже особенно выделил летчиков и танкистов.

— Немного отшлифуйте шаг — и вы будете на уровне московских академий, — сказал он нам в конце разбора очередной тренировки.

После этих ободряющих слов мы стали стараться еще больше. И к 24 июня, к тому дню, на который был назначен парад Победы, нас, фронтовиков, трудно уже было отличить от слушателей академий. А целые созвездия орденов и медалей на груди каждого из нас придавали нашим ротам особый блеск, выделяли из общей массы войск Московского гарнизона.

В один из теплых июньских дней, когда еще зной не убил яркую зелень на газонах и цветы по-весеннему пестрели на клумбах, я направлялся получать вторую Золотую Звезду. Задолго до назначенного времени все мы, приглашенные в Кремль, уже сидели в просторном фойе и ожидали торжественной церемонии.

Приглашенных было много, но все держались как-то особенно торжественно и старались не шуметь. Генералы и солдаты, офицеры и рабочие, инженеры и директора заводов, уже отмеченные многими орденами и медалями и награжденные впервые, — все были одинаково взволнованы.

Рядом со мной за столиком сидел капитан-летчик с обожженным лицом, в больших черных очках, скрывавших его глаза. Он тихо переговаривался с молодой девушкой, и она описывала ему, что происходит в зале.

Вдруг я услышал вопрос капитана: «А кто сидит рядом с нами?» Девушка вскинула на меня большие печальные глаза и хотела было сказать своему спут-

нику обо мне, но я опередил ее и представился сам. Летчик внимательно выслушал меня и в свою очередь рассказал о себе. В последнем бою был тяжело ранен и потерял зрение, награжден орденом Ленина и вот сегодня пришел в Кремль со своей сестрой. Живут они в Москве и приглашают меня в гости после получения награды.

Разговор продолжался недолго: нас позвали в Свердловский зал и, уже как старые знакомые, мы трое уселись рядом.

Мягкой, еле слышной походкой в зал вошел Михаил Иванович Калинин. Все присутствовавшие встретили его бурной овацией. Секретарь Президиума Верховного Совета огласил указы о награждениях. Первым почему-то был назван я. Подошел к Михаилу Ивановичу, получил награду, а когда в зале прозвучали слова: «Служу Советскому Союзу!» — я не узнал своего голоса. Волнение было настолько сильным, что я даже забыл произнести краткую речь, которую мне поручили. Только когда уселся на место, вспомнил об этом.

Вслед за мною и два полковника и один капитан получили орден Ленина и золотые звезды Героя Советского Союза. Дошла очередь до моего соседа. Вдвоем с сестрой они подошли к Калинин. Михаил Иванович под гром аплодисментов обнял статного летчика, пожал руку его сестре. Долго гремели аплодисменты.

Втроем мы покидали Кремль. У Спасских ворот меня поджидала машина, и я предложил подвезти моих спутников до завода «Серп и молот», где в каком-то переулке они жили.

Около двухэтажного деревянного дома мы стали прощаться. Леонид (летчик) сказал мне:

— Сколько радости принесли бы вы моим старикам, если бы зашли к нам на обед.

— Я тоже очень прошу вас, — присоединилась к брату девушка. — Ведь сегодня такой радостный день у нас.

Я стоял в нерешительности. В гостинице меня ждали друзья. Был заказан обед и тоже по тому же случаю. Но и расставаться с этими людьми не хотелось. Я согласился зайти к ним на один час и с условием, что они тоже будут моими гостями.

Старая, скрипучая деревянная лестница привела нас на второй этаж. В маленькой двухкомнатной квартире было много людей. Стоял невероятный шум. Летчик переходил из одних объятий в другие. Здесь, видно, собрались родственники и друзья Леонида.

Мать бойко распоряжалась, усаживая гостей. Меня посадили рядом с летчиком.

Мой час пребывания в этой семье давно истек, но меня не отпускали. Только перед вечером с трудом покинул я эту радушную рабочую семью. Брата и сестру я все-таки сумел затащить к себе в гостиницу, где меня ожидали загрустившие было друзья. Веселье продолжалось до рассвета. Мы бродили по набережной Москвы-реки, хором пели песни — и запевалой был Леонид, слепой летчик с обожженным лицом.

Наступило, наконец, утро 24 июня. Оно было пасмурным: небо затянуло тучами, пошел теплый летний дождь. Со всех концов Москвы к Красной площади потянулись сводные полки десяти фронтов. На улицы и площади повалил народ. Балконы заполнились людьми.

На мокрой брусчатке Красной площади застыли четкие квадраты передних рот. Стояли по фронтам. Во главе — командующие и фронтовые штандарты: Карельский, Ленинградский, Прибалтийские, Белорусские, Украинские...

Началась торжественная церемония встречи принимающего парад. Гремит оркестр, грохочут залпы салюта. Все проходит как во сне, сознание не поспевает за событиями, потому что зрение хочет все запечатлеть и сохранить в памяти навсегда. Я с благодарностью смотрел на снующих по площади многочисленных фоторепортеров и кинооператоров — они лучше всех умеют это делать...

Над колоннами нашего сводного полка реяло овеянное ветрами многих европейских стран боевое знамя. Его крепко держал в руках прославленный сокол, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Рядом с ним стояли ассистенты, и одним из них был солдат моей бригады Клим Мокров.

Во главе полка стоял со строго торжественным выражением лица командующий нашим фронтом Иван Степанович Конев. И плечом к плечу с ним его соратники — командармы Рыбалко, Жадов, Лелюшенко, Курочкин, Красовский, Коровников, Коротеев, Гордов, Гусев.

Прозвучала команда, и парад Победы начался. К подножью Мавзолея Ленина падали фашистские знамена, добытые нами в боях. Мне приятно было от мысли, что в груди этих реликвий гитлеровского рейха, ставших мусором истории, есть и наша лепта, есть знамена, захваченные бойцами моей бригады.

Мимо Мавзолея мы прошли, охваченные единым порывом, как в атаке. И лишь пройдя площадь, я услышал чей-то восхищенный возглас:

— Ух, и здорово ж, братцы!

В тот же день вечером я снова пришел на Красную площадь. У подножья Мавзолея еще лежали навалом фашистские знамена. Их рассматривали и брезгливо щупали москвичи.

Салют из тысячи орудий осветил московское небо.

Москва ликовала. То там, то тут из группы москвичей взлетали вверх солдаты и офицеры. Сильные, дружеские руки подхватили и меня, подбрасывали и бережно ловили.

Вечер я провел в дружной, веселой и совсем незнакомой компании, в которую меня утащили с Красной площади. Меня приняли, как родного. И уже под утро, идя к себе в гостиницу, я думал вновь и вновь: какие же у нас добрые, славные и справедливые люди!

Через несколько дней железнодорожный эшелон мчал нас на запад, обратно в наши полки, бригады, дивизии.

Мы ехали туда, чтобы встать на вахту мира.

Тбилиси, 1967.



А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

★

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ*

(Записки очевидца)

V

Незаметно пришло пекинское лето с его внезапными дождями. Ныне они благодатны вдвойне: сулят урожай и смывают многослойную накипь дацзыбао.

Последние дни июня запомнились мне ярко иллюминированными ночами и отражениями юпитеров на мокром асфальте аллей. То и дело обрушивающиеся на город ливни сгоняют митинги со стадиона в огромные, похожие на ангары, студенческие столовые.

Поздним вечером после очередного ливня я возвращаюсь из нашего посольства. Из студенческих столовых доносится гром оваций и приветственные крики — там сегодня какое-то небывалое ликование. Вдруг узкая аллея наполняется бегущими и орущими людьми, плотная масса оттирает меня на обочину. «Ваньсуй!» — кричат они, а сквозь восторженную толпу студентов, урча, ползут несколько плотно закрытых черных «ЗИМов» — в них обычно разъезжают китайские руководители. Кто сидел в машине, разобрать было нельзя, но восторг провожающих достиг необыкновенного накала. Теснясь и толкаясь, они старались хотя бы дотронуться рукой до сверкающего лака автомобилей.

Утром на всех углах появились новые дацзыбао: «Горячий привет руководящим товарищам из нового горкома! Горячий привет руководящим товарищам из ЦК КПК!»

«Революционеры» выстроились вдоль аллей плотной синей толпой. Гремят барабаны. Арка въездных ворот обтянута алой тканью. В них под гром оваций въезжают, урча, машины новой администрации, они плавно скользят между живыми стенами и замирают у подъезда административного корпуса. Навстречу им выходят «заслуженные» и «старые» «революционеры» — студенты, которые 3 июня громили старый партком и штурмовали это здание. Над ними красный транспарант: «Приветствуем присланную председателем Мао рабочую группу!» Толпа скандирует: «Да здравствует рабочая группа!»

Из первой машины выходит довольно пожилой человек в синей партийной форме. Это начальник рабочей группы Чжан. За ним выходят его заместители. Прежде Чжан был заместителем министра и входил в партийную организацию Государственного Совета, которая не подчинялась «черному горкому». Вот почему ему доверили возглавить рабочую группу. Остальные члены группы, вылезшие из автомобилей, были в военной форме — как работники армейских учреждений, они тоже находились вне сферы влияния прежнего горкома.

Рабочая группа, отвечая на приветствия молодежи, стоит у входа в завоеван-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1 и 2 с. г.

ное «культурной революцией» здание. Все подтянулись поближе в ожидании митинга, и вдруг Чжан, махнув рукой, громогласно заявляет:

— Рабочая группа, присланная ЦК партии, всегда вместе с революционными массами! Нам не к лицу работать здесь!

И он решительно зашагал прочь от административного здания, а за ним потянулись и остальные.

Рабочая группа продефилировала вдоль общежития для иностранцев и остановилась у одного из студенческих общежитий.

Это был эффектный жест.

Суета и суматоха охватили весь университет. Вокруг новой административной резиденции выставили часовых с красными повязками. Вход в общежитие украсили алой материей, громадными транспарантами — наверху: «Да здравствует великая пролетарская культурная революция!», по бокам: «Да здравствует присланная председателем Мао рабочая группа!» и «Да здравствует КПК! Да здравствует ЦК партии! Да здравствует председатель Мао!» По обеим сторонам крыльца установили гигантские портреты председателя партии Мао Цзэ-дуня и председателя республики Лю Шао-ци, увидели их цветами и лаврами. Всюду вокруг здания установили стенды с изречениями Мао Цзэ-дуна и официальными лозунгами КПК.

Вскоре загрохотал огромный барабан в компании нескольких маленьких и гонги. Начался торжественный митинг. Он длился целый день.

Когда начальник Чжан поднялся на трибуну, в коридоре моего общежития хрипло заревели репродукторы — аплодисменты смешались с восторженным барабанным боем.

Я стоял у открытого окна и видел оратора, голос его мне был слышен по трансляции. Чжан заявил, что «культурная революция» победила, что пора устанавливать новый революционный порядок и революционную дисциплину. «Неужели действительно «культурная революция» кончилась и судороги, сотрясавшие весь огромный Китай, утихли, словно их и не было?» — подумал я. Под окнами пронесли транспарант: «Все на демонстрацию Первого июля!»¹

Демонстрация началась спозаранку. Ма ушел еще затемно. К восьми утра все построились в гигантскую извивающуюся колонну. Но демонстрация так и не вышла за ворота: движением по кругу отметили китайские студенты годовщину своей партии, и что-то зловеще-символическое было в этом бессмысленном топтании на месте.

Только было я собрался уйти в город, как на пороге появился Ма — его освободили от участия в демонстрации. Я попросил его проводить меня в магазин, и мы пошли. Раза четыре нам пришлось проходить через колонну демонстрантов.

— Ну что, кончилась «культурная революция»? — спросил я его.

— Культурная революция победила. Начался организационный период, — назидательно ответил он. — Но говорить, что она кончилась, еще рано.

* * *

Послеобеденный мертвый час. Все спят, отдыхают — ведь сегодня праздник! — впервые за последний месяц. Самое жаркое время дня. Спускаюсь вниз — даже у резиденции рабочей группы пусто. На столбе наклеена свежая дацзыбао. Читаю и изумляюсь. Твердо выведенные энергичной рукой знаки гласят:

«Есть один вопрос к рабочей группе — вопрос о правом оппортунизме! Почему в славную годовщину КПК в колонне вместе с революционными массами шли прихвостни черного парткома? Кто выпустил вновь уродов и чудовищ, осужденных председателем Мао? Мы знаем — кто. Только правые оппортунисты поступают так, вопреки идеям председателя Мао. Мы предупреждаем правых оппортунистов! Мы их серьезно предупреждаем!! Потом будет поздно!!! Долой правый оппортунизм! Защитим председателя Мао! Доведем до конца великую культурную революцию!»

¹ Первого июля в Китае празднуется годовщина создания КПК.

Вечером, когда я возвращался из города, этой дацзыбао уже не было. Ее содрали. Зато возле студенческой столовой появилось громадное объявление. В нем официально сообщалось о возобновлении занятий. Из многословного, витиеватого текста я запомнил только общий смысл и две фразы: «Давайте, товарищи, утром до обеда учиться, а после обеда заниматься культурной революцией! Давайте пойдем на двух ногах — революции и производства!»

Вокруг объявления кипели страсти. Споры не прекращались целыми сутками. Марать его было запрещено, но противники обклеили его со всех сторон полосами бумаги с изречениями Мао Цзэ-дуна, доказывая красными стрелками, что действия рабочей группы расходятся с идеями председателя Мао.

Появилась и агитационная афиша «Кто такие левые?», подробно излагающая платформу оппонентов рабочей группы. Основное разногласие между «левыми» и «правыми», или «оппортунистами», состояло в том, что «левые» считали «культурную революцию» незаконченной, возражали против возобновления занятий, требовали пересмотра всей системы преподавания, настаивали на полной «расплате» со всеми осужденными и вообще требовали вести борьбу не только с отдельными лицами. Очень скоро они начали противодействовать всем без исключения мероприятиям рабочей группы.

Рабочая группа попыталась претворить в жизнь собственное решение и возобновить занятия. Но «левые» не то что сами ослушались — они являлись толпой в аудитории, избивали преподавателей и силой разгоняли несогласных с ними студентов. Все чаще мне встречались в университетских аллеях перевязанные или украшенные синяками ребята — участники схваток.

Группа прекратила деятельность «трудовых команд», сняла с осужденных колаки и нагрудные знаки, запретила издевательства и побои. «Левые» же продолжали с еще большей яростью набрасываться на осужденных, беспощадно избивать их, устраивать самосуды. Только вмешательство дежурных и сторонников рабочей группы спасало тем жизнь. На всех публичных судилищах «левые» выступали с требованием смерти для осужденных: незачем, мол, кормить «черных паразитов».

Наконец, самоуправство «левых» переполнило чашу терпения.

На университетском митинге на стадионе, освещенный светом прожекторов, выступил начальник рабочей группы Чжан.

— К ответу демагогов! Революция не простит этого крикунам! К ответу политических спекулянтов! Не позволим делать карьеру на культурной революции! — с возмущением говорил он.

Большинство студентов и преподавателей поддержало рабочую группу. Тогда «левые» учинили обструкцию, подняв дикий вой. Такой, что даже выключили трансляцию.

Наутро, после этого собрания, появился поток новых дацзыбао. Часто они начинались с уверений, что автор до сих пор их еще не писал и выступает впервые за «культурную революцию»; они были не только подписаны именем и фамилией, но и указывали партийную принадлежность — новые дацзыбао писали коммунисты! В них сообщалось, кто из демагогов и сколько раз выступал на собраниях, сколько вывесил дацзыбао, в скольких судилищах участвовал, как рвался к карьере и возвышению. Какого-то студента, исключенного за неуспеваемость весной, но вернувшегося сводить счета с администрацией после начала «культурной революции», уличили в том, что он вывесил «сто семьдесят демагогических дацзыбао».

— Ну, как идет борьба? — спросил я, наткнувшись утром в коридоре на сотрудника канцелярии Сюя.

— Неплохо! Восстанавливаем революционную дисциплину, — кинул он мне на бегу.

Ма в эти дни я не видел совсем.

Не помню, которое было число, когда рабочая группа вывесила написанное на громадном красном листе с золотой каймой официальное указание: «сосредоточить огонь против демагогов и карьеристов», «временно остановить» расследо-

ванне дел «черного парткома» и всех осужденных и перенести борьбу на «политических спекулянтов».

Рабочая группа хотела торжественно подчеркнуть поворот на сто восемьдесят градусов в движении «культурной революции», но чья-то рука перечеркнула по диагонали это торжественное объявление, и не просто чертой, а цитатой из Мао Цзэ-дуна: «Революция не преступление, бунт — дело правое!»

Хотя говорят, что человек ко всему привыкает, мне привыкнуть к будням «китайской революции» не удавалось. Занятий с преподавателем не было — я занимался сам, а для разрядки уходил в город, где пока еще шла нормальная трудовая жизнь. Университет же походил на сумасшедший дом, и я жил в нем, огражденный от всего происходящего своим иностранным происхождением, как стекляннм колпаком.

Засидевшись как-то допоздна в гостях по случаю дня рождения у нашего стажера, я возвращался в общежитие глубокой ночью. Автобусы уже не ходили, на такси не было денег, да и найти такси в Пекине не просто — надо заказывать со стоянки. Куда проще прошагать по прямой, как стрела, узкой асфальтовой ленточке шоссе с запада на восток. За час я обычно доходил от Института языка до своего университета.

Город тих и безлюден, все спят, мирно тянутся вдоль шоссе капустные гряды, квадратик пшеницы и высокорослой кукурузы. Среди серых, вросших в землю старых домиков, крытых черепицей, в ночном небе четко вырисовываются массивы кирпичных зданий институтов, заводов, элеватора. Зубчатым гребнем проходит старинный городской вал — ему уже за шестьсот лет, и он порос сосной. Колючей проволокой окружены серые четырехэтажные поселки засекреченных министерств и заводов. Наконец, передо мной возникает старинный глиняный дувал двухметровой высоты — ограда моего университета с южной стороны.

Когда я подошел к воротам, был уже второй час ночи. Ворота заперты, дежурные спят. Я перемахнул через них и быстро зашагал к общежитию.

— Товарищ! Подождите! — вдруг окликнул меня кто-то.

Я остановился и обернулся. Меня догонял, видно, уже немолодой низенький человек.

— Вы могли бы поговорить со мной? — спросил он, подходя поближе.

— Пожалуйста, хотя время уже позднее, — ответил я.

— Понимаете, ведь днем с вами разговаривать нельзя, особенно мне — у нас сейчас культурная революция! Но мне хочется поговорить с вами, посоветоваться.

— А почему именно со мной?

— Ведь вы единственный советский человек в нашем университете, и вы не станете доносить на меня, не так ли? К тому же у вас ясная позиция. Я с нею, правда, не согласен. Не думайте, что я поддерживаю линию современных ревизионистов. Но мне не по душе и то ожесточение и неблагодарность, с которыми у нас нападают на Советский Союз, то, что вас, советских, тут боятся и запрещают нам разговаривать с вами. А мне хотелось бы с вами поспорить!

— А у меня нет никакого желания спорить с вами, — сказал я.

— Это ваше право, — согласился он. — Но посоветоваться с вами я очень хочу, потому что знаю, с кем говорю. Не обижайтесь, но вы все же советский ревизионист — вас так все у нас называют. А как вы сами себя называете?

Его вопрос меня, признаться, озадачил.

— Я советский человек, беспартийный, но в душе коммунист. У нас так и говорят — «беспартийные коммунисты». Мы все считаем себя марксистами и ленинцами, так и зовемся.

— Нет, не то... Сейчас я вам поясню, в чем дело. У нас, в Китае, было уже так, что людям сначала давали высказаться, проявить себя, а потом уничтожали. Так поступили у нас с правыми элементами в пятьдесят седьмом году. Сначала им дали свободу слова, выпускали на собраниях, печатали в газетах, а потом всех

либо в деревню выслали, либо опозорили навсегда. А не будет ли того же сейчас с «левыми»? Я ведь, знаете, «левый» элемент, — скромно сказал он.

Услышав слово «цзопай», которое теперь часто встречал в дацзыбао, я с любопытством посмотрел на этого человека:

— Вы «левый»? Вы из тех, кто призывает уничтожать людей?!

— Я не разделяю всех взглядов «левых», — торопливо заговорил он, — хотя и принадлежу к ним! Я думаю — так безопаснее. Вам не понять нашей жизни! Каждый из нас непрестанно подвергается опасности. У нас каждый год обязательно возникает какое-то новое движение, а стать его жертвой легче легкого. Я с «левыми», чтобы уцелеть самому. Я знаю, вы еще верите в буржуазный гуманизм, но у нас гуманизма нет, у нас только классовая борьба и классовые чувства. Пощады нет. Я думал, что, если буду повторять самые резкие и сильные призывы, меня не тронут.

— А вас тронули? — спросил я.

— Да. Вы этого еще не знаете? У нас начали выволакивать на стадион «левых». Это делает рабочая группа. Нас выводят на те самые подмостки, на которых мы месяц назад расправлялись с черным парткомом.

— Так вы стали «левым» из страха, а точнее, из трусости?

— На это ответить не просто. — Он нисколько не обиделся. — Хочется пожить спокойно, заниматься любимым делом — ведь я преподаватель. У меня тут семья, квартира — я преподаю на факультете иностранных языков. А у нас каждый год новое движение, и уж ума не приложить, что делать, как быть, чтоб тебя не трогали...

— Невеселая жизнь, — согласился я. — Но к чему же убивать людей и издеваться над ними?

— Что поделаешь — классовая борьба, так это у нас называется. Вообще-то мы не убиваем, но случается... — Он задумался немного и продолжал: — Вот уже семнадцать лет Китае управляют именем председателя Мао. И что же? Когда мы свергали прежний партком — теперь мы зовем его черным, — мы свергали его именем Мао. А как он управлял нами? Тоже именем Мао! Вы знаете, что эти парткомовцы все выдвинулись в шестьдесят втором году, когда у нас в университете боролись с правыми оппортунистами. Так они называли друзей Советского Союза. Они тогда клялись именем Мао Цзэ-дуна, и им верили. Теперь они продолжают кричать: «Председатель Мао! Председатель Мао!» — а им уже не верят. Мы так им говорим: «Врешь, сволочь! Ты негодяй, предатель!» А кого он предал? Опять-таки председателя Мао! А что же думает сам председатель Мао? О, если б знать это! Сейчас нас, «левых», преследуют за то, что мы были застрельщиками и активистами культурной революции. Говорят, что мы карьеристы и демагоги. Но разве мы не верим в председателя Мао? Мы верим! А если молодой человек хочет выдвинуться — что в этом плохого? Он же делает революцию, и, по-моему, справедливо, чтобы его выдвинули. Можно, конечно, не участвовать ни в чем, но тогда тебя могут схватить и спросить, почему не участвуешь? А начнешь участвовать — и тебя спросят: почему участвуешь? И что ответить? Да ведь здесь у нас все за председателя Мао! Кто был против, тех уже давно нет!

— Получается, что ваша непрерывная революция — это просто обоснование непрерывных репрессий, — заметил я.

— Что поделаешь — в ходе революции действительно погибает немало. Но ведь еще Конфуций говорил, что в Китае слова не отвечают понятиям, и требовал, как он выражался, исправления имен... Может быть, наша непрерывная революция, нынешний этап которой именуется культурной, положит начало этому исправлению имен!

— Но ведь идея непрерывной революции — идея старая, ее выдвигал еще Троцкий. А вот практика ее, она действительно целиком ваша.

— Так вы осуждаете то, что происходит у нас, да? И то, как поступаю я,

тоже, да? А что бы делали вы на моем месте? — спросил он, и вид у него был испуганно-виноватый, жалкий.

— Не знаю, — сказал я. — Но если у человека есть какие-то политические убеждения, то он их должен придерживаться до конца. Менять взгляды каждый год! Да ведь это просто непостижимо!

— У нас иначе не проживешь, — сказал он бесцветным голосом.

Помолчав немного, он заговорил снова, глядя куда-то в сторону:

— Четыре года прошло после голода. Всего четыре года назад мы ели траву, листья и кору деревьев. Это было время «большого скачка» и народных коммун. А тут еще на нас обрушились стихийные бедствия. Не было китайской семьи, в которой бы кто-нибудь не умер. Народ только-только начал забывать голод. Только все стало налаживаться — и вот культурная революция! Опять беда...

— Если б у вас каждый год не организовывали какого-нибудь «движения», отрывающего людей от работы, если б ценили тех, кто работает по-настоящему, жизнь в Китае была бы несравненно лучше... — не удержался и высказал вслух свои мысли я, сразу же досадуя на себя за это.

— Что поделаешь, у нас на первом месте политика, — ответил он. — Сейчас для нас главное — пережить культурную революцию. Когда мы скидывали черный партком, никто не вмешивался и не препятствовал этому. Значит, наверху были за нас. Теперь оттуда прислали рабочую группу, и она борется с нами. Что делать, как быть, что говорить — ума не приложу!.. — Помолчав, он продолжал: — Ходят слухи, что культурную революцию задумал сам председатель Мао. Потому я и был таким активным. Почему же нас сейчас преследуют? Да, невесело жить в Китае! Разве сейчас кто смеется у нас? Нам не до смеха, не до развлечений. У одних на душе страх, а другим, тем, кто занят культурной революцией, спать некогда, не то что веселиться. Вот потому никто и не смеется в Китае!.. Так как же все-таки мне быть?.. До культурной революции я был уверен, что через два-три года отношения с Советским Союзом восстановятся, хоть и не будут такими, как прежде. Но сейчас вижу, что вряд ли... Читаешь газету — ничего не понятно. — Он придвинулся ко мне и перешел на шепот, хотя вокруг не было ни души. — Ребята наши растерялись, звонили в редакцию «Жэньминь жибао», спрашивали, почему кладут конец культурной революции. Ведь идеи Мао Цзэ-дуна еще не победили. Им так ничего вразумительного и не ответили. Мы отправили делегацию в ЦК партии, вернее, не в ЦК, а в специальную группу по культурной революции при ЦК. Как жаль, что председателя Мао нет в Пекине, — он ведь живет около Шанхая, вы знаете! Но говорят, от него приехал сейчас Кан Шэн и скоро все прояснится. А пока мы будем бороться...

— Разве против вас теперь многие?

— Большинство студентов — нетвердые люди. Какой с них спрос, если социальное происхождение у них никудышное?! Многие лебезили и угодничали перед старым парткомом, у них совесть нечиста. Они и рады рабочей группе, поддерживают ее. Даже многие из революционеров, тех, что штурмовали третьего июля партком, перешли на сторону рабочей группы и стали ее активистами. Все меняется так быстро! Ни на кого нельзя положиться.

Исповедь этого «левого», этого «революционера», да еще в такое позднее время изрядно меня утомила, да и прискучила своей однообразностью, и я не старался скрыть этого. Он понял и, поднявшись со скамьи, сказал:

— Если вы меня встретите, то, пожалуйста, старайтесь не показывать, что мы с вами знакомы. Я поэтому и не назову вам себя. Желая успехов в учебе. Прощайте.

Раскланявшись, мы разошлись в разные стороны.

Ранний летний рассвет уже высветлил контуры зданий. Двери общежития были закрыты. Я постучал в окно привратнику. Тот, кряхтя, поднялся и, не прекнув меня ни словом, впустил. Я осторожно прошел к себе в комнату. Ма снова не ночевал дома.

Весь следующий день я провел в книжном пассаже. Душно. Продавцы поливают водой неровный асфальтовый пол. Когда я, просмотрев издания на верхних полках, дохожу до нижних и опускаюсь на корточки, невольно в буквальном смысле сажусь в лужу. Все же в книжном ряду прохладнее, чем в соседних магазинах, и несравнимо легче, чем на улице. Время от времени я покупаю мороженое или холодное молоко.

К шести часам, когда чуть-чуть спадает жара, я выползаю из пассажа. Сумка моя распухла от добычи. Это время разъезда служивого народа, вечерние часы «пик» — улицы наводнены велосипедистами, тротуары — прохожими, автобусы и троллейбусы — пассажирами. Пробираюсь по людной Ванфуцзин — главной торговой улице Пекина, — стараясь попадать в тенечек: ведь даже сейчас свыше тридцати градусов. Как назло, мой троллейбус уходит, что называется, из-под самого носа. Из-за поворота показался встречный троллейбус, битком набитый пионерами. Высовываясь из окон, дети махали флажками и кричали хором:

— Председатель Мао приехал! Председатель Мао вернулся в столицу! Вернулся председатель Мао! Председатель Мао заседал в Доме собрания народных представителей! Председатель Мао здоров! Очень здоров! Долгих лет жизни председателю Мао! Слава, слава, слава! Да здравствует председатель Мао!

Дети бросали из окна листовки, написанные твердым детским почерком: в них сообщалось все то, что им велели повторять вслух.

В очереди на троллейбусной остановке эту весть оживленно обсуждали:

— Какая хорошая новость!..

— Теперь начнется настоящая революция!..

Все проявляли осторожную радость и вели себя осмотрительно.

Дома я застал Ма.

— Чем это ты так занят в последнее время? Даже дома не ночуешь! А вот, кстати, самого главного ты все-таки не знаешь, а я знаю! — поддразнил его я и спросил: — Где сейчас Мао Цзэ-дун?

Ма недоуменно взглянул на меня и пожал плечами:

— Не знаю.

— А я знаю. Он вернулся в Пекин и заседал сегодня в Доме народных представителей на собрании по поводу культурной революции! — выпалил я.

— Откуда тебе это известно?

Ма был потрясен новостью и взбешен моей осведомленностью.

Мне пришлось рассказать ему обо всем, что я увидел и услышал в городе.

— Это очень важная новость, — сказал он. — Раз председатель Мао в Пекине, он теперь сам возглавит движение за культурную революцию. Будут перемены! Пойду расскажу товарищам. Это очень важная новость! — Ма выбежал из комнаты.

Узнав о приезде Мао Цзэ-дуна, «левые» тотчас же взбунтовались против рабочей группы.

Ко мне подошел вьетнамец Нгуен Тхи Кань.

— Вы знаете, что приехал Мао Цзэ-дун? — улыбаясь, спросил он меня.

Я рассказал о том, что слышал в городе, и добавил:

— Они выступают теперь против рабочей группы и думают, что председатель Мао поддержит их.

— А разве ее прислал не председатель Мао?

— Конечно, нет! Ее прислал Лю Шао-ци. Пока председателя Мао не было в Пекине, культурной революцией занимался председатель Лю. Он и послал рабочие группы осуществлять власть на местах и руководить культурной революцией. Председатель Мао, видно, к ним не имеет отношения...

До сих пор я привык видеть в газетах и на стенах портреты обоих председателей всегда рядом. Они украшали даже дверь комнаты, где до «культурной революции» дежурные «некто» отсиживали, подглядывая за мною круглые сутки.

— В Китае все быстро меняется! — сказал я только для того, чтобы завершить этот разговор.

Вскоре нападки на рабочую группу прекратились. «Левые» решили вести себя организованно и обратились в группу по культурной революции при ЦК с просьбой выступить у нас в университете. Они разбились на отряды и под барабанный бой маршировали по аллеям, выкрикивая:

— Да здравствует новая победа культурной революции! Приветствуем группу ЦК по культурной революции!

Высоких гостей ждали с нетерпением со дня на день. Рабочая группа тоже вывесила торжественные плакаты, приветствующие их приезд.

Парадный митинг готовился у библиотеки. Трибуну разукрасили гирляндами и цветами. Повесили новый гигантский портрет Мао Цзэ-дуна, искусно подсвечиваемый вечером.

Наконец прибыли долгожданные гости. Подъехала длинная вереница машин и остановилась у административного корпуса. Со ступеней к прибывшим обратился с приветственной речью начальник рабочей группы Чжан. Вокруг толпилось немало народу, но «левых» не было. Они ждали у библиотеки. Приветственная речь завершилась взаимными вежливыми аплодисментами. Гости направились на главный митинг, и сторонники Чжана потянулись следом. «Левые» держались прилично и даже усадили Чжана на трибуне.

Китайские руководители вели себя непринужденно, заговаривали с ребятами и девушками, шутили, первыми протягивали студентам руку.

— Вот настоящие люди! — услышал я в толпе восторженные возгласы.

— Давайте знакомиться, — улыбаясь, обратился к собранию худощавый старик в очках. — Мы вас, товарищи, знаем. Все вы — революционные студенты и преподаватели Пекинского педагогического университета. Мы вас очень хорошо знаем, товарищи, а вот вы нас не знаете.

Толпа колыхнулась, ребята старались продвинуться поближе к трибуне, хотя радиотрансляция прекрасно работала. Раздались дружные хлопки, молодежь улыбалась, одобрительно посмеивалась шутке.

— Перед вами группа ЦК партии по культурной революции! — продолжал старик. — Эта группа создана по прямому указанию председателя Мао. Вот товарищ Чэнь Бо-да, ее председатель, а вот его заместитель товарищ Цзян Цин, супруга нашего горячо любимого вождя председателя Мао! Здесь есть и другие товарищи. С нами приехал, например, товарищ Ли Сюэ-фэн, первый секретарь нового пекинского горкома. Ну, а товарища Чжана вы знаете лучше меня, он у вас начальник рабочей группы!

Такое непривычно неофициальное начало собрания с участием высокопоставленных руководителей словно опьянило собравшихся, сделало их сопричастными чему-то очень важному, государственному. Они тоже стали вести себя непринужденно, хлопали каждому представляемому, отвечивавшему совершенно театральный поклон, веселым оживлением встретили Цзян Цин.

Когда старик познакомил собрание со всеми гостями, выступила вперед Цзян Цин и сказала:

— Товарищ Кан Шэн представил всех нас, а о себе забыл. Это говорит о его скромности. Позвольте представить вам товарища Кан Шэна.

Старик поклонился, блеснув очками. По толпе пронесся шепот. Цзян Цин, выждав, когда установится тишина, продолжала:

— Товарищ Кан Шэн не входит в группу по культурной революции при ЦК партии, но он наш главный советник. Ни товарищ Чэнь, ни я — мы ничего не предпринимаем и не решаем, не посоветовавшись с ним. Товарищ Кан Шэн обладает поистине драгоценным опытом классовой борьбы!

Да, молодежь не знала истории своей революции. «Добрый старец» Кан Шэн на VII съезде КПК был публично назван «палачом партии» за то, что именно он, и никто другой, проводил чистки в националистическом духе и обагрил руки кровью многих тысяч китайских коммунистов. Опыт организации массовых репрессий — вот чем действительно обладал Кан Шэн...

Затем председательствующий — Чэнь Бо-да — предоставил слово студентам. Выступили трое. Паренек говорил бледно, а две девушки ораторствовали с огромным пафосом. Временами проклиная «черный партком», «правый оппортунизм» и заодно Советский Союз, они переходили на крик, едва не срывая голос. Цзян Цин тогда привставала и, восклицая: «Хорошо!» — протягивала им стакан с водой. Этот ее жест буквально потрясал собрание. Студенты гудели от восхищения — как проста и обаятельна эта деятельница!

Тонкая в талии фигура Цзян Цин в плотно обтягивающей зеленой армейской форме была все время в движении. Армейская фуражка и массивные очки придавали ей внушительность и серьезность. Она была очень моложава. По виду никак нельзя было сказать, что ей уже за пятьдесят. Держалась она довольно развязно: прикрываясь вежливым тоном, непрерывно отпускала реплики, прерывала выступавших вопросами, всячески проявляла «революционную прыть», подыгрывала аудитории, срывая все время аплодисменты. Я наблюдал за нею, правда, издали, с интересом и любопытством.

После выступлений Чэнь Бо-да, Кан Шэна, Ли Сюэ-фэна, речи которых мне совершенно не запомнились, настолько умело они ничего не сказали интересного, слово взяла Цзян Цин. Ее речь взвинтила и накалила собрание. Она начала с пирамидов молодежи, с неприкрытой лести.

«Левые» неистово аплодировали.

— Вы — революционная смена, — говорила Цзян Цин. — Вы поведете нашу революцию вперед. Мы, старшее поколение, уходим и оставляем вам свои революционные традиции. Вам председатель Мао оставляет Китай, вы им будете руководить. Школа культурной революции — великая школа! Вам будет принадлежать государство...

Грубо лстя молодежи, спекулируя на ее неопытности и жажде деятельности, призывая к активности и инициативе, Цзян Цин вызывала у нее ложное самообольщение собственной значимостью, своим положением и ролью. У юных слушателей возникала иллюзия самостоятельности и исторической важности своих действий. Ну как же тут устоять?!

Эффект был незамедлителен. С момента отъезда руководителей митинги не прекращались. Ораторы сменяли друг друга, каждый хотел переплюнуть остальных своим энтузиазмом, истощенной страстностью. Уже не голоса, а хриплое рычание разносили по аллеям отцветающих мимоз репродукторы.

* * *

Издали доносится барабанный рокот. Из окна коридора своего общежития я смотрю на по-прежнему парадно убранный подъезд студенческого общежития, где расположилась рабочая группа. Там тихо, безлюдно. Несколько дежурных с красными повязками вяло слоняются вдоль стен с обтрепанными, старыми дацзыбао.

Постепенно рокот барабанов нарастает. На аллее, ведущей к подъезду резиденции рабочей группы, появляется нескончаемая колонна студентов с двухметровыми портретами Мао Цзэ-дуна. Подойдя почти вплотную к зданию, колонна останавливается. Барабаны умолкают. Начинается давка, ряды расстраиваются. Дежурные сомкнулись плотной цепью у крыльца. Глухой шум тысяч голосов по команде организаторов умолк. Грянули барабаны и гонги. Тысячеголосый хор затянул исполняемую ежедневно чуть ли не молитвенно песню:

В море нельзя без кормчего.
Мао Цзэ-дун — наше солнце...
Революции опора — идеи Мао Цзэ-дуна...

Спели. На мгновение воцарилась тишина. Дежурные уже отеснены внутрь подъезда. Какой-то паренек вскакивает на крыльцо и, закинув голову, пронзительно кричит куда-то вверх:

— Выходи-и!!

Ответа нет. Он делает знак рукой, и к нему подбегают из толпы пять-шесть организаторов. Дежурные покорно расступаются перед ними, они исчезают в подъезде. Толпа спокойно ждет.

Проходит две-три минуты — и снова расступаются дежурные и на крыльце появляется начальник рабочей группы Чжан. Он идет сам, двое парней держат его под руки скорее символически. Позади толпятся члены рабочей группы. Чжан делает шаг вперед, но его останавливает выкинутая поперек дороги рука.

— Склони голову! — тонким фальцетом взвизгивает сопровождающий.

Чжан на секунду замирает, потом, весь как-то сразу сникнув, склоняет голову на грудь.

Толпа восторженно орет, выкрикивает здравицы председателю Мао и лозунги:

— Да здравствует новая победа культурной революции!

— Доведем до конца культурную революцию!..

Те, кто стоит в первых рядах, тычут Чжану кулаками под нос. На шее у него уже висит доска с надписью: «Правый оппортунистический элемент».

— Кончилось ваше черное царство! — слышатся выкрики.

С час длился «митинг позора», а затем началось «шествие позора». Чжан, склонив голову, медленно шел по живому коридору. Ему вливали под ноги. Все члены рабочей группы по двое следовали за ним. Тоже с опущенными головами. Вокруг стоял сплошной вой и гвалт. На стадионе рабочую группу выстроили на помосте в две шеренги.

— Чудно, что творится! Ведь говорили, что рабочая группа прислана ЦК. Вы помните, как ее встречали месяц назад? — услышал я за спиной голос вьетнамца Бак Ниня: он тоже наблюдал из окна за происходящим. — А теперь ее судят так же, как бывший партком!

Но он ошибся. Так судили только Чжана. Членам рабочей группы, бывшим военнослужащим, позволили выступить с заявлением.

Мы пошли с Баком поближе к стадиону. Как раз в это время предоставили слово одному из членов рабочей группы.

— Спасибо вам, революционные студенты и преподаватели Педагогического университета, — глухим голосом произнес он перед микрофоном. — Спасибо вам за освобождение! Вы освободили нас от гнета черного царства, вы свергли правый оппортунизм! Теперь мы сможем учиться у вас и сами примем участие в культурной революции! Спасибо!..

Бывшим военным разрешили спуститься с помоста позора и поднять головы. «В море нельзя без кормчего»... — снова запел весь стадион.

Чжан остался стоять на помосте один, лицом к лицу с улюлюкающей толпой.

* * *

За месяц своей власти рабочая группа успела решить очень существенный для меня вопрос о двухнедельной поездке по стране — прежде это было вполне обычным делом для иностранных студентов, но в дни «культурной революции» потребовалось разрешение специальных инстанций. Мне предложили на выбор несколько маршрутов. Я выбрал северо-западный — провинции Шэньси (города Сиань и Яньань) и Хэнань (города Лоян и Чжэнчжоу).

Выехали мы — остальные иностранные студенты, я и, разумеется, мой фудао — как-то очень скоропалительно. Вьетнамцы, которых было большинство, относились ко мне очень дружелюбно, но Ма всю поездку не отходил от меня ни на шаг, всячески мешая общению с ними. Что же касается прочих иностранцев — индонезийцев, японцев и других, — то с ними я мог общаться сколько угодно. Один из японцев, пропекински настроенный, не желал не то что разговаривать, но даже сидеть или стоять со мной рядом, если такое случалось во время экскурсии. Двое других мне, напротив, симпатизировали, особенно Такараси. Он очень интересовался китайской экономикой. В деревне уезда Лянсянь он расспрашивал бригадира: насколько повысилась у них урожайность за последние годы и как им удалось этого достигнуть.

— На шестьдесят процентов! И на основе идей Мао Цзэ-дуна,— прозвучал ответ.

Всегда любезная улыбка Такараси вдруг сменилась откровенной ухмылкой.

— Наверное, вы все же стали вносить минеральные удобрения? — продолжал он.

— Да, конечно,— подтвердил бригадир, не желая, видимо, лгать.— Но идеи Мао Цзэ-дуна всего важнее!.. — И он понес привычный пропагандистский вздор. Слушая его, Такараси насмешливо фыркал.

Во время поездки по стране мне бросилась в глаза упорно и повсеместно проводимая политика перемещения людей. Из сианьских партийных работников, с которыми я встречался, ни один не был коренным сианьцем. То же самое происходило среди заводских рабочих. Я не встречал среди них местных уроженцев. Молодежь, отобранная для работы на фабриках, съезжалась из разных мест. Самых же молодых сианьцев, если их принимали в число рабочих, отправляли в другие провинции. В этом принципе набора кадров я усмотрел желание центральной власти предотвратить возможный в Китае местный сепаратизм, лишить местных руководителей и крупные организованные коллективы независимой от центра опоры в коренном населении.

Поездка была для меня очень интересной, но я не стану отвлекаться от темы своего рассказа описанием всего увиденного. Скажу только о том, что было связано с «культурной революцией». Я заметил, что волна движения докатывалась до периферии пока медленно.

В небольшом горнячком городе Тунчуани, где мы неожиданно заночевали в гостинице рудоуправления, к нам с Ма подошел местный инженер. Он возбужденно расспрашивал Ма о «культурной революции» в Пекине и, всему удивляясь, твердил:

— У нас такого не было... Еще не было...

В Лояне наша группа осматривала гигантский тракторный завод, построенный с помощью Советского Союза. И в парткоме и в цехах, рабочим и директору я задавал вопрос: «С какого года вы здесь работаете?» Ответы варьировались незначительно: либо с 1961-го, либо с 1962-го. Никто из двенадцатитысячного заводского коллектива в глаза не видал советских людей. А ведь завод начал действовать еще в 1958 году. На нем трудился большой коллектив бок о бок с советскими специалистами. Специалисты уехали, а куда делись те, кто работал вместе с ними? Те, кого они выучили? Неизвестно. В огромном Китае эти люди исчезли бесследно.

В Лояне, а затем в Чжэнчжоу до нас начали доходить вести о важных событиях, происходящих в Пекине. На пленуме ЦК КПК была одобрена «культурная революция». Официальные красные дацзыбао с новостями из столицы захлестывали провинцию. Пленум ЦК, потом — шестнадцать пунктов о «культурной революции», потом — встреча Мао Цзэ-дуна с революционными массами. Каждую официальную новость отмечали парады и демонстрации. Но никаких насильственных действий на манер пекинских я нигде не замечал. Видно, волна массового движения еще не докатилась до провинции.

Во время поездки в уезд рядом со мной в автобусе сидел работник сельхозотдела хэнаньского провинциального комитета КПК. Он разговаривал очень дружелюбно, расспрашивал об ирригации в СССР, и я искренне пожалел, что мало чего мог ему сказать об этом. Он сообщил мне, что бывал в Советском Союзе — в Чите и Хабаровске. Этот короткий разговор остался в моей памяти, и когда через год до нас дошли вести о сопротивлении, которое встретила «культурная революция» в Хэнани, я не слишком удивился этому. Вспомнил я и о демонстративно выставленной брошюре Лю Шао-ци в мемориальном музее недавно умершего деятеля. Все значение этого я понял гораздо позднее, когда обвинения против «председателя Лю» стали достоянием гласности. Тогда же я не представлял себе,

насколько была примечательна эта маленькая книжечка для позиции хэнаньских коммунистов!

В Пекин я возвращался утомленный жарой и полный ожидания новых важных событий.

VI

Вечером 20 августа, когда поезд доставил нас в Пекин, было прохладно и сыро. Лужи на перроне, на площади. Недавно прошла гроза. Нас с Ма еще в вокзальном туннеле встретил Сюй:

— Вас ждет такси.

Сюй необычно собран, сосредоточен.

Такси?! Ма поражен. Ведь это нарушение экономии. Для встречи и проводов иностранцев университет всегда предоставляет свою машину с шофером. Это и экономнее, и выглядит достойнее.

— Канцелярии запрещено брать машины. Гараж взят под контроль хунвэйбинами, — коротко поясняет Сюй.

— Какими хунвэйбинами?! — Ма ничего не понимает.

— В университете созданы два отряда красных охранников, хунвэйбинов. Разве ты не знаешь этого?

Ма потрясен. Какие перемены!

В такси Сюй вежливо осведомляется у меня, как прошла поездка. Ма не дает мне раскрыть рта и восторженно тараторит без умолку сам.

— Очень, очень хорошо! Были в Яньани — революционной базе. Осмотрели все места, где жил и работал председатель Мао... Я везу товарищам памятные значки. Фото и конверты с марками, на них очень красиво изображен председатель Мао!

— А мы видели председателя Мао на Тяньаньмэне... Два раза!

На лице Ма отчаяние.

— Это только я видел два раза, — гордо говорит Сюй. — А есть такие, кто видел его три раза. Председатель Мао здоров, очень здоров!

— Вот беда! Как я отстал от всех вас! — с горечью проговорил Ма.

— Но зато ты побывал в Яньани, — утешил его Сюй.

Сюя так и распирало от желания рассказать Ма новость. Его не могло удержать от этого даже мое присутствие.

— Председатель Мао призвал революционную молодежь создавать отряды хунвэйбинов, чтобы защитить его от врагов и сохранить красный цвет нашего государства, — сообщил он. — У нас сначала возникло больше двенадцати отрядов красных охранников, но они вскоре объединились, и теперь у нас два крупных отряда — отряд «Цзинганшань»¹ и отряд «Маоцзэдунизм».

— Какое между ними различие?

— Большое. Во-первых, в них входят ребята с разных факультетов, а во-вторых, различает боевой дух...

— Ты тоже вступил в отряд? — перебил его Ма.

— Пока нет. Ты же знаешь — я член партии. А нас не берут без испытательного срока...

Воцарилось молчание, такое красноречивое, что я не выдержал и оглянулся на Ма. Впившись пальцами в колени, Ма глядел в одну точку. Мысль его лихорадочно работала — ведь он тоже был членом партии.

— Это ужасно, что я так долго не был в Пекине! Как я завидую вам всем, кто видел председателя Мао! — проговорил он наконец, и в голосе его звучала растерянность.

— Я прохожу испытательный срок при отряде «Цзинганшань», — оживился Сюй. — После выборов университетского комитета культурной революции мы по-

¹ Цзинганшань — опорная база китайских коммунистов в 1928 году.

очередно возглавляем канцелярию — я и еще двое товарищей. Я вынужден работать с комитетом по культурной революции, иначе нельзя... — извиняющимся тоном объяснял Сюй. — Наш отряд, правда, кое в чем не согласен...

— А кто же выступает против комитета? — не в силах скрыть волнения, выспрашивал у него Ма.

— Отряд «Маоцзедунизм». Они хотят разогнать комитет.

— Что происходит на филологическом?

— Большинство поддерживает отряд «Маоцзедунизм». Первый и второй курсы — самые активные...

* * *

Утром я зашел в канцелярию — в столовой мне не дали завтрака, там не знали, что я приехал.

— Не волнуйтесь, все постепенно наладится, — успокаивали меня сотрудники. — Сейчас все очень заняты — культурная революция! Главное — поменьше суеты и шума.

В университете было тихо и безлюдно. Я шел по усыпанному клочками бумаги парку, по коридорам из дацзыбао, скрывающих цветущие кустарники аллей. Лишь изредка встречал я одиноко бредущие фигурки студентов. «Куда же девались революционные массы?» — не без иронии подумал я. Начал читать дацзыбао. Они висели теперь друг против друга: одни принадлежали отряду «Цзинганшань», другие — отряду «Маоцзедунизм». Между ними шла яростная перепалка. Просто удивительно, как выдерживала бумага столько брани, похабщины, истерического визга. Такого мне никогда не доводилось слышать в КНР.

Центральное место занимали объявления о собраниях, судилищах и выездах на «революционные операции». Мне стали понятны тишина и безлюдье на территории университета: хунвэйбины спозаранку выезжали в город на «революционные операции».

Бегло проглядев заголовки, я понял, как изменился тон дацзыбао за последний месяц. Помимо того, что они стали грубее и ругательнее, они призывали к действию: искоренить! разбить! подавить! уничтожить! выволочить! разоблачить! разгромить!

В одной из дацзыбао маоцзедунистов под невинным заглавием: «Великий вождь Мао Цзэ-дун учит нас быть бережливыми и экономными» — авторы из соображений «бережливости» и «верности идеям Мао Цзэ-дуна» требовали скорейшей — до 1 сентября — ликвидации всех осужденных «культурной революцией» лиц. Они требовали «немедленного и скорого суда революционных масс» над «врагами внутри университета». Эта же дацзыбао призывала отдать все силы подготовке «революционной термоядерной войны», целью которой будет «вычищение трех нечестей: американского империализма, современного ревизионизма и реакции», начинать же дацзыбао призывала с «современного ревизионизма»!

«Десять вопросов к товарищу Лю Шао-ци», — прочитал я далее и остановился. Появление чьей-либо фамилии среди дацзыбао, даже если обвинение — сплошной вздор, очень скверный знак. Другое дело речи, которые произносят Цзян Цин, Чэнь Бо-да и Чжоу Энь-лай. Они занимают целые стенды, фамилии — из уважения к «революционности» оратора — пишутся красным или в красной рамке. А здесь к Лю Шао-ци обращались с ядовитыми вопросами.

Председателя КНР спрашивали, как случилось, что он послал рабочие группы «подавлять культурную революцию», и как он намерен ответить за это преступление перед «революционными массами». Почему его жена ездила в Индонезию в юбке и серьгах и даже надела колье?.. Почему в своей брошюре о работе коммуниста над собой на десять цитат из Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина он только один раз цитирует Мао Цзэ-дуна, тогда как «идеи Мао Цзэ-дуна — это вершина марксизма-ленинизма и его следует цитировать не в пропорции один к десяти, а в десять — сто — тысячу и десять тысяч раз больше».

Это было только начало кампании, и Лю Шао-ци еще называли «товарищем». Но выступление это не было ни одиночным, ни случайным. В университете были сняты портреты «председателя Лю», которые раньше пользовались почти тем же статусом, что и портреты самого Мао Цзэ-дуна.

Наткнулся я и на «Десять обвинений против Го Мо-жо». Известность этого литературного и научного имени заставила прочесть довольно объемистый текст. Еще до начала массового движения Го Мо-жо выступил с покаянной речью, в которой отрицал все свое творчество и клялся, что будет «изучать по-настоящему идеи Мао Цзэ-дуна». В своем отступничестве он перешел все границы самоуничтожения. Наша «Литературная газета» 5 мая 1966 года поместила ее перевод без комментариев. В КНР речь Го Мо-жо передавалась по радио. Она воспринималась как показание барометра, как предостережение, как политический ход изощренного деятеля. «Но спасет ли она его или не спасет?» — думал я. Уже три месяца шла «культурная революция», а Го Мо-жо оставался под защитой своего покаяния. И вот — снова десять обвинений. Его винули за переводы — «насаждение иностранной культуры»; за контакты в прошлом с советскими людьми — «преклонение перед иностранщиной»; за исторические сочинения и пьесы — «пропаганда феодализма и реакции»; за недостаточное внимание к идеям Мао Цзэ-дуна — «буржуазная идеология»; и даже за «буржуазный национализм» — когда-то Го Мо-жо был министром в гоминдановском правительстве. Всё припомнили, но публичное осуждение Го Мо-жо так и не состоялось — его спасло публичное самоуничтожение, на которое не решился больше никто из известных писателей Китая.

В общем, впечатление от всех новшеств было удручающее, надвигалось нечто зловещее и грозное. Я вернулся к себе какой-то беспокойный, подавленный.

В середине дня пришел Ма — бледный после бессонной ночи. Оставив нераспакованными свои вещи, он энергично занялся более срочным делом — принялся обклеивать репродукциями и плакатами свою половину комнаты. Большой цветной портрет Мао Цзэ-дуна, на который резко снизили цену — он стоил теперь один мао (гривенник), так как портрет вождя перевели в категорию «первой необходимости», — занял середину стены и смотрел прямо на меня. Вообще же в Пекине ощущался даже дефицит его портретов, которые стали чем-то вроде заклинательного знака, оберегающего от произвола, подобно тому как в старом, феодальном Китае люди верили в лубочные картины, заклинающие духов и отпугивающие нечистую силу.

По обеим сторонам портрета Ма прикрепил печатные изречения — «юйлу» — Мао Цзэ-дуна и рукописное «юйлу» Линь Бяо. Над столом он приклеил цветную репродукцию с картины маслом: на вершине горы в окружении большой свиты стоит молодой Мао Цзэ-дун с пышной шевелюрой, а к нему поднимается во главе отряда солдат-юноша в военной форме.

Ма ткнул в него пальцем и сказал:

— Линь Бяо! Самый верный соратник, самый лучший ученик председателя Мао.

Китайская национальная живопись «гохуа» не знала масляных красок. Картины маслом появились в Китае после Освобождения. Обычно на них изображались парадные сцены.

Первое, что я обнаружил в городе, — все книжные магазины были закрыты.

Я брел по пассажиру Сиданя, в котором так часто проводил свой досуг. Все ставни и стены его книжных лавок залеплены надписями: «Книжные червяки! Немедленно прекратить торговлю реакционным хламом!» Торговал только один зал у входа: правая сторона — сочинения Мао Цзэ-дуна (по сниженной цене!), рядом — пропагандистские издания с документами о «культурной революции». левая сторона — продажа «юйлу» — изречений Мао и разнообразных фасонов репродуцированных портретов Мао. Очередь, давка, в руках «счастливых», уже купивших «предмет первой необходимости», мелькают пестрые листы. В зале

я увидел старого букиниста, у которого приобрел уже не один десяток книг. С нагрудной надписью «реакционный элемент» он ходил с леечкой и поливал каменный пол. Бледное, одутловатое лицо украшали наклейки пластыря. Он прошел мимо, не подав виду, что знает меня. Школьники лет четырнадцати—шестнадцати с красными повязками прохаживались среди расступавшихся перед ними покупателей, стояли за спиной продавцов. У входа ребята наклеивали плакат: «Покончить с рассеиванием яда! Долой реакционную книготорговлю! Сделаем книжные магазины оплотом идей Мао Цзэ-дуна!»

Я поинтересовался, когда откроются букинистические магазины, у продавца, стоявшего за прилавком, где продавались толстые тома сочинений Мао и было посвободнее. Меня тут же окружили подростки с красными повязками, и, не дав ответить продавцу, парнишка постарше сообщил:

— Магазины закрыты для наведения чистоты и внутреннего порядка. Среди книг, которые там продавались, во многих не упоминается председатель Мао. Есть книги реакционные и ревизионистские. Те, кто торговал ими, будут держать ответ перед массами.

Он предложил мне купить книги Мао Цзэ-дуна. Я отказался и вышел на улицу. Часть витрин была заклеена воззваниями или закрыта ставнями. Во всех остальных на фоне собранной в лучеобразные складки красной материи стояли либо разных размеров бюсты Мао, либо его портреты в позолоченных рамах. На противоположной стороне витрина была разбита вдребезги. Я перешел улицу и оказался у магазина грампластинок. Тротуар, выложенный квадратиками плоской серой черепицы, рифленой в клеточку, как и на всех центральных улицах Пекина, покрывал слой битого шеллака. Осколки пластинок лежали даже на мостовой. Поворошив их ногой, я увидел красную наклейку и прочел надпись разбитой пластинки. Это была запись китайской народной песни. Я заметил, что за мною, привалившись к стене у входа в магазин, наблюдает паренек с красной повязкой. В самом магазине — разгромленном, опустошенном — расхаживали, переговариваясь, школьники с красными повязками. Я подошел к пареньку и спросил:

— Почему вы разбили эту пластинку? Ведь это китайская народная песня.

— Песня плохая, — любезно улыбаясь, ответил он. — В ней нет ни слова о председателе Мао. Такие песни сеют яд, а магазин этот — черное логово буржуазной идеологии! Мы оставляем только песни про Мао Цзэ-дуна.

Рядом был магазин оптики. В нем распоряжались ребята постарше. Над прилавком, где продавались очки в дорогой оправе и темные очки, тянулась надпись: «Оправы для буржуазной сволочи, туенядцев и негодяев всей страны». Покупатель в магазине не было. Все слоняющиеся по залу были хунвэйбинами. В глубине помещена еще одна надпись: «Долой буржуазную привычку ходить в черных очках!»

Я шел дальше по центральной улице Сиданя. На перекрестке юнцы школьного возраста громили парикмахерские и ателье — «рассадники буржуазного образа жизни». Они наклеивали на витрины ультиматумы с перечислением запрещенных причесок. Нельзя носить пробор, нельзя взбивать кок, нельзя носить длинные волосы, нельзя зачесывать волосы назад и т. д.

На дверях ателье висел ультиматум, запрещающий шить пиджаки и брюки «иностранным покроям». Женщинам запрещалось носить юбки, «перенятые у заграницы». Ультиматум завершала угроза быстрой и беспощадной расправы с нарушителями.

Около автобусной остановки стоял пикет юных хунвэйбинов с ножницами в руках, ими командовал парень постарше, видимо студент. Когда подходил автобус, пикетчики выстраивались в две шеренги, образуя коридор, и по одному пропускали выходящих пассажиров. Никто даже не пытался протестовать, все проходили молча, понурившись. Пикетчики выхватывали девушек с длинными волосами и тут же, без разговоров, срезали им косы. Девушки не сопротивлялись. Скоро весь тротуар был усыпан обрезанными косами — длинными и короткими, тол-

стыми и тоненькими, некоторые были перевязаны ленточками, другие — толстой цветной синтетической нитью, модной у китайских девушек.

— Зачем вы так делаете? Какой в этом смысл?— спросил я у них, когда очередная порция девушек была острижена и отпущена.

— Мы боремся со старыми буржуазными нравами,— ответил на мой вопрос юный пикетчик.— Носить косы — это советский ревизионистский обычай. Мы не позволим соблюдать его в красном Китае Мао Цзэ-дуна. Китайские девушки должны носить революционные короткие волосы.

— А это что значит? — спросил я его и указал на проезжавшего мимо велосипедиста.

У пожилого человека полголовы от лба до затылка было выстрижено наголо под машинку, а на другой половине сохранились гладко зачесанные длинные волосы.

Хунвэйбины наперебой стали рассказывать, что три дня назад в какой-то средней школе был опечатан на гектографе ультиматум — отказаться от проборов, но нашлись негодяи, которые решили сохранять прическу с пробором, и их специальный патруль, выставленный на одном из перекрестков, стриг в наказание вот таким образом.

— Он будет так ходить десять дней! Мы проследим за этим!

Тут подошел очередной автобус, и хунвэйбины снова принялись за стрижку девушек.

Я решил, что впечатлений у меня от нового этапа «культурной революции» вполне достаточно для одного дня, и сел в автобус, направлявшийся в район моего университета. На одной из остановок в автобус ворвался патруль хунвэйбинов. Их было человек пятнадцать. Грубо проталкиваясь, они бесцеремонно осматривали пассажиров и прицепились к моему соседу.

Это был человек лет сорока, уже начинающий лысеть. Его редкие волосы были аккуратно разделены пробором, на коленях у него лежал потертый портфель.

— Сюда! — сделал знак остальным юнец, который шел первым, и в ту же минуту вокруг нас образовалось плотное кольцо.— В какую эпоху ты живешь, сволочь? — заорал он на пассажира и, вцепившись рукой ему в волосы, запрокинул его голову.— Ты забыл, что живешь при Мао Цзэ-дуне! Носишь буржуазный пробор и портфель таскаешь, кровопийца! Обуржуазился, проклятый перерожденец! Забыл про культурную революцию! — Для вящей убедительности хунвэйбин пару раз стукнул пассажира головой о дюралевую раму окна.— Почему не постригся до сих пор?

— Я был очень занят... Все время собрания, не успеваю... — лепетал трясушимися губами побелевший от страха пассажир

— Предупреждаем тебя последний раз! Не то худо будет! — пригрозил ему командир патруля.

На следующей остановке хунвэйбины вышли. Дрожащей рукой мой сосед поправил встрепанные волосы, стараясь сгладить злополучный пробор. Мы сошли с ним у университета — возможно, он тут и работал.

* * *

Дни бегут. «Культурная революция» из стен университета переместилась на городские улицы. Не за горами уже и мое возвращение на родину. Мои планы приобрести нужные китайские книги оказались под угрозой. Книжные магазины стали главным объектом деятельности хунвэйбинов. Попытаюсь съездить на Люличан — может, там мне повезет.

Люличан — это уголок старого Пекина, славящийся уже чуть ли не три века своими книжными рядами. Букинисты, и антиквары, и знаменитая «Жунбаочжай» — мастерская несравненных репродукций акварелей и картин тушью.

В автобусе школьницы, сменяя друг друга, читали пассажирам цитаты из Мао Цзэ-дуна. Потом пели, призывая пассажиров подтягивать, и усталые люди,

ехавшие с работы, подтягивали. Молодой рабочий скорее для видимости шевелил губами, выдавливая слова, воспевающие «великого кормчего».

— Товарищ, что же вы не поете?— вдруг спросила его сидевшая рядом женщина.

— Пою! Пою!— поспешно ответил он и запел громче.

Вдруг, резко раздвинув пассажиров, ко мне подошла девушка с красной книжкой, формой напоминающей блокнот. Став напротив, она принялась читать звонким голосом цитаты Мао, время от времени вскидывая на меня глаза, а потом пошла шпарить наизусть, глядя в упор. Нетрудно понять мое состояние.

Выйдя на Люличан, я первым делом отправился в магазин «Жунбаочжай». Мне повезло — открыт. Вхожу, но что я вижу? Исчезло все: и книжные закладки, расписанные мастерами миниатюры, и длинные настенные свитки с птицами, цветами, пейзажами, и даже сюжетные картины из новой жизни после Освобождения. Ничего этого нет. Ни быта, ни строительства, ни патриотизма, ни традиции. Зато повсюду литографии прищурившегося, улыбающегося, пишущего, курящего Мао Цзэ-дуна. Он и солнце, он среди солдат, и всюду он на вершине. Много плакатов с изречениями Мао Цзэ-дуна. Сохранился, правда, прилавок, где можно купить тушь, краски и кисти — они, очевидно, отнесены к предметам первой необходимости, как средство для изображения Мао Цзэ-дуна!

Огорченный, я зашагал по Люличан дальше. Антикварный магазин — закрыт. Магазин китайских старых книг — закрыт. Еще один букинистический — закрыт, ювелирный — тоже. Еще и еще вижу я закрытые, обклеенные шельмующими лозунгами двери. Вот магазин эстампов, где я так любил бывать! Сквозь стеклянную дверь стараюсь заглянуть внутрь: нет, тут пока ничего не разгромлено. Скульптуры и керамические фигурки стоят на полках, а эстампы свалены грудой в угол. Я покупал их после каждой стипендии.

Да, Люличан выглядел так, словно над ним пронесся ураган.

Кривыми хутунами — переулками, — где пешеходу нелегко разойтись с велосипедом, я прошел на Дачжалар. Снова торговые ряды — женское платье, обувь, детские товары, старинные аптеки, оптика, да и чего только нет! На витрине обувного магазина — ультиматум: «Снять буржуазные модели! Убрать идейно гнилую продукцию! Революционные массы, долой кожаные ботинки! Откажемся от нравов эксплуататорских классов!»

Захожу в универмаг. На прилавках «охранительные» объявления: «Идейно гнилой товар снят с продажи». Под стеклом витрин обращения: «Товарищи революционные покупатели! Если вы обнаружите плохие, идейно не выдержанные товары в нашем магазине, просьба высказать ваше драгоценное для нас мнение».

По толпе пробегает шорох, я невольно оборачиваюсь следом за всеми. По магазину хунвэйбины ведут какого-то молодого человека. Руки у него выкручены назад и вверх, так, что локти упираются в спину, а голова опущена вниз. Ведут его полубегом трое, позади следуют еще несколько молодых людей с красными повязками.

— Реактивный самолет... — слышится шепот.

При быстром движении скрюченное человеческое тело действительно напоминает контуры реактивного самолета.

Они проходят быстро, как и появились. Толпа покупателей смыкается, словно ничего не произошло.

Я быстро убеждаюсь, что не смогу привезти жене в подарок китайский чайный сервиз. Все более или менее красивое и национальное снято с продажи.

У меня было около ста юаней, которые я намеревался истратить на книги. Но книг не будет — я уже в этом убедился, — значит, надо их истратить, и побыстрее, на что-нибудь другое в магазине для иностранцев, неподалеку от Ванфуцзина.

До центра я добрался с трудом в переполненном автобусе. Торговая улица — Ванфуцзин — сильно пострадала от «культурной революции»: сорваны вывески, разбиты и заклеены витрины. Бурная деятельность хунвэйбиновских пикетов тер-

роризовала не только продавцов, а и покупателей — их почти не было видно. Но в магазине для иностранцев были еще товары и, главное, — спокойствие.

Завернув за угол на Ванфуцзин, я успел пройти едва ли с десятков шагов, как мне под ноги скатился кубарем по ступенькам одного из подъездов и распластался на тротуаре какой-то человек. По виду ему можно было дать лет пятьдесят. Распухшее лицо было в кровоподтеках, одежда изодрана и испачкана грязью, сквозь дыры виднелись синяки на теле. Следом за ним сбежали его преследователи — четверо хунвэйбинов. Наградив пинками, они поставили свою жертву на ноги и, вывернув руки, поволокли по улице, продолжая колотить его руками и ногами. Вокруг непрерывным потоком двигались прохожие. Никто из них даже не обратил внимания на эту сцену.

* * *

Вечером с университетского стадиона вновь несся оглушительный рев. Собрание хунвэйбинов, вернувшихся из города, было посвящено «подведению итогов дня и обмену революционным опытом». Там их собралось несколько тысяч. Когда я, поужинав, вышел из своей столовой, кругом было пусто. У подъезда жилого корпуса для семейных преподавателей меня окликнули стоявшие там две женщины. Я подошел к ним.

— Вы посмотрите, что у нас творится! Какой ужас! Они ушли два часа назад. Зайдите, поглядите!

— Кто они?

— Хунвэйбины.

Они повели меня по неосвещенной — из «экономии» — лестнице. Дом был кирпичный, четырехэтажный, по пекинским условиям шикарный, в нем не было только газа, и готовить еду приходилось на плитках, отапливаемых угольными брикетами.

— Кто здесь живет? — спросил я перед дверью квартиры, в которую меня пригласили зайти.

— Хозяин был членом партбюро факультета. Его давно уже увели.

Это была скромная двухкомнатная квартирка. Все в ней было перевернуто вверх дном: опрокинуты кровати, сундук, шкаф; белье и одежда валялись посреди одной комнаты, на цементном полу другой дымилась куча пепла.

Женщины рассказали, как все было.

Хунвэйбины пришли к ним в дом около полудня. Их было человек двенадцать. С ними были двое «революционных» преподавателей — они присутствовали как свидетели. Среди хунвэйбинов не было никого, кто учился бы на том же факультете, на котором преподавал хозяин дома. Начали с конфискации мебели. Ее выпотрошили, стащили во двор и увезли на грузовике. Затем занялись «идейным воспитанием».

— Где портреты председателя Мао? Почему нет его портретов? — накинулись хунвэйбины на подростка — сына хозяина, — его сестренку и их мать и били всех по лицу.

Хунвэйбины сорвали со стен картины, репродукции, фотографии, рвали их и топтали ногами. Обломки рамок, изодранные в клочья картины валялись на полу.

— А где у вас сочинения Мао Цзэ-дуна? — кричали они.

К счастью, нашелся томик «избранного». Его отложили в сторону, а остальные книги объявили «плохими».

Хозяев заставили сложить домашнюю библиотеку на полу и сожгли ее. Пепел от книг я и увидел во второй комнате.

Девушки-хунвэйбинки расправлялись с посудой и одеждой. Они перебили чашки и тарелки.

— Чашка с драконами — феодальная чашка!

Вац об пол!

— Чашка с цветочками и розочками — буржуазная, мещанская чашка!

Вац об пол!

— Где бюст Мао Цзэ-дуна? — спрашивали хунвэйбины и топтали ногами фарфоровые статуэтки рыбака, крестьянской девушки и поэтов, стоявшие в профессорской горке.

Аквариум с золотыми рыбками выбросили в окно как пережиток феодализма.

Девушки рвали в клочья пиджаки и брюки европейского покроя, юбки хозяйки дома.

— Иностранцы рабы! Изменники! — оралы они.

Парни в это время вышли на балкон и перебили горшки с кактусами:

— Бесплезная роскошь!

На балконе была обнаружена забившаяся в угол кошка.

— Смотрите-ка на этих буржуев! — закричал один из хунвэйбинов и, схватив кошку за хвост, разбил ей голову об стену. Он хотел выбросить ее во двор, но девушки запротестовали:

— Положи дохлятину к ним в чулан и запри его! Пусть буржуазная сволочь дышит смрадом!

Вся семья взмолилась не делать этого, но хунвэйбины были непреклонны и навесили на чулан замок, чтобы хозяева не смогли избавиться от трупного запаха. Тогда вмешались свидетели-преподаватели.

— Не нужно так делать, — стали уговаривать их они. — Мы отберем у них вторую комнату и вселим в нее революционную семью одного из активистов. Если в квартире останется падаль, она будет смердеть и новым жильцам.

Этот аргумент подействовал. Кошку выбросили в окно.

— Они похитили у вас что-нибудь? — спросил я у хозяйки квартиры.

— Да, кое-какие мелочи: авторучку мужа, его и мои наручные часы, очки, блокноты, бумагу, записные книжки... Это все полбеды. Но они конфисковали и унесли все рукописи и конспекты мужа, его дневники и все письма. Сказали, что займутся расследованием наших преступлений...

Я заметил на полу битые пластинки.

— Мы любим русские песни, — грустно сказала женщина. — Пластинки эти у нас уже давно. Они разбили их о голову сына. Очень уж они разозлились, когда нашли у нас советские пластинки. Искали советские газеты и журналы, но у нас их не было. Еще в шестьдесят первом году муж сам все сжег.

Она рассказала, как, расправившись с вещами, хунвэйбины принялись за людей. Сначала потребовали отречься от схваченного главы семьи. Но она и сын отказались писать отречение. Отказались они и осудить его «гнилые идеи», отказались написать хунвэйбинам «благодарность за освобождение от оков старого быта и переход к новой жизни». С час потратили хунвэйбины на уговоры, а потом всех поставили спиной к стене и спросили: «Хорошо ли мы боремся со старыми нравами? Хорошо ли распространяем идеи Мао Цзэ-дуна?»

Не получив ответа, хунвэйбины снова стали бить их по лицу с таким расчетом, чтобы они затылком ударялись о стену.

— Мы долго терпели, думая, что они уйдут на собрание, — сказал мне мальчик. — Но потом они, посоветовавшись, решили оставить пять человек «бороться» с нами. Мы не выдержали и сдались... Я сказал им: «Вы хорошо распространяете идеи Мао Цзэ-дуна. Вы хорошо боретесь с буржуазией». Тогда они перестали нас бить и пошли на собрание. Но предупредили, что придут снова, хотя не сказали когда. Поэтому мы ничего не убираем. Пусть все валяется!

— Как же вы решились меня позвать после всего этого? — удивился я.

— Ах, нам теперь все равно, — обреченно сказала женщина. — Мы просто хотели, чтобы вы знали, что у нас творится.

* * *

Опять новость. Наш Педагогический университет переименован в Университет революционного воспитания. Правда, новое название пока еще не получило окончательного утверждения в высших инстанциях. Но такая надпись наклеена

на прежнюю табличку у входа. С хунвэйбинами соприкасаюсь ежедневно, хочу я этого или нет. Город для меня пока открыт. «Революционные операции» красных охранников развивались у меня на глазах. Но в самом университете их активность значительно ослабела в последнее время — не хватало сил действовать на два фронта.

Уже за несколько дней до блокады чувствовалось, что центр движения «культурной революции» перемещается к нашему посольству. Я зачастил туда. Накануне блокады мне позвонили из посольства и сообщили, что приезжает группа туристов из Москвы, в том числе и знакомые мне китаисты. Я с радостью отправился на вокзал встречать их. Туда же поехали и сотрудники посольства.

Середина просторной площади перед новым пекинским вокзалом обычно пуста, только полицейский стоит на каменном круге, регулируя движение, — больше для декорума. Прохожие огибают площадь по краям, там же останавливается и троллейбус. Сойдя с него, я сразу понял: здесь что-то происходит. Вокзальная публика обычно спешит с деловым видом, а сейчас все замерли на тротуарах. Оглянувшись, я увидел, что трое хунвэйбинов, скрутив юношу с пышной прической в излюбленный ими контур реактивного самолета, быстрым шагом вели его по площади к полицейскому. Вокруг всей площади черное скопище людских голов наблюдало за ним во все глаза, и я смотрел вместе со всеми.

Подойдя к кругу, где стоял полицейский, один из хунвэйбинов поднялся на каменный постамент и грубо столкнулся с ним полицейского. Отлетев в сторону, тот даже не пытался протестовать, а послушно отступил подальше. Тем временем хунвэйбины втащили юношу на каменный круг и бросили на колени. Двое держали его за вывернутые назад руки, а третий поставил ногу на шею и стал держными движениями бить его лицом о камень. По камню расплозлось кровавое пятно. Публика безмолвно наблюдала за этой бесчеловечно-жестокой сценой. Весь передернувшись, я быстро вошел в здание вокзала.

На платформе, куда прибывали международные поезда, небольшая группа иностранцев обменивалась новостями. Подошел пхеньянский поезд. Мы встретили московских туристов, бодрых, веселых. Получив приветы от друзей и знакомых, поболтав о новостях, мы передали наших туристов на попечение гидов китайского «Интуриста», а сами поехали в советское посольство.

— Что у вас там происходит? — спросил я товарищей из посольства.

— Сам увидишь!

Собственно, пока было известно, что хунвэйбины хотят переименовать улицу, на которой находится наше посольство. Казалось бы, что особенного? Но назвать ее решили провокационно: «Антиревизионистской». Сойдя в начале улицы, мы втроем не спеша направились к зданию посольства, читая заголовки дацзыбао, наклеенных на стены домов и глухие каменные заборы.

У одного из моих спутников был с собой фотоаппарат, и он фотографировал дацзыбао. На пустынной улице в жаркий час сразу же откуда ни возьмись возникла толпа. Какой-то подросток-школьник, но еще без красной повязки, увидев фотоаппарат в руках иностранца, встал у стены и загородил собой дацзыбао.

Но тут вмешался какой-то пожилой человек в добротном штатском платье.

— Отойди, пусть снимают! Пропаганда культурной революции — дело хорошее!

Школьник послушался и отошел в сторону.

Сначала я прочел длинную дацзыбао, написанную учащимися женской средней школы. Они требовали переименовать улицу. Хунвэйбины вузов вывесили в поддержку школьников свои дацзыбао. Они писали: «Хорошая революционная инициатива...», «Замечательный почин», «Одобряем и поддерживаем...» — и были совсем не агрессивны. Когда же мы прочитали дацзыбао студентов Пекинского института китайской медицины, то невольно закралась мысль, что готовится нечто более значительное, чем демонстрация в связи с переименованием улицы, — этот разухабистый листок призывал к кровавой «мести». Я переписал почти весь текст, весь его заключительный абзац:

«Советские ревизионисты! Довольно! Довольно! Довольно! Новые обиды и старая ненависть — все запечатлелось в наших сердцах, ни за сто, ни за тысячу, ни за десять тысяч лет мы не забудем, не забудем, не забудем! Мы отплатим за обиды! Сейчас мы не мстим, потому что время не настало, но придет час, и за все отомстим! Когда настанет наш день, мы сдерем с вас кожу, вытянем ваши жилы, сожжем трупы и развеем прах!»

Под этим стояло: «Пекинский институт китайской медицины, Лю Чжун, Чжан Кайсюань» — и еще две неразборчивые фамилии.

Поражала не сама угроза, в сущности нелепая и смешная. Поражали аморальность ее авторов — будущих врачей, неблагодарность за все, сделанное нашим народом.

Проведя вторую половину дня в посольстве и вечером возвращаясь домой, я решил посмотреть, как все же готовятся к предстоящей демонстрации.

В прилегающем к посольству районе срочно сооружались временные отхожие места. Даже на них были написаны лозунги: «Да здравствует председатель Мао!» и «Все для народа!» Ведь здесь предстоит находиться часами сотням и даже тысячам людей, и организаторы загодя, таким образом, заботились о них. Видимо, ожидалась блокада долгая — в течение нескольких суток.

Возвращался я к себе в общежитие уже затемно. Вечер тихий, жаркий. Улица за воротами посольства пуста. Только на углах торчат фигуры пикетчиков-школьников да прохаживаются из конца в конец «квартала дежурные — местные жительницы. Проезжая часть перегорожена в трех местах баррикадами из портретов Мао Цзэ-дуна, увитых гирляндами, асфальт исписан лозунгами. За то время, что я пробыл в посольстве, число дацзыбао возросло.

На домах появились огромные плакаты — рисунки метра два на полтора. На одном из них — здоровенный хунвэйбин, обутый в кеды, заносит ногу над тщательно выписанным — с портиком и колоннами — зданием советского посольства. А рядом — такой же по композиции рисунок, только вместо хунвэйбина нарисована лубочная, пухлая фигурка девочки-пионерки с галстуком. Она подняла над головой тяжелую глыбу, чтоб обрушить ее на все то же здание посольства, но уже с надломленными колоннами и без красного флага.

Сразу вспомнились жестокие расправы гоминдановцев с сотрудниками советских консульств в Пекине и Кантоне. Да, видимо, находиться здесь куда опаснее, чем в университете, хотя в нем свили гнездо хунвэйбины. Меня даже удивило, что товарищи в посольстве так спокойно отнеслись к угрозе блокады, которая, как это теперь мне стало ясно, была неминуема.

— Приехал укрываться к нам? — шутливо спрашивали они меня.

Блокада, однако, началась на сутки позже, чем я предполагал, — в ночь на понедельник 29 августа. Но телефонная связь с посольством сохранялась — я несколько раз звонил туда из общежития. Мне жаловались на рев громкоговорителей и на невозможность выходить куда-либо. Так продолжалось несколько суток. Столовая не работала — прекратился подвоз провизии. Потом мне позвонила жена корреспондента «Правды» и спрашивала, не могу ли я купить молока для ее годовалого сына. Она забыла, что дело было не в том, что нельзя купить молока, а в том, что его невозможно доставить.

Пострадали в первую блокаду и наши немецкие друзья. Их задержали хунвэйбины перед воротами советского посольства, куда они приехали посмотреть фильм, и заставили покинуть машину. Потом всех потащили в соседнюю школу. Там их допрашивали пять часов, не советские ли они, сопровождая эту процедуру побоями, пинками. Об этом мне рассказывал знакомый сотрудник посольства ГДР, который дежурил в тот вечер и вынужден был вмешаться, чтобы выручить из беды своих соотечественников.

Когда блокада кончилась, я тут же поехал в посольство. «Антиревизионистская улица», на которую я свернул, сойдя с троллейбуса, была покрыта клочками бумаги. Повсюду виднелись следы пребывания многотысячной толпы.

— Долой советских ревизионистов! — выкрикнул школьник на углу и бросил в меня камнем.

Такие же выкрики раздавались и из дворов, мимо которых я проходил. А ведь до блокады обитатели этой улицы — и взрослые и дети — здоровались с нами по-русски, говорили слова дружбы.

Августовская блокада была серьезной, хотя и бессмысленной провокацией, но впоследствии маоцзедуновцы превзошли самих себя. Безобразия во время ноябрьских праздников и бесчинства в январе—феврале 1967 года велись с куда большим размахом. Чего же хотели добиться устроители? Сломить стойкость и выдержку советских людей? Что верно, то верно: выдержать весь этот отвратительный спектакль и насилия было нелегко — для этого потребовались мужество, хладнокровие и убежденность.

VII

Сентябрь в Пекине запомнился мне не календарной сменой времени года, а переменной в поведении хунвэйбинов. Они подогревали свое настроение периодическими собраниями на Тяньаньмэне, освящавшимися выходами самого председателя Мао. Произносились парадные речи, возбуждающие юных погромщиков, взбадривающие их на новые «дела». И вдруг на одном из митингов Линь Бяо, «самый верный соратник» Мао Цзэ-дуна, покритиковал «революционную практику» хунвэйбинов.

В тот день собрание было особенно грандиозным. На следующее утро университетская жизнь снова бурлила. Никто никуда не поехал, все остались митинговать на стадионе. Митинг, с короткими перерывами на еду, длился несколько дней. Хунвэйбины усваивали указания Линь Бяо, данные им с трибуны площади Тяньаньмэнь.

В торжественных, высокопарных выражениях маршал сказал хунвэйбинам, что, осуществляя «культурную революцию», они чрезмерно увлеклись «мелочами» и пошли «окольными путями», преследуя лавочников, квартирохозяев, парикмахеров, в то время как главный враг — это «стоящие у власти внутри партии и идущие по капиталистическому пути».

Так сказал маршал Линь Бяо. А рядовые ораторы, разумеется, выпрямляли смысл его слов и в лоб требовали «бороться с партийцами».

Выступление Линь Бяо сократило бесчинства на улицах города, но зато развязало новую волну преследования членов коммунистической партии. Каждый китайский коммунист оказался под подозрением. С другой стороны, премьер Государственного совета Чжоу Энь-лай широко распространил свое выступление перед хунвэйбинами, в котором открыто брал под защиту национальную буржуазию. Требование некоего хунвэйбина ликвидировать выплату твердых пяти процентов прибыли китайским капиталистам было отклонено. Самых капиталистов, деятелей демократических партий, а также китайских реэмигрантов, как правило, буржуазного происхождения, правительство взяло под защиту. «Что же это получается? — думал я. — Группа Мао Цзэ-дуна старательно выкорчевывает у своих молодых последователей прежде всего «пережитки социализма», а лучшая, боевая часть партии становится главным и единственным объектом по сути своей контрреволюционной и антинародной «культурной революции» и уничтожается руками молодежи».

Обсуждение речи Линь Бяо и следовавших за нею одна за другой директив группы ЦК по культурной революции и Государственного совета проходило не очень гладко: было много путаницы и неразберихи.

Больше всего сумятицы вызвала редакционная статья «Жэньминь жибао» — «Бороться не насилем, а словом» (от 3 сентября). В ней осуждались грубые методы физической расправы с инакомыслящими, статья призывала «перевоспитывать» их путем убеждения. Читать такое обращение в то время, как уже две недели в китайской столице царит самый настоящий террор, было довольно странно. Я подумал было, что группа Мао Цзэ-дуна ищет алиби и хочет открити-

ся от содеянного, возложив всю ответственность на «невоздержанность и пыл» молодежи, которую она же на это благословляла.

Газета призывала хунвэйбинов объединиться и создать общенациональную «революционную организацию». К этому призыву официального органа я отнесся скептически, поскольку соперничество среди самих хунвэйбинов, проявившееся с первого момента возникновения отрядов красных охранников, нисколько не умерилось с ходом событий.

Уже в самом отношении к передовой «Жэньминь жибао» проявились рознь и взаимное ожесточение участников движения. В университете передовую эту распространяли как официальный документ. Ее переписывали крупным шрифтом от руки на громадные щиты, выпускали типографским способом в виде листовок и расклеивали на деревьях и столбах. Этим с энтузиазмом занимался комитет культурной революции университета и его сторонники в отряде «Цзинганшань». Зато отряд «Маоцзэдунизм» не только саботировал, но по ночам маоцзэдунисты свежерасклеенные листовки с передовой перечеркивали тушью крест-накрест и рядом с заголовком писали свои заклатья: «Мы не откажемся от революционных действий!», — а рядом со словами: «Бороться не насилем, а словом» — писали: «Мао Цзэ-дун учит нас: «Революция не преступление, бунт — дело правое!» Наконец, отряд «Маоцзэдунизм» выступил открыто со своими плакатами и листовками. В них говорилось:

«Предупреждаем негодяев и сволочей всей страны! Мы не откажемся от борьбы силой против силы!.. Сейчас говорят о борьбе словом, и многие поняли это как амнистию. Такому не бывать! Словом мы будем бороться с поверженными. Всем же уродам и чудовищам, всем же негодяям и сволочам мы шлем последнее предостережение! «Революция не преступление, бунт — дело правое!» Да здравствуют революционные операции! Да здравствует великая пролетарская культурная революция!»

Многие хунвэйбины отказывались ехать за город на уборку урожая, объявляя, что «сволочи в столице еще не добыты». Теперь свои набегии они стали устраивать по ночам.

Непрестанная смена местных властей породила у хунвэйбинов неуважение к любой власти. Анархизм расцвел среди них настолько, что отдельные отряды выходили из повиновения самому Мао Цзэ-дуну. В те дни комитет культурной революции Пекинского университета считал себя чуть ли не правительственной властью в Китае. Позже это даже навлекло репрессии на некоторых хунвэйбинов.

В сентябре же состоялась «кавалерийская» атака хунвэйбинов на все основные провинции страны. Из нашего университета для распространения «культурной революции» был послан на юг «боевой отряд» числом более ста человек. Хунвэйбины явились на вокзал, заняли в подходящем им поезде вагоны, объявив «тунеядцам», которые приобрели билеты в эти вагоны, что «саботажников культурной революции», которые осмелятся заявить претензии на свои места, они будут скидывать с поезда на ходу...

Недели через две «боевой отряд» возвратился со «славой». Его встречали барабанным боем. Был устроен «отчетный митинг», транслировавшийся по радио. Перед собранием всего коллектива отчитывалась девушка-активистка.

— Везде и всюду, — говорила она звонким голосом, — мы следовали указаниям товарища Линь Бяо и прежде всего старались разогнать и разгромить партийные комитеты...

Хунвэйбины Пекинского педагогического университета побывали в Хэфэе, Чанша и Гуйлини. Борьба, по их признанию, была ожесточенной, и повсюду их задача оказалась труднее, чем они рассчитывали. Так, например, в Хэфэе, высадившись на вокзале, они построились в колонну и двинулись разгонять хэфэйский горком партии и анхойский провинциальный комитет КПК. Им удалось занять здание горкома и захватить в нем часть работников, но многие бежали и довольно быстро подняли на помощь себе местных рабочих.

По словам оратора, «обманутые массы» выступили на защиту «черного партийного комитета» и выгнали хунвэйбинов из занятых ими помещений. С обеих сторон были убитые и раненые.

Но в Хэфэе, в общем, обошлось сравнительно удачно. Полное поражение «посланцы Мао Цзэ-дуна» потерпели в Чанша. В отчете с горечью говорилось, что местный партийный комитет «заранее подготовил толпу обманутых масс». Народ прижал хунвэйбинов прямо на вокзале. Им не удалось ни выйти в город, ни даже прорваться на площадь. Через несколько часов они вынуждены были уехать обратно.

Зато в Гуйлини, по их словам, провинциальный комитет КПК был «победоносно» разогнан. В общем же оказалось, что двенадцать хунвэйбинов из отряда не вернулись. Они «геройски погибли за идеи Мао Цзэ-дуна» во время нападений на партийные органы в провинциях. Многие из вернувшихся залечивали в амбулатории свои увечья и раны.

Хунвэйбины возвращались не только с юга. Другие «боевые отряды» выезжали на северо-восток — от нашего университета, например, в Цзилинь — и на северо-запад. Они поддерживали связь со своими сторонниками на местах, даже если «победы» над местными партийными органами с первого налета и не удавалось добиться.

В университете появились стенды, на которых вывешивались сообщения с мест, — иногда в виде дацзыбао, а чаще — типографски напечатанные листовки, воспроизводящие фотодокументы. На них можно было видеть замученных людей, изуродованные трупы, сарай с петлями и крючьями для пыток и убийств. Особые стенды предназначались для Аньхоя, Ганьсу, Сиани, Чунцина, Фуцзяни и других районов страны.

В своих листовках хунвэйбины клеймили «белый террор» местных партийных органов. Я помню набор жутких фотографий с надписью «Семьдесят дней белого террора в Сиани», где, если верить листовкам, совершались массовые убийства хунвэйбинов.

В сентябре в Пекине еще можно было читать воззвания и обращения местных организаций, в которых говорилось об издевательствах хунвэйбинов над партийными работниками и опровергалась хунвэйбиновская пропаганда. Обе стороны так рьяно уличали друг друга во лжи, что разобраться в происходящем было нелегко.

Как чи странно, в Китае в это время процветала бесцензурная печать — стенная, правда, но все же. Зная, что зачинщики и нападающая сторона — хунвэйбины, я все же принимал на веру сообщения обеих сторон. Когда помещали фотографии людей с обрезанными ушами, выколотыми глазами или же груды отнятых у хунвэйбинов плеток, — этому, я чувствовал, следовало верить. Когда же хунвэйбины после поражений печатали снимки своих людей с переломленными руками и ногами, пробитыми головами, в крови и синяках — я тоже верил: ведь не все те, на кого они нападали, шли с покорностью баранов на заклание! И если хунвэйбинов выгоняли из какого-нибудь города, то это было возможно только ценой крови. Сообщения ужасали огромным числом — сотнями и тысячами жертв, но именно цифрам трудно было верить, потому что обе стороны стремились раздуть «преступления» противников, чтобы оправдать «ответную меру самозащиты». Конечно, когда сам не видишь происходящего, а сообщения неофициальны, в них может быть и чистейший вымысел.

«Развернем народную войну против врагов культурной революции!» — таков был ответ хунвэйбинов на неожиданное сопротивление периферии набегающим из столицы волнам «культурной революции». Их дацзыбао призывали в духе учения Мао Цзэ-дуна о народной войне объединить «революционные силы» в единую организацию, «поднять на бунт (цаофань)¹ широкие массы рабочих и крестьян»,

¹ Впоследствии, в 1967 году, когда меня уже не было в Китае, из молодых служащих, рабочих и крестьян, примкнувших к движению хунвэйбинов, образовались отряды цаофаней («бунтарей»).

расправляться с противниками по-военному решительно и беспощадно. «Очистим страну методами народной войны от всех негодяев, паразитов и классовых врагов! Утвердим навечно идеи Мао Цзэ-дуна в масштабе всей страны!»

Идеи новой «народной войны» впервые были выдвинуты хунвэйбинами Пекинского университета.

Вернувшись в Пекин, столичные боевые группы и отряды хунвэйбинов устраивали еще и показательные суды над провинциальными партийными комитетами. Они собирали на эти театральные действия, происходившие часто всю ночь, хунвэйбинов со всего Пекина. В сентябре, насколько мне известно, такие судилища учинили над провинциальными комитетами КПК Аньхой, Фуцзяни, Ганьсу и Шэньси.

Сами по себе такие судилища объективно означали, что первый натиск хунвэйбинов был отражен и свергнуть провинциальный комитет не удалось. Церемонией судилища обычно управлял «боевой отряд».

Обвинение против аньхойского провинциального комитета КПК мне хорошо запомнилось потому, что его вывесили на щите перед входом в Пекинский университет за три дня до судилища. В нем было четыре пункта. Во-первых, кровопролитие и убийства. Оказывается, аньхойский комитет имел «наглость и дерзость» бороться с «посланцами председателя Мао» и даже «выгнать» их, «не остановившись» перед кровопролитием. Во-вторых, репрессии. Отразив атаку столичных хунвэйбинов, провинциальный комитет осознал опасность и начал энергично подавлять местное движение, за что и обвинялся в «выступлении против культурной революции». В-третьих, борьба против идей Мао Цзэ-дуна. Другими словами, отказ «склонить голову перед революционными массами и посланцами председателя Мао». В-четвертых, «монархизм» и поддержка «контрреволюционной буржуазной линии в партии».

На хунвэйбиновском жаргоне «монархизм» означал нежелание партийных организаций и должностных лиц отдать власть хунвэйбинам. «Буржуазной контрреволюционной линией» именовалась поддержка прежнего партийного руководства и персонально председателя республики Лю Шао-ци. В лексике хунвэйбинов «буржуазный» означало только враждебность председателю Мао.

На эти суды, которые рассматривались как важное политическое событие, часто приезжали деятели группы ЦК по культурной революции, приближенные Мао Цзэ-дуна.

* * *

Провозгласив борьбу со старыми нравами, хунвэйбины принялись за разрушение памятников культуры. Но реакция во всем мире была столь единодушно осуждающей, что в начале сентября Чжоу Энь-лай издал директиву Государственного совета по охране памятников. Чтобы директива была действенной, служителей музеев самих объявляли хунвэйбинами. Но директива несколько запоздала: безнаказанный вандализм хунвэйбинов за десять дней погубил столько древних ценностей, сколько не сделало разрушительное время. Начали они с того, что предписали жильцам старинных домов в трехдневный срок уничтожить лепку на карнизах, скульптуру на крышах, надвратные и коньковые скульптуры, каменных привратных львов. Чтобы избежать нападения хунвэйбинов, люди покорно взялись за молотки. Сами хунвэйбины в поте лица уничтожали украшения на старинных общественных зданиях, магазинах и в парках. В центральном городском парке Бэйхай они заставили дирекцию срубить мраморные горельефы буддийских храмов шестисотлетней давности. Старинный район Пекина — Цяньмэнь — они решили обратить в безликую казарму.

Храм Лазоревых облаков — Биюньсы — слезился пятьюстами статуями, вырезанными из дерева. Каждой из этих позолоченных фигур буддийских святых — архатов или лоханей — искусные резчики придали неповторимое своеобразие черт и позы, у каждой что-то в облике подчеркнуто, утрировано, и это делает вполне земной человеческий образ как бы отмеченным свыше, накладывает печать свя-

тости. Хитроумно размещенные статуи создают полную иллюзию собрания живых людей — движущихся, говорящих, смеющихся, увещевающих, созерцающих. Я спросил у привратника, целы ли они. Он оживился, в нем проснулся дух хранителя древностей. Позабыв, что он сам теперь тоже хунвэйбин, этот далеко не молодой китаец принялся возбужденно рассказывать:

— Они пришли сюда толпой. Мы все, служащие, встретили их у входа. Отговаривали, пытались удержать. Но они ворвались силой. Уничтожали изображения, сосуды, статуи. Все храмы по главной оси разгромлены. Утварь они унесли. Если нести было не под силу одному, они хватали вдвоем и уносили. Погибли все будды. Они сбивали лепку, изувечили каменные изваяния и барельефы. А до архатов они просто не добрались, — тут рассказчик хмыкнул, — не знали о них. К ним надо свернуть на запад от главной оси храма. Они не заметили вход в палату с архатами. А все другие помещения сильно пострадали.

Буддийские храмы в Китае располагаются строго симметрично к центральной оси север—юг и сильно вытянуты в длину. Идет анфилада замкнутых дворишков. в конце каждого — главная палата с центральным изваянием. Такое расположение символизирует восхождение на круги неба.

Я поинтересовался, как обстоит дело с храмом Возлежащего Будды, расположенным неподалеку.

— Он тоже пострадал, — сказал хранитель, — но меньше нашего.

У ворот храма Возлежащего Будды — Вофосы — дежурили молодые девушки-хунвэйбинки. Они не пустили меня внутрь и не желали разговаривать. Издали я разглядел первую храмовую палату. К счастью, изваяния в ней уцелели, но хунвэйбины залепили их своими бранными дацзыбао, превратив древние статуи в какие-то пугала. Здесь они, видимо, не столько разрушали, сколько оскверняли памятники. Знаменитый Возлежащий Будда тоже уцелел.

В окрестностях Пекина сильно пострадал Бадачу — Восемь великих мест — парк, на горных склонах которого расположено восемь древних буддийских храмов. Но туда мне не удалось попасть, и я поехал в Ихэюань.

Ихэюань — самый популярный парк Пекина. Здесь так хорошо было кататься по озеру в лодке, прогуливаться в расписных галереях! Теперь парк обезлюдел. Но следы от пребывания хунвэйбинов остались — замазаны и закрашены аляповатыми цветочками старинные росписи в галереях. «Целомудренные» хунвэйбины истребили все женские изображения. Сумбур «культурной революции» сказался и в этом — замазывали фигуры красавиц и оставляли императорских генералов-феодалов. Закрасили старинные каллиграфические надписи над воротами и входами и развесили свои лозунги. Странно и обидно было видеть, как молодое поколение подрастающей интеллигенции из всех сил старается уничтожить или осквернить драгоценные памятники прошлого.

* * *

Мне хочется рассказать еще об участии моего преподавателя Го.

На последних занятиях, в начале июля, профессор Го был нервным, бледным и утомленным. Он опаздывал, но по-прежнему не ограничивал время занятий и охотно отвечал на все вопросы. Несколько наших занятий мой фудאו Ма конспектировал особенно старательно.

В конце июля Ма вручил мне листок с перечнем выбранных мест из старых книг, которые мне следует читать в каникулярное время. Рекомендательный список был написан рукой профессора Го.

В августе я совершенно случайно встретил его у административного корпуса. Он шел медленной, полной достоинства походкой, свойственной китайским интеллигентам, в своем расстегнутом пальто из легкого синего драпа, выделяясь среди студенческой толпы. Со спокойным достоинством, неторопливо он рассказывал, что и как я должен читать.

В сентябре я спросил у Ма, когда же возобновятся занятия.

— Занятия у тебя будут, но преподавателя Го не будет, — сказал Ма. — Он не допущен более к преподаванию.

— В чем же он провинился? — как можно более равнодушно осведомился я.

— Занятия, которые он проводил с тобой, не имели ничего общего с идеями Мао Цзэ-дуна.

— Да, но Мао Цзэ-дун ничего не говорил о моем предмете, — возразил я.

— Ну и что ж, что прямо не говорил. У нас сейчас главное — во всем исходить из идей Мао Цзэ-дуна и никогда не забывать о них. Го занимался с тобой по два, по три, по четыре часа и ни разу не вспоминал о председателе Мао!

— Ты говоришь это мне или уже успел высказать всем?

— Я заявил об этом на собрании факультета, — ответил Ма.

— Как же ты мог так поступить? Ведь он был твоим учителем! Ты же занимался с ним три или четыре года! — возмущился я.

— Четыре... — растерянно сказал Ма. Все же он не гордился собой.

Ма закончил разговор обещанием подыскать мне другого преподавателя.

Через несколько дней я увидел профессора Го снова. Быстрым шагом, бледный и решительный, он шел к стадиону, где бурлило очередное хунвэйбиновское собрание. Его сопровождала девушка с повязкой хунвэйбина. Значит, профессор Го тоже попал в «уроды и чудовища»! Рук ему, правда, пока не выкручивали.

Я считал себя вправе знать, в чем обвиняют моего учителя. Нарушив обещание не читать дацзыбао, я направился в «Аллею уродов и чудовищ», где с обеих сторон были натянута на кольях рогожи, обклеенные дацзыбао, в которых факультеты обличали своих факультетских «уродов и чудовищ».

Каждому «уроду и чудовищу» отводилась статья. В левом углу помещали карикатуру, чтобы «урод» действительно выглядел уродом, а для вящего устрашения перечеркивали ее красным крест-накрест. Справа — крупным черным шрифтом — фамилия осужденного. Внизу убористо — биография виновного: ни одного доброго слова, одни только поношения — человек подавался черным с головы до пят, от рождения до осуждения. Большинство «чудовищ» были коммунистами, и о каждом писали: «в таком-то году пролез в партию», даже если это было время чанкайшистского режима и человек рисковал жизнью, вступая в КПК.

На филологическом факультете число осужденных заходило за сорок, среди них оказались и декан, и его заместители профессор Го и Лю, знакомый мне по встрече в феврале, и все партийные активисты, и старый, известный исследователь древней литературы Хуан Яо-мянь.

Число биографий на стенде возрастало весь сентябрь месяц. Машина опорочивания интеллигенции, запущенная в июне, продолжала крутиться. Сначала «уродов и чудовищ» в нашем университете набралось человек сто пятьдесят, потом их число дошло до ста восьмидесяти трех и наконец перешагнуло за двести. И это только в одном вузе! «Культурная революция» грозила унижением и издевательствами каждому образованному человеку.

Я прочел две обвинительные статьи о людях, которых знал.

Биография профессора Го была написана по очернительской схеме. Он вступил в партию поздно, в 1960 году, и поэтому его объявили карьеристом. Он вел большую общественную работу и, помимо должности заместителя заведующего факультетом, входил в состав редакции отдела «Литературное наследство» газеты «Гуанмин жибао», а также в состав редакции лингвистической серии издательства «Просвещение». За это его обвиняли в честолюбии и жажде власти. Профессора Го изобличали в «преступных связях с Дэн То» — Дэн То публично пожал ему руку и сказал: «Ваше имя мне знакомо по вашим статьям!» Эта преступная связь возникла пять лет назад, когда второй секретарь пекинского горкома КПК прибыл в Педагогический университет, чтобы ознакомиться с его жизнью и с руководящими работниками университета. На филологическом факультете парторг университета Чэн представил ему заведующего факультетом и обоих заместителей.

В том, что Дэн То сказал такие слова профессору Го, не было ничего удивительного — Дэн То был образованным человеком, а профессор Го — выдающимся ученым, автором многочисленных научных статей по китайской филологии. Но через пять лет рукопожатие Дэн То привело к обвинению в причастности к «черной банде». Второй изобличающей профессора Го уликой было то, что при утверждении несколько лет назад списка редакторов «Литературного наследства» Дэн То подробно обсуждал каждую кандидатуру, но, дойдя до его имени, ограничился замечанием: «Это имя мне известно».

Отсюда следовало безапелляционное заключение: «Личные связи привели к преступной идейной близости большого правого чудовища и уroda Го со злодеем Дэн То».

Наконец, следовала третья, сильнейшая улика: «При обыске квартиры Го был обнаружен экземпляр книги Дэн То «Вечерние беседы в Яньшани». Го признался, что покупал книгу на собственные деньги и читал ее».

В последний раз я видел профессора Го в середине сентября. Он шел один по аллее университета, как всегда, неторопливо, в знакомом мне пальто. Лицо его осунулось, скорбные складки залегли в углах губ. Я был рад, что самое страшное все же его пока миновало, но не знал, как он отнесется к неожиданной встрече со мной, и поздоровался кивком головы. Он сразу же остановился и заговорил со мной — расспрашивал о моих планах и ходе занятий. Он был непринужден и вежлив, но сколько в сложившихся обстоятельствах стояло за этой непринужденностью мужества и решимости, которые не всякому даны. Все проходившие оставались и смотрели на нас с неподдельным изумлением: в стране шла «культурная революция» и каждый неосмотрительный шаг мог привести человека к гибели. А профессор Го — заклеенный и осужденный — на виду у всех разговаривал с иностранцем, да еще из Советского Союза, сохраняя всегдашнее достоинство.

* * *

Новый учебный год для меня официально начался, но заниматься мне после осуждения профессора Го было не с кем.

Двадцатого сентября всех советских студентов и стажеров вызвали в посольство — таких набралось только пять человек. Нас уведомили, что китайское правительство решило сделать перерыв в учебе своих студентов, и поэтому иностранные студенты и стажеры должны выехать к себе на родину в ближайшие две недели. Посольство предлагало нам готовиться к отъезду.

Но когда я вернулся к себе в Педагогический университет, ко мне явился сотрудник канцелярии Сюй и вместо сообщения об отъезде уведомил, что университет с 23 сентября организует мне занятия. Действительно, в указанный день Ма представил меня новому преподавателю — Ханю.

Хань был еще молодой человек — лет двадцати девяти, — высокий, с болезненным, бледным лицом. Он окончил Фуданьский университет в Шанхае в 1959 году и с тех пор вел спецкурс по древней китайской прозе в Пекинском педагогическом университете. Я сказал, что по невежеству своему незнаком с его работами.

— К счастью, я напечатал только две-три незначительные заметки. Ведь каждый научный работник должен отчитаться перед массами за все напечатанное им после Освобождения, — бесцветным голосом сказал Хань. — Надо признаться в ошибках, и объяснить свои преступления, и просить прощения за содеянное. Мои заметки тоже были ошибочными.

— А о чем вы писали?

— О социалистическом реализме в литературе. Очень ошибочные заметки. Я уже за них отчитался.

— Тогда вам действительно повезло! — заметил я.

* * *

Итак, в сентябре 1966 года центром, осью всей китайской жизни стали хунвэйбины. И стать хунвэйбином было совсем не просто. Большая часть студентов,отягощенная прошлым, то есть если они были членами КПК или китайского комсомола, не могла быть ими. Выходцы из мелкой буржуазии и дети партийных работников, если они готовы отречься от родителей, могли стать «сочувствующими».

Мой фудао Ма энергично пробивался в ряды хунвэйбинов. Мы вернулись с ним из поездки по стране, когда отряды были уже созданы, и он подпал под регулирование приема. К тому же у Ма был и очень большой «недостаток» — он был членом партии, и притом выполнял ответственное поручение «черного парткома» — работал со мной, «советским ревизионистом».

Ма сразу же, в августе, примкнул к «сочувствующим» и принял деятельное участие в «бунте» на филологическом факультете, где «культурная революция» развивалась всего медленнее. На этом поприще у него скоро появились и «революционные заслуги»: он способствовал «разоблачению» профессора Го, своего учителя, и других выборных партийных работников факультета. Так возникли основания просить о приеме в ряды хунвэйбинов.

Но тут был и определенный риск: отказ в приеме означал для него политический крах. Ма пошел на риск и подал заявление. Перед ним поставили вопрос, на который он был обязан ответить публично, на собрании отряда, и предоставили недельный срок на подготовку. Всю эту неделю Ма просидел в комнате, почти не отлучаясь. Он нервничал, исписывал кипы бумаги, рвал написанное. Он забился в угол, скорчившись и повернувшись спиной ко мне, словно боялся, что я буду заглядывать в исчерканные листки...

Наконец, наступил решающий день. Ма ушел и вернулся поздно вечером взволнованный и торжественный, с красной повязкой хунвэйбина отряда «Маоцзэдунизм».

«Распространять опыт культурной революции — дело хорошее!» — таков был лозунг «молодых революционеров» с первых же дней. Уже в июле на Пекин хлынула потоком молодежь из провинций. Студенчество и учащая молодежь съезжались в столицу со всей страны «перенимать опыт» и «устанавливать связи». Столица задыхалась под наплывом миллионных масс, население Пекина по меньшей мере удвоилось.

Хунвэйбины, приезжавшие в столицу из разных провинций за «революционным опытом», толпами бродили из вуза в вуз, всенепременнейше посещали площадь Тяньаньмэнь и Гугун — бывший императорский дворец. Они добивались права лицезреть самого председателя Мао, и он принимал их не меньше чем миллион за раз, показываясь на правительственной трибуне центральной площади. Был даже такой случай, когда он спустился с трибуны и прошелся по площади среди расступающейся в истерическом экстазе толпы.

В сентябре масса направляющихся в столицу хунвэйбинов запрудила железные дороги страны. Ехали они и на автобусах. Даже грузовики были реквизированы на экспрессные перевозки хунвэйбиновских отрядов. Дело дошло до того, что хунвэйбины пытались отобрать транспорт у воинских частей и армейских учреждений.

«Товарищи с периферии», благо погода стояла еще сносная, располагались на ночлег где придется, но потом стало худо — осень в Пекине в 1966 году была необычно пасмурной, с частыми дождями. Приезжие хунвэйбины запрудили все университеты. У нас они заняли семиэтажный административный корпус, аудитории филологического факультета, библиотеку. Под конец, чтобы как-то устроить их, начали «уплотнять» семьи преподавателей. Уплотняли по простой схеме: из грех жилых корпусов один высвободили для приезжих. В освобожденном здании полы во всех комнатах застелили камышовыми матами: чтобы можно было спать впопалку. Надо сказать, что пекинские хунвэйбины недолюбливали приезжих, и неприязнь порой доходила до стычек. Они требовали ограничить их пребывание

в столице жестким сроком в десять дней, ввести ограничения в питании — люди, мол, приехали в Пекин изучать идеи председателя Мао, а не обжираться, и поэтому запрещали продавать приезжим фрукты, мясо, яйца.

Иногда столкновения возникали на политической почве. Особенно ожесточенным было столкновение у медицинского института. Там у ворот повесили транспарант: «Нереволюционные приезжие с периферии, катитесь вон!»

В Педагогическом университете для приезжих, когда они прибывали крупными организованными партиями, устраивали выставки осужденных. Их пригоняли десятками, выстраивали в ряд вдоль аллеи с фанерными щитками в руках. Университетские хунвэйбины выделяли экскурсоводов, которые сопровождали группы приезжих; они приказывали осужденным повторять вслух написанное на их щитках и на одежде, чтобы местные могли воочию убедиться, что прежде почитаемые профессора, преподаватели и партийные работники беспомощны перед ними, «молодыми революционерами».

Обычно освоение «революционного опыта» шло гладко и приносило зримые плоды. Так, студенты Цзилыньского педагогического института, переняв опыт пекинцев, по возвращении устроили у себя такую же «культурную революцию».

Но случалось, что «периферийные товарищи» резко осуждали издевательства и бесчеловечное обращение, отказывались понимать «преступления» жертв «культурной революции». Тогда их со скандалом выпроваживали с университетской территории и объявляли «контрреволюционерами».

За летние месяцы через наш университет прошли представители молодежи чуть ли не из всех провинций Китая, часто из совсем глухих углов, из уездных училищ и техникумов. Они охотно знакомились с иностранцем, проявляли большое любопытство, разговаривали весело и свободно, держались куда проще и приветливее пекинцев. Неприязнь и мнительность, лицемерие и подозрительность были явно чужды юным провинциалам. Для них, выросших в условиях герметической изоляции, а потому полных любознательности и интереса к самым обычным вещам, «культурная революция» представляла небывалым празднеством. Ведь многим из них и не снилось побывать в Пекине...

Мне постоянно приходилось встречаться с приезжими хунвэйбинами, и я с интересом разговаривал с ними. Многие из них были наивны, простодушны.

Как-то ко мне подошел в парке университета юноша и спросил:

— А у вас здесь нет рыжего соотечественника? Я слышал, что среди белых бывают голубоглазые и рыжие. Очень хочется посмотреть!

Я не мог сдержать улыбки, да и помочь тоже не мог. Тогда он спросил:

— А в каком пекинском вузе есть негры?

Я сказал, что их больше всего в Институте языка.

— Схожу туда во второй половине дня обязательно, — твердо решил юный связной «культурной революции».

Расспрашивая о Советском Союзе, провинциалы проявляли дремучее невежество. Китайская пропаганда внушала населению, что советский народ голодает. Меня почти все расспрашивали, достаточно ли у нас хлеба, доступно ли у нас всем мясо.

И это спрашивали люди, которые сами ели мясо только по большим праздникам. Трудно было объяснять им, что в нашей стране нет семей, которые бы не ели мяса, сливочного масла и молока ежедневно. В Китае сливочное масло почти не едят — так мало его производится, — и даже грудных детей подкармливают не молоком, а рисовым отваром, потому что дойных коров не держат в китайской деревне. Когда я говорил им о том, как у нас живут люди, то всегда чувствовал, что мне попросту не верят, так невероятно это звучало в китайских условиях. Экономическую реформу в СССР пекинская пропаганда объявила «буржуазным переждением».

Приходилось объяснять, что в СССР жизнь идет совсем иначе.

— Вы довольны, что стали студентом? — спросил я как-то в автобусе своего соседа-хунвэйбина.

— Нет,— решительно ответил он.

Когда я рассказал, что в СССР у всех тяга учиться, повисить свое образование, стать инженерами и специалистами, он сказал с подкупающей честностью:

— В Китае не так. У нас не стоит быть интеллигентом...

* * *

Когда национальный праздник КНР — 1 октября,— требовавший соблюдения приличия, миновал, хунвэйбины словно сорвались с цепи.

Сидя на скамейке в парке, я слушал иступленную, сбивчивую речь. Оратор — по голосу совсем мальчишка — часто срывался на визг.

— Не верьте кадровым работникам партии! — кричал он. — Пусть они держат ответ перед революционными массами!.. Обезвредим мины замедленного действия вокруг председателя Мао! Предатели скрываются внутри партии — смерть предателям!

Толпа бесновалась. Кто повторял каждый призыв оратора, кто свистел, кто кричал что-то свое, кто топал ногами.

— Да здравствует самое, самое, самое... — тут оратор захлебнулся,— самое наипрекраснейшее красное солнце, наш великий учитель, великий вождь, великий полководец и великий кормчий — председатель Мао! Слава, слава, слава!..

Он повторял возглас «слава!» еще долго, голос утонул, потерялся в вое. Но тут же низкий баритон зарокотал по-деловому:

— Комитет по культурной революции нашего университета кишит пролезшими в него членами партии! Они злобные монархисты, консерваторы, враждебные идеям Мао Цзэ-дуня! Революционные товарищи! Долой комитет культурной революции! Бунт — дело правое!

Боже, что тут поднялось! Крики перешли в вопли, кого-то давили, кого-то били, толпы — судя по топоту сотен ног — металась по полю, и вдруг мимо меня пронеслась человеческая лавина.

— Долой! Разгоним! — слышались выкрики среди топота и сопения.

За обедом я узнал, что сторонникам комитета вновь, хотя и не без труда, удалось отстоять его. «Революционное меньшинство», потерпев неудачу, организовало массовое шествие под лозунгом: «Надо начинать с головы!» Перед библиотекой ораторствующий хунвэйбин призывал «идти на горком»:

— Комитет опирается на новый горком, возглавляемый Ли Сюэ-фэном! Они проводят оппортунистическую линию саботажа культурной революции! Долг каждого революционера, не боясь трудностей и не страшась смерти, сбросить Ли Сюэ-фэна, разогнать новый пекинский горком!

Новый горком, подумал я, держится уже пятый месяц. Ли Сюэ-фэн приезжал к нам в университет вместе с Цзян Цин, почему же он впал в немилость?

— Новый горком спелся со старым! — кричала выскочившая на трибуну девушка. — Они возвращают прежних работников и советуются на дому с членами старого горкома! Новый горком только называется новым, по существу же это старая черная банда. Долой Ли Сюэ-фэна! Долой новый горком!..

Распаленные призывами хунвэйбины покинули университет и колонной направились в город — громить новый столичный горком.

Блокада здания горкома и митинги вокруг него длились несколько суток, они продолжались и после моего отъезда из Пекина. Хунвэйбины все же добились своего, и вскоре секретарь пекинского горкома Ли Сюэ-фэн был снят. Второй по счету менее чем за год! Третий состав столичного горкома во главе с У Дэ в 1967 году тоже пытались разогнать, но его восстановили, и У Дэ вошел в созданный позднее маоистский «ревком». Очевидцем этого я уже не был...

* * *

Узнав, что я на днях уезжаю, ко мне пришли вьетнамцы — прощаться.

Года не прошло, как я увидел их здесь, в университете, но как они переменились! Даже внешне выглядели иначе. Раньше вьетнамцам нравилось одеваться по-

китайски — в синюю форму. Только по торжественным случаям на них появлялись пиджаки, а на девушках — длинные до земли платья из тонкого белого шелка. Но в последние месяцы редко кто из них надевал китайскую одежду. Большинство носило европейские костюмы, нейлоновые рубашки с галстуками. Тщательно причесанные, наутюженные, подтянутые, ребята захотели быть иностранцами в стане «культурной революции». Даже внешне они всячески отгораживались от происходящего в стране.

Смесь и болтая, мы проходили вдоль утренней линейки хунвэйбинов. Сотни юношей и девушек в зеленом армейском обмундировании стояли, разбившись на отряды. По знаку своих командиров они дружно подносили к лицу красные книжечки изречений Мао Цзэ-дуна. Хрипло щелкали слова команды:

— Раскрыть тридцать вторую страницу! Приготовиться!

Приняв положение «смирно», хунвэйбины застыли с раскрытой красной книжечкой в правой руке. Зычным голосом командир прочел заглавие раздела. Следом за ним стали читать хором остальные, четко скандируя слова. Голоса читающих были невыразительны, лица постно-торжественны — отбывалась утренняя повинность.

Перед строем хунвэйбинов рядом с молодыми командирами сегодня стояли люди постарше, в армейской форме, со звездочкой на кепи. На рукавах у них была повязка с надписью: «Политический инструктор». Да, постепенно тайное становилось явным. На авансцену выходила из-за спины хунвэйбинов армия — главный козырь маоистов. Она, видно, должна была доделать то, с чем сами хунвэйбины не в силах были справиться.

Начиная с сентября армия принялась обмундировывать хунвэйбинов. Сначала им выдавали со складов поношенное, некомплектное обмундирование. Поэтому самые первые, заслуженные хунвэйбины, ветераны движения были в застиранной и выцветшей армейской форме, причем кому достался один френч, кому — брюки, очень редко у кого была полная форма. Затем хунвэйбинам стали выдавать новую зеленую ткань из военных фондов, и сентябрьские хунвэйбины вырядились в новенькую, сшитую на себя армейскую форму. Военные кепи были почти у всех, но вместо армейской красной звездочки там сиял на красном фоне золотой Мао Цзэ-дун. Только обуты хунвэйбины были по-прежнему в кеды.

Приблизился день отъезда. Я упаковывался, когда ко мне в комнату явились Сюй и еще один сотрудник канцелярии.

— Вы уезжаете по собственной воле! — заявил он резко. — Университет не поднимал вопроса о вашем досрочном отъезде.

— Позвольте, как же так? — возмутился я. — Еще две недели назад Министерство высшего образования потребовало досрочного отъезда советских студентов и стажеров. Представителей посольства специально вызывали и уведомили. Официально.

— Нам об этом ничего не известно, — твердили представители канцелярии. — Вы уезжаете самовольно. Мы не будем ни провожать вас, ни в чем-либо содействовать вам.

На следующий день, 6 октября, я приехал в университет, чтобы сдать китайские документы. У ворот я сказал привратнику, что приехал в последний раз.

Со мной сердечно попрощались в столовой для иностранцев, а в канцелярии снова начался разговор. Меня опять убеждали, что «высылка выдумана посольством».

Я управился со всеми делами и удивлялся, что машины из посольства, которая должна была прийти за мной, все нет.

— Вот видите, как обращаются ревизионисты с советскими людьми! — гнул тем временем свое сотрудник канцелярии.

Я не стал его слушать дальше и, распрощавшись, пошел по центральной аллее к воротам.

Кого тут голько не было! Наши университетские хунвэйбины принимали своих сотоварищей из других столичных вузов и приезжих из провинций, прибывших для «обмена опытом». Счет гостям шел на тысячи. Провинциальные хунвэйбины толпами выстраивались возле «важных» или «исторических» дацзыбао и конспектировали их, одновременно внимая поучениям хунвэйбиновских экскурсоводов. Примерно треть толпы, медленно ползущей по увешанной дацзыбао аллее, составляли солдаты НОАК. Они приходили к университету отделениями и взводами, но у ворот ломали ряды и направлялись на обучение к хунвэйбинам. Солдаты держались сдержанно. Они смотрели и учились.

До ворот меня провожал один Ма. По дороге я спросил его, действительно ли он не знал о моем досрочном возвращении на родину. Ма уверял, что нет.

У ворот недоразумение с машиной выяснилось.

— Вашу машину я только что отослал. Она уже дважды приходила сюда, — сказал привратник. — Я забыл, что вы здесь.

Мимо шли машины, переполненные хунвэйбинами, — в городе проводилась «революционная операция» у горкома. К счастью, один автобус остановился около университетских ворот, и из него вышла группа хунвэйбинов. Я помахал Ма рукой и вскочил, пока не закрылась дверца. Я ехал по китайской столице, а вокруг меня хунвэйбины пели песню о великом кормчём.

Поезд отходил вечером. Автобус посольства, который увозил нас на вокзал, заполнили провожающие. В рано наступившей темноте автобус пробирался по узким пекинским улицам, избегая широких магистралей, которые могли быть закупорены хунвэйбиновскими шествиями.

Наконец, мы выбрались на вокзальную площадь и стали. Всю ее сплошь заполнили хунвэйбины. Кто стоял, кто сидел, кто лежал. Их были тысячи. Кто приехал в столицу за «культурной революцией», а кто возвращался домой насаждать «революционным путем» идеи председателя Мао.

Автобусу пришлось в объезд по узким грязным переулкам пробираться к багажному отделению. Времени оставалось немного, все дружно помогали нам размещаться. Впятером мы расположились в двух купе. Прощание было кратким, поезд тронулся и пошел к монгольской границе, унося нас за грань «культурной революции». Монгольский пограничный столб — и мы вне досягаемости произвола хунвэйбинов. Я даже как-то распрямылся весь, вдруг почувствовав, насколько нелегко было жить в условиях «культурной революции».

И вот с начала китайских событий, очевидцем которых я был, прошло уже полтора года. Все сроки, намеченные маоцзэдуновцами для «окончательной победы культурной революции», миновали, а победы что-то не видать. Междоусобицы среди самих маоистов приводят к массовым кровопролитиям. Теперь уже совершенно открыто армия устанавливает контроль над всей жизнью страны. Рядом с нею маршируют и действуют боевые отряды хунвэйбинов и цзаофаней — им дали оружие против возмущенного народа. Творческая жизнь в стране остановилась: нет литературных журналов и книг, нет новых кинофильмов и пьес, все затоплено сочинениями Мао Цзэ-дуна в сотнях миллионов экземпляров. Не хватает продовольствия и угля, люди мерзнут и недоедают, но по-прежнему испытываются ракеты и ядерное оружие... Все это вызывает горечь, боль и тревогу за судьбу китайского народа.



ДАНИИЛ ГРАНИН

★

ДВА ЛИКА

(Заметки писателя)

В гол улицы Пржевальского и Столярного переулка; я стоял, поджидая товарища. И только потому, что нечего было делать, вдруг заметил вмурованную в стену мраморную доску: «Уровень воды 7-го ноября 1824 года». И черную черту. Доска была старая, тех лет. И рядом вторая, с той же надписью по-голландски. Дом был старый, тот самый, в котором жил Раскольников, Родион Раскольников, в своей каморке под крышей. Дом, описанный со всеми подробностями в «Преступлении и наказании», выисканный Ф. М. Достоевским, а затем, спустя многие годы, опознанный внуком Достоевского — Андреем Федоровичем Достоевским. Он-то и показал мне этот дом, водил меня по его лестницам, но и он не видел этих досок.

Почему метка наводнения оказалась именно на этом доме, стоящем далеко от Невы? Черная черта вдруг перечеркнула все случайности и стечения обстоятельств и соединила для меня, в который раз, Пушкина с Достоевским, Евгения с Раскольниковым, два Петербурга, двух любимых моих писателей, две великие вещи, созданные ими. Они соприкоснулись на углу этого дома, встретились неожиданно, помимо всяких литературоведческих сопряжений.

Прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. По этой прямой самым кратчайшим наглядным образом столкнулись и два Петербурга: Петербург «Медного всадника» и Петербург «Преступления и наказания», самая петербургская вещь Пушкина и самый петербургский роман Достоевского.

Разумеется, можно всячески обыгрывать эту, в сущности, случайность, окутать ее поэтическим, а то и полумистическим туманом, но вода поднялась так высоко, что на поверхности осталась лишь игра случая. Тайный смысл, внутренние, скрытые законы, связи, которые, цепляясь друг за друга, изгибались отнюдь не по прямой, — все было скрыто, и я лишь ощущал их. В чем?

Формулы, формулы... Всякий раз их ищут, добиваются, чтобы потом опровергать их. В том-то и мучение и радость, что обе вещи эти — истинно гениальные, не умещаются в формулы. Они многозначны, и многозначности их хватило на толкования уже несколькими поколениями русских читателей.

Как только не определяли идею «Медного всадника». Какие только толкования не предлагали разные эпохи и разные ученые. И не только ученые — Брюсов предлагал, Мережковский, Антокольский. И все толкования были правильны. Интересны. Глубоки. Аргументированы. И разные. Сейчас многие из них кажутся устаревшими, упрощенными, но тогда они выглядели весьма убедительно. Это про «Медный всадник». А про гоголевские «Записки сумасшедшего», а «Портрет», «Нос»? А «Смерть Ивана Ильича»? А Достоевский? А у Лермонтова — его «Фаталист», его драмы? А Блок? А «Пиковая дама»? А «Мастер и Маргарита»? Странная это литература. Что хотел сказать автор? Может, то, а может, совсем другое. Все реально, и все двух-, трех-, четырехмысленно. А кроме того, за всем брезжит еще неразгаданный смысл, который один раз увидится так, а другой раз иначе. И обязательно что-то у каждого читателя непонятное остается.

Какая-то смущаемость, неуверенность — так ли я понял и понял ли до конца. Являлась ли Герману старая графиня, откуда он узнал про карты, что это все означает? Странно. Но эта странность влечет, заставляет вновь мысленно возвращаться, и всякий раз заходишь все дальше и никогда не можешь добраться до конца. Всегда что-то остается. Что-то непонятное, таинственное, и опять можно заходить с другого бока, поворачивать по-иному. Все формулы годятся, и все они недостаточны для этой странной литературы.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

Если б я мог начать о «Медном всаднике» вот так же сразу, с самого главного. Труднейшее это искусство — начал. Никто, пожалуй, не умел так начинать, как Пушкин. «Гости съезжались на дачу» — как это восхищало Толстого. А «Пиковая дама» — «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Что может быть проще, деловитей, необходимей. Действие начинается как бы до первой фразы. Подобное начало действует как музыкальный ключ — «Гости съезжались на дачу», — и Толстой, прочитав «неволью, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман [«Анна Каренина»]...».

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

С детства это вошло в сознание картиной, зримой и красочной, — берег и на нем фигура огромного, в распахнутом кафтане с непокрытой головой Петра — облик, сложенный из всего множества картин, фильмов, книг.

Так же как с детства усвоился образ пушкинского Петербурга, вернее Петербурга «Медного всадника». Только с той разницей, что Петр, существующий у каждого, как бы привносился в поэму, а Петербург выносился из поэмы и прикладывался к панораме Невы, к набережным, дворцам. Красота города выражала себя через пушкинские строфы. Они произносились сами собой, неволью возникая на улицах среди тишины белых ночей, на Марсовом поле, перед этими улицами города, поелеть которых и уяснить себе нельзя иначе, как через эти нестареющие стихи. Вряд ли существуют другие стихи, которые были бы так известны и так часто повторялись. Кажется, что мы никогда и не заучивали их специально, мы просто знали их, словно обживали вместе с городом, неотъемлемо, как Петропавловку или Адмиралтейство. Мы наслаждались музыкой, звучанием этих слов, давно уже не вдумываясь. И вдруг эта метка на доме Раскольникова. Слово вспышка осветила поэму, и сквозь школьные мои представления увиделись, как водяные знаки, скрытые смыслы. Наверное, каждое время, каждое поколение по-своему читало «Медного всадника». И следующее поколение прочитает его иначе, чем мы. Было бы поучительно проследить историю таких толкований. Но я не историк, не литературовед. Я просто перечитывал поэму заново, для себя. Как всегда в таких случаях, обстоятельства сбегались навстречу. Была осень. Ветер с залива поднимал воду в Неве, и в субботу к вечеру она вышла из берегов. Все было, как в поэме:

...над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.

Университетскую набережную залило. Трамваи остановились, машины поворачивали. Вода хлестала из люков, мчалась по улицам. Мальчишки носились, перепрыгивая через мутные потоки на мостовых. Затопило Петропавловские пляжи. На островах аллеи скрылись под водой. Плыли скамейки. Исчезали берега. Уровень воды был куда ниже, чем тогда, при Пушкине, но достаточен, чтобы вообразить, как все это происходило. На другом берегу огромной, вспухшей, яростной Невы возвышался Медный всадник, за ним тяжелая громада Исаакия. Мощь Невы столкнулась с каменной мощью города. Стихия разбушевавшейся воды влекла, восхищала, и в то же время было стыдно за это любо-

вание, потому что я представлял все бедствия, наносимые городу. И представлял отчаянье Евгения. И его беспомощность.

В поэме тоже было двоение чувств.

И двоение мысли.

Все в ней вдруг стало расщепляться. И тогда сразу появились:

Два Петра: Петр живой и Петр — Медный всадник, кумир на бронзовом коне.

Два Евгения: заурядный, бедный чиновник, покорный судьбе, мечтающий о своем нехитром счастье, и Евгений безумный, взбунтовавшийся, поднявший руку на царя. Даже не на царя — на власть.

Два Петербурга: Петербург прекрасных дворцов, набережных, белых ночей, и внутри него, рядом с ним, бездушье чиновничьей столицы, жестокий город, в котором будет жить Раскольников.

Две Невы...

Расщепление проходило сквозь всю поэму, через весь ее образный строй.

Двойственность распространялась в любые стороны, она, как соседние грани, смыкалась каждый раз под новым углом. Раздваивается фигура всадника — один Петр на вздыбленном коне во время наводнения, когда город затоплен, за ним второй всадник — Евгений верхом на льве. Они вдвоем остаются над водой, над затопленной столицей. Тонет город, о котором мечтал Петр, — окно в Европу, порт, выход на простор для России, все флаги в гости. И всплывает Петербург — губитель, убийца, город, в котором гибнут Параша, Евгений, пожитки бедноты, Петербург, не предвиденный Петром, изнанка его мечты, город, где царствует не Петр, а Медный всадник. И снова двойность, как бы две точки, двоение. Но история — это не тетива, натянутая между двумя точками. Да и тетива лишь спущенная становится прямой. А тетива в «Медном всаднике» круто взведена, поэтому так далеко летит стрела нашего воображения.

Тот Петр, который появляется на берегу пустынных волн с первых строк поэмы, это — живой государь, любимец Пушкина, он еще продолжение того Петра, который был в «Полтаве», — прекрасного, стремительного, и того, что в «Арапе Петра Великого» — высокого, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, работника, которого Пушкин знал, к которому часто возвращался.

«Медный всадник», не опубликованный при жизни Пушкина, лежал у него в столе, а Пушкин собирал материалы об истории Петра Великого, продолжая как бы жигь с Петром, со своим последним Петром — последней своей поэмы.

Интерес к Петру был у Пушкина не случаен. России, несомненно, повезло с Петром. Не только в отечественной истории — в истории Европы трудно найти фигуру деятеля, соразмерную Петру. Как личность Петр был гениальным человеком. России повезло в том смысле, что тут совпало все — редкие способности и возможности, самобытность, воля, исторический перекресток, на котором очутился Петр, на котором был выбор, и он этот выбор осуществил.

Из всего поразительного многообразия деятельности Петра Пушкин выбрал для поэмы одно-единственное, не позволяя себе говорить ни о каких других реформах и заботах Петра. О чем думает Петр в «Медном всаднике»? Построить порт, ногою твердой стать при море... — вещи практические, необходимые для России. Среди них есть одна, выраженная образом знаменитым, ставшим поговоркой: Петербург — «окно в Европу». «В Европу прорубить окно» — это окно надо было не открыть, а прорубить, и прорубить изнутри. Прорубить — вот удивительно найденный Пушкиным глагол. Прорубить — означало не только тяжесть строительства нового града на низких, топких берегах, не только деньги, усилия, муки России, закрепление военной победы над шведами. В этом слове перекликаются, отдаются и другие толкования, идущие с тех петровских лет, когда рубился российский флот. Рубили лес для новых дорог, рубились головы стрельцов. Рубились канаты якорей, державших Россию у ветхих причалов, у старых рубежей.

В самом деле, Петербург сначала, с момента основания, задуман был как столица. Дело неслыханное в европейской истории. Бывало, что столицы переносились, — здесь же столица строилась. Новая столица древнего государства, имеющего свою столицу —

Москву. Эксперимент в те времена единственный, без примеров. Но, кроме исторической новации, это означало и нравственный переворот для самой России.

Трудно сейчас представить себе, как воспринялся русским человеком перенос столицы и с нею понятия центра государства российского из Москвы белокаменной, привычной, Москвы-матушки, из Москвы сорока сороков, из Москвы, где в Архангельском соборе покоились почившие цари, из Москвы — собирательницы России в место никому не известное, болотное, на краю страны, в гиблое, чуждое, неосвоенное. Это была катастрофа вековых понятий, покушение на саму систему пространственного мышления, как живо и прочно развитого в русском человеке.

Города на Руси складывались по давно заведенному порядку, особенно когда речь шла о продвижении на север. Селился отшельник, строился монастырь, к монастырю, к святым местам подтягивался, пристраивался город.

Здесь же зерна не было, оно не прорастало, не за что было зацепиться на этой топи. Было лишь сознание необходимости, нужды для России, нужды истинной и давней, которую Петр угадал и осознал если не первый, то во всяком случае наиболее отчетливо, и была воля Петра. Воля, а не произвол. Белинский точно замечает: «Произвол не производит ничего великого... Произвол не состроит в короткое время великого города: произвол может выстроить разве только в а в и л о н с к у ю б а ш н ю, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а разделение языков».

Воля Петра была поистине гигантской потому, что тот переворот в привычных понятиях, о котором говорилось, должен был произойти прежде всего в самом Петре. Такой поступок, просто говоря, требовал огромной личной смелости. Петр не побоялся объявить об этом боярам, дьякам, всей России. Можно было начинать строить Петербург как порт — нет, он начал его строить как столицу. Упреки, несогласия, возмущение, недовольство, обвинения — он ничего этого не убоялся. Он обрубал привычные связи, скрепы, понятия. Может быть, в этом акте большого личного и государственного мужества Петра, этом повороте, совершенном Петром, еще есть много недооцененной историй. России нужно было море. Из всех морей России нужнее всего была Балтика. «Окно в Европу» рубили не для того, чтобы ходить на поклон, а для того, чтобы сблизиться, — «все флаги в гости будут к нам».

В поэме мысли Петра выражены такими литыми формулами истории, которые под стать гению Петра. Так он мог думать.

Но вот мечта Петра исполнилась, замысел осуществился, с размахом большим, может быть, нежели ожидал Петр.

Прошло сто лет, и юный град,
 Полночных стран краса и диво,
 Из тьмы лесов, из топи блат
 Вознесся пышно, горделиво...

Окно в Европу прорублено, все флаги — в гостях, город, стройный и прекрасный, раскинулся по берегам Невы, стал столицей Российской империи, столицей вполне европейской...

А посреди столицы, там, где Он стоял на берегу пустынных волн, поднялся Медный всадник, кумир на бронзовом коне, простерший руку в вышине. Достойная дань потомков. Все прекрасно, дело Петра торжествует. Откуда же в этой праздничной картине возникает мучительное ощущение разлада? Какое-то несоответствие между Петром — и Медным всадником, между Петром, полным великих дум, — и неподвижным кумиром, простершим руку в вышине. Человек — и памятник ему. Живая, мыслящая плоть — и бронзовая копия. Нет, не из этой очевидности возникает расхождение. Медный всадник не просто славное прошлое, воспоминания, память, памятник; он — превращение Петра, он действующее лицо поэмы, он действует, живет той исторической жизнью, которую перетерпел Петр и его дело за минувший век. Облик Петра изменился, и может, трагически изменился — перед нами к у м и р на бронзовом коне.

Они сидят друг за другом — кумир на бронзовом коне и за его спиной, скрестивши руки, на мраморном льве Евгений. Кумир простер руку, Евгений скрестил руки на груди, а все остальное затоплено водой.

Кумир, божество языческое Языческие боги страшны. «Ужасен он в окрестной мгле!»

Петр-человек знал, чего он хотел. Кумир — сила непонятная, действующая по законам, неведомым человеку. Что там в медной голове идола?

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Живой Петр, царь — плотник, шкипер, тот, кто, возвращаясь по Финскому заливу, помогал, по пояс в воде, спасать со шлюпки солдат, Петр этот в часы наводнения действовал бы, воюя со стихией, отстаивая свой затопленный парадиз. Natura Петра деятельная, непокорная року, невозможно представить, чтобы он мог произнести подобно Александру в поэме: «С божией стихией царям не совладеть». Но кумир выше этого, он вне этого, он обращен спиной к Евгению, он воплощение идеи незыблемой, вечной. Разбушевавшаяся стихия уляжется, успокоится, Нева спадет, минует буйная дурь, все вернется в русло, утомится наглым буйством.

Живой, мыслящий гений Петра, его просвещенные замыслы, его реформа стали бронзой, кумиром — то есть идиолом, требующим не мысли, не развития, а слепой веры и поклонения.

В поэме живой Петр занят лишь благом, его замыслы самые светлые, праздничные, его идеи благородные, просвещенные, он просвещенный монарх.

У кумира же идеи нет, кумир требует жертв во имя себя, во имя своей милости — жертв бессмысленных...

Отлитый в бронзу Петр скован, он не в силах ничего изменить, он используется как принадлежность столицы, ее украшение, ее оправдание, а может, ее устрашение.

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

Ничего общего нет у него с тем Петром, который «могуч и радостен, как бой», который прекрасен, «весь как божия гроза». Они не просто разные — они противоположны друг другу.

Медный Петр на коне, на гранитной скале — олицетворение власти, символ, уж не человек, не царь, не личность, а металл, нечто стоящее над ним самим, движущееся в Истории, независимо от его желания: конь несет Петра. Тот конь, которого Петр поднял на дыбы, теперь самоуправно скачет сам, конь хозяин, а не всадник.

Что думал живой Петр, Пушкин мог себе представить. Но этот Петр — воплощение государственности — непостижим, как непостижим он был бы и для самого Петра. Непостижимо, уродливо и страшно превращение, происшедшее за столетие с делом Петра. И с самим Петром, превратившимся в кумира. Медный всадник грозен, но и бес силен, он прекрасен и страшен. Он строитель чудотворный, но он и губитель. Он — Медный всадник. А Петр? Петр — жертва? Впрочем, если уж жертва, то особая. Двоится Медный всадник, но двоится и Петр. Трагедия возникает не только спустя столетие, трагична жизнь самого Петра, его борьба, противоречивость его целей и средств. Он способен к милосердию, но он жесток, он стремится к реформам, но пишет историю кнутом.

В двадцатые годы Петр для Пушкина — еще идеал просвещенного монарха. Если и не идеал, то во всяком случае пример.

В 1826 году Пушкин надеялся на то, что Николай I будет продолжать петровские традиции. Он обращался к нему:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни.

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Надежды не оправдались. Напрасны были примеры петровского размаха, мудрости, незлопамятности. Мерка Петра оказалась слишком велика для Николая. «Государь не рыцарь», — убедился Пушкин; «в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». Куда там прапорщик: вскоре оказалось, что на троне фельдфебель, сыщик, который способен тайком, вместе с шефом жандармов читать письма поэта к жене. Коронованный создатель III отделения уничтожал надежды Пушкина на какой-либо прогресс. Ничтожество, жестокость этого лживого правителя окончательно отделили его от дела Петра, от европейского просвещения, от всего начатого, замысленного Петром. Дело Петра изуродовано николаевской монархией и предано. Прекрасный памятник Фальконе — всего лишь одна из принадлежностей мрачного безвременья, ничего общего с Петром не имеющего, но прикрывающегося именем Петра. Николай обожал, чтобы его сравнивали с Петром, считал себя продолжателем петровских дел.

Вера поэта рухнула. Осталось ощущение стыда, позора уступок, понимание, что так нельзя, что все это гнусно. Было несогласие, отрицание и, как всегда в такие эпохи, нежелание более считать себя удобренным, ибо человек живет «не для воплощения идеи... а единственно потому, что родился, и родился... для настоящего», как писал Герцен. «Пока мы живы... мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею».

Евгений не с историей сводит счеты, не с Петром, не с прогрессом, он восстает на власть, на медную самодержавную власть.

Евгений — это не Пушкин, но Евгений — это и не просто пример жертвы, некая условная фигура, нужная для раскрытия сложности исторического процесса.

Есть творение Петра, град Петров, а есть Петербург Медного всадника. Евгений не в состоянии до конца разделить их, но Пушкин требует, чтобы мы-то их разделяли — творение Петра и столицу николаевской империи с ее Хвостовыми, Булгаринными, Уваровыми, Бенкендорфами.

«Люблю тебя, Петра творенье», — громогласно, с вызовом и пылом юношеских лет признается тридцатичетырехлетний Пушкин в этой последней своей поэме.

Он отбирает самое прекрасное, что есть в этом городе, — его белые ночи, набережные, его зимнюю красу, дворцы, просторы Невы, мосты, Адмиралтейство — все лучшее, что было в пушкинском Петербурге. Он славит творение Петра. Любовь к Петру не самодержцу, а творцу, творческой личности, и любовь к городу, воплотившему творческое начало петровской эпохи, сливаются в гимн — любованье чудом, совершенным за каких-нибудь сто лет из этой пустынной топи блат.

Да, город выстроен на гиблом месте, под морем, затопляемый, но Пушкин любит его безоговорочно, он принимает, оправдывает, защищает замысел Петра, надежды, связанные с Петербургом.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.

Ну, а как же судьба Евгения? Что же, его несчастье, его гибель исторически оправданы? И, значит, Пушкин присоединяется к этому оправданию во имя идеи Петра? Или же он остается в стороне, всего лишь летописец, и раскрывает перед нами диалектику истории, ее неразрешимое, неизбежное противоречие? Но ведь очевидно, что Пушкин на стороне Петра, что дело Петра для него не подлежит сомнению и оговоркам. Что же, пусть гибнут такие, как Евгений? Но нет, он явно сочувствует страданиям своего героя. Что же такое эта поэма — «поэма-вопрос», безответный вопрос, поставленный перед историей?

А может, сложность в том, что он, Пушкин, на стороне Петра, и он, Пушкин, на стороне Евгения? Он с Петром против Медного всадника, и он с Евгением против Медного всадника. Евгений восстает не на дело Петра, его несчастная судьба вовсе не отрицает творенье Петра.

Но и Медный всадник — это не просто апофеоз самодержавия. Великолепный памятник славил юную мощь России, восходящую на кручи истории.. Расщепление продолжается. Отношение Пушкина к личности Петра раздваивается. Петр имеет два лика. «Достойна удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Но и в поэме, кроме Петра — творца, создателя, строителя чудотворного, есть Петр-самодержец. Тот самодержец, от которого нынешний Пушкин отказывается, отвергает. Пусть даже в облике такого просвещенного монарха, преобразователя, как Петр,— все равно самодержавие оказывается бесчеловечным. В любой форме самовластье неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано, никакими целями. Самый просвещенный абсолютизм гибелен. Трагедия Петра в том, что самодержец, каковы бы ни были его устремления, не способен поступиться своей властью в пользу «вольности частной», как писал Радищев. Самовластие не может оправдать себя, достигнуть гармонии, ибо в нем неизбежны произвол, насилие, рабство, уничтожение человека.

Русский царизм, самодержавие, с детства воплотился для меня в облике Николая I. Никакой другой царь, даже Николай II, не вызывал во мне такого гнева и злости, как именно Николай I. Конечно, это было связано с Пушкиным. Николай убил Пушкина — в детстве все ясно, всегда знаешь, кто виноват.

Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит упорно, взведены ль курки...

Царь-фат, актер, лицедей, он был первым и главным врагом Пушкина; не Дантес, не Бенкендорф, не Булгарин, не Уваров, — в нем, в Николае I, сосредоточилась вся моя мальчишеская, а потом и юношеская ненависть и жажда отмщения. Николай I — усмиритель восстания декабристов, вешатель декабристов. Как они медлили! Оттого, что они так неразумно вели себя, упустили минуты, часы, я еще больше ненавидел Николая. Декабристы, убийство Лермонтова, ссылка Шевченко, казнь и ссылка Достоевского — все это был он, Николай I.

Но был и другой, особенный, непонятный царь — который противостоял Николаю I, и невольная симпатия к Петру смущала меня. Он же был царь, представитель царизма, самодержавия — как же он мог нравиться? Где, как родилась моя приязнь, трудно установить. В Летнем саду стоял маленький памятник царю-плотнику. Петр с засученными рукавами ладил бот. В Петропавловской крепости в каменном павильоне хранился этот бот, сделанный Петром. Петр не только не был похож на других царей. Петр проходил через всю жизнь, так или иначе встречаясь на просторах России. За Петрозаводском на Минеральных источниках висели правила пользования водами, написанные Петром. Петр встречался в Архангельске, в Старой Руссе, в Воронеже, на каналах Марининской системы, в замысловатых станках Нартова, и все это был ум, руки, смекалка удивительного царя. Мне нравился склад его ума, инженерно-технический. Мы повторяли его хлесткие фразы, мы любили ходить в его дворец, так непохожий на дворец, — домик в Летнем саду и домик на Петроградской. И, наконец, памятник ему, Медный всадник, был, разумеется, самым любимым памятником и гордостью ленинградской. Он никогда не был для меня тем кумиром, ужасным и грозным, каким увидел его Евгений. Восприятие Евгения — Пушкина, ракурс, в котором вдруг предстал Медный всадник, необычен, редкостен. Памятник воспринимался только как прекрасная скульптура. Но был день, когда я вдруг увидел этот памятник глазами Евгения — это было до войны, я шел пешком от Исаакиевской площади, мимо памятника Николаю I, мимо памятника Екатерине, до площади Восстания, на которой стоял памятник Александру III — Трубецкого, и это расстояние от Петра на коне и до Александра на коне, от Петра с непокрытой головой, в крестьянской рубахе до Александра, затянутого в мундир, с шапкой городского, от Медного всадника до Пугала, памятника не менее замечательного, как и памятник Фальконе, — это расстояние вдруг обнажило для меня то, что разглядел Пушкин. Конь Петра опустил копыта, теперь он стоял на четырех ногах, тупая сила, уже никуда не летящий и ничего не преодолевающий.

Я шел как бы от Евгения до Раскольниковца, через Петербург «Медного всадника», «Шинели», «Портрета», «Преступления и наказания», Петербург Некрасова, Щедрина... Как изменялся облик этого города в истории русской литературы, как вылезало наружу нутро его страшных колодцев, где гибли и уродовались человеческие судьбы.

Обезумел Евгений, город уничтожил и отнял у него все, но обезумел и Акакий Акакиевич, для которого в се это — была шинель. И снова бунт. И снова вызов Раскольникова, вызов, рожденный в камерке петербургского чердака.

Ничто не может поколебать этого кумира, царящего надо всем. Но нет, может, оказывается, может. Оказывается, есть сила, способная испугать этого кумира, заставить его помчаться по пустым улицам. Чего ж он испугался — полубесвязной фразы безумного человека? А что было в этой фразе?

Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..

Не обличенье, не программа, всего лишь — «ужо тебе!». И это оказалось страшнее разбушевавшейся стихии.

Кругом подножия кумира
 Безумец бедный обошел
 И взоры дикие навел
 На лик державца полумира.

Силы-то какие несоразмерные. «Державец полумира», кумир, горделивый истукан на высоте — и бедный безумец, который всего-то шепчет. Для этого бунта нужно безумие. Впрочем, это не бунт, это отрицание, это угроза. Может быть, именно потому, что он безумен, он так опасен. Опасны безумцы. Для власти всегда опасны безумцы. Безумцы с точки зрения власти. Горделивый истукан мгновенно почувствовал опасность в этой угрозе. Великий царь, овеянный славой, строитель чудотворный — все эти понятия, привычные и славные, окружавшие облик Петра, вдруг переворачиваются, возбуждают злобу и протест. Какое право имел этот кумир принести во имя своей идеи в жертву счастье даже одного человека? Тот самый вопрос, который усмотрел Достоевский в «Евгении Онегине». «Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, — говорит Достоевский в своей речи о Пушкине. — И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь... И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос».

Любопытно, что слова эти Достоевский взял почти дословно из спора Ивана Карамазова с Алешей — знаменитая сцена бунта Ивана Карамазова. Уже не власти бросает свой вызов Иван Карамазов, а еще выше — религии. На бога он возлагает ответственность за весь хаос, творящийся на земле.

Бунт, начатый Евгением перед статуей Медного всадника, словно бы ширится, разрастается. Достоевский как бы продолжает его в «Братьях Карамазовых», по-своему осмысливая, развивая вопрос, поставленный впервые Пушкиным.

Этот вопрос тревожил не одно поколение русской интеллигенции, немало способствуя нравственным поискам и росту ее самосознания.

Мы иногда недооцениваем Пушкина как философа. В четырехстах шестидесяти пяти строках «Медного всадника» заключены проблемы важнейшие, всеобщие, которые долго еще будут волновать человечество.

Тем-то и замечательна русская литература, если уж пытаться определить ее отличие, ее традиции, что она, начиная с Пушкина, бесстрашно поднимала наиболее социально сложные и значительные, главные темы человеческого бытия.

В этом смысле «Медный всадник» сравним лишь с «Легендой о Великом Инквизиторе». В поэме «рассуждений», «философских споров» нет. Мысль, размышления — вот чем пропитана поэма.

Кому бросает вызов Евгений? Почему он так опасен? Почему государственная машина, то бишь Медный всадник, срывается, мчится за ним?

И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом сналал.

Мания преследования! А может быть, наоборот — мания преследовать? Мания видеть во всем покушение на основы и немедленно пускать в ход всю государственную машину. Ни стихии, ни бедствия народные не трогают кумира, к ним он обращен спиной, «в неколебимой вышине». Но слова, одного слова угрозы достаточно, чтобы сорвать его с места, заставить мчаться, преследовать. Страх, воспаленный, поистине маниакальный, гонит по ночным улицам не столько Евгения, сколько Медного всадника в этой погоне за бедным и одиноким безумцем.

Безумец? Но безумие перестало быть понятием чисто медицинским. Тогда отправляли в сумасшедшие дома «для исправления» «государственных арестантов». Тогда и писатели выводили героев-безумцев, которые могли говорить и думать то, что не позволялось нормальным людям. Тема безумия, рассказы о сумасшедших не случайно появляются с конца двадцатых годов. Рассказы Одоевского, повести Гоголя, поэмы и повести Пушкина, безумным объявляли Чацкого, а за ним и живого Чаадаева.

Самого Пушкина считали безумцем. Жуковский в 1834 году раздраженно пишет Пушкину, что ему «надо бы пожить в желтом доме». Еще бы, сколько раз Пушкину предлагали жить в мире с царем, со всем окружением, примириться, смириться. Чего он хочет, на что надеется? С точки зрения двора, он ведет себя, как безумец.

Ну что ж, так и Радищева можно считать безумцем. Его поступок — «действие сумасшедшего», писал Пушкин, не правда ли: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!»

Радищев один, подчеркивает Пушкин, у него ни товарищей, ни соумышленников — безумец!

Но сколько сочувствия и скрытого восхищения этому безумию Радищева!

Статья о Радищеве написана после «Медного всадника», тема словно бы продолжается — человек, крохотный, перед огромным памятником Екатерине, перед тушей императрицы и свитой ее генералов, советников, фельдмаршалов, — мелкий чиновник против этой государственной громады, вооруженной армией, полицией, законами, судами. Но теперь не «ужо тебе!», и не шепотом...

Впрочем, памятника Екатерине в те годы еще не существовало. Зато, кроме Медного всадника, была совсем недавно торжественно открыта Александровская колонна, и перед ней «вслед Радищеву» поднимается Пушкин. Уже не мелким чиновником, не камер-юнкером, а народным поэтом. Его «непокорная глава» возносится выше этого гранитного столпа Александру I. Он больше, он сильнее, он просвещенней, не монархи, а он, поэт Пушкин, стоял на защите милосердия и свободы. Перед ним, перед его громадой отступает и далеко внизу остается вся официальная чернь, все памятники царям, их мнимая слава и могущество.

Ненапечатанный «Медный всадник» словно прорвался в предсмертном вызове «Памятника». Николай и его шеф жандармов не поняли, что ненапечатанные, запрещенные вещи иногда страшнее и действеннее напечатанных.

Они все безумцы, все эти фигуры, время от времени встающие поперек дороги. Их глас вопиет в пустыне. Они лишние люди, чуждые обществу тридцатых — сороковых годов. Протестующий был одинок, отчужден от всей системы медного коня государственности. Смутный шум тревоги гнал этих безумцев все дальше, порывал скрепы, связывающие с понятиями родины, отчизны и даже народа. Потому что и понятия «народ», «народность» были захвачены николаевской кликой.

Два Петербурга: Петербург — творение Петра, и Петербург — создание империи, Петербург, увенчанный Медным всадником... Они сталкиваются не так явно, как два

Петра, они сосуществовали один в другом, два начала, растущие совместно: «громады стройные», «узор чугунный»; иногда эти начала сталкиваются, иногда примиряются, иногда дополняют друг друга: «однообразная красивость», «недвижный воздух».

Два Петра, два Евгения, две Невы — краса города и угроза ему. Но всю эту стройность, симметричность поэмы нарушает некая посторонняя, идущая наперерез, наискось сила стихии. Она пересекает все эти двоеточия, все раздвоения. Стихия наводнения, общий враг и Петра и Евгения, обонх Петербургов, всех и всего, и порядка и безумия.

В слепой силе разбушевавшейся Невы есть то, с чем боролся Петр,— те темные силы, топь, которую заковывали в гранит набережных, та косная ненависть ко всему новому, идущему с Запада, большие бороды Москвы, крики и проклятия царю-антихристу. Эта сила не вызвала сочувствия у Пушкина, это буйство наглое, бессмысленное, одушевленное лишь пафосом уничтожения и разрушения, слепой, нелепой разбой, уничтожающий без разбора пожитки бедноты и дворцы, впрочем, бедность и тут страдает больше.

Гневаться на этот взрыв стихийных сил нелепо. Евгений, потерявший все и рассудок, обретает иное зрение, он видит Медного всадника иначе. Он, Евгений, оказывается вдруг третьим лицом в борьбе между двумя началами. Над ним занесены копыта Медного всадника, на него обрушилась слепая стихия, либо под тем, либо под другим он должен погибнуть. Либо под копытами империи, либо в волнах слепого бунта. И то и другое смертельно. Но бороться можно только с одним, и он бросает вызов тому, с чем действительно можно бороться.

Петр живой, думающий, со всем тем конкретным историческим, что возникает у любого русского читателя при имени Петра, и затем второй Петр — отлитый в бронзу — Медный — обезличенная сила, действующая под именем Петра по своим нечеловеческим законам. Евгений, наоборот, вначале существо максимально обезличенное, типовое. Из черновиков видно, как тщательно Пушкин изгонял индивидуальное в судьбе Евгения, в обстановке, в быту, окружавшем героя. Ничего своеобразного, личного. Обычайнейший, зауряднейший чиновник, с историей самой распространенной. Родовое имя его забыто, служит он где-то, живет в Коломне, где живет великое множество будущих Родионов Раскольниковых. Не осталось никаких примет от обстановки его жилья. «Страхнул шинель, разделся, лег» — и все.

О чем же думал он? О том,
 Что был он беден, что трудом
 Он должен был себе доставить
 И независимость и честь;
 Что мог бы бог ему прибавить
 Ума и денег. Что ведь есть
 Такие праздные счастливыцы,
 Ума недалежного ленивыцы,
 Которым жизнь куда легка!
 Что служит он всего два года;
 Он также думал, что погода
 Не унималась: что река
 Все прибывала; что едва ли
 С Невы мостов уже не сняли
 И что с Парашей будет он
 Дни на два, на три разлучен.

И положение его, и желания самые что ни на есть незначительные, заурядные, ничего в них нет своеобразного.

Личность Евгения проявляется и возникает лишь с катастрофой. Он личностью становится, когда он становится безумцем. Страдания делают его судьбу отдельной. Отныне он не похож ни на себя, ни на всех иных безликих Евгениев, он отделен от них мятежным шумом Невы и ветров, что раздастся в его ушах. Он отделяется и выделяется из окружающего мира, теперь он полон ужасных дум, теперь он свету стал чужд. Шум зипутренней тревоги не дает ему покоя. Ужасные думы, пусть безумные с точки зрения окружающих, делают его личностью, и именно появление личностного неизбежно приводит его к столкновению с Медным всадником. Это странное перемещение, которое проис-

ходит в поэме, обезличенного и личностного, создает ритм удивительный, порождает какое-то особое сцепление, когда одно входит в другое, как пальцы сомкнутых рук.

Личность всегда была опасна самодержавию. Но куда опаснее личность, которая осмеливается произнести что-то. Слова — вот чего боялись всегда в России. Пусть даже произнесенное шепотом, пусть отпечатанное всего в 650 экземплярах, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, слово произнесенное внушало страх. Нигде его не преследовали так, как в России. Кто еще из великих поэтов подвергался такой унижительной, невежественной, удушающей цензуре, как Пушкин? История создания самого «Медного всадника» как будто отразилась в поэме.

Вернувшись из Болдина, Пушкин представил через III отделение только что написанную поэму на рассмотрение своего высочайшего цензора. Спустя пять дней его вызвали в III отделение и вручили поэму с пометками государя. Их было вроде бы и немного. Царь требовал изъять сцену Евгения у памятника, слова его. Отчеркнуты были слова «кумир», «горделивый истукан», стихи о Москве. По количеству строк, по словам весьма немного — но, пользуясь выражением Пушкина, делало это «большую разницу». Казалось бы, ничего страшного — заменить одно слово: к у м и р. Или выкинуть слова Евгения: «Ужо тебе!..» И Пушкин пытался это сделать. Ему нужны были деньги. Ему хотелось напечатать поэму, ценность и значение которой он отчетливо представлял. Лучшую свою поэму. Он искал замену. Кумир — седок, ездок... Нет, невозможно. Не получалось. Невозможно было заменить даже одно слово. Оказалось, что именно в отчеркнутых строках сосредоточилась та доля сокровенного, пожертвовать которой нельзя без ущерба для смысла поэмы. В истинно поэтических произведениях, где все необходимо, есть какие-то несущие узлы, выраженные иногда одной фразой, одним словом, убрать их — и все исказится, рухнет. Примечательно, что Николай I, отнюдь не ценитель и знаток поэзии, сумел отыскать в поэме эти важнейшие опорные ее точки. Второй лик Петра и второй лик Евгения — эти вторые опаснейшие лики, которые как бы начинали реакцию расщепления, — их Николай I обнаружил и вычеркнул. Он учуял их тем особым нюхом на крамолу, обостренным у ревнителей самовластия.

Как Пушкин ни нуждался в деньгах, он не мог согласиться на требования своего цензора. Сколько он ни брался за поэму, всякий раз переделанное отвечало не замечаниям царя, а его собственной жажде совершенства, поэма становилась еще емче, лаконичней и, может, еще более трудной для печати.

«Ужо тебе!..» — это ведь, мне кажется, обращалось и к самому Евгению. Он сам был частью государственного механизма, против которого он восставал. Это был бунт против себя — детали этой машины, чиновника мелкого, покорного, бедного. Он был лишь часть —

Каких встречаете вы тьму,
От них нисколько не отличных
Ни по лицу, ни по уму.

Он был никем, обезличенная принадлежность, отштампованная бедностью. Бедность заменяла ему характер, мы не знаем, каким он был — злобным, вспыльчивым, мягким: он был лишь беден. Нет денег — значит, нет и дворянства, неважно, что когда-то предки его были записаны в «Истории» Карамзина. Бедность уничтожила все отличия, бедность уничтожила и характер и ум, сделала ничтожным его мысли и мечты. Он еле осмеливается просить:

...Мог бы бог ему прибавить
Ума и денег...

...Он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Так начинался вековой путь бедного чиновника через всю русскую литературу: Поприщин, Акакий Акакиевич, Девушкин, герой «Записок из подполья», бедный чиновник Чехова.

Сидя на льве, Евгений следует за Медным всадником, его жалкая копия, еще не отделенный от своего грозного вожатого, еще ничтожный, он принимает все покорно, как и все частицы этой машины, вплоть до живого Александра, который тоже покорно взирает с балкона.

Безумие преображает Евгения — он больше не тень, не безликий чиновник. Он отделяется от окружающего мира. Страстные чувства вспыхивают в нем, изменяя внешний облик, все его существо.

...Взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке холодной прилегло.
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной...

Он стал достойным и, может, страшным противником. Ему уже нечего бояться. Устои рухнули, ничего не осталось. Этот Евгений рожден безумием, а безумие рождено страданием. Он был беден и был безлик, он лишился всего и стал личностью. Он появился — не бедный чиновник, а человек. Не лоб, а чело у него, чело, приложимое лишь к великим мира сего. Чело, достойное Человека, которого так определял Даль — «высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью».

Не правда ли, какое удобное и четкое получилось противопоставление? Все расположилось как нельзя выгоднее для всяких толкований. Ничтожный, жалкий, бедный чиновник превращается в героя, бунтаря, в личность значительную, опасную, мыслящую. Он был никем — он стал всем. Почти что так. Контраст соблазнительный, и я поначалу охотно поддался ему. Но что-то смущало меня, какая-то симпатия или сочувствие к тому, первому Евгению, смутная симпатия, которой я пренебрег в угоду своей схеме.

О чем же думал он? — повторял я себе. О том,

Что был он беден. что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь...

Да что же тут ничтожного, мелкого? — вдруг спросил я себя. Разве это не благороднейшее стремление — «независимость и честь»? Не об этом ли мечтал и сам Пушкин? «Счастье независимости» — вот что с годами становится идеалом жизни Пушкина. «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господ бога». Так писал Пушкин о себе. Независимость и честь — не так ли может повторить о себе каждый. И почему надо считать жалкими мысли Евгения, тревогу его о Параше? И уже совсем иначе я прочел последнюю строфу ночных дум Евгения:

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Первоначальное, не подчиненное схеме чувство вернулось ко мне — близость, понимание и даже сочувствие Евгению, к неутолимой тоске человеческого сердца по простому счастью, к той обыкновенности, которой полна жизнь каждого из нас. Эта обыкновенность, эти простые ценности человеческого существования дороги Пушкину, он защищает их, он понимает, сколь велико горе их утраты.

Схема — она была во мне, в моем подходе, в неискоренимости школьного «разбора литературных произведений». Схему ту действительно можно разобрать. А подлинную

литературу можно лишь разодрать, убив в ней живое и, значит, бесконечно сложное, противоречивое, изменчивое.

Я чувствую, что мне не удалось избежать противоречий Законченной, стройной системы не получилось. Но если раскрылись противоречия истинные, а не надуманные, то, может, это лучше всякого сведения концов с концами.

Несмотря на обезличенность Евгения, он все же не превращен в некое условно-типовое обозначение, в нем сохранилось живое начало, которое за два года его службы еще не стерто омертвляющим чиновничьим аппаратом.

Может, от незатоптанной окончательно искры и разгорается пламень, что бежит по его сердцу.

От этого бегущего по сердцу пламени вскипает кровь. Человек распрямылся, обрел чувства, гнев, силу, и слова его отнюдь не безумны: «Добро, строитель чудотворный!» — и, может, вопреки логике мне слышится в них вопрос, поставленный спустя полвека: «Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?» Впрочем, это так, ассоциации, для Евгения же нет вопроса. В пламени сгорают его идолы и кумиры.

«Ужо тебе!..» — вот когда всадник очнулся и впервые заметил этого человека. Когда перед ним восстал человек, не жертва, не обездоленное, затравленное существо. Человек — вот кто страшен всаднику. И ведь когда восстает Евгений — не сразу, не обнаружив свое несчастье, а много позже. Это странно и значительно соединяется с картиной торжествующей пошлости, «с бесчувствием холодным» уже ходит народ.

...Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить...

...Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Это та самая пошлость, нажива, барыш, которая сумела приспособиться, прилепиться к петровскому кораблю, эксплуатировала реформы Петра. Та пошлость, которая после Петра воспользовалась его делом, и нынче она использует превосходно все, в том числе и разбушевавшуюся стихию, и будет петь «несчастье невских берегов». Всегда выигрывают Хвостовы.

Героем трагедии не может быть трус, ничтожный и жалкий человек. Евгений, которого мы знали в начале поэмы, не вызвал бы в нас той силы соучастия, сострадания и волнения, и сама картина наводнения, этого буйства, тоже не может вызвать того страха и восторга, которые возникают. Трагедия произошла потому, что несчастье героя соединилось с его бунтом, потому что он стал героем, бросил вызов, он более не хочет быть дрожащей гварью. Его смелость, безумство, его вызов — также безумство. Но это великое безумство, равное безумству Короля Лира.

И есть тут еще один поворот необъяснимый, который я скорее чувствую, чем понимаю. Вызов Евгения — это всего лишь вспышка, впоследствии, проходя мимо всадника, он не смеет и глаз поднять, смиренно снимает шапку, прижимает руку к сердцу. В этом новом повороте есть гениально найденная Пушкиным реальность жизни. Что же, бунт кончился смирением, Евгений побежден, несмотря на безумие, он по-прежнему тварь дрожащая? Может, и так. Но однажды он не был тварью. Пусть однажды, но он был человеком, выше и больше всадника. Человеком, который заставил сойти со скалы эту Медную статую.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Бывает так, что книги, положившие начало чему-то новому в литературе, сами со временем отходят в тень, утрачивая право на жизнь в сознании последующих поколений. Они обозначают собой рождение этого нового достаточно вятно, и потому историки литературы согласно ведут летоисчисление начатой ими традиции именно с них. Но, при всей вынятности своего нового звучания, они — все-таки лишь первая, достаточно робкая еще проба голоса, скорее намек на новые художественные возможности, чем их осуществление. И век их недолог, они быстро теряют в живом внимании к ним читателя, если и вообще не умирают для него, безнадежно проигрывая от сравнения с книгами последующих лет.

Но бывает и по-другому. Бывает и так, что художественная новизна сразу же заявляет о себе произведением или произведениями, которые потом остаются живыми и сохраняют все свое обаяние, как бы значительны ни были позднейшие достижения.

К таким явлениям подлинного, нестареющего искусства принадлежит и повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

О Сталинградской битве, двадцатипятилетие которой мы недавно отметили, написано много — статьи, исследования, воспоминания. Сталинград стал одной из самых волнующих и притягательных тем для нашего искусства. О нем сложены стихи, поэмы и песни, созданы кинофильмы, подвиг его защитников запечатлен в живописи и скульптуре, в очерках и романах, рассказах и повестях.

Повесть В. Некрасова по праву должна быть названа в ряду книг, рассказывающих о Сталинграде, одной из первых. И не только в этом ряду. Но и в ряду всей нашей

прозы о войне. Сейчас уже вряд ли кто-нибудь оспорит, что повесть В. Некрасова, наследовавшая лучшим традициям советской литературы прежних лет, обозначила собою — вместе со сталинградскими очерками В. Гроссмана, «Звездой» Э. Казакевича, «Спутниками» В. Пановой и некоторыми другими явлениями нашей прозы и поэзии того времени — начало целой новой полосы в развитии нашей литературы о войне. Она открыла собою внушительный список военных повестей, романов и рассказов, родственная связь которых с повестью В. Некрасова настолько очевидна, что указание на нее звучит уже, пожалуй, в наши дни триумфом. И вместе с тем это книга, которая осталась жить не только в истории литературы, но и в живой жизни времени.

Конечно, за двадцать с лишним лет, прошедших со времени появления повести, изменилось многое. Существенно углубился, приобрел новое качество наш взгляд на войну 1941—1945 годов. Переменились во многом критерии, с которыми мы сейчас подходим к книгам о войне. И это новое историческое сознание не могло, естественно, не обогатить позднейшую военную прозу, шедшую вслед за Некрасовым. Иные мотивы и темы, у Некрасова лишь намеченные, развиты в творчестве таких, например, писателей, как Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, значительно полнее и многостороннее.

Но все это не только не отменило повести В. Некрасова, но и до сих пор она для нас — одна из лучших современных книг о войне, а ее непосредственное воздействие, ее живое звучание столь же очевидны и безусловны сейчас, как и раньше. И даже гораздо очевиднее, потому что, как это тоже нередко бывает, выдающиеся художественные достоинства повести, незаурядное зна-

чение того нового слова о войне, которое она высказала, были при первом ее появлении как раз вовсе не такой уж очевидно-стью для всех.

Читатель, может быть, не помнит, но книга В. Некрасова, за которую писатель получил в 1946 году Сталинскую премию второй степени, была встречена отнюдь не одними лишь похвалами. И даже присуждение премии вовсе не оградило ее от критики, притом весьма резкой (факт уже и сам по себе довольно примечательный).

«Пожалуй, ни одна из книг, отмеченных Сталинской премией за 1946 год, не породила таких острых дискуссий, не вызвала столь различных суждений. Достаточно сказать, что книга Некрасова дважды обсуждалась в Союзе писателей — на специальном заседании президиума и на совещании, созванном военной комиссией», — писал обозреватель журнала «Знамя» в 1947 году. А в следующем обзоре, отвечая оппонентам, приводил такие, к примеру, отзывы: «Произведение, которому больше всего недостает идейности», «Содержание вещи не совпадает с самым главным и существенным, с нашей Отечественной войной», «Реализм на подножном корму» и т. п.

Действительно, — листая старые журналы, мы можем обнаружить немало образчиков такой вот косной, кажущейся в наше время просто поразительной слепоты и предубежденности. Один из наиболее яростных критиков молодого автора, писавший в те годы в «Новом мире», выражался, например, по поводу повести так: «.. война показана в романе с точки зрения того участника ближнего боя, который словно бы ничего не подозревает о ходе войны в целом, да и не думает о нем», «в романе не выражены достаточно полно и глубоко те мысли и чувства, которые вдохновляли наших воинов на величайшие подвиги»; и, наконец

«Характерно, что с точки зрения автора не поддается объяснению — почему в ходе Отечественной войны происходит крутой перелом.

Старшина Чумак спрашивает Керженцева:

«— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?»

— Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупый же ты вопрос задаешь!» — говорит ему Керженцев, но на эти «глупые

вопросы» он не в силах дать никакого ответа.

Этого ответа не дает и роман в целом. Сначала наши войска отступали, потом перешли в наступление, разбили врага, а как это произошло, почему, какие способности проявил наш народ на войне... — этого в романе не видно».

И такое писалось о книге, которая вся — от первой до последней строки — именно и показывала, «как это произошло», которая вся дышала болью и тревогой тех лет, с поражающей доподлинностью передавая нравственную атмосферу этого грозного времени!..

Не нужно никаких литературоведческих навыков, нужно просто чувствовать искусство, чтобы заметить, как отлично разнятся — уже самой своей внутренней гональностью — те две части, из которых состоит повесть В. Некрасова.

В первой части, где рассказано о том, как Керженцев был оставлен с батальоном Ширяева прикрывать отступление полка, как потом, после короткой схватки с немцами, Керженцев с Игорем долго скитались в поисках своей армии по тыловым дорогам, добрались до Сталинграда, работали на минировании Тракторного, пока, наконец, Керженцев не получил назначения на передовую и не провел свой первый сталинградский бой, — в этой части героям повести, в сущности, только два раза приходится воевать, встречаясь с врагом лицом к лицу: в начале повести, в сцене боя у сараев, и в конце части. Зато куда больше здесь часов и дней относительно спокойной, не под постоянной угрозой смерти, относительно безопасной жизни — жизни, наполненной походным бытом, разговорами, воспоминаниями, не слишком рискованной работой на Тракторном, не говоря уже о почти мирной идиллии первых дней в Сталинграде, где и беспробудный сон на настоящих кроватях, застланных чистыми простынями, и чай с домашним вареньем в уютной гостиной, и ленивое купанье в Волге, и прогулки Керженцева с Люсей по Мамаеву кургану...

И, однако, именно в этой части повести героем владеет настроение хмурое, даже тоскливое, рассказ его пронизан каким-то глубоким душевным беспокойством и неудовлетворенностью. И напротив, вторая часть повести, где на каждом шагу кровь и смерть, предельное натяжение сил, звучит много отраднее и светлее. В бушующем

некле сталинградского ада герой явно чувствует себя увереннее и, если хотите, бодрее, чем даже в самые спокойные дни до начала боев.

Отчего это так? Почему так явственно не совпадает непосредственный фон повести с внутренним состоянием ее героя?

Да вот именно потому, что герой этот — совсем не тот, каким хотелось бы его представить некоторым критикам. Вовсе не «солдат-окопник», мысли которого не выходят за ближайшие пределы видимого, а состояния и чувства всецело зависят от того, что происходит непосредственно с ним и около него. Нет, как ни громадна власть над живой человеческой душой впечатлений непосредственной повседневности, тем более таких, какие обрушивает на Керженцева его сталинградская судьба, вовсе не на них замыкается то, чем живет его сердце и что движет его ум.

Вспомним, как в начале книги, когда полк Керженцева получает неожиданный приказ оставить оборону на Осколе, Керженцев, сообщив об этом, замечает:

«На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыкает там на севере, — ну и пусть громыкает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...»

Как охотно цитировались эти строки, чтобы уличить автора в пристрастии к «окопной правде»! Как безапелляционно относили их за счет «точки зрения того участника ближнего боя», который «ничего не подозревает о ходе войны в целом, да и не думает о нем»...

Но ведь какая это неправда! Какое тугое или просто бесстыдное ухо надо иметь, чтобы не расслышать в этой невеселой насмешке над самим собой голос незатухающей тревоги как раз за «ход войны в целом», не ощутить, как гнетет на этот раз Керженцева то невольное «окопное чувство», которое заставляет предполагать черт-те что, когда как сейчас вот, громом среди ясного неба приказ об отступлении... Жгучая, выстра-

данная на тяжелых дорогах отступления тоска по тому, чтобы услышать, наконец, долгожданное: нет, отход твоего полка на этот раз вовсе не означает еще одной грозной катастрофы; нет, на других участках фронта немцев держат, может быть даже бьют, и твой полк и в самом деле всего лишь отходит на более выгодные рубежи, — вот что переполняет и Керженцева, и его друзей и вот почему так горьки его последующие размышления: «И без боя... Главное, что без боя... Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... Неужели до Дона уходить...»

Эта гложущая мысль о судьбе страны, о родных землях, отданных и все еще отдаваемых на поругание врагу, это гнетущее сознание и своей собственной ответственности за трагедию, которая разыгрывается не только на твоих глазах, но и не без твоего участия, и есть то, что лежит постоянной и нестерпимой гяжестью на сердце у Керженцева, подавляя и подчиняя себе все остальные чувства и мысли.

«Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...»

Вот другая, совсем другая, кажется, минута — и нет этих вопрошающих глаз, и ничто, кажется, не вызывает тягостного, жгучего чувства стыда и бессилия. Керженцев с Люсей бредут по вечернему Сталинграду, по набережной, разговаривают о Блоке и Есенине, поднимаются на Мамаев курган. Перед ними — большой, прижавшийся к реке город, причудливое скопление каменных громад и лепящихся вокруг них деревянных домиков, корпуса Тракторного на горизонте, заводские поселки из уютных коттеджей, и за всем этим — Волга, спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые дали... А Керженцев вдруг чувствует, что ему не по себе, и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине, и он ловит себя на мысли, что здесь

вот, на краю оврага, хорошее место для пулемета, а там — отличный сектор обстрела...

А вот он смотрит на Игоря, осунувшегося, с обвисшими усами, и вспоминает карточку, которую тот как-то ему показывал, — шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным, по моде, узлом, брючки-чарли... И та же боль, внезапная и властная: «Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли»...

И снова и снова:

«Обороны на Осколе более не существует... Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...»

«Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас»...

Конечно, немцы за Доном — это еще не значит, что война проиграна. И Керженцеву не нужно объяснять это.

Но одно дело — вера в конечную победу, и совсем другое — та нынешняя реальность, которая не становится менее горькой и нестерпимой оттого, что веришь в отмщение. «Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток...»

Вот почему, пока это так, и не проходит «собачье настроение», не отступают эти тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли. Вот почему чем дальше от войны, от врага, чем более мирная, спокойная обстановка вокруг Керженцева, тем вернее наступает его эта «нудная тоска».

И вот почему, наконец, так ощутимо меняется настроение Керженцева во второй части повести, и мы различаем в его облике черты наступившего вдруг за прежней угнетенностью душевного успокоения и даже как бы некоей внутренней удовлетворенности тем, что происходит с ним и вокруг него. Хотя, казалось бы, какое уж тут успокоение и удовлетворенность, когда каждую минуту грозит смерть, когда каждый день с утра до темноты, по четырнадцать полновесных часов, либо остервенелые атаки немцев, либо жестокая, выкручивающая нервы бомбежка. «Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят»... Но сознание исполненного и испол-

няемого воинского долга делает то, что раньше, даже в самые спокойные дни, не могли сделать ни мирный сон вволю на чистых постелях, ни ясное голубое небо над широкой дремотной Волгой, ни хорошенькая девушка рядом с тобой в уютной гостиной. В самой интонации повествования словно бы открывается какое-то второе дыхание, а душевное состояние героя обретает, наконец, ту внутреннюю устойчивость, которая все определяет по своим местам, позволяя в урочную минуту и посмеяться шутке, и получить удовольствие от нехитрого окопного застолья, от беседы с друзьями, от других маленьких радостей сжатой до предела, затиснутой в блиндаж, на дно окопа, но все еще живой жизни.

В этом внутреннем движении повести, в этом отчетливом изменении ее тональности, отражающем перемену в душевном состоянии ее героя, — ключ к одному из главных обобщений, которые она внутренне в себе содержит.

2

В самом деле, — отчего так важно В. Некрасову проследить за своим героем начиная с дней отступления с Оскола? Почему так пристально вглядывается он в его разбереженную душу, зачем вообще рассказывает об этих безотрадных днях отступления, если все равно потом все меняется, да и вообще главная тема повести, как это явствует уже из названия, — дни героической обороны Сталинграда?

Однако В. Некрасов не случайно так настойчив в своем внимании. В душевных состояниях, раздумьях, настроениях Керженцева, отразивших общую нравственную атмосферу тех дней, перед нами постепенно проступает тот подспудный, скрытый, но чрезвычайно важный душевный процесс, показательный опять-таки не для одного лишь Керженцева, не поняв и не показав который нельзя было сказать и настоящую правду о Сталинграде.

Вспомним те несколько страничек повести, где Керженцев рассказывает о своих встречах с Георгием Акимовичем, инженером с Тракторного, о его жестоких, трезвых расчетах, о его горьком скептицизме, который так выводит из себя Игоря.

Что может Керженцев противопоставить этим прогнозам, чем их опровергнуть? Увы, он тоже понимает, что война — это война, что у немцев больше самолетов и танков, а

время не ждет, и надеяться, что за ближай- шие месяцы соотношение сил будет иным, по меньшей мере наивно. Положение стра- ны тяжелейшее, круче некуда — нет Украи- ны и Кубани, Донбасс, Ростов, Харьков, Майкоп, Керчь, Мариуполь, Кривой Рог оставлены врагу, Волга фактически пере- резана, добрых пятьдесят миллионов насе- ления — под сапогом у немцев...

И все-таки, вспомним, в споре с Георгием Акимовичем он — на стороне Игоря. Игоря, который тоже ничего вразумительного не может возразить Георгию Акимовичу, дол- го сидит и молчит, но потом упрямо гово- рит: «Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут»...

«Не может быть...» — повторяет Керженцев, возвращаясь в мыслях к этому разговору. — Это все, что пока мы можем сказать. Не может быть»..

«Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят органи- зованностью и танками», — вспоминает он слова Георгия Акимовича.

«Чудо?...» И Керженцеву вспоминается другое — случайно подслушанный разговор, маленькая, незначительная как будто бы подробность, но из тех, что запоми- наются на всю жизнь, «взвешиваются, впиты- ваются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значитель- ное, вбирают в себя всю сущность происхо- дящего, становятся как бы символом». Он вспоминает, как недавно ночью шли по до- роге солдаты и вполголоса пели тихую, немно- го грустную песню про Днипро и журав- лей. А потом присели отдохнуть на обочи- не, и чей-то молодой негромкий голос до- несся из темноты:

«Нет, Вася... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как мас- ло, земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет — с головой закроет...»

И в песне той, в этих простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, закры- вающих тебя с головой, было что-то... — «я даже не знаю, как это назвать. Толстой на- зывал это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определе- ние. Возможно, это и есть то чудо, которо- го так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и ганки с черными крестами»...

Что это — слабодушие? Отчаянная попыт- ка отыскать хоть какую-то точку опоры для надежды и веры, когда страшно посмотреть правде в глаза?

Критики, изничтожавшие в свое время Некрасова и его героя за ограниченность кругозора, за неспособность и неумение по- нять «стратегический ход войны», за «идей- ную незрелость», проявившуюся, в частно- сти, в этой апелляции к «идеалистическим построениям» Л. Толстого, рассуждали, в сущности, именно по такой логике.

Но для Керженцева, которого сама жизнь жестоко учила смотреть на нее от- крытыми глазами, слова Толстого вовсе не были туманной абстракцией, той призрач- ной последней соломинкой, за которую хва- таются ради самоутешения и самооболиче- ния. Простые слова о земле и хлебе, тихая песня про Днипро и журавлей потому и стали для него как бы символом, вобрав- шим в себя всю суть происходящего, что в них явственно прозвучало то, что и на самом деле составляло самую суть происхо- дящего и что неотвратимо и властно росло в душе самого Керженцева. Это была реаль- ность столь же несомненная и ощутимая, как самолеты и танки, — реальность, кото- рую в свое время, обращаясь к далекой по- ре двенадцатого года, сумел почувствовать, понять и выразить так удивительно про- сто и проникновенно Л. Толстой и которая сейчас, в иную пору, через сто тридцать лет, точно так же все больше обнаруживала се- бя как последняя и решающая сила, кото- рая могла еще и должна была переломить ход войны.

Но чтобы это произошло и реальность эта стала силой, действительно способной со- творить чудо, более грозной, чем ганки и самолеты врага, народ и армия должны бы- ли пройти через пору жесточайших испыта- ний и потрясений, способных вытравить до конца многие иллюзии довоенной поры. Нужно было, чтобы эта скрытая теплота патриотизма вытеснила из души все дру- гие упования и закалила ее добела, чтобы боль и стыд поражений переплавились в ней в то горькое, но бесповоротное, что прозвучало в словах пожилого солдата, услышан- ных Керженцевым на переправе через Вол- гу:

«Фрицу многое чего хочется... а нам ни- как уже дальше нельзя... До точки уже до- пятились. До самого края земли. Куда уж дальше...»

Нужно было, чтобы все, что пережили Игорь, Валега, Фарбер, Керженцев, в них самих стало этим твердым, смертным, последним словом — нет, дальше они не пойдут. Сегодня не пойдут. Не завтра, не тогда, когда у нас, как в это хочется верить, будет, наконец, столько же и больше самолетов и танков, а сегодня, сейчас. Сейчас, когда против всей чудовишной бронированной мощи немцев у нас по сто—двести человек в дивизии, и узенькая полоска земли по самому краю волжского обрыва, и высотку, что торчит у тебя под носом и поливает тебя огнем отлично расположенных и шедро расставленных немецких пулеметов, нужно брать силами двадцати человек, а взять — еще вовсе не значит закрепиться...

И они не прошли. Не прошли, потому что пройти им не дали Ширяев и Игорь, Валега и Карнаухов, Керженцев и Чумак.

«Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумaku.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих.— говорит он, вынимая затвор.— Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму»...

В этом — огромная, нескончаемыми верстами отступления пролегающая через душу дистанция между нынешним сталинградским солдатом и тем, каким он был не только на Осколе, но даже и у той же Булацеловки, что укором встает в памяти Керженцева после оставления Оскола:

«У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать»...

Однако там все-таки заставили — силой,

но заставили. Здесь, в Сталинграде, сделать это не может уже никакая сила.

Об этом — о том, как и почему это произошло, — рассказывает повесть В. Некрасова. Именно в этом — внутренний стержень рассказа о пути Керженцева и его друзей к сталинградским окопам, истоки пристальной внимательности В. Некрасова к движениям душевного мира героя, определившей само построение повести. И именно поэтому она осталась в истории нашей литературы книгой, которая сказала нам глубокую и важную правду о войне — не только о той ее первой поре, когда за всем, что говорили, думали, чувствовали люди, стояло неизбывное ощущение смертной опасности, нависшей над страной, но и о всей войне в целом, о нашей победе. Ибо не в какую пору, а именно в эту тягчайшую пору военного лихолетья, обрушившуюся на нас трагическим обвалом сорок первого года, летними катастрофами сорок второго, мучительно, трудно, но неотвратимо рождалось в людях обжигающее чувство их собственной и решающей ответственности за судьбу страны. И не где-нибудь, а именно в душе армии и народа, там, на залитых кровью полях окружений, в коченеющем от стужи и голода блокадном Ленинграде, у стен Москвы, на забытых поспешно отступающими войсками переправах через Дон, у бессонных станков Урала и на бабьих колхозных полях далекой Сибири, — вызревала и вызрела рожденная этим чувством великая и страшная в своей самозабвенности сила, без которой не было бы перелома в войне. Именно она, эта сила, вызревшая в душах тех, о ком даже Сталин, когда пришел грозный час, вспомнил вдруг как о «братьях и сестрах», родила уже в сорок втором году «русское чудо» — Сталинград. Именно она стала той глубинной и безотказной опорой, на которой только и могло вырасти и показать себя стратегическое и тактическое мастерство ведения войны, смогли осуществиться повернувшие ход войны стратегические замыслы. И только она сделала возможной ту грандиозную, поразительную по своим масштабам, напряженности и темпам перестройку тыла страны, которая была жизненно необходима для того, чтобы выстоять и победить; только на нее можно было делать в любой организационной работе, в любых расчетах и планах ту небывалую, в ином случае невозможную

ставку, без которой мы не получили бы, однако, необходимого для победы превосходства в техническом вооружении армии...

Вот почему, когда битва за Сталинград была уже выиграна, и трогают до глубины души, и смешат Керженцева эти «глупые вопросы» Чумака: «Почему не спихнули нас в Волгу?»

«Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь», — говорит он шуточно и выходит наружу, в город, под чистое, прозрачное, высокое небо — ни облачка, ни самолета. В памяти всплывают фразы из только что прочитанной хвастливой речи Гитлера о падении Сталинграда; он окидывает взглядом город — вернее, то, что осталось от города, — вот он, Мамаев курган, и эти проклятые баки на нем, из-за которых было пролито столько крови... А за теми развалинами — только стены, как решето, остались — начинались позиции Родимцева, полоска в двести метров шириной...

«Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Вся Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров...

А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок-пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок... Может, он тоже спросит меня — почему?»

Да, после всего, что сделали и Чумак, и Ширяев, и сам Керженцев, и Фарбер, и этот старичок-пулеметчик, и тысячи других сталинградцев, после всего, что свершилось в их душах, пока они дошли до кромки сталинградского «края земли», чумаковское «почему» не нуждается в ином ответе. Он в них самих, в этих обычных советских людях, сумевших внять (может быть, по большей части даже и не сознавая этого в сколько-нибудь отчетливых формулах) отрезвляющим жестоким урокам войны и перенести всю решающую и тяжкую меру ответственности за судьбу родной земли на свои собственные плечи. И именно об этом — главном — и рассказывает повесть В. Некрасова. Не заметить этой стержневой ее темы, определившей, как мы видели, самое ее

движение, своеобразие ее меняющегося звучания, — значит, в сущности, мало что понять в ней.

3

Отчего же в былые времена так упорно обличали некоторые критики повесть В. Некрасова за отсутствие якобы в ней «идейных обобщений», за «окопный кругозор» автора и героев, за то, что «не выявлены» в ней «истоки победы» и т. п.?

Было бы слишком просто объяснить этот печальный парадокс лишь нетерпеливой «бдительностью», стремлением отличиться, обнаружив и непримиримо разоблачив очередную «идейную ущербность» Мотивы этого рода действительно можно различить, и без особого труда, в писаниях некоторых тогдашних авторов. Но, право же, они не более часты, чем в какое-нибудь другое время.

Куда большую роль сыграл здесь общий уровень тоглашней критики, ее органическая закоснелость в предрассудках и догмах нормативной эстетики. И не только эстетики.

В самом деле, — какими должны были выглядеть в глазах этой критики уже сами герои В. Некрасова?

Вот, скажем, Максимов сообщает Керженцеву и Ширяеву о том, что немцы подошли к Воронежу, и дает им приказ прикрыть отступление полка, держаться с батальоном два дня на Осколе. И что же? О чем они говорят? О долге, о том, какая ответственность ложится на их плечи?

«— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов... Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в ли несечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы же наты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева.. Когда-то до войны..»

И так — почти на каждой странице. Разумеется, это шокировало, и критика обрушивалась на злонамеренного писателя град ядовитых, многозначительных вопросов. Как — разве наши люди такие? «Разве им свойственны та немота и то косноязычие, та идейная ограниченность, которые проявляют герои романа В. Некрасова? Разве не искусственна сама попытка молодого писателя полностью обойти в своем романе все то, что характеризует наших людей, как высокоинтеллектуальных, культурно развитых, разрешающих на высоком уровне сложнейшие проблемы политики, философии, морали?»...

Ответ следовал незамедлительно: «в нарочитом ограничении и «опрошении» внутреннего мира наших людей сказались явно ч а т у р а л и с т и ч е с к и е тенденции молодого автора»; «в его произведении приращена идейность советских людей, их сознательность, их понимание событий исторического масштаба»...

Да, именно так и писали каких-нибудь двадцать лет назад. Именно этими самыми словами — я мог бы привести подобных текстов еще несколько страниц, материала достаточно. И ведь это писалось — вдумаемся только — не просто о Керженцеве, Ширяеве, Игоре, Валеге, Седых, Максимова. Это писалось, в сущности, о миллионах таких же, как они, советских людей, от имени которых бралась говорить критика. О тех «обычных советских людях», которые так же, как и герои Некрасова, не укладывались в мерки, заготовленные для них блюстителями «чести и достоинства советского человека», но которые так же, как и Керженцев, и Ширяев, и Чумак, и Валега, кровью своей, а то и жизнью доказали высоту своего духа, свою преданность родной земле, свою способность «разрешать на высоком уровне сложнейшие вопросы политики, философии и морали»... Они дорого заплатили за то, чтобы через несколько лет, за мирным письменным столом, о них могли писать такое...

Но, может быть, самое первое, почему повесть В. Некрасова встретила подобный прием у известной части нашей критики, состояло в том, что критике этой, воспитанной в почтительном уважении к догмам и нормативам субординационного, так ска-

зать, порядка, была прежде всего противопоставлена та главная правда о войне, которую несла в себе книга. Она не могла не вызывать сопротивления, желания обойти ее, закрыть на нее глаза, противиться ей всеми доступными способами...

Любопытный и, может быть, особенно показательный пример. Несколько лет назад один из могокан этой критики — отдавая, впрочем, ввиду успеха повести привычную уже дань «драгоценным визуальным» наблюдениям «офицера-фронтовика», «взвзвешенного за литературный труд» и «описавшего» то, «что видел своими глазами, трогал своими руками», — с доверчивой откровенностью вспоминал: «Однако ж помним мы и то, какое сильное, почти физическое желание испытывали мы, читая эту повесть, — желание приподняться над блиндажами, занять другой, более высокий НП, чтобы увидеть более широкую панораму событий, более обобщенную картину времени... Повести В. Некрасова не хватало генерального обобщения».

Это любопытное признание тем именно и показательно, что здесь, как видит читатель, уже и сама возможность «генерального обобщения» предусмотрена лишь для писателя, занимающего «более высокий», чем блиндаж какого-то армейского офицера, НП, — по-видимому, генеральский, что ли, на крайний случай, если не выше...

Увы, сколько было за это время книг и многотомных трактатов, где, казалось бы, и «генеральные обобщения» производились с «высокого НП», и «широкая панорама событий» была налицо!.. Но проходил срок, и приходилось все пересматривать, и тома тихо ложились пылиться на дальнюю полку. неспособные удовлетворить читателя тем единственным, чего он ждал от них, — правдой. А небольшая повесть, рассказавшая о тех, кто видел небо лишь из окопов и блиндажей Сталинграда, осталась жить. И время лишь подтвердило, что окопный НП обыкновенного армейского офицера оказался более чем надежной точкой обзора для того, чтобы разглядеть то главное, самое важное, чем был Сталинград в духовной жизни нашего народа, а «генеральное обобщение», которое несла в себе повесть, — куда более глубоким и верным, чем в иных «обобщенных картинах времени»...

Конечно, приведенное признание несколько необычно — по своей откровенности и прямоте. Однако неверно было бы расце-

нить его просто как казус. При всей действительно непривычной своей обнаженности, оно выразило представления и критерии, более чем характерные для тех времен, когда появилась повесть. Не случайно даже друзья повести оставались нередко на тех же, в сущности, позициях, когда заходила речь о ее пригодности для «генеральных обобщений». Откройте, к примеру, шестой том собрания сочинений В. Вишневского — писателя, который не только напечатал в «Знамени», редактором которого он тогда был, повесть В. Некрасова, но и горячо защищал молодого писателя от нападок недобросовестной критики. В письме к П. Павленко В. Вишневский сообщает:

«Появляются новые и новые авторы... Вот появился В. Некрасов со «Сталинградом»¹. Статья о нем в «Известиях» кисло-умеренная, — там не поняли значения этой офицерской исповеди. Из боевика-средняка хотя сразу сделать марксиста и стратега. А средняк просто открывает внутренний мир офицерства и бойцов — не больше. И в этом ценность книги, документа. Я, когда прочел эту исповедь, понял, что не смею навязывать свое мировосприятие и свои концепции. Гораздо важнее — сбереечь ту правду, которую выстрадал вот этот 30-летний вузовец, командир саперного батальона... Так и сделал... В данном случае в этом я вижу долг редактора...»

Нельзя не оценить эту лояльность старшего товарища к начинающему собрату, это трезвое понимание долга редактора, не так уж часто встречающееся и по сей день. «Мы, конечно, — писал В. Вишневский В. Некрасову, — могли бы, при нашем умении и искусстве, здорово Вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические «недоросли». А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника».

Тем, что В. Вишневский не стал навязывать молодому автору «свои концепции», он сделал для нашей литературы не самое малое в своей жизни доброе дело. И мы этого не забудем, хотя, если бы он «выстирал, пропустил через синьку, подкрахмалил и отутюжил» повесть, она, может быть, и бы

ла бы принята иначе и даже получила бы не вторую, а первую степень...

Но отдавая этому должное, трудно не обратить внимания на то, как заметна в оценке повести и приверженность В. Вишневского к привычным меркам, как явственно проступают во всех этих «просто открывает внутренний мир — не больше», «боевик-средняк», «ценность документа» и т. д. черты все того же «мировосприятия», все тех же «концепций», замешанных на иерархической, я бы сказал, системе отсчета...

Все это — дела давно минувших дней. Кто спорит? И это обстоятельство может послужить даже известным оправданием той части критики, которая искренне заблуждалась и, не видя шор на своих глазах, подходила к повести В. Некрасова с привычных позиций. Только в наше время, пожалуй, со всей полнотой и очевидностью обнаружился действительный смысл, вся глубина исторической правды о войне, которую донесла до нас повесть В. Некрасова, многим казавшаяся поначалу всего лишь дневниковой исповедью «боевика-средняка».

И все-таки, думается, этот экскурс в прошлое поучителен. Если не для тех любителей настаивать добросовестного писателя-реалиста уму-разуму, которые не перевелись и в наше время, то, может быть, для читателя. Особенно, если он не до конца еще разобрался в том, чего стоят и откуда идут случающиеся еще и поныне критические экзекуции, подобные той, которой была подвергнута двадцать лет назад повесть В. Некрасова.

4

Да, прошло уже двадцать лет. Это время многое изменило и многое прояснило. Но многое и подтвердило.

Те, кто прочел повесть В. Некрасова, когда она впервые появилась, в 1946 году, помнят, как поразила нас всех тогда ее необычайная по тем временам, редкостная правдивость в изображении самого лица войны. Здесь все было подлинно, почти осязаемо достоверно — и то, о чем говорили, что делали, как вели себя люди у В. Некрасова в ожидании боя, и как ругались из-за пары недостающих саперных лопат; как поднимались и шли в атаку, под пули врага, и как пили трофейный коньяк или вспоминали о прошлом — трагические, страшные мгновения боя и окопные будни в часы затишья — отношения, заботы, раз-

¹ Первоначально, в журнальной публикации, повесть В. Некрасова имела жанровое обозначение «роман» и название «Сталинград».

говору и мысли людей, для которых война стала бытом, каждодневным привычным трудом...

Это было первое и, пожалуй, самое сильное и общее впечатление от книги. И хотя уже и к этому времени было написано немало хороших страниц о войне, недаром даже и те, кто призывал повесть настороженно, а то и прямо враждебно, не могли противостоять общему мнению и не отдавать должного точности «визуальных наблюдений» автора. Такое в нашей литературе действительно было тогда еще редкостью.

«Пора...

Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не звать...

Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за кусты. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их голышка за кустами начинаются...

И вдруг — трах-тах-тах-тах.. над самым ухом. Я вваливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуля. Откуда же этот пулемет взялся?..

Трах-тах-тах-тах..

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез. Славленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Пугаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое.. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...

Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.

Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они де-

лись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А они там — впереди.

— Где?

— Там, у пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет».

Как это верно, точно, сильно! Как удивительно передано здесь само нервное напряжение этого ночного боя, — напряжение, которое ощущаешь, кажется, собственной кожей, настолько осязаема и сразу же заставляет верить в себя каждая деталь, каждое зафиксированное здесь движение, мысль, реакция. И как это действительно не похоже на то, что привык встречать в те годы читатель на страницах многих военных повестей и рассказов.

Вспомним:

«Вперед!» — закричал он снова, хотя кричать уж не надо было, но сердце было переполнено. Это не он, а сердце кричало и мело: «Вперед!»

Вот они бегут рядом с ним, его ребята... «Эх, расцеловать бы их всех! Здорово, здорово бегут». Это он ведет их. Как раньше вел. Как всегда. Как тогда, в молодости, на комсомольскую пасху. Факелы. И запахи смолы и первой сирени... Как тогда, на субботник, и запах акаций, и сладкий, до горечи сладкий запах угля и дыма... «Сейчас пахнет полынью и еще чем? Свинцом? Свинцом не пахнет. Дымом? Старый, знакомый запах смерти» Здорово, смело идут его ребята! И он сам здорово, смело идет! Это он ведет их. На бой. На смерть. На победу. Как всегда вел»...

Нынешний читатель, не знающий или успевший уже за давностью позабыть, как писали в те времена, может подумать, что я нарочно подобрал этот пример так, чтобы сильнее оттенить достоинства некрасовского описания. Нет, приведенный отрывок принадлежит перу очень известного писателя и представляет собой отнюдь не самый неудачный образец батальной прозы того времени. Это был как раз обычный, «нормальный», так сказать, ее уровень, — нормальный потому, что вся эта плакатная приблизительность просто не резала еще тогда глаза ни большинству читателей, ни даже многим писателям. А между тем превосходство некрасовской прозы над подобного рода изображениями войны настолько, действительно

но, очевидно, что тут не о чем даже говорить — достаточно простого сопоставления...

Что же удивительного, что после книги В. Некрасова и других появившихся в те годы лучших наших книг о войне эта привычная литературная норма стала заметно изживать себя, все более превращаясь уже в отличительный признак либо явной бездарности, либо откровенной недобросовестности? Ведь даже и теперь, когда мы имеем уже военные романы и повести и таких писателей, как В. Гроссман, К. Симонов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев или В. Быков, и когда уже не в провинку, казалось бы, психологическая точность в изображении чувств, мыслей, душевных состояний человека на войне, внимание к реальным подробностям солдатской жизни, — даже и теперь мы ценим неукоснительную достоверность некрасовской прозы как одно из самых замечательных и безусловных ее достоинств, и она продолжает покорять и удивлять нас и при втором и третьем чтении.

Да, верность В. Некрасова своим «визуальным наблюдениям», которую иные критики снисходительно соглашались признавать лишь как некое частичное достоинство некрасовского «реализма на подножном корму», оказалась совсем не последним качеством, обеспечившим повесть В. Некрасова ее долгую жизнь. И время лишь подтвердило неслучайность этого.

Но тем самым, донеся все живое обаяние непосредственной достоверности некрасовской повести до наших дней, время ответило и тем, кому реалистическая проза такого типа, как у В. Некрасова, кажется уже чем-то устаревшим, слишком «традиционалистским». Время еще раз — в который раз — подтвердило, что, как бы ни менялись формы искусства, какие бы новые стили и типы образности ни возникали в процессе его развития, искусство, которое идет к правде жизни через такую, как у В. Некрасова, сугубую «жизнеподобность» своих образов, через бережное воссоздание реальных форм самой действительности, никогда не утерять ни эстетической, ни духовно-нравственной своей значимости для человеческого общества.

Почему?

Уже по той простой причине, что до тех пор, пока жив человек, пока окружающий его и вечно меняющийся мир живой жизни полон для него самого непосредственного

интереса и значения, никогда не иссякнет в нем — в ряду других его духовных потребностей, удовлетворяемых искусством, — и потребность вглядываться в это меняющееся лицо жизни, в ее конкретную реальность. Особенно когда речь идет о таких кардинальных вехах истории, какой была, например, вторая мировая война — одна из самых трагических, жестоких, но и всеобъемлющих проверок жизнеспособности государств, общественных систем, социальных и нравственных идеалов, самой человеческой природы.

И «В окопах Сталинграда» В. Некрасова — одно из очевидных и нестрашных тому доказательств в нашем современном искусстве.

Эта повесть — свидетельство о реально бывшем. Свидетельство, которое ставит нас лицом к лицу со всей реальной подлинностью войны, со всем, через что заставляет она пройти человека, со всем, что может дать только опыт непосредственно пережитого и увиденного. А такое знание невосполнимо никаким другим. И никакое другое без него, в сущности, невозможно.

...Нет, не погому только ценим мы редкостную, почти документальную достоверность некрасовской прозы, что она противостояла и противостоит парадности, риторике, фальши в литературе и жизни. Некрасовская проза несет в себе художественное знание, значение которого безусловно для читателя и вне зависимости от этой специфической нашей злободневности. Оттого она и стала в нашей литературе событием — настоящим, не иллюзорным событием искусства, событием духовной жизни читателя.

5

И все же она стала событием не только потому, что вплотную, лицом к лицу, сблизила нас с реальной войной. И даже не только той обобщающей исторической правдой о войне, об истоках нашей победы, которую она сумела донести до читателя.

Она стала таким событием прежде всего самим духовным своим строем. Тем нравственным миром, который возник на ее страницах перед читателем и в котором может быть, как раз и состоит главный секрет ее неслабющего живого звучания.

Соприкосновение с этим миром, вхождение в него начинается для читателя уже с особенностей самой повествовательной интонации книги. Открывая повесть, мы сразу

же вступаем в стихию непринужденной, живой человеческой речи, свободного, естественно льющегося рассказа, в котором все искренне и ненавязчиво.

Помните первую страницу повести, ее начальные строки?

«Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно... Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастеровыми плотники для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет»...

Даже не заглядывая в старые журналы и газеты, легко представить себе, каким нарочито дерзким должно было показаться подобное начало книги о Сталинграде. А между тем в этом непринужденном, чуть насмешливом бытовом тоне первой сцены повести нет ничего преднамеренного — она столь же для В. Некрасова естественна, как и те, например, страницы, где Керженцев слушает разговор присевших отдохнуть у дороги солдат о доме, земле, хлебе и вспоминает слова Толстого о «скрытой геплоте патриотизма». У него и всюду так — обыденное и высокое рядом, в неразложимом единстве, трагедия сменяет шутку, и сцены, где человеческая душа проходит смертное испытание боем, соседствуют с рассказом о том, как Валега штопает носки и ставит плащ-палатку. Всюду та же широта, раскованность, открытость самым различным проявлениям жизни, полнота ощущения ее живого тока. Тот органический дар чувствовать и видеть жизнь, благодаря которому и сама война, ее реальный облик складывается для него из тысяч живых, невдуманых конкретностей, из пестрой мозаики самых разнородных реалий, где черные пятки и белый зад кувыркающе-

гося в воде старшины — такая же необходимая подробность того, что было, как и все другое, — подробность, без которой не расскажешь о том, что было, именно так, как это было.

Вот почему, когда о повести В. Некрасова говорят: «смелая правда», «бесстрашный реализм» — это и так и не так. Так — потому что, если принять в расчет, каким литературным (и не только литературным) догмам противостояло некрасовское изображение войны, реализм его действительно нельзя не назвать смелым. Но как не идут эти определения, словно бы указывающие на некую сознательную полемическую заданность, когда просто читаешь повесть, вслушиваясь в то, как свободно и просто высказывается вся эта «смелая» и «бесстрашная» правда... Ведь в том-то и дело, что не оттого рассказывает так о войне Некрасов, что движим пусть самым благородным и смелым, но все же специальным намерением, что он как-то особо настраивает себя к тому, чтобы рассказывать правду, и только правду. Нет, по всему видишь, чувствуешь — смотреть на вещи, людей, события так, как он на них смотрит, — просто в самом его человеческом «я», в его нравственной, духовной природе. Иначе он просто и не умеет, не может. Это — как дышать.

И это-то и подкупает, это-то и рождает доверие к писателю, особое расположение и удовольствие его слушать. Не только потому, что свидетельства людей, для которых говорить правду так же естественно и просто, как дышать, всегда притягательнее для нас и надежнее, чем показания тех, кто специально понуждает себя к этому. Но и потому, что слияние с этим человеческим миром — миром простоты, естественности, органической правдивости — уже и само по себе событие.

Нужно ли говорить, какое значение имело это событие в те годы, когда книг, подобных книге В. Некрасова, было у нас без всякого избытка, а прежние достижения нашего литературного реализма основательно уже позабылись?

Казалось бы, что произошло такого необыкновенного, непосредственно злободневного? Просто вошел в литературу человек со своим, органичным взглядом на жизнь — да, свободным, широким, но ведь в сущности, всего лишь естественным, по-человечески нормальным, не больше...

Однако мы хорошо знаем: в литературе не раз бывало, когда обыкновенная человеческая «нормальность», внутренняя свобода, «незамундиренность» художнического «я» оказывались вдруг тем необходимым духовным импульсом, который двигал вперед литературу и общественное сознание решительнее, чем иные самые решительные проповеди...

Вместе с немногими, но зато подлинно значительными произведениями нашей прозы и поэзии тех лет повесть В. Некрасова и давала такой импульс нашему искусству. И воздействие ее нравственной атмосферы на нашу литературу и общество, ее расковыривающее, я бы сказал даже — освобождающее ее влияние было несомненно и плодотворно. Не забудем, что ведь это шел 1946 год и в одном номере журнала вместе с повестью В. Некрасова публиковались грозные статьи о Зощенко и Ахматовой...

Да и разве в одном только сорок шестом году нормальный, живой человеческий голос писателя мог звучать для нас нравственным освобождением, надеждой и духовным примером? Разве даже и сейчас, например, это такое уж привычное, каждодневное для нас событие — встречаться с естественным, простым, «нормальным» человеческим «я» в искусстве?..

В этой связи нельзя не вспомнить и еще об одной особенности некрасовской прозы.

Повесть В. Некрасова лирична, открыто субъективна — это живой, непринужденный рассказ человека, который делится с нами всем, что видел, пережил, понял за эти несколько месяцев сталинградской поры. И здесь есть все, что отличает такую непосредственную, почти дневниковую запись подневных личных впечатлений: и размышления о происходящих событиях, и лирические страницы воспоминаний о прошлом, и явственно окрашенные субъективным отношением портретные характеристики людей, с которыми рассказчику, Керженцеву, довелось сражаться бок о бок, и многое другое, столь же открыто и непосредственно выражающее его чувство и мысль. Казалось бы, при таком свободном и вольном разливе субъективного начала оно неизбежно должно было вторгнуться и в сам ход изображения, определить его внутреннее построение, подчинить его себе.

Между тем это совсем не так. Всякий раз, когда рассказчик вступает в сферу собственно изображения, рисуя сцены, эпизоды сво-

ей хроники (а это — остов книги), — всякий раз он явственно отступает со своими суждениями и оценками куда-то за рамки кадра, как бы предоставляя изображаемую реальность самой себе.

Вспомним, к примеру, хотя бы тот же эпизод ночного боя, выше цитированный. Ради чего он рассказан, с какой внутренней целью? О чем он?

Действительно о том лишь, не больше, что вот что это такое — ночной бой, вот как он протекает, вот что чувствуешь, делаешь, воспринимаешь в эти мгновения, вот как о них помнишь — траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, опять удар, потом тишина.. При самой пристальной внимательности наш внутренний слух, чуткий к подспудному смыслу рассказываемого, не уловит здесь никакой иной, внешней по отношению к самому изображению цели. Рассказ действительно только об этом, ни о чем больше. И лишь потому, что он всецело и исключительно об этом, он — и обо всем другом, что реально вмещают в себя эти минуты. В том числе (хотя это уже, разумеется, вообще никак не могло входить в замысел рассказчика, ведущего речь о себе) — и о самом Керженцеве, о его мужестве, его солдатской самоотверженности. Ибо что же такое и есть этот поток непосредственных, сугубо предметных, по большей части даже полунстинктивных ощущений и реакций, которые столь четко фиксирует здесь рассказчик, если не та реальная психологическая форма, которую принимают и в которой только и могут проявить себя в непосредственной действительности боя и человеческая собранность, и воля, и чувство долга? Вот почему, воссозданная с такой редкостной точностью, так осязаемо достоверно, вся эта психологическая реальность боя и доносит до нас то, что составляет глубинную основу действий Керженцева, — свидетельствует о настоящем, непоказном мужестве этого человека.

Но — именно объективно, своим реальным наполнением, а не потому, что как-то специально «сфокусирована», «заострена» на этом, как не «заострена» она и ни с какой другой стороны.

И это — характерно для повести. О себе ли Керженцев рассказывает, о всем ли другом, что происходит рядом с ним. Он может рассуждать о войне, о «чуде», которого ждет Георгий Акимович, с грустью и неж-

ностью вспоминать свой «милый, милый Киев», рассказывать о том, почему он любит Валегу или чем нравится ему Седых, мечтающий об ордене, чтобы вернуться домой, как и полагается солдату, может смеяться над своим растяпой-адъютантом и т. д. и т. п. Но всякий раз, когда дело доходит до собственно изображения, художественного свидетельства о бывшем, — всякий раз такое же, как в сцене ночного боя, отсутствие всякого смыслового «нажима».

Конечно, все, что хочет сказать нам Керженцев от себя, он говорит — и достаточно ясно. И все же эти размышления и обобщения, при всей их иной раз существеннейшей важности для понимания событий, изображенных в повести, никогда не вмешиваются в ход изображения, не подчиняют его себе, не трансформируют: это скорее мысли и суждения Керженцева-персонажа, Керженцева — «внутри кадра», а не Керженцева, находящегося как бы «за кадром» — Керженцева-повествователя, Керженцева-автора. Вот почему и в самом своем построении повесть В. Некрасова тяготеет к естественной, непринужденной хронике, к непосредственности «дневниковой» формы, а не к сюжетной организации, выражающей собою развитие авторской мысли. Не «мысль», не некая сквозная «программа», очевидная и тщательно «высвечиваемая», ведет здесь автора, а прежде всего следование за естественным ходом самой жизни.

Все это позволяет соотнести прозу В. Некрасова с прозой той традиции, которая получила, по ряду причин, особенное развитие именно в двадцатом веке. Я говорю о прозе, которая предпочитает принципы «документализма», «хроникального», «репортажного» показа событий, строит образ, который можно назвать (условно, конечно) «образом-свидетельством». Недаром и сам В. Некрасов однажды признался, что самой большой похвалой для него было, когда повесть его называли «записками офицера»: «Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный «обман», за него не краснеют...»

Почему я обращаю внимание читателя на эту особенность повествовательного стиля В. Некрасова, — особенность, которая относится как будто бы всецело к области формы?

Разумеется, не для того только, чтобы определить место прозы В. Некрасова в системе современных литературных традиций, причислив ее к тому или иному направлению. К тому же такие сопоставления и причисления сами по себе еще мало что дают. «Любое искусство, — заметил однажды Э. Хемингуэй, — создается только крупными мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для классификации бесталанных последователей». Формула, конечно, слишком категоричная. Но в ней — и немалая доля истины. Особенно если речь идет о действительно самобытных художниках, которых мы сближаем по тем или иным сходным чертам их творчества.

«Дневниковая» свобода повествования, «документальная» достоверность некрасовской прозы тоже не что-то заемное, общее. Они глубоко органичны и уникальны.

И в этом — суть. В том, что характерная для некрасовской прозы свобода от специального смыслового «заострения» — менее всего у В. Некрасова прием, форма. В том, что она, в сущности, и есть как раз самое сдержанное, органическая природа человеческого и писательского «я» В. Некрасова, его способа видеть, чувствовать и понимать жизнь. Если хотите — материализованная в самом стиле «философия» повести. Ее духовность. Ее нравственная атмосфера. Помните, как у Л. Толстого? — «цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету».

И это тот же самый «цемент», та же открытость жизни, о которой мы говорили. Только проявляет она здесь себя уже не просто как художническая внимательность к характеристикам жизни, но и как доверие к ней. То мудрое художническое доверие к жизни, когда писатель не навязывает ей свою волю, не «оттеняет» и не «заостряет» ее в угоду тому, что хочет сказать о ней, а по мере сил своих стремится предоставить ей как бы самой говорить за себя, без ложной гордыни отдавая себе отчет в том, что она бездоннее, глубже, содержательнее любых наших ее интерпретаций и, воссозданная правдиво и полно, сама скажет о себе больше и лучше, чем можем сказать о ней мы.

Вот почему, в частности, эта видимая отстраненность авторского «я» в изображении действительности и не воспринимается как что-то особое, отдельное, в известной мере противостоящее той открытой лирической стихии этого «я», которая разлита в повести. Это не двойственность, не разнородность, а просто разные выражения одного и того же. Лиризм во внешнем отсутствии лиризма и субъективности. Живое, непосредственно ощущаемое нами веяние человеческого «я» художника, его духовности — в его бережном доверии к свидетельствам самой жизни.

Что же удивительного, что В. Некрасову досталось и за это? Ведь и до сих пор догматическая ортодоксия все еще держится на одном из важнейших своих плацдармов, и я уже слышу тот коварный и негодующий вопрос, который должен, кажется, прозвучать после всех этих рассуждений о праве автора на «достоверность самому себе». Как — а страстность художника, его активность, четкость его позиций?! Его обязанность воспитывать, вести за собой читателя, активно утверждать свои идеалы? Ведь это же незыблемые, коренные законы искусства!..

Ох, уж эти «незыблемые законы»... Когда послушаешь, как их толкуют, право же, выходит, что все они сводятся к одному и нужны только для одного — внушить писателю, что он ни в коем случае не должен оставлять своего читателя без надлежащего руководства, а то, не дай бог, тот заблудится и сделает какие-нибудь «не те» выводы. Все тот же, все тот же знакомый постулат: «пастырь и овцы»...

Только какое отношение к нему имеют хотя бы даже и те открыто тенденциозные художники, на которых любят ссылаться, как на классические образцы, наши теоретики?

Активность, четкость позиций, воспитательное значение искусства... Нет, весь вопрос, как видно, действительно лишь в том, какая это активность, четкость каких позиций. Именно в этом — существо дела, и формула эстетического остракизма, которому принято было подвергать В. Некрасова, — всего лишь неуклюжая и безграмотная попытка придать видимости академической солидности вовсе не академическому неприятию того, что противостоит идеалу казенно-иллюстративного ис-

кусства, созданному усилиями конъюнктурной критики.

Да, тенденциозный художник активен и своей страстностью, своим желанием донести свою мысль до читателя так, «чтобы тот совершенно так же понял ее» (Достоевский). И это создает свой, знающий немало великих и даже величайших образцов, тип художественной образности. Ну, а если художнической природе писателя не свойствен проповеднический пафос? Если ему и близко, и дорого, и полно захватывающего интереса не развивать перед читателем свои концепции действительности, а лепить, формовать, выписывать ее зримый образ, заботясь прежде всего о его характерности, полноте и правде? Если его отношение к собственным мыслям и концепциям, которых он, надо думать, не вовсе лишен, — иное, и он по-другому смотрит на то, как должны они соотноситься с художественным изображением действительности? Разве не может он исходить из уверенности и надежды, что если в показанной им реальности действительно есть все то, что он в ней видит и что рождает в нем те или иные мысли, обобщения, оценки, то читатель сам, без специальных методов «наведения», придет к тем же итогам? И даже сверх того — увидит, может быть, и еще что-то существенное и важное, чего он, автор, мог и не оценить по достоинству. А в чем-то, может быть, и разойдется с ним.

Что — это плохо? Для кого?

Для художника, которому не отпущено много счастья, чем создать художественную картину действительности, которая обладала бы глубиной, богатством и практической неисчерпаемостью своего существенного содержания? Или для читателя, к которому обращаются с таким доверием, с уважением к его самостоятельности, с призывом к активности его собственной мысли и чувства?.. Да разве, наконец, даже и сила воздействия так называемого тенденциозного искусства зависит от самой по себе «прочерченности» авторской мысли? Разве убедительность для нас этой мысли — прежде всего не в правде и убедительности самих образов? Ведь это же искусство в конце концов, а не дважды два — четыре!

Так и будем же судить об искусстве согласно его собственному объективному достоинству. В том числе и о тех его особен-

ностях и тенденциях, которые мы можем проследить в прозе В. Некрасова.

Вернемся же к повести В. Некрасова и посмотрим, какова объективная ценность того нравственного мира, который открывается нам на ее страницах. Тем более что, сказав об общей атмосфере некрасовского повествования, о тех чертах авторского «я», которые в нем проступают, мы, в сущности, сказали только об одной, хотя и важной его стороне.

6

В самом деле — ведь все эти общие особенности мировосприятия, запечатлевшиеся в стиле повести, есть принадлежность не просто Виктора Некрасова. Они — достояние и того человека, которому автор доверил вести повествование, — Юрия Керженцева. А внутренний мир этого духовного (а отчасти, очевидно, и автобиографического) двойника автора обозначен в повести куда более широким кругом своих проявлений. Это действительно целый мир отношений, симпатий, привязанностей, поступков, отталкиваний, размышлений, чувств — всего того, что составляет живое наполнение человеческой индивидуальности. И те черты этого «я», которые проступают в характере его рассказа, — действительно лишь одна, хотя и очень характерная его сторона.

И все же я не случайно начал именно с них, с этих общих особенностей некрасовского отношения к миру. Потому что именно с них начинается наше восприятие книги. И именно с них начинается и сам Керженцев. С такого вот — «нельзя описать ночной бой или рассказать о нем». С какой-нибудь кудрявой головки, которую рисует Максимов в ночь перед отступлением на обрывке газеты и которую умеет подметить и показать нам Керженцев. Да буквально с первой страницы повести, открывая которую, сразу же откликнешься на эту естественную, живую человеческую интонацию...

И когда потом, на следующих страницах, в десятках других деталей, штрихов, описаний, уже с радостью находишь подтверждение необманчивости этого первого впечатления, и рождается желание пристальнее всмотреться в облик этого человека, так просто, точно и живо воссоздающего на твоих глазах увиденное и пережитое им время. И здесь уже замечаешь и то, с какой неуслышительной честностью исполняет Кер-

женцев свои воинский долг. И то, как не занят мыслями и заботами о себе этот человек, как невозможно для него даже в таком, почти дневниковом, в сущности, рассказе сосредоточивать внимание читателя на своей персоне — черта действительно характерная для этой книги, где сам Керженцев как раз по большей части где-то на втором плане. Отмечаешь и эту его способность остро и болезненно переживать общую ответственность и вину как свою собственную («ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье»). И этот внутренний такт, с которым он ведет свой первый разговор с Фарбером, давая высказаться этому замкнутому человеку, понимая, как нелегко ему преодолеть свою стеснительность, непривычку к душевной открытости. Перечитайте эту сцену — вы увидите, что Керженцев здесь, право же, не менее интересен и привлекателен, чем Фарбер, исповедь которого прежде всего обычно останавливает наше внимание...

А этот живой, постоянно доброжелательный интерес Керженцева к людям, эта всегдашняя его потребность вглядываться в других, искать и открывать в них что-то хорошее, доброе? К этому привыкаешь с первых страниц повести и потом даже как бы и не замечаешь, словно бы нет здесь ничего примечательного. Но на минуту вдуваемся только — как удивительно часто встречаешь в этой книге привлекательные, добрые человеческие лица, как много в ней хороших, по-настоящему хороших людей! И любознательный, простодушный Седых, «молодые мышцы» которого «рвутся в бой», и замкнутый, странноватый Фарбер, и Карнаухов, тайно от всех пишущий стихи, — такие же простые, ясные, чистые, как он сам, и любимец солдат Сенечка Лозовой, и Максимов, и Георгий Акимович, и Бородин, и Лисагор, и Ширяев, и Игорь, и Чумак. А ведь всех их надо было увидеть, все они поворачиваются к Керженцеву своими лучшими сторонами, в каждом из них он умеет рассмотреть что-то притягательное и при этом свое, особенное, неповторимое...

Не оттого ли и остаются они в нашей памяти, как живые, и лишь потом, перечитывая книгу, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что тот же Чумак или Георгий Акимович, Ширяев или Седых очерчены в книге, оказывается, всего несколькими страницами, а то и абзацами? А мы еще говорим, что

положительных героев писать труднее и удаются они писателям реже. Кому как, и смотря какие «положительные»...

А Валега?

Не часто встретишь в нашей прозе такой образ советского солдата,—образ, который был бы выписан с теплотой, даже нежностью, и который был бы вместе с тем так реален, так неоспоримо подлинен. Он запоминается весь — каждой своей черточкой. И тем, как мялся и мычал что-то невнятное, когда Керженцев уламывал его идти к нему в ординарцы,—стыдно было от своих ребят уходить, вместе с которыми по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут к начальнику в связные, на «тепленькое местечко»... И как, оказавшись на этом «тепленьком местечке», стал неразлучной тенью Керженцева, бок о бок с ним лез в самые жестокие переделки, всегда оказываясь там, где нужно, и тогда, когда нужно. И своим деспотическим характером, этой своей ворчливой заботой о Керженцеве, который для него — что дите малое: «Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант».. И тем, как умудрился стянуть из-под носа у немцев термосы с вином, когда кончилась вода и неоткуда было взять ее, чтобы залить в пулеметы. И этой своей хозяйственностью, сноровистостью — в пилотке, что торчит на самой макушке, всегда три иголки с белой, черной и защитного цвета нитками: в двух фляжках, с которыми он не расстается, всегда молоко или водка, хотя где он их достает, одному богу известно; в руках — всегда какое-нибудь дело, а умеет он все — и стричь, и брить, и чинить сапоги, и развести костер под проливным дождем, и в пять минут палатку поставить. И все это молча, быстро, незаметно...

Да, Валега — это действительно целый мир. И если кому-то кажется, что повесть В. Некрасова ничего не говорит о войне, о Сталинграде «в целом», то вот опа, если хотите,— философия этой войны: маленький, круглоголовый Валега, который и читает по складам, и в делении путается, и спроси его, говорит Керженцев, что такое социализм или родина, ей-богу ж, толком не объяснит,—слишком для него трудны определяемые словами понятия. Но за эту родину, за товарищей своих, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае он будет драться до последнего патрона, а кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот оно, одно из воплощений той простой и ясной, непобедимой

мой в этой своей простоте и целесообразности силы, которая поднялась из глубин народной души, когда дошло дело до жизни и смерти страны,— силы, которая и вела миллионы таких Валег, не рассуждавших долго о трудно определяемых словами понятиях, а до последнего патрона, кулаками и зубами, когда патроны кончались, дравшихся насмерть с врагом, защищая от него себя, близких, семью, товарищей, дом свой и родную землю, и гнавших его потом от самого края этой земли до ее пределов и дальше, до края чужой земли, пока не было утолено, как говорил Толстой, чувство оскорбления и мести...

Не случайно именно отношения с Валегой — одна из центральных, хотя и не явных нравственных вех внутренней жизни Керженцева, проходящего испытание войны. И недаром именно Валеге посвящена и с ним связана та очень важная для повести страница, где Керженцев как бы подводит некоторые итоги тому, чему научила его война:

«Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы...

Привык я к тебе, лопухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, юнкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненного, с поля боя? Меня раньше это не интересовало. А сейчас интересуется. А Валега вытащит. Это я знаю... С Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный...

Валега что-то ворчит во сне, переворачи-

вається на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь»...

Мы знаем, что когда кончится война, приемник Керженцева — Николай Мигясов из повести В. Некрасова «В родном городе» — внесет некоторую поправку в эти рассуждения Керженцева о войне как лакмусовой бумажке. В новой, мирной жизни он увидит, что бывает и так — «человек в Сталинграде воевал, в Севастополе, ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле». И поймет, что лакмусовая бумажка войны тоже еще не всегда позволяет узнать человека до конца по-настоящему, что критерии ее нужно дополнить.

Но той мере — и огромной мере — познания человека, которой могла научить война, Керженцев научился. И в этом ему помог не кто иной, как Валега.

И это — показательно для Керженцева. Здесь мы встречаемся с той чертой его нравственного облика, с той его внутренней демократичностью, которую даже как-то не вполне ладно назвать этим словом, так часто сопрягаемым лишь с некой внешней манерой поведения, — настолько естественно, незамечаяемо живет в Керженцеве это чувство родственной, почти кровной близости к тому же Валеге, настолько просто — иначе и невозможно — быть для него на равных в дружбе с Чумаком — дружбе, которая так удивляет поначалу даже Карнаухова: «А мне казалось, не такие нравятся вам должны... Не одного поля вы ягоды, так сказать»... И, однако же, именно Чумак — со всей его грубоватой настырностью, с лихими замашками бывалого завсегдадая севастипольских бульваров, с порядочным грузом всякого рода предрассудков, идущих от малой культуры и непривычки думать, — Чумак, который сумел, однако, понять на войне нечто очень важное, сделавшее его настоящим товарищем, верным в беде, справедливым и бескорыстным в отношениях, — становится по-настоящему близок и дорог Керженцеву...

При этом, заметьте, в Керженцеве нет ничего от той частой на войне, в солдатском совместном быте, душевной огрубелости, от «опрошения», что оборачивается нередко снижением внутренней требовательности

к себе, нравственной неразборчивостью в связях и отношениях, которые были бы невозможны в обычной, мирной жизни, но с которых теперь как бы снимается «внутренний запрет — «война все спит»»...

Керженцев ни в чем и никогда не подлаживается ни под Чумака, ни под Валегу. Он и в общении с ними остается самим собой. И ему совсем нетрудно, при всем неизбежном и вовсе не заглушаемом им как-то искусственно различии в духовной развитости, чувствовать их в дружбе как равных себе, близких и дорогих людей. Нетрудно, потому что эта органическая верность самому себе как раз и вытекает из того же самого нравственного источника, что и способность его с особенной ясностью понять на войне, что нравственное достоинство человека определяется не образовательно-культурным его цензом, а его человеческой порядочностью в общении с товарищами, в дружбе, в исполнении воинского долга.

И этот внутренний нравственный источник столь же естественно обнаруживает себя и в том, как органично для Керженцева резкое неприятие всякого ловкачества, трусливой увертливости, перекладывающей тяготы солдатского долга на плечи других, всякой казенщины и солдафонства. Вспомним хотя бы Калужского или ПНШ-1 Астафьева, бывшего доцента истории, человека с изящными онегинскими бачками и оловянным взглядом, самоуверенного службиста и труса, который вызывает у Керженцева лишь брезгливую иронию и презрение. Вспомним, с какой холодной ненавистью рассказывает Керженцев о капитане Абросимове — тупом, бездушном солдафоне, для которого люди — лишь шахматные фигурки в военной игре и который в припадке пачальнической истерии преступно и бессмысленно отправляет на смерть десятки людей (трагическая и жестокая ситуация, к которой не раз потом, после книги В. Некрасова, обратится наша военная литература)...

Во всем этом — та внутренняя цельность и прочность нравственного облика главного героя книги, которая не случайно проявляет себя и тем, что именно через дружбу с такими людьми, как Валега, Чумак, Ширяев, пришли к нему духовные обретения, которые дала ему война, и тем, что он оказался способен к этим обретениям. Эта цельность — в его открытости тому человеческому, что помогает понять война. В его невосприимчивости ко всему, что искажает,

разменивает, принижает человеческое достоинство. Не говоря уже об органическом отвращении и ненависти ко всему, что уродует и убивает жизнь, что — античеловечно.

Вот почему так характерно для Керженцева и то удивительно точное, нравственное безошибочное внутреннее отношение его к самому главному и самому страшному на войне солдатскому делу — убивать, убивать и убивать, — отношение, которое нигде как будто бы даже прямо не высказано, но именно разлито в повести, сквозит во всем человеческом облике Керженцева.

Да, для Керженцева это — неукоснительный, требующий полной отдачи гражданский, патриотический, а значит, и нравственный долг. И даже больше — потому что перед ним не просто захватчики, но солдаты фашистской армии, коричневая чума, грозящая уничтожением всего, что дорого человечеству. И Керженцев выполняет этот свой долг до конца, до последнего предела солдатских сил и умения.

Но попробуйте хотя бы на одной странице повести, хотя бы в одной детали, рассказывающей о том, как выполняет Керженцев этот свой долг, найти малейший оттенок какой-либо взвинченности, азарта — проявлений тех биологических инстинктов, которые порой служат на войне своего рода психологическим наркотиком и вносят в это необходимое, главное солдатское дело нравственно недопустимый уже элемент охоты или даже спорта... Тут действует в Керженцеве иной, человеческий инстинкт — тот безошибочный нравственный инстинкт, который знает, что только в решимости преодолеть законное сопротивление своей человеческой природы убийству лишь сознанием и чувством долга — единственная возможность для человека не покалечить свою душу.

И эта нравственная чуткость Керженцева проявляется и в том, как редко и сдержанно, одним-двумя словами, рассказывает он об этих нередких в его жизни минутах — когда он целится, заносит штык, убивает... Опять-таки что-то в нем знает, чувствует, что иные вещи человек должен делать, но не должен выставлять их наружу, живописать их — обязан нести их в себе, один...

Таким сходит к нам со страниц повести Виктора Некрасова этот человек — лирический ее герой, второе «я» автора. Таков этот человеческий мир — в его обычных, каждодневных проявлениях и чертах.

Существенны ли эти черты? По-моему, очень. Хотя во всех этих притяжениях и отталкиваниях Керженцев вовсе не выглядит, конечно, каким-то необыкновенным, феноменальным человеком, и если я и напоминаю читателю эти характерные его человеческие проявления, то совсем не потому, что вижу в них что-то исключительное. Ни в одном из них действительно нет ровным счетом ничего сверхобычного, все они кажутся и не могут не казаться нашему нравственному чувству естественными — такими, какими они и должны быть у всякого нормального, нравственно развитого человека.

Но подумаем — почему же тогда именно такая вот нормальность человеческих реакций больше всего нас как раз и привлекает? Не потому ли, что при всей своей общности она, увы, все-таки не столь уж обычна? И не потому ли она так и желанна нам, что доступна только глубокому нравственному здоровью нашего духовного мира — той, я бы сказал, внутренней интеллигентности, которая есть не что-то кастовое, привитое внешним воспитанием, но органическое, ставшее природой человека владение всей той совокупностью нравственных отношений к миру, которая сделала человека человеком?

Да, Керженцев — не феномен, не гений, и в его замечаниях, суждениях, раздумьях нет ровным счетом ничего, что выходило бы за пределы интеллектуального уровня обычного интеллигентного человека. Он и есть такой обычный, нормальный интеллигентный человек. Но только человек с той внутренней нравственной культурой, которая присуща далеко не всякому интеллигенту и которая дороже нам иной интеллектуальной исключительности. И этим он нам и интересен, этим и замечателен. Своим человеческим талантом, тем, что всегда и во всем обаятельно нормален, подкупающе естествен. Тем, что в его проявлениях, реакциях, привязанностях мы всегда ощущаем присутствие того, что, может быть, и стоило бы как раз назвать высшей человеческой мудростью — органическую точность различения добра и зла, безошибочность и надежность нравственного чутья, без которого мало что значат все другие способности и таланты человека. И даже исключительный по живости изображения пластический талант писателя... Все это нельзя не почувствовать, на все это нельзя

не откликнуться, как нельзя не ощутить присутствие этой человеческой культуры и в десятках других, мною не названных мимолетных и сосредоточенных душевных движений Керженцева. Даже в той израненной и перевязанной санинструктором кошке, что забирается в ящик к своим котяткам, а те тычутся мордочками в повязку, тесут друг на друга и не могут найти сосков,— кошке, о которой Керженцев тоже не может не рассказать, хотя, казалось бы, видел столько крови и страданий, что уже о кошке-то можно и забыть. Это тоже не сентиментальность, не экзальтированность и вызывает не умиление, а понимание и согласие...

Все эти черты человеческого облика Керженцева выдерживают суд по самому строгому, самому безотносительному счету. Но, может быть, особенно благодарно откликаешься на них именно потому, что хорошо знаешь, как это не просто—сохранить такую человеческую нормальность в таких ненормальных, трагических для человека условиях, как война...

И вот это-то и есть как раз тот важнейший пункт, в котором пересекаются все впечатления от повести. Тот духовный ее итог, которым прежде всего входит она в нас, остается в нашей памяти, в мире наших человеческих ценностей.

В самом деле — о чем, в сущности, эта книга? О войне?

Да — и о войне. О том, чем была она для всех нас в сорок первом и сорок втором годах. И о том, как она выглядит. И об истоках нашей победы.

Но обо всем этом она потому, что прежде всего она — о человеке. О том, как он проходит через войну и как война проходит через него. Если хотите — опыт пристальнейшего художественного исследования и наблюдения за человеческой душой в одной из жесточайших ситуаций, в какие только может попасть человек. В одной из тех ситуаций, которые на языке современной философии не случайно именуется *пограничными* — такими, в которых до конца раскрывается и проверяется наша человеческая природа. И то, что повесть В. Некрасова убеждает нас, что в любой, самой предельной ситуации человечность, доброта, духовность, безошибочность и неподкупность нравственного чувства, полнота нравственной культуры, внутренней интеллигентности

человека остаются его высшим достоинством, его высшей красотой — это и есть ее главный человеческий итог, сохраняющий для нас все свое безусловное значение в любые времена и в любых ситуациях. И нетрудно понять почему.

Человеческие ценности, утверждаемые книгой В. Некрасова, — не из тех, значение которых ограничено сферой индивидуальной, «домашней» нравственности. Это не абстрактные моральные постулаты, не ориентиры для некоего замкнутого в себе, сугубо частного морального «самоусовершенствования». Нравственная развитость человека — одно из важнейших, коренных условий и для выработки им верных ориентиров в его общественной борьбе.

Конечно, никакой безусловной, абсолютной зависимости здесь нет. И безошибочность нравственного чувства, способность ясно и верно видеть нравственное достоинство тех или иных, непосредственно данных человеческих отношений, действий, поступков, реакций — еще не гарантия того, что и в своем общественном мировоззрении, в понимании своего места и назначения в окружающем мире, человек непременно окажется на верных позициях. По-всякому бывает, да и какие гарантии могут существовать на этот счет? История, как известно, — не тротуар Невского проспекта, и правильно предвидеть действительные результаты и последствия избранных нами путей и методов борьбы — задача до крайности сложная.

Но, кажется, человек, обладающий развитым и безошибочным непосредственным нравственным чувством и твердо убежденный в том, что человеческая нравственность — не средство душевного комфорта, а нечто неизмеримо более важное и общезначимое; человек, ясно сознающий, что в любых ситуациях и положениях, в любых общественных действиях и методах борьбы лишь то заслуживает поддержки, что утверждает, а не разрушает человеческую нравственность, не противостоит человеческому достоинству, а укрепляет и развивает его нравственную природу, — человек этот обладает все же достаточно надежным мериллом для того, чтобы в живом движении жизни, в ее сдвигах и противоречиях улавливать то главное, что подтверждает или ставит под сомнение правильность избранного пути. И тем — учиться у жизни, и делать выводы, и отбрасывать ложное, вносить

необходимые коррективы и в свой общественный идеал, и в свои позиции — искать и находить новые, более верные пути и методы борьбы за утверждение того общественного строя, который действительно отвечал бы требованиям «завершенного гуманизма».

Повесть В. Некрасова, всем своим нравственным строем утверждающая первостепенную важность этих коренных человеческих ценностей и критериев, надежно помогает нам в этом нелегком, отчаянно нелегком, но самом главном и ответственном общем нашем человеческом деле. Этим она всегда будет нужна и дорога нам. Этим навсегда и прочно останется в нашей памяти и ее главный герой, обычный армейский лейтенант Юрий Керженцев. Герой, который потому и сумел рассказать нам самую главную историческую правду о том, как и почему Сталинград стал Сталинградом, что смотрел на мир ясными и честными глазами человека, обладающего простым и ясным, непосредственным нравственным чувством правды и добра.

...Да, война многому его научила. Она опалила ему душу. Но она не сожгла ее.

Напротив, она вызвала в ней — наперекор всему жестокому и антигуманному — тем большую, какую-то особую открытость добру, человечности. И это определило собою весь строй его рассказа, его исповеди, наполнило ее светом и воздухом. Одна из самых честных, самых суровых и правдивых книг о войне стала в то же самое время и одной из самых светлых, лиричных и гуманных книг в нашей литературе.

И как это символично и отрадно, что такой книгой стала книга, рожденная Сталинградом, рассказавшая о самой трудной, самой жестокой поре войны! Повесть В. Некрасова — не бронза, не гранитный монумент, подавляющий нас грандиозными формами и поднебесной высотой. Это простое, негромкое человеческое слово, сказанное о тех, кто сражался и умирал в окопах Сталинграда. Сколько было их, похожих на Валуэгу, на Чумака, на Ширяева, на Максимова! Сколько там осталось навсегда лежать таких, как Керженцев — с такой же человеческой открытостью к добру, к людям, с таким же ясным и чистым человеческим миром!

Повесть В. Некрасова достойна их памяти.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Келдыш. Новые письма Горького.— **Ф. Левин.** Добро вам, люди! — **Иван Дзюба.** Подлинность слова и жизни.— **Г. Макаров.** Ноль информации.— **Л. Черная.** Непримируемость.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Р. Баландин. Наука — техника — производство — общество.— **О. Знаменский, В. Старцев.** История февральской революции — **В. Кулиш.** Подвиг и его истолкование.— **Ю. Рюриков.** Инфляция дефиниций.

Литература и искусство

НОВЫЕ ПИСЬМА ГОРЬКОГО

Архив А. М. Горького. Том IX. Письма к Е. П. Пешковой. 1906—1932. Подготовка писем к печати и комментарии **Е. П. Пешковой.** Редакция комментариев: **В. С. Барахова, И. А. Бочаровой, Н. Н. Жегалова** (отв. редактор). «Художественная литература». М. 1966. 480 стр.

Архив А. М. Горького в последние годы радует читателя изданиями и публикациями, отличающимися текстологической культурой, тщательным комментарием и, конечно, исключительно интересным документальным материалом. Но не только в самой по себе новизне фактов и сведений о писателе и его эпохе ценность этих изданий. Главное в том, что многое в них заставляет по-иному — сложнее и ответственнее — думать о Горьком. Такова всем, наверное, памятная книга переписки Горького с советскими писателями (напечатанная пять лет тому назад в «Литературном наследстве»), ставшая заметным явлением нашей литературной жизни.

Более камерна, но обладает тем же достоинством и рецензируемая книга. Ею завершается издание писем Горького к Е. П. Пешковой, инициатором и составителем которого была сама Екатерина Павловна. Первая часть этого издания («Архив А. М. Горького», т. V. М. 1955) содержит 225 писем, относящихся к 1895—1906 годам; во второй

части помещено 415 писем 1906 (с октября месяца) — 1932 годов. Коллекция уникальная! Ни в одном из эпистолярных собраний, хранящихся в Архиве А. М. Горького, не проходит перед нами — так, как здесь, — весь путь писателя.

Горький обращался не только к жене, к близкому другу, но и — во многом — к единомышленнику, «доброй помощнице, в той ежедневной драке, которую я принужден вести», к судьбе своих произведений. Поэтому книга многообразна. В соррентийских письмах последнего времени, например, много быта. Они заполнены шутивно-веселыми описаниями будней семьи Пешковых, милыми подробностями о сыне и внучках — новорожденной Марфе, которая «кричит диким голосом и хохочет, как Виктор Шкловский», годовалой Дарье, которая «стала совершенно похожа на академика Ферсмана».

В целом же для сборника характерны письма более широкого диапазона, подсказывающего иногда и самую структуру Горь-

ковского послания. Оно бывает многообразным, нередко строится как своеобразное обозрение различных событий и фактов. Трудно исчислить темы, возникающие в письмах Горького: политика, партийная жизнь, культура и искусство, свой литературный труд, журнальная борьба, личное и т. п. Еще труднее рассказать о всех них. Мы и не стремимся к этому, оставляя за пределами рецензии некоторые вопросы.

Первый том писем к Пешковой рассказывает (в большей своей части) о формирующемся писателе. Свообразным сюжетом второго тома становится «жизнь» сложившегося миросозерцания и возникающие в нем коллизии — коллизии драматические. Мы приобщаемся к духовному пути, порою очень тяжкому. Бывает, что сохранить уже найденную истину не менее трудно, чем искать ее. В этом убеждает чтение горьковских писем.

Начинают том письма 1906—1907 годов — того времени, когда в творчестве писателя все отчетливее проступают черты революционно-пролетарского мировоззрения. Горький счастлив, и это настроение окрашивает все впечатления жизни. Первая страница книги — приезд в Италию в октябре 1906 года: «Здесь удивительно красиво всё — природа, люди, звуки, цвета... На второй день попал на митинг с Лабриоло, мне устроили овацию, а когда мы возвращались с митинга, улицу загородили солдаты, раздался знакомый звук рожка — «готовься!» — толпа закричала: «Долой милитаризм!» — и раньше, чем солдаты успели выстрелить, смяла их. В общем, это было красиво». Эта мажорная нота звучит, не умолкая, в письмах 1906—1908 годов. Они привлекательны и уверенностью оценок, и радостным самочувствием человека, наконец-то обретшего ясные и четкие критерии социальной истины. «Вчера возвратился из Лондона... Съезд был страшно интересен для меня¹, я не заметил, как промелькнуло три недели времени, и очень много взял за эти дни здоровых, бодрых впечатлений. Страшно нравятся мне рабочие, особенно наши, большевики. Удивительно живой, разнообразный, интеллигентный народ, с такой яркой жадностью знаний, с таким жадным, всесторонним интересом к жизни». И далее — о «старичках Плеханове, Аксель-

роде и иже с ними»: «Их жалко, да, но — как это приятно видеть, что жизнь уже отодвигает прочь, в сторону, людей, которые еще вчера были далеко впереди многих. Приятно, потому что указывает на быструю роста жизни, на развитие требований к человеку идей со стороны пролетария». Правда большевизма — единственная правда, с позиций которой судит Горький и кадетов, и эсеров, и «товарищей» меков», которая внушает ему исполненный оптимизма взгляд на будущее. Да, «жизнь становится очень циничной... Снова начинается поход против демократии и демократических идей — поход глупый и подлый». Но «скоро пройдет вся эта сумрачность и гадость, — пищи для нее нет, ибо русский народ духовно здоров»; «...конечно, мы переживаем трудное время, но — ты увидишь, что оно скоро кончится, завершившись ярким, творческим взрывом народных сил». Посетив Флоренцию в ноябре 1907 года, он замечает: «...из-за каждого угла здесь смотрят тебе в лицо спокойные глаза Истории, возбуждая в душе такие светлые и бодрые надежды на будущее человечества». И потому «жизнь — прекрасна, думать — превосходное занятие...»; «Вообще — хорошо в Риме. И вообще на земле».

Это миросозерцание — в глубинных основах своих — станет миросозерцанием всей жизни писателя. В десятые годы, например, появятся его «Детство», «В людях», «По Руси» и др. с их историческим оптимизмом, романтически-призывные «Сказки об Италии». Но тогда же возникнут у Горького и другие, «несогласные», «осложняющие» мысли, особенно заметные в статьях и письмах. Источник этих мыслей — сама осложнившаяся действительность тех лет, которые наступят вслед за поражением первой русской революции. Революционное обновление, ожидавшееся со дня на день, заметно отдалилось. Новая правда утверждается в жизни значительно более трудно и мучительно, чем это раньше казалось, — такой взгляд приходит теперь к Горькому. Трезвый сам по себе, этот взгляд мог вести и к углублению революционной мысли, и к преувеличениям. В воззрениях Горького конца девятисотых — десятых годов было и то и другое.

Писателя удручают судьбы интеллигенции. Постоянны в его письмах гневные инвективы по поводу части интеллигенции, охваченной «реакцией духа», «бессильной и

¹ V съезд РСДРП, происходивший в Лондоне в мае 1907 года. Горький присутствовал на нем в качестве делегата с совещательным голосом.

дряблой», изменившей освободительным идеям. Вместе с тем здесь звучит и другой мотив — «несчастной» интеллигенции. В атмосфере реакции искажаются даже крупные люди: «Быть большим человеком в России — мрачная и мучительная позиция, дорогой ты мой друг, и — как поглядишь на всех более или менее крупных ребят, на все, что их окружает,— господи помилуй! страшно за них и готов все им простить», — пишет он в 1911 году. И тогда же, в 1911 году, — по поводу травли Куприна рептильной уличной прессой: «...кому-то дана свобода чуть ли не убивать хороших людей, а русское общество все это видит и молчит. Куприн, м[ожет] б[ыть], виноват, да¹... но кто ж дал право хулигану быть судьей и защитником морали?» В этих условиях особенно печальна участь молодых, еще не окрепших творческих сил: «...мне несколько беспокоино и, пожалуй, страшно за молодых русских писателей, за тех милых людей, которые, вот в эту минуту, может быть, со слезами искреннего волнения на глазах, торопливо, неопытными перьями, зачерчивают свои думы и ощущения жизни. Не хорошая встреча ожидает их. Ни одного серьезного слова не услышат они, кажется мне. И множество вредных пустяков наговорят им».

Народ творит историю, создает все ценности жизни — убежден Горький. Но на пути к этому — «дурные свойства нации, все уродства, нанесенные ей историей». Они — в пассивности, «фатализме и из него — нигилизме».

Ядовитые веяния времени, констатирует Горький, заражают и социал-демократию. Еще раньше, в 1908 году, он с тревогой писал о проникновении в нее мещан, социалистов «лишь потому», что это их «хлеб»: «Такой погани в партии не мало, и она пребудет в ней до поры, пока пролетарин — не вышвырнут ее вон...»

Незыблемы для Горького понятия «разум», «творчество», «культура», но все-таки порою ему кажется, что «тонка и хрупка корочка культуры, которой мы напрасно хвастаемся, имея варваров среди себя и внутри себя». В минуты особенно тяжкие у него вырвется возглас: «Кажется, я теряю главное, чем жил, самое дорогое мое — веру в Россию, в ее будущее».

¹ Имеется в виду один из эпизодов тогдашней «богемной» жизни Куприна.

Письма десятых годов демонстрируют постоянный внутренний спор писателя с самой собой. Он перебарывает гнетущие мысли и настроения («Как-то дрожит душа в тревоге хороших ожиданий»), но преодолеть их до конца все-таки не в силах.

В 1917—1919 годах, в пору прямых политических расхождений с большевиками, Горькому придется пережить наиболее трудное испытание. Об этом красноречиво свидетельствуют письма к Пешковой. После февральской революции писатель растерян, «исполнен скептицизма», не видит, «как мы разберемся в хаосе развалин, унаследованных нами», не доверяет возможностям революционного народа. «Теперь я сам составляю партию, я не знаю, как назвать ее. В этой партии один член — я». Разногласия с партией останутся и в первое время после Октября. Всколыхнулись давние опасения, связанные с крестьянством. Горького страшит деревня, которой, по мысли его, может противостоять лишь союз большевиков с интеллигенцией и представителями крупной промышленности. Он убежден, что «Русь не погибнет». Убежден и в том, что «кроме большевиков — нет сил...». И вместе с тем сомневается, что «жизнь и может и должна быть перестроена в том духе, теми приемами, как действует Сов[етская] власть» (письмо конца 1919 года).

Предпринимать подробный анализ политической позиции Горького первых пооктябрьских лет не место в журнальной рецензии (частично это уже сделано в исследованиях о Горьком; с большею, чем бывает, широтой взгляда сказано об этом и в предпосланном книге предисловии Б. А. Бялика). Напомним только, что в позднейшие годы Горький не раз возвращался мыслью (в статьях и письмах) к своим расхождениям с большевиками, затем изжитым. В письмах Пешковой двадцатых — начала тридцатых годов эта тема не звучит прямо. Но она подразумевается в полных пиетета высказываниях Горького о «лучших людях» «большевистской гвардии» — его откликах на смерть Л. Б. Красина, В. В. Старкова и прежде всего ярком письме, вызванном «смертью Ильича», от 11 февраля 1924 года.

В известных воспоминаниях Горького о Ленине, написанных тогда же, признание правоты идей Ленина сочетается с чувством благодарности к нему. Даже в пору самых резких и принципиальных разногласий с писателем Ленин не отделил его от социа-

лизма. Он всегда понимал природу ошибок и заблуждений Горького — не просто ошибок и не «рядовых» заблуждений, а противоречий развивающейся мысли. Читатель оценит это в полной мере, знакомясь с письмами к Пешковой (и другими архивными публикациями последних лет). Он увидит не «хрестоматийно» понятого Горького, всегда и во всем равного себе, как рисуют его иные критические работы (четко выделяя лишь периоды «ошибок» писателя). Он увидит сложный духовный мир личности, естественной и крупной и в своих сомнениях, и в их преодолении.

Разумеется, письма к Пешковой — не основной источник для изучения взглядов писателя. И в художественных его произведениях, и в статьях, и в переписке с общественными деятелями, литераторами волнующие Горького социальные, философские и тому подобные проблемы освещены часто и шире и аналитичнее, чем здесь. Но, с другой стороны, в этих письмах есть и нечто свое, что доверяют лишь близким людям. Это — то личное, что вложено в идею, эмоциональное ее переживание, чувства и настроения, рождаемые ею.

Получив известие о смерти Толстого, Горький писал и Короленко, и Коцюбинскому, и Амфитеатрову. Но, пожалуй, наиболее жгучим и страстным человеческим документом является письмо его Екатерине Павловне: «Неизбежное свершилось, да. А потом — заревел. Заперся у себя в комнате и — неутешно плакал весь день. Никогда в жизни моей не чувствовал себя так сиротливо, как в этот день, никогда не ощущал такой едкой тоски о человеке».

Именно «интимной» страстностью отношения к общему (Горький скорбел ведь не просто о человеке Толстом, но прежде всего о «национальном гении») особенно подкупает эта книга.

Но есть и собственно интимное — личная жизнь писателя. Она является нам в каком-то ином, особом освещении. И не только здесь, но и в письмах к другим людям, и в творчестве.

«Знаешь, дорогой мой Алексеюшка, в чем горе наших отношений — ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным, — писал Горькому Леонид Андреев в феврале 1912 года, — .. я не встречал человека, который так упорно и жестоко умерщвлял бы личную жизнь, личный разговор, личные страдания. Почти полгода

прожил я на Капри бок о бок с тобою, переживал невыносимые и опасные штурмы и дранги, искал участия и совета именно в личной, переломавшейся жизни — и говорил с тобою только о литературе и общественности». Разумеется, причины разлада между двумя писателями были гораздо более глубокими — в таком духе и ответил Андрееву Горький. Тем не менее Андреев уловил нечто действительно присущее Горькому, истолковав это по-своему.

В двадцатые годы было создано одно из чудесных горьковских произведений — «О первой любви», рассказ-воспоминание о молодости. Но героиня рассказа (ее «прототип») О. Ю. Каминская была обижена: ей многое вспоминалось не так. Несколько позже Горький заметил в письме к дочери Каминской: «...я не люблю мою личную жизнь и не люблю вспоминать о ней иначе как о литературном материале; что это — правда, это должно быть видимо из моих книг...» И в самом деле. В горьковском творчестве, уходящем корнями в биографию писателя, порой документированно точную, «личное» тем не менее всегда «отчуждено», возведено к типу, не теряя при этом своей эмоциональной власти. (О своей пьесе «Чудаки» Горький скажет: «...в пьесе есть, против обыкновения, нечто личное».)

Но личная переписка — факт не литературы, а самой жизни. Здесь можно ожидать другого. Горького связывали с Екатериной Павловной всю жизнь достаточно глубокие отношения, иногда драматические, даже болезненные. И это живет, постоянно ощущается в письмах: «У меня самое скверное — нервы. А это оттого, что мне нестерпимо знать, я причиняю боль человеку, который ничего худого мне не сделал, которого я внутренне уважаю... Суть в том, что мы, даже не желая, являемся друг для друга источниками горя, всегда — лишнего». И все-таки письма Горького — не исповедь в «узком» смысле слова. О «делах земли» — политические события, или смерть Толстого, или даже «пропажа Джюконды» из Лувра — говорится часто с большей страстью, волнением, драматизмом, чем о личных переживаниях; о них же, как правило, — строже, скупее и суше.

Но это все-таки не истина внутренней жизни Горького. Это — умысел, и не скрываемый. Напротив: «Меньше возись с собой самим... Смотри и думай больше об общем»; «Одно — личное, другое — общест-

венное и неизмеримо более важное», «Онкровенность взрослого — почти всегда нездорова...»; «Личному сейчас не место»; «Работай, учись, это... успокаивает мятежи в душе... Отнюдь не рекомендуя отказываться от себя, я говорю только о необходимости найти, понять и растить в себе человеческое. Личное — мало человечно».

Речь, конечно, не об «изъятии» личного. Все эти высказывания имеют в общем контексте совершенно ясный смысл. Личное, когда оно — страдание, сумятица, разброд, нестройность, словом, «отрицательные» состояния души, не следует, по мысли Горького, поверять ближнему своему. Зато он щедро делится «другим» личным: «радостным, родственным и чистым» чувством благодарности к женщине, любовными чувствами к сыну (Максим — один из главных «героев» переписки: «Лучше его — ничего нет»), заботами о его духовном росте, здоровье, воспитании и пр.

Важно понять все, о чем идет здесь речь, в масштабе целого. Уже в одном из горьковских рассказов девяностых годов звучал мотив: «Мы слишком много говорим о своем горе, мы слишком много жалуемся... Те, что идут за нами, видят и слышат все это...»

и утомляются чужим горем раньше, чем придет свое... Кто дал нам злое право отвращать людей тяжелым видом наших личных язв?» Мысль эта стала непреклонным убеждением писателя. Она соединилась с идеей борьбы против культа «страдания» в жизни, литературе, общественной мысли — идеей, являющейся неотъемлемой частью горьковского credo. В отношении писателя к самому себе, к собственной жизни есть доля самовоспитания в духе этой идеи.

Возможно, сегодняшние читатели не примут горьковскую концепцию «личного» — сдерживание душевных «мятежей» во имя некоей социальной педагогики, осторожное отношение к интимной исповеди. (Тем более, что и сам писатель время от времени ощущал внутреннюю потребность в такого рода самораскрытиях: она выливалась в отдельных заметках, отрывочных записях — но записях только для себя.) Что же? В этой сфере нет бесспорного «да» или «нет». Важно, что и здесь мы приобретаем к сложной натуре человека и художника, стремившегося покорить даже «несговорчивые» движения души веленьем общего миропонимания.

В. КЕЛДЫШ.

★

ДОБРО ВАМ, ЛЮДИ!

Николай Атаров. Не хочу быть маленьким. «Молодая гвардия». М. 1967. 208 стр.

Николай Атаров — писатель широкого диапазона. Читатель знает его прежде всего как литератора, который за тридцать с лишком лет работы написал множество очерков, рассказов, таких, как «Календарь русской природы» или «Изба». Книжки «Коротко лето в горах» и «Повесть о первой любви», цикл рассказов о минувшей войне. Но Н. Атаров завоевал внимание и признание читателей также как автор многих статей на темы общественной жизни, появившихся на страницах «Известий» и «Литературной газеты», литературно-критических статей, портретов писателей, высказываний по вопросам воспитания детей, проблемам этики и эстетики.

В новой книжке писателя собраны его важнейшие статьи. Следует сразу сказать, что ее заглавие «Не хочу быть маленьким» и особенно обложка — фотография молодой пары, задумавшейся на садовой скамье, возле которой маленькие дети сосре-

доточенно играют в какую-то свою игру, — могут навести читателя на мысль, что речь в сборнике идет именно о детях. Немалая часть статей и вправду посвящена детям, подросткам, трудным случаям из их жизни, неблагополучным семьям, сложнейшим вопросам воспитания ребят. Но в сборник вошли и статьи о последних рассказах Василия Гроссмана, о Константине Паустовском и Иване Катаеве, о профессоре Васильеве, лекции которого в институте слушал Атаров. В сборнике есть статьи о судьбах юности у нас и об английских «тинейджерах», размышления над книгой замечательного польского педагога Януша Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками в треблинском нацистском лагере смерти, отповедь педагогу-догматику, не понявшему и осудившему повесть Веры Пановой «Сережа», очерк о поездке в Осетию и многое другое.

Все это объединено в книге тем, что

называется внутренней темой,— подходом и отношением Н. Атарова к жизни, к людям, к общественным вопросам. «Не хочу быть маленьким» относится не только к детям, но и ко взрослым. Никто не хочет быть маленьким, да и нет на свете маленьких, нет «винтиков», каждый человек — личность, и он не должен давать себя полчинять, поработать, растлевать.

Мы порою слишком щедро и легко называем публицистами людей, которые по сути дела лишь популяризуют общеизвестные и даже шаблонные мысли. Николай Атаров, столкнувшись с каким-либо фактом, случаем, явлением, которые многим показались бы простыми до очевидности, настойчиво доискивается до корней, чтобы открыть в повседневном эпизоде такие стороны, которые не видны ленивому уму. Николай Атаров старается разобраться в сложных жизненных вопросах и заставляет читателя думать, познавать диалектику явлений.

Как ненавидит Атаров общие места, пустые фразы, «оптовую педагогику»! Еще в школьные годы старший товарищ объяснял ему: к человечеству надо идти от человека. И это стало для писателя путеводной нитью, принципом, но не головным, рассудочным, а вошедшим в плоть и кровь. Уважать человека, поддерживать человека, требовать от него, но и помогать ему расти, неустанно напоминать о ценности каждого — в этом пафос публицистики Н. Атарова. Порой автор похож на того человека с молоточком, о котором говорил Чехов в «Крыжовнике»: надо, чтобы за дверью каждого довольного и счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы, что в мире есть беды и несчастные люди. Порою это умный и знающий собеседник. Порою — гневный трибун, клеймящий тупость и бездарность.

Во многих и многих случаях жизни у Атарова нет готового ответа на возникающие вопросы. В статье «О человеческих отношениях», из которой, между прочим, и взято заглавие книжки, речь идет о том, что даже младенец в коляске — уже человек, жаждущий самостоятельности. Четырехлетний мальчуган хочет мороженого, и притом желает купить его сам и сам получить сдачу и вообще истратить эти копейки сам. Как взрослым поступить в этом случае? «Надо думать», — отвечает Атаров. Он говорит о том, как растет изо дня в день

стремление ребенка, подростка, юноши «быть более самостоятельным в играх, в поступках, в суждениях, в привязанностях, во вкусах, в выборе друзей». Как тут быть? «Думать надо». «Думать. Думать. Думать... Потому что — с каждым по-разному. Нет одного рецепта».

Статья о Василии Гроссмане «Добро вам, люди!» — лучшее, что до сих пор было написано об этом большом писателе. Идейная основа и пафос творчества Гроссмана дороги и близки Атарову, — именно отсюда и возникло то сердечное и глубокое понимание рассказов Гроссмана, какое мы находим в этой статье.

«Я вижу большое общественное значение творчества таких писателей, как Василий Гроссман, в том, что они будят беспокойство, не дают нам заслониться и остынуть. Такие писатели догадываются, что люди в общем и без них и до них чувствуют, что хорошо, что плохо. Ощущение виновности заключено в самой их совести. Дело лишь в том, что в трудный час они умеют заслониться от собственной совести. Заслониться легче легкого: все второстепенное, суетное, незначительное кажется важным и первоочередным, когда нужно принять трудное решение. Заслониться можно и недосугом, и своими заслугами, и повседневными заботами... О, заслониться можно даже самоубийством!

Значит, не дать людям заслоняться — вот задача писателя!

Быть добрым к людям — они этого заслуживают — и не давать им от себя самих заслоняться».

Не заслоняться — это и кредо Н. Атарова, он верен ему в каждой своей статье. Сохранить на всю жизнь отзывчивость к чужому несчастью, уметь удивляться таланту, восторгаться подвигом — к этому призывает его публицистика.

С болью пишет Н. Атаров о равнодушных, не умеющих и не желающих думать и размышлять, по чьей вине разбиваются сердца, иногда гибнут люди, как погибла Анечка, о которой рассказал писатель в статье «Была бы живая...».

Кажется, все по отдельности было не так уж страшно: посмеялись мальчишки над перехваченной запиской девочки, признавшей в первой «школьной» любви, нечуткий учитель прочел эту записку вслух, и директора вызвала мать девочки и съюва при

учителях огласила злополучную писульку, а мать еще унизила дочку, начав ее корить и стегать при всем народе.— но все это обернулось невозвратимой потерей юной жизни.

Атаров пишет о «незнаемых талантах», не пробудившихся из-за того, что они родились в эпоху угнетения, нищеты и невежества народа или не были разгаданы и поддержаны в наше время тупыми, бездарными чиновниками.

«Давайте вспомним: все самые большие

люди на земле сперва были маленькими»,— говорит Атаров («Проба сил»). «Циолковский запускал воздушные шары из папиросной бумаги, и трудно было догадаться, что, намотав веревочку на руку, это бежит сам Циолковский». Надо уметь вовремя поддержать пробуждающееся стремление человека, его дарование, вдохнуть и укрепить его веру в свои силы. К этому и зовет вся добрая и воинственная публицистика Николая Атарова.

Ф. ЛЕВИН.

★

ПОДЛИННОСТЬ СЛОВА И ЖИЗНИ

Иван Сенченко. Вишневый листок. Рассказы. Перевод с украинского. «Художественная литература». М. 1967. 336 стр.

Иван Ефимович Сенченко вошел в украинскую литературу в самом начале двадцатых годов. Писал рассказы, очерки, повести, выступал с полемическими заметками и другими публикациями в знаменитых «Зощитах» ВАПЛИТЕ и в «Літературному ярмарку». Уже в 1925 году известный критик и историк литературы Александр Иванович Белецкий, часто писавший тогда о молодой украинской советской литературе, говорит об Иване Сенченко как об «одаренном писателе», хотя еще и не вполне нашедшем себя и оформившемся. Один его рассказ — «Инженеры» — А. И. Белецкий особо выделяет, считая его художественно совершенным, и под впечатлением этого рассказа высказывает предположение, что настоящие успехи И. Сенченко будут связаны отнюдь не с «сельской» темой, которой он тогда увлекался, а с темой рабочей. Чутье не обмануло замечательного знатока литературы: его предсказание сбылось, хотя и не сразу.

Литературный путь И. Сенченко оказался не гладким. Творческой энергией он обладал недолгой и, пока обстоятельства благоприятствовали, писал много, в разных жанрах и на различные темы. Но написанное не удовлетворяло его, он чувствовал, что в чем-то главным, «своем» еще не раскрылся. А тут настали нелегкие времена. Ряд лет его имя использовалось как наглядное пособие в литературно-критических проработанных кампаниях. Вышедший в 1946 году роман И. Сенченко «Його покоління» долго фигурировал в докладах в одной «обойме» с «Живою водою» Юрия Яновского как

пример всяческой порочности (в 1965 году он был благополучно переиздан). Лишь с началом пятидесятых годов наступила более спокойная полоса в жизни писателя. Она ознаменовалась новым подъемом его творчества. Созданные им в эти годы рассказы (они вышли в книгах: «Рубін на Солом'янці», 1957; «Оповідання», 1959; «На Батийовій горі», 1960, и др.; последняя книга — «Цвіт королевій», 1967) стали заметным событием в украинской литературе.

В рецензируемой книге русский читатель найдет почти все лучшие вещи И. Сенченко, созданные за последние годы, в зрелую пору, этим очень своеобразным, умным и сердечным писателем, известность которого в широких читательских кругах, к сожалению, не соответствует достоинству его творчества.

В книге три раздела: «На Соломянке», «Родной Донецкий край», «Рассказы разных лет». Ядро книги составляет, конечно, цикл «На Соломянке»; представленные в нем рассказы и возвестили в свое время о том особенном, что внес И. Сенченко в украинскую литературу; в них же прежде всего следует искать ключ к пониманию его письма.

Соломянка — старый рабочий район Киева. Быт, труд и судьбы его обитателей составляют предмет повествования, а характер повествования определяется как особенностью материала, так и своеобразием авторского взгляда на него. Собственно, трудно отделить одно от другого и установить материал ли потребовал именно такого изложения — или угол зрения, характер ав-

горского видения незаметно трансформировали самый материал, наложили на него свой отпечаток. Скорее всего произошло органическое слияние обоих начал. Так что, говоря о писательской индивидуальности Ивана Сенченко, будем помнить, что она — продукт, так сказать, художнического вживания в определенный жизненный уклад; говоря же о показанной им жизни — что она, при всей своей осязаемости, реальности, принадлежит его субъективному миру; хотя наш автор и большой мастер представить дело так, будто он лишь бесхитростный и чуть ли не «подневольный» пересказчик дошедших до него разных жизненных историй

«На Батыевой горе, на одной из линий, есть домик, обычный рабочий домик, каких много разбросано по нашей необъятной земле. Домик принадлежит двум хозяевам. Один из них любит темные цвета, другой — только светлые. Соответственно этому и окна, двери, сгавни, столбики на крыльце у первого окрашены в коричневый цвет, у второго — в светлые тона: синие, небесно-голубые. Любитель темных тонов имел шестерых детей; любитель небесно-голубых — тоже шестерых и седьмую Олю, о которой и написан этот рассказ» («На Батыевой горе»)...

Вот так, в тоне доверительной беседы с покладистым слушателем, и пересказываются незамысловатые житейские быващины, сводящиеся, как правило, к нескольким моментам нехитрой человеческой биографии, изложенной часто очень общо, «конспективно». Порой они своей фабулой и прямо напоминают пресловутые «правдошные» истории, рассказываемые «очевидцами» в вагоне пригородного поезда или в гостях у давних знакомых, — о пожилом мужчине доброго рабочего нрава, прожившем жизнь с нелюбимой и сварливой женой, а после ее смерти нашедшем вдруг на склоне лет сердечную спутницу и таким образом вознагражденном за все свои мытарства («На калиновом мосту»); о девочке-приемыше, выросшей в скромную работающую девушку: война забирает у нее жениха, со временем в нее влюбляется его фронтовой товарищ, взявший на себя заботы о ней, но и он гибнет от несчастного случая накануне свадьбы, а она уже навсегда остается одинокой («На Батыевой горе»); о «норовистом», неподатливом сельском хлопце, который, потев родителю, попадает в ремесленное учи-

лище, а затем и в семью старого соломянского мастера, где проходит науку не только ремесла, но и суровой душевности, — история о том, как из «сморчков» и «басурманов» вырастают «орлы» («Рубин на Соломянке»); о таком же соломянском рабочем парне «с характером», в детстве на стоящем сорвиголове, прошедшем затем немалый трудовой путь, парне, который становится потом способным инженером и погибает в годы войны.

Если рассмотреть все эти «истории» И. Сенченко на предмет сверки с ходовыми канонами художественности, то итог будет обескураживающим. Мы не найдем здесь почти что никаких привычных, вроде бы обязательных примет искусной творческой интерпретации: ни развитого сюжета, ни целеустремленной психологической разработки характеров, ни острой проблематики, ни даже особенного богатства или красочности языка (И. Сенченко очень сдержан и скромно в слове, даже неприхотлив). Так чем же все-таки волнуют его рассказы, почему производят впечатление ровного, глубокого течения, дают ощущение нужной и немелочной правды о человеческой жизни?

Известная стереотипность, вроде бы тривиальность житейских ситуаций и мотивов у И. Сенченко есть на самом деле их «сказовая» обобщенность, уплотненность, отобранность. Она проистекает из устойчивости, законченности быта и жизненных форм в среде, которая художником изображается. Размеренна и незатейлива, внешне монотонна жизнь старого рабочего предместья. Герои рассказов — обычно из потомственных рабочих семей, где царят строгие нравы, где ценят деловитость, постоянство во всем, в людях — положительность, житейскую порядочность и надежность. Работают, как правило, там же, где работали их отцы и деды. Живут в перешедших от них по наследству старых, порой ветхих домишках с неизменной усадьбой, садиком, где так приятно похлопотать после тяжелой работы. Знаются по работе и по жительству; утречком поджидают друг друга, чтобы вместе идти на завод; в субботу или воскресенье навещают друг друга в гости, и тогда не обходится без хлебосольного накрытого стола и излюбленных пивесен. Это органически сложившийся, в чем-то самодовлеющий «микромир» со своим локальным колоритом, нравственной атмосферой и «общественным мнением». Простота и всевластность

трудовых отношений порождают здесь своеобразный стихийный коллективизм, воспринявший многое от национальных традиций народного общежития и исторически выработанной народом трудовой морали. Этот сложившийся микромир вписывается в большой мир народной жизни — социальной и исторической, многообразно с ним сталкивается, и на гранях этого взаимодействия и происходит все то, о чем рассказывает писатель (хотя сам социальный фон ему мало удается и выходы в более широкую проблематику кажутся поверхностными — например, в заключительных разделах повести «Денис Сирко»).

К устойчивости жизненных форм, подобных отмеченной, можно отнести — и теоретически и художественно — по-разному. У И. Сенченко поэтическое восприятие этих форм обогащено юмором, что примиряет с возможными иными оценками. И сама эта поэтичность, и юмор в значительной мере возникают тут именно из постоянной повторяемости жизненных коллизий и чувствований. Это удивительнейшее писательское качество И. Сенченко: то, что обычно приводит к окостенению, депоэтизации, опошлению — привычность, повторяемость, налаженность, — у него именно и создает поэзию, красоту, трогательность изображаемой им жизни!

«С шести лет начала Оля помогать матери. В девять лет — в семье уже ничего не делалось без Оли, да и сама она даже и представить себе не могла, как бы это она сидела сложа руки. В доме работали все... и дети, и взрослые. Гудок на работу — и вся Батыева гора поднимается на ноги. Дымят трубы, скрипят калитки, журчит вода у колонок, ветерок доносит запахи разогретого завтрака и почти всегда слова: «Подожди, Григорий Павлович, пойдем вместе». Летом Оля вставала рано и, идя по воду к колонке, наблюдала за жизнью своей улицы. И сама мечтала — как вырастет, тоже так вот утречком будет вставать на работу и ее тоже кто-нибудь окликнет: «Подожди. Оля, пойдем вместе» («На Батыевой горе»).

Растут дети и во многом повторяют жизненный цикл, уже пройденный родителями, повторяют и в большом, и часто в мелочах. Мальцами они шалят на Батыевой горе; случается, влезают в соседские сады или на баштаны (в другой раз, уже вспоминая о собственном детстве, автор будет уверять «...кто не ел краденых арбузов — безнадеж-

но пропаший человек»), а тем, кто нравом посерьезнее, — под стать и геройства более серьезные (таково начало повести «Денис Сирко», где с великолепным юмором описываются «подвиги» героя на Днепре и воспитательные меры отца, в действительности которых, впрочем, и сам он вынужден усомниться: «Сирко-младший, подпрыгивая под ремешком, кричал: «Ой, тятенька, голубчик, больше не буду, ой! Ей-богу, не буду!» — Вот так же, такими же словами и после такой же провинности в свое время кричал и сам Сирко-старший. Из этого видно, что особых успехов, если не считать похвальной верности традициям, эти средства не приносили»).

Придет время, и эти сорванцы остепенятся. Будут работать с отцами, будут радовать матерей первыми получками, приглашать девушек в кино или на Владимирскую горку. В их отношении к жизни и к людям войдет что-то новое. И когда Рубин, возвратившись через несколько лет к названным родителям на Соломянку, в зашедшей по делу девушке-почтальоне узнает Марьяну, с которой дрался когда-то из-за санок, и случайно придержит за руку, он вдруг ощущает нечто ему дотоле неведомое: «Рука была такой теплой, что ее тепло вдруг ударило Рубину в щеки, и он зарделся». И Марьяна не сможет просто, как прежде, согласиться на предложение Анны Сильвестровны пообедать вместе. «Марьяне было семнадцать лет. Возможно, она и голодная была сейчас, но в груди у нее рождалась какая-то новая сила. Марьяна и сама не могла бы, может, сказать, что это за сила. Эта сила подняла ее на ноги, взволновала до глубины души, приказала идти, и Марьяна, весело бросив на ходу: «Будьте здоровы», — выбежала из комнаты» («Рубин на Соломянке»).

Старшие с большим душевным тактом и пониманием относятся к этим сердечным смятениям молодых — ведь и они когда-то через это прошли, и не бесследно: воспоминания о тех днях согревают душу и не дают ей очерстветь... «Вы разрешаете Варе пойти со мной на качели? Там есть комната смеха и карусель» Христина Даниловна глянула на небо — оно ясное; глянула на сад — он зеленый; глянула себе в душу — душе уже было сорок пять лет, но когда-то и она была молода. И Христина Даниловна ответила: «Только не очень-то раскачивайтесь там» («Денис Сирко»).

Жизненный цикл совершается у И. Сенченко как бы с неизбежностью закона природы — люди вроде бы во власти житейского уклада, возможности выбора и самостоятельности ограничены, все вращается в предначертанном круге. Но было бы пустым высокомерием видеть во всем этом лишь рутину быта и скудость духа и не почувствовать гармонии жизни, органичности ее форм, своеобразного совершенства в этой ее законченности, отлитости; не ощутить за этим большого и непреходящего жизненного содержания, нравственной силы, эмоциональности и красоты, присущей окончательно оформившемуся и получившему свой стиль...

Да, необходимые для И. Сенченко обобщение и «стилизацию» как бы проделала уже сама жизнь. Она «отобрала» (суровым многолетним отбором!) повторяющиеся ситуации и словозъятия, формы поведения и эмоции — вроде бы самые что ни на есть «общие места» жизненного действия. И писателю «осталось» пересказывать эти «общие места» самыми общими, казалось бы, словами... «Он тогда работал учеником кузнеца на Капеевце, а она только недавно поступила в пошивочную мастерскую, на выучку к Клавдии Ивановне. Через год Оля и Алексею стало уже по семнадцати. Оля успешно продолжала овладевать своим ремеслом, а Алексей начинал уже понемногу мечтать о том, чтобы, опустив паровой молот со всего размаха, остановить его на волосок от подложенных под него часов. Потом им стало по восемнадцати и по девятнадцати. За все эти годы не было, наверное, и одного часа, когда бы Оля не думала про Алексея, и также, должно быть, не было ни одного дня, когда бы Алексей не мечтал встретиться с Олей на приветливых склонах Батыевой горы. За это время Оля, как говорится, выровнялась, стала красивой, и парни с ближних улиц начали засматриваться на нее. Алексей тоже возмужал, из подростка превратился в молодого рабочего. Один раз, когда они долго бродили вместе за Соломянкой, Алексей сорвал какой-то синий цветок, долго носил его, нюхал, а потом бросил. Оля подняла этот цветок и дома засушила его в томике стихов поэта Владимира Сосюры. И когда долго не видела Алексея, открывала томик и смотрела на цветок. В другой раз, когда они гуляли по своим излюбленным местам, Алексей прилег на землю, а Ольга села

огдохнуть на пенек. Над головою у них с беспокойным шумом проносился такой весенний день, что Оля, глянув на Алексея, подумала: «Я его так люблю, что совсем не могу жить без него» («На Батыевой горе»).

Да, «общие места», пересказанные «общими словами».. Но почему тогда так волнуют эти «общие места», поведенные к тому же столь «безлично» (хотя на самом деле безошибочно интонированные и с очень точными деталями)? Почему они так задевают и чувство и мысль, почему вызывают ощущение такой значительности, жизненной наполненности?

Да вот именно потому, что в них — подлинность жизни многих людей, целых социальных слоев, не увиденная со стороны и описанная чуждыми понятиями, а как бы сама о себе говорящая, изнутри раскрывающаяся. А подлинность всегда содержательна и всегда волнует.

Далее: узловыми моментами, опорными пунктами повествования у И. Сенченко всегда становятся, как мы видели, самой природой отмеченные поворотные моменты бытия человеческого: рождение, детство, взросление, любовь, создание семьи, старость, смерть (хотя смерть далеко не всегда приходит в свой черед). Отсюда и часто присущий рассказам характер сосредоточенного раздумья о жизни — без всякой установки на философичность. Ощущение загадочной важности жизни и всего в ней происходящего пронизывает их при всей их будничности и «бытовизме», и тем подлиннее это ощущение. Замыкается круг жизни, и часто итогом думы о ней остается глубокая грусть от сознания значительности и невозвратности пережитого, от тяжести утрат и неумолимости времени, не властного лишь над болью: «И сейчас светит солнце над Соломянкой. Только не такое: греет старика Сирко лишь сверху, а до сердца лучи его не доходят, не греют. Да и кто может согреть отцовское сердце?.. Над нами солнце, над нами летние ветры, тучи мнутся в небе, а сердце все беспокойно: болит давней болью, и как его успокоить?»

Читателю западет в душу и другой итог этих простых повествований: мысль о неистребимом духовном здоровье, о нравственной силе трудового люда, пронесенной через все тяготы жизни и жестокие испытания.

Человеческое содержание рассказываемых И. Сенченко историй гораздо больше того, что непосредственно «вычитывается» из слов. Оно зависит еще и от особенного взаимопонимания с читателем, на чей жизненный опыт и душевную мудрость писатель рассчитывает. В изображаемом им мире слово много значит. Говорят там мало, но, прежде чем сказать, о многом подумают. Вес слова, подлинность слова у героев И. Сенченко «обеспечены» самой их жизнью, всем их жизненным опытом. Таков и сам автор. Скупо перескажет несколько заурядных событий, сделает два-три замечания о натуре своего героя, выскажет два-три суждения вообще о жизни. Но за этим встает целая судьба человеческая — во всей ограниченности своего конкретного воплощения и одновременно во всей беспредельности вызываемых ею мыслей.

До сих пор речь шла преимущественно о рассказах соломьянского цикла, написанных в 1956—1957 годах. Донецкий цикл создавался позднее (помещенные тут рассказы помечены 1964 годом). Круг жизненных явлений, выбор героев, общий характер повествования остались в основном теми же. Но кое-что изменилось. В соломьянский быт И. Сенченко вживался годами, Донбасс же «изучал» как писатель. Конечно, людей он и там нашел хорошо ему знакомых (потому такие рассказы, как «Вишневый листок», «Ведут батьку домой», словно бы продолжают соломьянский цикл). Но возможности художественного использования элементов «отстоявшегося» жизненного уклада тут у него были меньше, и он уже был вынужден заботиться об иных мотивах и решениях. Потому тут больше внешней динамики, более развиты событийная сторона и сюжет, отчетливее выражены лирические и романтические нотки, да и вообще побольше «беллетристики». Героем чаще становится человек с «чуждинкой», с некоторой неприметно сидящей в нем «странностью», о которой он и сам до поры, до времени не подозревал, но которая вдруг может внутренне переродить его («Облаком волнистым...») или даже изменить все течение его жизни («Под терриконом»).

В зародыше это было и в соломьянском цикле — вспомним Мусия Романовича, который отличался от своих соседей «задумчивостью» и «рассеянностью» да еще задумчивым пением... В донецком цикле прямая родня Мусию Романовичу — молодой шах-

тер Дмитро Каленикович из рассказа «Облаком волнистым...». Был он тоже «как и все» до той поры, пока не попал на курсы угольных комбайнеров, где одной из преподавательниц вздумалось для разрядки прочитывать своим слушателям разные стихи или рассказывать легенды — об Икаре, например, — что имело самые неожиданные последствия для Дмитра Калениковича. В нем происходит какая-то не ясная ему внутренняя работа — пробуждение того, что спало «где-то в тайнике его души». Внешне ничего не изменилось в его житье-бытье, но сам он изменился: полюбил чтение; его стала волновать красота природы; он иному взглянул на свою жену и семью. «Теперь Дмитро стал как будто легче, а главное — глаза прояснились». В нем зародилась своя внутренняя жизнь...

Таким образом, «странность» героев И. Сенченко — очень человеческая и хорошая; это, возможно, какой-то нераскрывшийся талант, возможно — неосознаваемая тоска по красоте и идеалу жизни, глухое томление о смысле жизни... Мы уже говорили, что И. Сенченко далек от претензий на специальный психологический анализ, но объективно его вещи дают богатый психологический материал.

Под рубрикой «Рассказы разных лет» — трогательные истории о детях (кстати, И. Сенченко — автор превосходных книг для детей): «Марина» и «Ой, в поле жито...»; далее — лирические и автобиографические фрагменты «Кончался сентябрь 1941 года», «На винограднике», «Мои охотничьи приключения»; наконец рассказ «Диоген» и драматическая сценка «Под парусами». Две последние вещи написаны давно (соответственно в 1939 и 1942 годах) и, отличаясь в чем-то от теперешней манеры писателя, показывают иные его творческие возможности: способность к аллегорическому обобщению, окрашенному юмором, который придает повествованию легкость и непритязательность.

Хотя рассказы переводились для этой книги на русский язык целой группой авторов, единство языкового стиля и соответствие его оригиналу соблюдены. Впрочем, иногда переводчикам трудно было передать интонации украинской речи И. Сенченко, простота и непритязательность которой лишь кажущиеся.

Книге предпослана содержательная вступительная статья, в ней удачно охарактер-

ризованы многие особенности творчества Ивана Сенченко. Тем, кто впервые обращается к творчеству этого писателя, очень полезно будет прочесть прежде эту работу И. Питляр. Она, пожалуй,— самое существенное из всего, что было до сих пор написано об И. Сенченко.

Сказанное здесь, конечно, далеко не исчерпывает ни содержания рецензируемой книги, ни характерных примет письма И. Сенченко. Мы пытались лишь определить его основное художественное качество. И нам представилось, что искать его следует в кровной сродности И. Сенченко тому сосредоточенно занятому своим делом рабочему миру, о котором он пишет.

Можно, конечно, спросить: какое имеет все это отношение к тем сложным материям, которые волнуют сегодня литературный мир, сколь интересен И. Сенченко нынешнему квалифицированному читателю?

И правда — не архаичны ли, не провинциальны ли, не бесперспективны ли все эти добросовестные вникания в «палисадниковый» соломянокий быт в пору, когда и сами то эти палисадники сносятся бульдозерами, а умные толки о «коммуникабельности» и «отчуждении» (а то и о «сексе») проникают уже и на Батыеву гору, где не так еще давно девушка Даша, надавав пощечин, навсегда ушла от Дениса Сирко, когда увидела у него ученую книжку с фотографией обнаженной туземки: «Босяк ты, вот ты кто, и книжки у тебя босяцкие!»?

Однако ведь в нашем мире много разных человеческих миров. Они существуют и взаимодействуют, то многообразно пересекаясь, то никогда не встречаясь друг с другом — «на расстоянии». Один из этих ми-

ров — тот, с которым мы знакомимся в рассказах И. Сенченко. И он не станет менее реальным и значимым оттого, что иным снобам покажется убогим или бесперспективным. И знание о нем — в частности, художественное знание — не менее (хотя, может быть, и не более) необходимо, чем и обо всех других человеческих мирах.

«Человек, пишущий о мире труда, должен приобщиться к этому миру, сродниться с его людьми, характерами, он обязан это сделать, ибо в противном случае все останется эстетской болтовней...» — резонно говорит один из современных литераторов, работающих в области «рабочей тематике».

И. Сенченко и принадлежит к числу писателей, упорно искавших свой путь к сердцу рабочего и в конце концов нашедших его. Кто-нибудь, наловчившийся представлять себе «Пролетариат» лишь книжно, непременно с большой буквы и как символ, может быть, и не захочет увидеть этот пролетариат в героях И. Сенченко — милых, хороших, живых людях, таких обыкновенных и даже «тривиальных». Но мы уж лучше поверим добросовестному писателю, а не кабинетному патетику.

Разумеется, изображаемый И. Сенченко мир — лишь частица огромного мира труда У писателя свои трудности, свои пределы таланта (напрасно было бы, повторим, искать в его произведениях широкую социальную картину действительности). Но созданное им обладает ценностью общезначимой, поскольку он сумел выразить то, чего мы не найдем ни у кого другого.

Иван ДЗЮБА.

Киев.

★

НОЛЬ ИНФОРМАЦИИ

Татьяна Гончарова. Страда. Роман. «Сибирские огни», №№ 3, 4, 5, 1967.

Действующих лиц в этом романе так много, что просто невозможно запомнить их всех хотя бы по именам. Еще труднее понять закономерность их появления и исчезновения. Не успел главный агроном сельхозинспекций Миллер, лицо чисто эпизодическое, доложить первому секретарю целинного райкома партии Леониду Архиповичу Қалитину о том, что в колхозе «Красный Иртыш» председатель пьянствует, а жатки накануне уборки не собраны, «комбайны не

переоборудованы», как тут же, будто в сказке, открывается дверь кабинета секретаря райкома и на пороге вырастает аккуратенькая фигура Петра Ивановича Брызгалова, инструктора райкома, только что вернувшегося с курорта. Ему-то и поручается подготовить технику к уборке урожая в «Красном Иртыше». А чтобы Брызгалову не было слишком тяжело одному вытягивать запущенное хозяйство, в помощники ему дается молодой агроном Геннадий Кры-

лов, появляющийся в калитинском кабинете буквально следом за Брызгаловым с единственной просьбой отправить его в самый отсталый колхоз района. И если с Петром Ивановичем Брызгаловым мы все-таки встретимся еще один раз где-то в середине романа, в главе сорок шестой, с тем чтобы убедиться, что уборка хлеба под его руководством в колхозе идет полным ходом, то с Геннадием Крыловым нам больше так и не придется повидаться. Он бесследно исчезает со страниц романа. Да мы и не очень-то жалеем о его пропаже, поскольку и при первом знакомстве мы, кроме имени и фамилии молодого энтузиаста, больше ничего о нем не узнали.

Впрочем, и те персонажи, за которыми мы можем следить на протяжении всего этого непомерно растянутого романа, не оставляют в нас после его прочтения ничего, кроме безразличия и скуки. С художницей Ольгой Сергеевной Жарковой мы знакомимся на первой странице и расстаемся на последней во время их совместной с Леонидом Архиповичем Калитиным прощальной прогулки по ночной степи. Но что остается у нас после этого знакомства? Тысячу и один раз слышанная история интеллигента, черпающего в общении с народом (конечно, в лице его лучших представителей) свежие силы для новых творческих свершений.

Если в начале романа Ольга Сергеевна предстает перед нами как сторонница чистого искусства, «искусства для искусства», то в конце для нее нет ничего значительнее и приятнее, чем писание лозунгов и призывов, рисование звездочек на комбайнах передовиков уборки. При этом перелом во взглядах героини происходит легко и просто. Стоило Ольге Сергеевне получить в райкоме задание выпустить стенгазету, высмеивающую пьяниц и лодырей, как она начала наперекор унынию и разочарованию, владевшими ею до сих пор, «испытывать наивную гордость сделанным». Расстаемся мы с героиней в тот момент, когда она уже вполне готова — и морально и творчески — для создания большого полотна под названием «Страда».

Есть в романе и еще один интеллигент — Вадим Петрович Серебровский. Поначалу он тоже не придает должного значения делу уборки целинного урожая. Его интересует лишь проблема твердых пшениц как таковая, без отношения к тому, сколько человек накормит эта пшеница. Короче, его

интересует чистая наука, так сказать, наука для науки. В споре со вторым секретарем обкома Алексеем Ивановичем Паладиным он напрямик объявляет о своем неверии в возможность накормить досыта фантастически быстро растущее население земли. На это Алексей Иванович с «уничтожающим взглядом» замечает, что теория Томаса Мальтуса теперь находится «на вооружении империализма». Он советует Вадиму Петровичу познакомиться с критикой мальтузианства в русской демократической и марксистской литературе. Но Серебровский пропускает этот совет мимо ушей. Другого, пожалуй, и не следовало ожидать от этого человека: ведь он бросил когда-то жену и сына и, кроме того, никогда «не лез в политику». «У меня некое отталкивание от этого рода деятельности», — признается он. Но жизнь в романе жестоко мстит Вадиму Петровичу за это «отталкивание».

Здесь придется сделать отступление и рассказать о захватывающей истории братьев-кулаков Григория и Романа Муравьевых, поведенной писательницей. Итак, жили в селе Богодаровке два брата — меньший, Роман, победнее, старший, Григорий, побогаче. Когда наступил 1931 год, Роман первым проголосовал за раскулачивание брата. А вечером так объяснил свой поступок разгневанному Григорию: «Дуракты, Гришка!.. Против ихней силы покудова не попрешь. Кому ни то из нас удержаться надо. Тебе все одно никак... Значица, мне. Смекай». С тем и уехал Григорий «по Томи за Васюганские болота», а Роман вступил в колхоз, пролез в партию и был даже одно время председателем колхоза. Но ни на одну минуту не прекращал он вредить колхозному делу — и саморучно, и через подставных лиц. Так, мы видим в книге, что Роман внушил молодому председателю колхоза Ставерко мысль сократить объем поставок хлеба государству, с тем чтобы побольше выдать его колхозникам на трудодень. И неопытный председатель совсем было пошел на поводу у этого тонко замаскированного кулака, якобы болеющего за народные интересы, и только вмешательство передовой общественности колхоза во главе с лучшим комбайнером Николаем Баклановым, «рабочей косточкой», поддержанное самим Паладиным, вовремя пресекло эту кулацкую вылазку. «Мало полагаются некоторые товарищи на трезвый ум народа. Мало!» — говорит по этому поводу Пала-

дин. Тогда Роман в бессильной злобе поджигает колхозные хлеба в поле. Случается так, что Серебровский как раз оказывается спящим посреди этого подоженного кулаком поля (как символично, не правда ли!). Очнувшись в тот момент, когда языки пламени лизали уже его одежду, Серебровский смело бросается гасить огонь и чуть не погибает, спасая колхозный хлеб. Так, получив тяжелые ожоги, изуродовавшие его лицо, Серебровский постигает наконец, что пренебрегать политикой и терять бдительность никак нельзя. Одновременно с этим поступок Серебровского должен, видимо, по мысли писательницы, навести читателя на размышления о том, что нельзя слишком поспешно ставить крест даже и на интеллигентах, подобных нашему ученому, что следует давать им возможность убедиться на уроках самой жизни в ошибочности и незрелости их взглядов.

С другой стороны, писательница в этой истории решительно осуждает неразборчивое, нетребовательное отношение к людям, благодаря которому только и могло сложиться это прямо-таки возмутительное положение, когда такой ярый враг колхоза, как Роман Муравьев, сумел пролезть в партию и к руководству колхозом. Ольга Сергеевна в разговоре с Калитиным прямо и нелицеприятно указывает ему на эту оплошность. Однако писательница, которая, как я надеюсь, уже понял читатель, выказывает себя решительной противницей прямолинейного и схематичного подхода к людям, не торопится так, сразу поддержать в этом осуждении свою героиню. Она предоставляет Калитину возможность оправдаться. «Люди пестрые», — говорит он в ответ на замечание Ольги Сергеевны. Именно этой «пестротой», видимо, и можно объяснить тот удивительный факт, что лишь возвращение кулака Григория из ссылки дало возможность разоблачить многолетние злодеяния Романа. Вернувшись в деревню из-за Васюганских болот совершенно другим человеком, Григорий узнает о краже Романом колхозного зерна и тут же без колебаний сообщает о махинациях брата в правление. Расстаемся мы с Григорием в тот момент, когда он подает заявление с просьбой о вступлении в колхоз.

Итак, мы видим, что сложности и «пестроты» героям писательницы действительно не занимать. Странно лишь то, что, при всей «пестроте» того же Романа, стоило Ольге

Сергеевне всего один раз увидеть этого человека, как она тут же ощутила непримиримую враждебность его природы колхозу. Основой для такого вывода послужили следующие наблюдения художницы: «Бакланов ел с охотой, но аккуратно, неторопливо... а Роман жадно. Ольга Сергеевна приглядывалась к ним, пытаясь угадать характеры незнакомых ей людей. Бакланов ей нравился... А Роман отталкивал». Кстати, без труда угадывает истинные устремления Романа, услышав одно его выступление на собрании, и Паладин. Он сразу же уловил в речи Муравьева «нечто от кулацких мотивов». Надо отдать должное и Калитину, который тоже где-то в душе уже давно, оказывается, ощущал смутное недоверие и неприязнь к Роману. Ольге Сергеевне он сообщает, что для себя еще до их разговора решил расстаться наконец с этим «темным» человеком «как с бригадиром» сразу же после уборки. Остается добавить к этому, что и в момент вступления Романа в колхоз Иван Бакланов (отец Николая Бакланова) высказал «опаску» насчет того, что Муравьев — «кулацкое, мол, семя».

Таким образом, получается, что «сложность» персонажей романа не мешает тому, что они видны как на ладони. Достаточно ознакомиться с двумя-тремя поступками любого из героев Т. Гончаровой, как безошибочно можно предсказать и все их дальнейшее «сложное» поведение.

Примитивность, схематичность характеров героев в немалой степени зависит и от языка романа, удивительно серого и невыразительного. То и дело на его страницах натыкаешься на такие отрывки: «Говорил Паладин открыто и прямо, как с очень близкими, хорошо понимающими его людьми. Не скрывая трудностей, не обходя сложных проблем становления сельского хозяйства. Он как бы раздумывал вслух и делился своими раздумьями». Конечно, замечательно, что герои романа, как свидетельствует автор, умеют раздумывать, и даже раздумывать вслух. Но нам все-таки хотелось бы услышать не информационный отчет об этом факте, а самим послушать Паладина, познакомиться с его раздумьями, как говорится, из первых рук. К тому же, зная Алексея Ивановича как принципиального противника чистой науки, нам удивительно слышать о том, что он на колхозном собрании, «не скрывая трудностей», раздумывал вслух над отвлеченными

«проблемами становления сельского хозяйства», тогда как колхозники собрались обсудить чисто практический вопрос о том, сколько им следует получить хлеба на трудодень. Так что хоть Алексей Иванович и говорил «открыто и прямо», но говорил-то он, на наш взгляд, несколько не о том, о чем бы ему в той ситуации следовало говорить. Вообще этот герой писательницы страсть как любит говорить общими фразами. Например, разгорелся было между Паладиным и Серебровским уже знакомый нам спор о народонаселении. «Привлечение в орбиту землепользования зоны пустынь и болот... которые оставляет нам капитализм,— раз,— перечисляет Паладин средства, которыми он думает решить задачу с продовольствием.— Увеличение водных ресурсов и создание орошаемого земледелия — два, производство продуктов без использования почвы — три». Все это, конечно, хорошо, но не слишком ли абстрактно и в абстрактности своей не слишком ли просто?

В разговоре с Калитиным Паладин советует ему: «Не бойтесь думать, не бойтесь воевать за свои убеждения». Даже наедине с самим собой призывает себя: «Воевать! Воевать! За легализацию науки, за независимость агронома, за доверие к хозяйскому опыту хлебороба». Однако как и с кем собирается воевать Паладин, так и остается неясным, ибо хотя на страницах романа и мелькнул было некто Азаров — первый секретарь обкома, по мысли писательницы, носитель парадности, очковтирательства, волюнтаризма и субъективизма,— но борьба с ним положительных героев романа остается где-то за кадром, и читателю приходится довольствоваться под занавес сухой информацией о том, что Азаров уходит на пенсию.

Старый колхозный тракторист дядя Федя в разговоре с Баклановым о диалектике выражает свои мысли следующим образом. «Диалектика,— объясняет дядя Федя,— наука всеобщая. Диалектика она и есть самая жизнь... А поди-ка в ней разберись, в жизни, без опыта и не повидавши ее вдоль и поперек... Ну, я повидал... Я ихнюю капиталистическую жизнь своими руками пощупал... До Берлина шел... С виду жизнь ихняя чистенькая, деревцами обсаженная, а тронешь ее вглубь — ползет, гнилая... Я про то могу тебе сколь хошь историй рассказать...»

Очевидно, что различие между этими рассуждениями дяди Федя, олицетворяющего собой, судя по всему, «трезвый ум народа», и максимами Паладина чисто внешнее, так сказать, лексическое. Если один старательно изъясняется на псевдонародном языке, то второй не менее старательно пользуется фразами газетных передовиц. Глубина же мысли совершенно одинаковая.

Бедность языка героев романа, несомненно, есть следствие бедности их мысли, бесцветности их духовной жизни, в которой редкие вспышки чувств и проблески ума немедленно гасятся темной водой пустых слововозвержений. Как-то Калитин завел разговор с Паладиным об ошибках прошлого и признался в том, что никак не может «объединить» эти ошибки с теми победами, которые одержал наш народ в те годы. В ответ Паладин советует ему «не объединить, а отделить... Во времени отделить». Ваша воля, но неужели возможно как-то понять, что же скрывается за этим произнесенным с авторитетной важностью ответом?..

Впрочем, ни эта, ни другие столь же многозначительные, сколь и пустые сентенции героев никак не омрачают восторженного к ним отношения автора. Не случайно влюбленная в Калитина Ольга Сергеевна, глядя на него, думает: «Наверно, есть на какой-нибудь другой планете такие удивительные светящиеся моря. И может быть, такие же, светящиеся изнутри, люди. Не люди, а, как говорят ученые, «разумные существа». А мы еще не разумные существа. Таям свой свет. Или он еще так мал, что не в силах осветить нас изнутри? А Калитин — светящийся... Она его видит, какой он...»

Впрочем, писательница понимает все же, что столь восторженно-эмоциональное восприятие даже и положительного героя, вполне простительное влюбленной женщине, никак не годится автору романа. Поэтому в авторской обрисовке образа Калитина писательница пользуется несколько более сдержанными средствами. Так, в одном месте она выделяет схожесть Калитина с «умной, пожившей и полетавшей уже на многих ветрах птиц, которая знает, как взлететь и куда приземлиться», в другом же месте наделяет героя «улыбкой человека, которому все на свете ясно и понятно: и то, почему это именно так, и как это все пойдет развиваться дальше».

В заключение нам остается только сказать, что роман Татьяны Гончаровой еще раз доказывает, что знакомство читателя с героями, которые заранее знают «и то, почему это именно так, и как это все пойдет

развиваться дальше», не несет в себе ни капли хоть сколько-нибудь полезной информации, не говоря уж об эстетическом удовлетворении.

Г. МАКАРОВ.

★

НЕПРИМИРИМОСТЬ

В. Кёппен. Теплица. Роман. Перевод с немецкого. «Художественная литература». М. 1967. 240 стр.

За двадцать с лишним послевоенных лет западногерманский писатель Вольфганг Кёппен опубликовал всего три коротких романа и несколько путевых очерков. Первый роман Кёппена «Голуби в траве» вышел в 1951 году, последний — «Смерть в Риме» (он знаком советскому читателю) — в 1954 году. С тех пор Кёппен не пишет прозы. Несмотря на это, в ФРГ, где после 1945 года на литературном небосклоне возшло множество светил, Кёппен считается одним из ведущих представителей новой западногерманской литературы.

В своей второй по счету книге, «Теплица», писатель рисует начало пятидесятых годов в Западной Германии, переломный момент в жизни ФРГ... Снова дымят фабричные трубы. Уровень производства выше, чем в 1939 году, последнем году перед началом мирового военного пожара. «Магазины ломятся от товаров». Позади голод и холод, позади нищие карточные рационы времен гитлеровской диктатуры и военных лет. В витринах «разодетые манекены», «роскошные спальни... роскошные гробы», «весь комфорт, который коммерсанты мирного времени предлагают народу». В сфере материальной западногерманское общество достигло, казалось бы, полного «процветания». Да и в политической сфере, на первый взгляд, все обстоит благополучно. Профсоюзы и партии работают на полный ход. КПГ еще не запрещена. И «чрезвычайные законы» даже не поставлены в порядок дня. В бундестаге депутаты высказывают свое мнение, дискутируют, спорят. А самое главное — по городам и весям Западной Германии не шныряют закрытые тюремные фургоны под названием «зеленая Минна». И буржуазный суд, при всей своей тенденциозности, не похож на фашистский «народный трибунал», где кровавый демагог Фрейслер не давал раскрыть рта подсудимому и отправлял на

виселицу людей, так и не узнавших, в чем состоит их «преступление»... Да, все, казалось бы, «преотлично» в боннском государстве в начале эпохи «экономического чуда», той эпохи, которую описывает Вольфганг Кёппен. Но тем не менее каждая страница «Теплицы» звучит как вопль о помощи. Тем не менее герой книги Кетенхейве кончает жизнь самоубийством. Тем не менее, размышляя о прошлом и будущем Западной Германии, Кёппен пишет: что у нас позади? «Оборонительные линии... Оборона на Рейне. Оборона на Эльбе. Оборона на Одере. Атака на Висле. А что еще? Война. могилы». А что впереди? «Новая война? Новые могилы? Отступление до Пиренеев?»

Таков политический фон, на котором разыгрываются события «Теплицы». Впрочем, в применении к этой книге слова «политический фон» звучат неправомерно, ибо именно фон является, если можно так сказать, основным содержанием произведения Кёппена.

Конкретно это выглядит так: неприкрыто публицистические и откровенно памфлетные страницы занимают немалую часть книги. Автор нередко больше заботится о подборе фактов и об убедительности своих концепций, нежели о полнокровности образов и естественности сюжетных поворотов. Наконец, автор то и дело «перебивает» своих героев, торопясь высказать все, что он думает, о социальных и морально-этических проблемах наших дней...

Словом, перед нами гипичный пример одной из разновидностей современного западногерманского романа, которую условно можно назвать «романом факта». «интеллектуальным романом» или даже «политическим романом». В задачу этой рецензии не входит ни оценка, ни анализ этого жанра, получившего в последнее время столь большое распространение на Западе. Скажем только, что, на наш взгляд, явное тя-

готение многих писателей к некоему гибриду художественной прозы и документальной повести (это поветрие охватило сейчас, если говорить о ФРГ, самых крупных писателей, начиная от Гюнтера Грасса и Хоххута, кончая Гейслером и Кёппеном, а в последних произведениях и Бёля) объясняется, очевидно, недоверием читателя, особенно пережившего фашизм, ко всякому вымыслу, в том числе — увь! — и к вымыслу искусства. Скажем также, что в данном конкретном случае, то есть в романе «Теплица», крен в сторону документальности ведет к некоторым потерям. Многие образы намечены только пунктиром. Поступки героев не всегда психологически мотивированы. Но при всем том Кёппен завоевывает сердце читателя своим гражданским пафосом, бескомпромиссностью по отношению к злу, мастерским анализом современного западного общества и блестящим стилем.

Уже сам сюжет «Теплицы» подчеркивает публицистический замысел писателя. Депутат бундестага Кетенхейве, человек левых взглядов, стоит перед важным событием в своей жизни: он решил выступить на очередной парламентской сессии против курса правительства на перевооружение. Кетенхейве приезжает в Бонн накануне заседания бундестага. Первый день в Бонне проходит в размышлениях, встречах, разговорах. Между прочим, Кетенхейве получает предложение почетной отставки (за то, что он добровольно выйдет из игры, ему сулят пост посланника в Гватемале). Но герой Кёппена отказывается от приятной жизни в Гватемале. Он хочет выполнить свой долг до конца. На следующее утро Кетенхейве отправляется в бундестаг, чтобы «выступить против большинства». Идет, зная, что «изменить правительственный курс... в Бонне не удалось бы и Демосфену». И все же Кетенхейве выступает против создания новой армии. И остается в полном одиночестве, не найдя поддержки даже в рядах собственной (оппозиционной) партии. «Он остался в одиночестве. Он один вел борьбу против древнейшего греха, древнейшего зла человечества...» Потерпев поражение, Кетенхейве выходит из бундестага и долго бродит по городу. Воспоминания и грезы, прошлое и будущее причудливо сплетаются в его сознании.

Заключительная фраза книги гласит: «Депутат был совершенно бесполезен, был в

тягость самому себе, и прыжок с моста принес ему освобождение».

Такой сухой протокольной записью Кёппен сообщает о смерти своего героя. Однако читатель подготовлен к подобному тону в конце книги, ибо уже с первых ее страниц понял, что образ героя в какой-то степени условен. Биография Кетенхейве, которая проходит в романе как бы вторым планом (на протяжении полутора суток, описанных в романе, Кетенхейве то и дело обращается мысленно к своей прошлой жизни), — нарочито обобщена. Мы узнаем, что до 1933 года будущий депутат работал в газете, а после прихода фашистов к власти эмигрировал во Францию. Что после начала войны он был интернирован в Канаде и что чувство ответственности за свою страну заставило его вновь отправиться в Европу, чтобы бороться с нацизмом. И, наконец, что после разгрома фашизма герой вернулся к себе на родину, в Западную Германию, «одержимый желанием помогать, строить, залечивать раны, добывать хлеб», а также «создавать для нации новые основы политической жизни и демократической свободы». А потом... потом Кетенхейве оказался в царстве «крыс», в царстве «волков», в «тропическом лесу», в «джунглях» политики вместе с «хищными зверями» и «ядовитыми змеями».

Такова биография героя. Нетрудно догадаться, что перед нами вместе с тем и обобщенная биография многих немецких интеллигентов-антифашистов: эмиграция, скитания, возвращение в ФРГ, горькое похмелье... Даже любовная трагедия, которую переживает герой Кёппена, не столь уж индивидуализирована (молоденькая жена Кетенхейве не хочет, да и не может понять его идеалы).

В центре романа — столкновение этого подчеркнуто обобщенного героя с боннской действительностью, борьба современного донкихота Кетенхейве с тупостью и полостью власть имущих в ФРГ. А это в свою очередь одна из вариаций темы возрождения фашизма на западе Германии, темы, которой посвящено все творчество Кёппена.

Уже в первой послевоенной книге «Году би в траве» Кёппен показывает, что Западная Германия не излечилась по-настоящему от коричневой чумы. То тут, то там мелькают старые фашистские лозунги и изречения (они крепко засели в мозгу у обывателя),

музыканты играют любимый марш Гитлера, старый нацист говорит: «Мы снова на коне».

И где-то все время маячит призрак новой войны. Тема реставрации фашизма еще более отчетливо звучит в романе «Смерть в Риме». Эта же тема — лейтмотив книги «Теплица».

Уже с первых строк «Теплицы» мы видим: несмотря на то, что внешне западногерманское общество бесповоротно порвало с фашизмом, следы неонацизма на каждом шагу... На командных должностях оказались те же люди, что и пятнадцать лет назад, те же чиновники, дипломаты, генералы. «Высшее общество снова выстояло». Кёппен выводит целый паноптикум деятелей, стоящих у кормила власти в ФРГ. Тут и всемогущий чиновник Фрост-Форестье, «человек-машина», «механизм, который пустили в ход», Фрост-Форестье, любивший «вспоминать о своей деятельности в штабе главного командования сухопутных войск». Тут и ханжа Корордин, богач, который ходит в бундестаг пешком, разыгрывая из себя демократа. Тут и процветающий Мергентхейм, который в свое время работал с Кетенхейве в одной газете, но в отличие от Кетенхейве не эмигрировал за границу, а стал верой и правдой служить нацистам. Здесь и Тимборн, который дважды сидел в Нюрнберге — первый раз на трибуне нацистского съезда, второй раз на скамье подсудимых. «Но взаимное страхование от катастроф действовало безотказно». Здесь и откровенный нацист Дерфрих, от которого «пахло старым нацизмом и который стремился к нацизму новому», к «четвертому рейху». Тут, наконец, и лидер боннской оппозиции, который хоть и сидел в фашистском концлагере, но заражен национализмом и оппортунизмом.

Таковы властители боннского государства. Однако после разгрома фашизма выжили не только отдельные люди, но и целые классы и касты, породившие в свое время гитлеризм. Не уничтожены генералы — «раковая опухоль на теле немецкого народа», те самые солдафоны, которые «выпестовали бациллу из Браунау», то есть Гитлера. Не уничтожены и «промышленные воротилы». «Ошибка была вкладывать капитал в фюрера. А может быть, не ошибка? Дилетанту не дано судить об этом. Может быть, «спаситель» был все же рентабельным?» Словом, налицо «нацио-

нальная реставрация, реставрированный национализм» Насколько далеко зашла реставрация, мы видим по многим деталям: враги Кетенхейве, дабы скомпрометировать его, распускают слух, будто он боролся против фашизма в рядах... британской армии. Скрывают свою прошлую деятельность боннские политики, участвовавшие в Сопротивлении. Да и ругать вслух Гитлера, даже просто констатировать, что фюрер привел страну к катастрофе, считается уже «непатриотичным», ибо история Германии, включая и годы фашистского мракобесия, рассматривается как некий непрерывный поступательный процесс.

Боннское государство — это «теплица», но не в обычном употребительном в русском языке значении. Дело в том, что немецкое слово «теплица» («Treibhaus») происходит от слова «treiben», что значит «всходить», «выгонять», «подгонять». Именно в этом смысле Кёппен говорит о «влажной», «душной», «затхлой» «теплице», где с небывалой быстротой тянутся ввысь и разбухают («слоновая болезнь») ядовитые злаки фашизма.

Недрузи Кетенхейве обвиняют депутата в отсутствии оптимизма, в паникерстве, в необъективности, называют его «современной Кассандрой». Быть может, автор «Теплицы» тоже повинен в грехе пессимизма? Быть может, он смотрит на боннскую действительность сквозь черные очки?

Вольфганг Кёппен принадлежит к старшему поколению западногерманских литераторов (Кёппен родился в 1906 году), иными словами, к тому поколению немцев, которые пережили и годы фашизма, и годы, когда Гитлер готовился к узурпации власти. Люди поколения Кёппена знают, что самой большой опасностью в Веймарской республике была недооценка фашистской опасности... Как много утешительных небылиц придумали немецкие интеллигенты в начале тридцатых годов, когда тень свастики покрыла уже почти всю страну! Мол, фашисты никогда не победят, ибо они слишком необразованны и глупы. Разве может партия дураков править цивилизованной страной? Мол, «заграница» не потерпит шайку разбойников в центре Европы. Мол, Гитлер и Геринг, Гиммлер и Розенберг передерутся, как только придут к власти. Мол, нацистская партия откажется от своих крайних лозунгов и т. д. и т. п.

Люди кёппеновского поколения помнят,

к каким роковым последствиям привело благодушие и непротивление фашизму, пассивность и беспомощность большей части немецкого общества, к которому тщетно зывали немецкие коммунисты.

Только отчетливо представив себе все это, можно до конца понять, почему Кёппен с такой непримиримостью и беспощадностью разоблачает всяческие проявления неонацизма в наши дни. И почему он так строго судит своего героя Кетенхейве, хотя тот ни разу не совершил подлости, ни разу не пошел на поклон к фашистам. Все равно Кёппен считает его виновным и в том, что Гитлер пришел к власти в Германии (ведь он — вместе с другими — не предотвратил этого!), и в том, что после 1945 года в боннской «теплице» вновь появились буйные всходы фашизма (ведь и на этот раз Кетенхейве не сумел помешать «волкам»!). Он был поражен «бледной немочью мысли». «Он был рыцарем печального, он был рыцарем потешного образа». «Он спасовал в тысяча девятьсот тридцать третьем, и в тысяча девятьсот сорок пятом он тоже спа-

совал... Он не справился с жизнью, а кто справлялся?»

Кёппен не из тех писателей, которые отвечают на вопросы, поставленные им самим. И не из тех писателей, которым известны готовые рецепты для будущего. Его сила — в честной постановке острых и злободневных проблем и в том, что он заставляет задуматься читателя. В этом-то и заключается ценность романа «Теплица» — умной, страстной и интересной книги.

На русском языке «Теплица» вышла в хорошем переводе В. Стеженского (переводить Кёппена очень и очень нелегко).

На этом можно было бы поставить точку, если бы «Теплица» не появилась у нас с опозданием почти в четырнадцать лет (в ФРГ она издана в 1953 году, в Москве ее прочли лишь в 1967 году). Конечно, за истекшие четырнадцать лет роман Кёппена не потерял своей актуальности. Значительные книги живут долго. Но, спрашивается, зачем подвергать острые, нужные произведения таким «испытаниям»?

Л. ЧЕРНАЯ.

★

Политика и наука

НАУКА — ТЕХНИКА — ПРОИЗВОДСТВО — ОБЩЕСТВО

Новая литература о научно-технической революции и ее социальных последствиях.

За последние десятилетия в окружающем нас мире изменения происходят с удивительной быстротой. Постоянно появляются новые огромные озера (водохранилища) и реки (каналы): В нашей лишь памяти сохранились луга и перелески там, где теперь постройки. Мы еще припомним прежний облик улиц, и ломовых извозчиков, и хрупкие, как стрекозы, летающие «этажерки», и пышущие паром карликовые локомотивы... Но все это минувшее, протекшее. Мир изменяется. Как всегда.

Нет, как никогда! Таково почти единодушное мнение ученых. Во множестве брошюр, статей и книг, посвященных нашей эпохе, повторяется: «современная научно-техническая (производственная, индустриальная) революция».

Но, может быть, это привычное заблуждение современников? Всегда хочется верить, что живешь в переломное, особо значительное время. А есть ли объективные тому доказательства?

Заглянем в насыщенную фактами книгу Г. М. Доброва «Наука о науке». «Половина всех данных, имеющихся в распоряжении науки, — пишет автор, — получена в последние 15 лет». Ныне работающие ученые составляют девяносто процентов от числа всех ученых за всю историю человечества. Известно, что за последние двадцать лет общемировое потребление энергии возросло более чем вдвое. И т. д. и т. п.

Да, изменения происходят необычайные, с никогда ранее не виданной скоростью. И нет ничего удивительного, что ученые разных специальностей все пристальней и серьезней анализируют истоки, закономерности и социальные последствия современных преобразований науки и техники.

Чаще всего, пожалуй, научно-техническую революцию связывают с автоматизацией. «...Автоматизация, — пишет академик С. Г. Струмилин, — открывает вновь перед всеми индустриальными странами возможность еще более глубокой технической

революции...»¹. Примерно того же мнения придерживается Г. Н. Волков². Группа сотрудников Института истории естествознания и техники «исходной точкой современного научно-технического переворота» считает автоматы³. Поскольку современная автоматизация касается не только физического, но и умственного труда, то в этом смысле ее можно отождествлять с кибернетизацией. А. А. Зворыкин отмечает: «Новая научно-техническая революция в самой ее общей форме называется кибернетической»⁴.

Но что предопределяет и движет саму научно-техническую революцию? По мнению академика М. В. Келдыша, «...во все времена материально-технический прогресс был в значительной мере основан на развитии науки. Корни промышленной революции также лежали в науке»⁵.

Итак, прогресс науки привел к созданию автоматов, помогающих человеку не только в физической, но и в умственной работе (научно-техническая революция). Она же в свою очередь вызывает изменение всех производительных сил (промышленная революция). А это влияет на социальную структуру общества, на жизнь людей и государств.

Специалисты не спорят: в наше время наука пестует производство. Но и она не бесплотный дух, витающий над миром. Корни ее — в современной технике, промышленности, обществе. Хочешь собрать обильные плоды с древа науки — позаботься о его корнях. Мы заслуженно гордимся успехами нашей науки. Но утверждать, что тут у нас все хорошо, значит не желать лучшего.

Авторы цитированного выше «Исторического исследования» ограничиваются валовыми показателями: в нашей стране число ученых удваивается за каждые семь лет, в США — за десять лет, «количество ученых в СССР превышает число ученых в США».

¹ С. Г. Струмилин. Экономические тенденции автоматизации производства («Коммунист», № 18, 1958).

² Г. Н. Волков. Эра роботов или эра человека? Политиздат. М. 1965.

³ «Современная научно-техническая революция. Историческое исследование». «Наука». М. 1967.

⁴ А. А. Зворыкин. Научно-техническая революция и ее социальные последствия. «Знание». М. 1967.

⁵ М. Келдыш. Естественные науки и их значение для развития мировоззрения и технического прогресса («Коммунист», № 17, 1966).

Эти факты радуют, однако для полноты картины надо иметь в виду и другие, например те, что приведены в сборнике статей и речей академика П. Л. Капицы: «...производительность труда наших ученых примерно в два раза ниже производительности труда ученых в США», «...Темпы роста науки у нас стали несколько снижаться»¹. Автор предлагает укрепить материальную базу науки, переводить работников, приносящих малую пользу науке, в промышленность. Не менее важно создать условия, при которых предприятие было бы заинтересовано обучаться новому, использовать достижения науки, пересматривать производство. К сожалению, живые связи между наукой, техникой и производством у нас еще слабы, предупреждает П. Л. Капица.

Быстрый рост числа наших ученых отражает государственную политику в этой области. Сравнительно низкая отдача ученых говорит о каких-то серьезных упущениях и промахах в организации науки. Вероятно, прав М. В. Келдыш, который в упомянутой статье считает принципиально неверным суждение о ценности тех или иных научных идей не по их сути, а по субъективным оценкам их философами. Сказываются, по мнению П. Л. Капицы, недостатки информации: «...Мы пока еще плохо занимаемся сбором своих статистических данных, связанных с вопросами организации науки».

Переходя от науки к технике и к промышленности, следует сказать о том, что за последние два года, словно прорвав какую-то плотину, хлынул, все нарастая, поток брошюр и статей, посвященных организации управления, НОТ, экономике промышленности и т. п. Можно надеяться, что в обозримом будущем научные знания пропитают практику производства.

Современную промышленность поддерживают три кита: передовая техника, квалифицированные кадры, разумное управление. По мнению О. В. Козловой², трудности управления ограничивают разбухание предприятия, а неэкономичность мелких производств ограничивает их дробление. Автор ставит вопрос об оптимальном размере

¹ П. Л. Капица. Теория, эксперимент практика. «Знание». М. 1966.

² О. В. Козлова. Научно-технический прогресс и развитие форм управления. «Мысль». М. 1966.

предприятий с учетом этих двух критических точек. Аналогичный вопрос по отношению к колхозам поднимал академик А. Александров в статье «Слово о социологии» («Литературная газета» от 21 апреля 1966 года).

Проблема оптимального управления вновь возвращает нас к проблеме информации. «...Научно управлять — это значит управлять с помощью достоверной и оперативной информации», — пишет О. В. Козлова. Другая сторона этой проблемы — помочь органам управления переваривать обильную информацию. Наш большой успех в этой области — серийный выпуск электронно-вычислительных машин. Эти новые «работники» становятся незаменимыми в штатах управления. Однако, как отмечает О. В. Козлова, еще слабо механизирован первичный учет. Он, в сущности, определяет невысокую скорость плано-учетных операций.

Но дело не только в информации. Доктор экономических наук А. М. Бирман называет «самой страшной язвой народного хозяйства» волюнтаризм в управлении, который мы еще не вполне преодолели¹. Он предлагает усилить ответственность «вышестоящих» за материальный ущерб, нанесенный производству их неразумными приказами. Другое его предложение более спорно: «нужны экономические условия, которые оставляли бы предприятию лишь два пути: либо работай хорошо, либо закрывайся!» Столь крутые меры могут, пожалуй, лишь умножить число трудных проблем в нашем народном хозяйстве. Как указывает сам А. М. Бирман, предприятия часто терпят убытки из-за ошибок вышестоящих организаций. Не проще ли в таком случае оперативно отстранять от работы неумелых руководителей, чем целые заводы? Не вернее ли, уменьшив давление сверху вниз, соответственно усилить контроль снизу за эффективностью работ? И допустимо ли нам забывать, что любое производство — это не только машины и органы управления. Это люди, много людей.

Тут мы подходим к последнему, и самому крупному, звену той цепи, которая вынесена в заглавие настоящего обзора. Современная научно-техническая революция — это не только праздник прогресса. Как и дру-

гие подобные революции в прошлом, она ставит человечество перед рядом новых и сложных проблем.

Автоматы помогают человеку? Да. Но они и вытесняют человека из производства. «Проблема безработицы — наиболее актуальный социальный вопрос, обсуждаемый на различных уровнях в связи с перспективами научно-технической революции», — пишет А. А. Зворыкин.

Вытеснение человека машиной в условиях капитализма действительно ведет к безработице миллионов людей. В странах социализма безработицы нет. Сопоставляя эти два факта, многие авторы (А. П. Кудряшов, А. П. Харламов, Г. Н. Волков и другие) высказывают мысль, что автоматизация при капитализме — беда, при социализме — благо.

В общем это, конечно, правильно, но преимущества социализма реализуются не автоматически, в конкретной практике дело стоит сложнее. Надо учитывать, что уровень автоматизации у нас пока еще в сравнении с передовыми капиталистическими странами относительно невысок. На это указывает в связи с проблемой занятости А. А. Зворыкин: в 1959 году 32 миллиона сельскохозяйственных работников нашей страны производили меньше продукции, чем 4,2 миллиона американцев. В промышленности разрыв был не столь резок, но тоже значителен. Следовательно, проблема «автоматизация — занятость» еще не встала у нас в полный свой рост. Увеличение производительности труда неизбежно высвободит большое количество рабочих рук и тем самым заставит государственные органы в значительно более широких масштабах решать задачу трудоустройства, чем они делали это до сих пор. Прав Г. Н. Волков, когда пишет: «Автоматизация сама по себе порождает не проблему безработицы, а проблему массовой мобильности профессий, переквалификации, производственного обучения». Но следует прислушаться и к предупреждению Б. В. Степанова: «...Процесс высвобождения рабочей силы и перевода на другую работу достаточно сложен и не может быть абсолютно безболезненным»¹.

В книге Р. И. Чочиева «Влияние автоматизации производства на характер труда рабочих» («Мысль». М. 1966) убедитель-

¹ А. Бирман. Неотвратимость. «Литературная газета», № 2, 1967.

¹ Б. В. Степанов. Социальное планирование на предприятиях. «Экономика». М. 1967.

но показано стихийное вытеснение механизацией и автоматизацией одних категорий рабочих при возрастающей потребности в других: квалифицированных наладчиках, контролерах и т. д. Брошюра Б. В. Степанова «Социальное планирование на предприятиях» развивает ту же тему. В ней даются конкретные рекомендации по учету потребности в рабочей силе, по переквалификации и перераспределению рабочих. «Совершенно необходимо,— утверждает автор,— разработать правовые и экономические основы организованного перераспределения рабочей силы. Сейчас организованно перераспределяется лишь относительно небольшая часть рабочих...» Вопрос по существу ставится о социальном планировании в масштабах всей страны.

Одним из первых объектов такого планирования должно стать продолжающееся перемещение населения из деревни в город, из сельского хозяйства в промышленность и сферу обслуживания. В принципе это явление естественное и прогрессивное. Однако до недавнего времени оно у нас отражало в первую очередь недостатки в развитии сельского хозяйства и руководстве им. В ту пору тратилось немало административных усилий, чтобы пресечь отток рабочей силы из деревни, но недостаточно исследовались объективные социально-экономические причины и последствия этого процесса. К сожалению, и в перечисленных выше книгах о сельском хозяйстве почти ничего не сказано.

Наверное, следует равно поощрять и занятия сельским хозяйством, и переход оттуда в промышленность и в сферу обслуживания, где машины и автоматы в меньшей степени способны заменить людей. Таким образом, потоку рабочей силы, вероятно, можно будет придать наиболее целесообразное направление в интересах всего общества. Для наших научных плановых и руководящих организаций здесь непочатый край работы.

А следом встает проблема урбанизации — роста городов. Невиданная доселе концентрация людей и техники на ограниченных площадях и ее социальные последствия. Зарубежные ученые относят сюда проблему преступности, наркомании, роста психических заболеваний и даже духовной разобщенности людей. Правда, при этом они обычно оставляют в тени классово-политическую сторону дела. Однако, приняв во

внимание эту существенную поправку, нельзя думать, будто эти проблемы не имеют к нам никакого отношения.

Наблюдается закономерность: чем дальше входим мы в дебри социальных последствий современной научно-технической революции, тем плотнее сплетаются неизведанные проблемы. Прирост населения, свободное время, массовость культуры, психогигиена... Множество вопросов требует специальных исследований — порознь и во взаимосвязи.

Трудности научного анализа социальных проблем усугубляет неразработанность методики сбора и обработки фактического материала. Мешают и живучие пережитки догматической бездумности. В целом ряде работ читаешь о том, что может быть, должно быть или будет (по мнению автора, основанному только лишь на цитатах), но только не о том, что есть в действительности. Этим, в частности, грешит книга А. П. Харламова, где серьезное научное исследование то и дело подменяется броскими лозунгами: «В социалистическом обществе ни прогресс техники, ни массовость распространения культурно-художественных ценностей не влекут за собой снижения их уровня», «Если в капиталистическом мире среди книжной продукции большой процент составляют низкопробные бульварные издания... то у нас издаются лучшие творения человеческой мысли»¹ и т. п. Вряд ли нужно доказывать, что реальные процессы развития культуры несколько сложнее этих оптимистических формул.

Впрочем, о теориях техницизма, критике которых А. П. Харламов посвятил свою книгу, с не меньшей категоричностью судят и некоторые другие наши авторы. Так, Г. Н. Волков пишет: «Мировоззрение техницизма является новой характерной чертой современного антикоммунизма». Обоснование этого тезиса дается скорее эмоциональное, чем научное. Тем более что, по словам Г. Н. Волкова, техницисты «вынуждены пользоваться методами» марксизма, исходят из «анализа как будто объективного положения вещей», порой отваживаются даже на признание неминуемой гибели капиталистического общества и рисуют картины будущей бесклассовой цивилизации «с плановой, интегрированной экономикой, с изобилием материаль-

¹ А. П. Харламов. В тупике буржуазного техницизма. «Мысль». М. 1967.

ных и духовных благ, с атмосферой духовной свободы и демократии...». Станный антикоммунизм!

По-другому подходит к анализу творчества Р. Тиболда, видного американского техниста, И. Н. Дворкин¹. Пересказывая — со своими критическими замечаниями — основные положения теории «кибернетической революции», он напоминает: «Жизненность марксизма заключается прежде всего в творческом подходе... к новым течениям в буржуазной идеологии». Исходя из этого, И. Н. Дворкин указывает и на черты сходства и отличия теории Тиболда от марксизма. Плодотворность подобного делового подхода очевидна. Научно-техническая («кибернетическая») революция охватывает все страны. У нее есть общие закономерности, в познании которых вполне могут помочь труды зарубежных ученых. С другой стороны, имеются особенности в развитии научно-технической революции при капитализме и социализме. Их тем более трудно понять без серьезного изучения материалов, собранных и обобщенных буржуазными экономистами и социологами.

Уход от насущных проблем проявляется подчас в виде ссылки на то, что они будут разрешены в коммунистическом обществе. Так, Г. Н. Волков, считая характерной чертой современной индустриальной революции сокращение рабочего времени, говорит о тех благах, которые принесет оно человечеству при коммунизме. Но ведь всем известно, что и сейчас часть людей имеет немало свободного времени, только «растрачивается» оно порой нерационально. Выяснить причины этого явления и наметить пути к их устранению было бы куда полезнее, чем рисовать картины будущего благополучия. Тем более вполне возможно, что коммунизм, покончив с нашими теперешними затруднениями, выдвинет новые сложные проблемы, «которых мы даже в общих чертах не можем

разглядеть за крутыми грядами будущих десятилетий.

В 1958 году С. Г. Струмилин отмечал, что социальные последствия научно-технической революции «еще никем не исследованы». В 1967 году А. А. Зворыкин пишет: «Формула — наука и техника обостряют противоречия капитализма и ведут к углублению этих противоречий, при социализме же наука и техника есть благо, они делают труд и жизнь содержательнее, красивее — является слишком общей и явно недостаточной. По существу мы еще только стоим перед задачами глубокой разработки проблем социальных последствий научно-технической революции».

Два высказывания, в сущности одинаковые по своему смыслу, разделены девятилетним промежутком времени: стало быть, на протяжении этого срока мы «стоим перед задачами» и никак не можем к ним подступить.

Разумеется, за эти годы наша конкретная социология многое успела, особенно если учесть, что начинать ей в значительной степени пришлось на пустом месте. Но все это лишь самые первые шаги. В государстве, где все для человека, социология должна быть одной из ведущих наук. Объективно исследуя социальные последствия научно-технических преобразований, она должна в свою очередь влиять на эти преобразования, направлять их на благо человека.

В теоретических работах, прямо или косвенно связанных с проблемами современной научно-технической революции и ее социальных последствий, пока чаще ставятся вопросы, чем даются убедительные ответы на них. Видеть проблему — первый шаг. Надо ждать второго — научного анализа проблем. И следующего — практического их решения. В нашем стремительно меняющемся мире медлить нельзя.

Р. БАЛАНДИН.

★

ИСТОРИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Э. Н. Бурджалов. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде.
«Наука». М. 1967. 406 стр.

Совсем недавно среди историков бытовало мнение, что февральской революции

¹ И. Н. Дворкин. Теория «кибернетической революции» Роберта Тиболда. В сб. «Критика теорий современных буржуазных экономистов». «Мысль». М. 1966.

1917 года «не везет» как исторической теме. И мнение это было вполне обоснованное. Судите сами: с начала тридцатых до конца пятидесятых годов наша литература не пополнилась ни одной серьезной исследовательской работой по истории Февраля. Где

причины этого на первый взгляд странного явления? Незначительность или неактуальность темы? Необеспеченность ее документальными источниками? Нечего и доказывать несостоятельность такого рода предположений. Между тем упомянутое «невезение» имело свои причины. «В историко-партийной литературе,— пишет Э. Н. Бурджалов,— со времени выхода Краткого курса истории ВКП(б), значение Февральской революции недооценивалось, а сами события этих дней рассматривались как придаток к империалистической войне в одной теме «Партия большевиков в годы империалистической войны. Вторая революция в России». Иначе говоря, Февраль изымался из единого потока революционных событий 1917 года, считался как бы «недостойным» того революционного процесса, который привел к победе Октября. Не случайно рассказ о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую в нашей литературе обычно начинался лишь с событий первых чисел апреля 1917 года. Между тем В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что в России буржуазно-демократическая революция была начальным, первым этапом революции социалистической.

Первая глава книги Э. Н. Бурджалова — сжатое, но энергичное введение. Картина, нарисованная здесь, впечатляет своей достоверностью и конкретностью. Самодержавие, полицейский гнет, национальное угнетение — под пером историка эти примелькавшиеся обороты речи обретают плоть и кровь. Мы видим, как арестовывают революционеров, как ссылают их в Сибирь, отправляют в действующую армию. Все общественные группы опутаны густой сетью провокаторов охраны. Любое слово, сказанное на любом собрании, через несколько часов, самое позднее на следующий день, знают «те, кому следует». Письма депутатов Думы, общественных деятелей, офицеров и даже просто солдат вскрываются, аккуратно переписываются и сообщаются в охранку. Там, в этом заведении, сидят специалисты по каждой политической партии, союзу, группе лиц. Они собирают информацию, анализируют, «сигнализируют». Чудовищная машина удушения свободы и общественного движения работает на полную мощность.

Но она уже не может спасти прогнивший режим Романовых. Рабочий класс под руководством большевиков готовится к битве. Растет оппозиционность мелкобуржуазных

партий. И даже трусливая русская буржуазия с трибуны Государственной думы бросает в лицо представителей власти гневные слова осуждения. Цензура запрещает речи Шингарева, Коновалова, Милюкова, даже Шульгина. Их не публикуют газеты. Но во множестве копий эти речи распространяются среди интеллигенции. Стачки сотрясают императорскую столицу, близится революция...

Читатель найдет в книге Э. Н. Бурджалова запоминающиеся сцены событий на заснеженных улицах февральского Петрограда — революция творилась не в кабинетах, не на заседаниях, а самими массами на улицах города,— узнает немало нового о нарастающей стачечной борьбе, о бурных демонстрациях рабочих и демократической интеллигенции на Невском проспекте, о брожении в солдатских казармах и переходе на сторону народа Петроградского гарнизона, об отчаянных попытках различных политических партий, организаций и групп овладеть бурным потоком, направив его в определенное русло, или повернуть вспять. А ведь еще 23 февраля, когда женщины стали едва ли не главными застрельщицами «беспорядков» на почве продовольственного кризиса, когда начались первые стихийные и полустихийные забастовки и демонстрации, никто не знал и не мог знать, что именно теперь, в конце февраля 1917 года, пробил час гибели самодержавия.

Веками создававшее и укреплявшее свои устои, считавшее себя незыблемым и вечным, оно рухнуло в течение нескольких дней. Но рухнул не только монархический государственный строй. Гибель старой власти не могла не потрясти самые основы общественно-политического сознания и бытия и, следовательно, не могла не вызвать далеко идущих последствий. Это быстро поняли или почувствовали не только открытые и скрытые защитники старого строя, но и временные попутчики народного движения. Вот свидетельство депутата Думы «трудовика» В. Б. Станкевича, осведомленного о настроениях тех дней: «Официально торжествовали, славословили революцию, кричали «ура» борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Дамы устраивали для солдат питательные пункты. Все говорили «мы», «наша» революция. «наша» победа и «наша» свобода. Но в душе, в разговорах наедине — ужасались, содрога-

лись и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем».

«Неведомый путь», открывшийся в результате потрясения гигантского масштаба, небывалой активности широких народных масс, энергии и целеустремленности руководимой В. И. Лениным партией большевиков, оказался путем к социалистической революции. Э. Н. Бурджалов старательно выделил и описал те настроения и действия масс (больше, впрочем, настроения), которые уже в февральско-мартовские дни 1917 года имели не только антимоноархическую, но и антибуржуазную направленность: отрицательное отношение к Временному комитету Государственной думы, сопротивление революционных солдат попыткам вернуть их в казармы и вновь подчинить офицерам, принятие на некоторых митингах резолюций с требованием создания Советами Временного революционного правительства и др. Автор характеризует эти настроения как «вторую волну революции», что нам представляется недостаточно убедительным. Создается впечатление, что здесь автор шел не от фактов к заключению, а от априорного тезиса к фактам, причем явно испытывал при этом немалые затруднения. Материал, из которого Э. Н. Бурджалов сооружает «вторую волну», скуден. Он, может быть, и помогает понять многообразие революционных потоков, соединившихся в февральские дни, но едва ли способен поколебать более распространенное мнение: в те дни прокатилась лишь одна волна революции.

Это, на наш взгляд, почти единственное исключение в добротной книге Э. Н. Бурджалова, где выводы строятся на прочной основе обильных и разнообразных источников. Автор использовал и малоизвестные материалы департамента полиции, и полузабытые воспоминания эмигрантов, документы из семейных архивов, работы своих предшественников (начиная с А. Г. Шляпникова и кончая И. П. Лейберовым). Все это ставит исследование Э. Н. Бурджалова в ряд наиболее значительных достижений исторической науки наших дней.

Мы не беремся перечислить все то новое, что есть в каждом разделе книги. Приведем только несколько примеров. Описывая предысторию Февраля, упоминают обычно «двух заговорах» против революции. Э. Н. Бурджалов подробно рассматривает

сохранившиеся источники как о «заговоре царизма», так и о «заговоре буржуазии». Его мнение: утверждать, что царизм намеревался сменить свою внешнеполитическую ориентацию и заключить сепаратный мир с Германией, нет оснований; что касается второго заговора, то вопрос о дворцовом перевороте обсуждался в нескольких политических и салонных кружках, но еще был далек от своего практического осуществления.

Автор конкретно показывает характер большевистского руководства движением в февральские дни. В условиях, когда на улицу вышли многие десятки тысяч рабочих, практическая возможность руководить всеми их действиями со стороны большевиков — их было всего около двух тысяч человек — была, естественно, невелика. Вместе с тем, как убедительно показывает автор, тактика большевиков, их лозунги способствовали вовлечению в движение все более широких масс. В частности, Э. Н. Бурджалов положительно оценивает тот факт, что Русское бюро ЦК не стремилось создавать 25—26 февраля боевые дружины, а рекомендовало рабочим брататься с солдатами и агитировать их за переход на сторону революции. В момент, когда позиция гарнизона еще не определилась, перестрелка с войсковыми частями, нападение на них, бессмысленное с военной точки зрения, могли бы вызвать раскол революционных сил, озлобление со стороны солдат.

Интересные материалы приведены автором об истории знаменитого «Приказа № 1», который коренным образом перестраивал армию на демократических началах. Еще одной легенде приходится потесниться под напором фактов. Все основные положения этого документа были сформулированы в резолюции общего собрания Совета от 1 марта («Известия Петроградского Совета», № 3, 2 марта 1917 года). Для того чтобы превратить ее в военный приказ по гарнизону, была создана комиссия, в состав которой вошли солдаты, члены исполкома Совета. Следовательно, создание этого приказа — не стихийный акт творчества неизвестных солдат, а результат целенаправленной деятельности Петроградского Совета.

В такой большой и оригинальной работе не может не быть спорных положений. Э. Н. Бурджалов должен быть готов к критике его книги с самых разнообразных позиций. В частности, спорным представляется

ся мнение автора, что в июле 1914 года, когда имели место массовые выступления петроградского пролетариата, «революция стояла на пороге и уже стучалась в дверь», что «война не приблизила, а отдалила революцию». Разумеется, историк вправе строить предположения. Но, сравнивая расстановку сил в июле 1914 года с фактическим ходом февральского восстания, нельзя не обратить внимание хотя бы на такое важное обстоятельство, как отсутствие в 1914 году одной из главных движущих сил будущего переворота — революционной армии. Именно война одела в серые шинели и поставила под ружье пятнадцать миллио-

нов людей. Именно вызванные войною голод и разруха, многочисленные жертвы озлобили тыл и армию. Именно война собрала в столице и ее окрестностях четыре-ста тысяч запасных солдат. А от позиции Петроградского гарнизона во многом зависела успешная борьба рабочих столицы...

Книга Э. Н. Бурджалова написана интересно, увлекательно, ее с пользой для себя прочтет всякий, кто интересуется историей нашей родины.

**О. ЗНАМЕНСКИЙ,
В. СТАРЦЕВ,**

кандидаты исторических наук.



ПОДВИГ И ЕГО ИСТОЛКОВАНИЕ

Александр Верт. Россия в войне 1941—1945. Авторизованный перевод с английского. «Прогресс». М. 1967. 774 стр.

Книга английского журналиста и писателя, уроженца России, Александра Верта получила широкую известность еще до выхода ее в свет на русском языке. Она издавалась в США дважды (в 1964 и 1965 годах), а также в Англии, ФРГ, во Франции и других странах. Интерес к ней определяется прежде всего тем, что она посвящена гигантской эпопее новейшего времени — Великой Отечественной войне Советского Союза. В восьми частях книги, каждая из которых охватывает важный этап описываемых событий, рассказывается о подвиге советского народа, отстоявшего свою честь, свободу и независимость и оказавшего огромную помощь народам Европы и Азии в их борьбе против империалистических захватчиков.

На глазах всего человечества произошел всемирно-исторический поворот: страна социализма, попавшая вначале в тяжелейшие условия, которые многие буржуазные эксперты оценивали как безнадежные, в ожесточенной схватке обескровила фашистский блок, полонивший почти всю капиталистическую Европу, и нанесла ему смертельное поражение. Важнейшие события на этом пути: битвы под Москвой, Сталинградом и Курском, героическая борьба за Ленинград, мощное наступление Красной Армии на запад, начавшееся летом 1943 года и завершившееся капитуляцией Германии, наконец разгром империалистической Японии — с разной степенью подробности описаны А. Вертом. Центральное место в

его книге занимает рассказ о жизни советского народа в годы войны, о его мужестве и подвиге. Этот подвиг настолько ярок и значителен, что мировая общественность до сих пор не утратила к нему живого интереса. Вполне естественно, что каждая работа на эту тему, а тем более столь богатая по материалу и хорошо написанная, как книга Александра Верта, находит самого широкого читателя.

В буржуазной прессе (об этом весьма обстоятельно говорится в предисловии к советскому изданию, написанном профессором Е. А. Болтиным) было опубликовано много различных по своему характеру — от восторженно-хвалебных до яростно-злобных — рецензий на эту книгу А. Верта. Впрочем, злобно реагировала на нее только крайне реакционная и профашистская пресса ФРГ; большинство других органов буржуазной печати, в том числе книжное обозрение газеты «Нью-Йорк таймс», хвалило ее за то, что она «раскрывает глаза» на подлинные события Отечественной войны, на факторы, приведшие к тому, что «в конечном счете не вермахт оказался в Кремле, а Красная Армия — в Берлине». Как отмечает гамбургская газета «Цейт», книга разрушила распространяемые в ФРГ легенды о том, будто вермахт не был причастен к «преступлениям и зверствам немцев в России». Эту работу (в советском ее издании) положительно оценила и наша печать. Высказанные в нашей критике мнения не рас-

ходятся в принципе с тем, которое выражено в предисловии Е. А. Болтина, где сказано, что книга А. Верта — «это сложный синтез личного жизненного опыта и результатов изучения советской литературы о войне». Вместе с тем в предисловии и в рецензиях отмечаются и присущие книге существенные недостатки, определяющиеся немарксистским, либеральным мировоззрением автора. Суть их сводится, как пишет Е. А. Болтин, к не в меру субъективным суждениям и высказываниям автора, зачастую необоснованным и в ряде случаев противоречащим историческим фактам.

Автор книги, предупреждает нас Е. А. Болтин, «не коммунист и не марксист; но он писатель, который хочет быть правдивым перед самим собой и перед своими читателями».

Когда говорят, что рецензируемое произведение есть «сложный синтез» жизненного опыта автора и результатов изучения советской литературы о войне, то под жизненным опытом, по-видимому, понимают главным образом тот факт, что Верт во время войны и некоторое время после нее жил и работал в Советском Союзе как корреспондент английской газеты «Санди таймс» и комментатор радиовещательной компании Би-би-си. Его положение и знание русского языка позволяли ему общаться с советскими людьми и получать информацию из первых рук. Он пишет, что ему приходилось встречаться с солдатами, офицерами и генералами, видными советскими полководцами, рабочими, крестьянами и служащими, журналистами, писателями, деятелями науки и искусства и др. Дневник, который он вел, дал ему возможность сохранить полученные сведения и впоследствии широко использовать их в своей литературной деятельности.

Естественно, что автор тогда многого не знал и не мог знать. Прежде всего ему не были известны ни планы воюющих сторон, ни действительное соотношение их сил, ни размеры всего того, что ценой огромных усилий и лишений давала наша страна фронту. Но он видел жизнь советских людей, говорил с ними. Пусть это было наблюдение со стороны, однако оно принадлежало человеку, привыкшему думать над тем, что увидел. К тому же, по словам самого Верта, он задаясь целью написать «в гораздо меньшей степени историю военных

действий, чем человеческую историю, а отчасти также и политическую историю войны».

Неизвестные ему факты автор почерпнул из литературы о войне. Процесс соединения виденного с вычитанным не прошел гладко. По сравнению со статьями и книгами («Москва. 1941 г.», «Ленинград», «Год Сталинграда»), которые на том же материале были написаны А. Вертом в годы войны и сразу после ее окончания, общая картина событий несколько потускнела. Места, написанные под влиянием прочитанного, представляют собой нагромождение цитат и цифр, в ряде случаев их трудно и скучно читать. Разделы же с подзаголовком «Личные впечатления» или без него, но содержащие таковые, производят более сильное впечатление. (Нужно отметить, что превосходный перевод сохранил литературные особенности оригинала.)

В этом отношении, в частности, интересны главы «Москва в начале войны» и «Осенняя поездка на Смоленский фронт». В них описывается жизнь в Москве, настроения советских людей в тылу и на фронте так, как они могли представиться иностранному наблюдателю, только что прибывшему в нашу страну в столь трудное для нее время и еще не разобравшемся в смысле всего происходящего. Его зарисовки, хотя подчас и довольно противоречивые, в значительной мере отражают суть событий.

Через всю книгу автор проводит правильную мысль, что Советский Союз, его Вооруженные Силы играли решающую роль в войне против государств фашистского блока. Вот, например, как он оценивает наступление советских войск в конце августа — начале сентября 1941 года под Смоленском. «Августовские бои,— пишет он,— не были крупным сражением советско-германской войны, и, однако, нужно было пережить страшное лето 1941 г., чтобы понять, какое огромное значение имел этот небольшой успех для поднятия морального духа советских войск... Это была не просто первая победа Красной Армии над немцами, но и первый кусок земли во всей Европе... отвоєванный у гитлеровского вермахта».

Многое запомнится читателю и из того раздела книги, который посвящен Сталинградской битве. Такие эпизоды, как рассказ учительницы Елены Николаевны и ее пятнадцатилетнего сына о зверствах фашистов в захваченных ими районах или беседа с со-

рокачетырёхлетним тогда генерал-лейтенантом Р. Я. Малиновским, каждый по-своему воссоздадут картину общего настроения советских людей в те дни, свидетельствуют об их несгибаемой воле к победе. Не меньшее впечатление производят и зарисовки, сделанные автором в дни капитуляции немцев в Сталинграде. Можно сомневаться в достоверности рассказа А. Верта об обстоятельствах пленения командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Паулюса, но не это главное. Гораздо важнее то, что в настроении советских воинов и местных жителей, в поведении немецких военнопленных журналист увидел и понял неизбежность и справедливость нашей победы. «Это зрелище грязи и страданий...— пишет он,— было последним моим впечатлением от Сталинграда. Мне припомнились и долгие тревожные дни лета 1942 г., и ночи лондонского «блиц», и фотографии Гитлера, ухмыляющегося на ступеньках собора Мадлен в Париже, и тоскливые дни 1938 и 1939 гг., когда Европа нервно ловила берлинские радиопередачи и слушала вопли Гитлера, сопровождаемые людоедским ревом немецкой толпы. И я увидел знамение суровой, но божественной справедливости в этих замерзших выгребных ямах, в этих обглоданных лошадиных скелетах и желтых трупах умерших от голода немцев во дворе Дома Красной Армии в Сталинграде».

Хорошо написаны в книге А. Верта разделы о героической борьбе советских воинов на фронтах войны — под Москвой и Ленинградом, на Курской дуге, в Белоруссии и на Украине, на территории стран Восточной и Центральной Европы, — о самоотверженном труде рабочих, крестьян, интеллигенции. В целом книга рассказывает о том, что наша страна представляла собой в те годы единый военный лагерь, что вся деятельность советского народа была подчинена одной цели — добиться полного разгрома фашистских захватчиков.

Острым и сильным обличением фашизма стала в книге А. Верта глава «Люблин. Лагерь смерти Майданек: личные впечатления». В то, что автор увидел там, нормальному человеку трудно было поверить. «Когда в августе 1944 г., — пишет он, — я послал Би-би-си подробное сообщение о Майданеке, она отказалась использовать его, считая, что это советский пропагандистский трюк; только тогда, когда войска западных союзников обнаружили Бухенвальд, Дахау

и Берген-Бельзен, Би-би-си убедилась в том, что и Майданек и Освенцим также были действительностью». Именно за эти и подобные им страницы книга Верта и была подвергнута злым нападкам реакционной западногерманской печати.

Проиграв с точки зрения единства стиля, книга Верта благодаря использованию им советских литературных источников, несомненно, выиграла в смысле полноты и содержательности. Автор отдает себе в этом полный отчет. Некоторое удивление вызывает, однако, тот факт, что в своих предисловиях к советскому и американскому изданиям он очень по-разному характеризует использованные им материалы.

В предисловии к советскому изданию А. Верт довольно лаконично сообщает, что внимательное изучение всей доступной советской литературы, особенно вышедшей после XX съезда КПСС, ему «во многом помогло», позволило восполнить недостаток своих знаний. При этом особого его внимания удостоились мемуары и художественная литература, в которой он находит отражение настроений и чувств советского народа. Он довольно часто и охотно цитирует военную прозу советских писателей, приводит в отрывках, а иногда и полностью наиболее популярные стихотворения, говорит о спектаклях и кинофильмах того времени. Что касается собственно исторической литературы, то тут он в первую очередь выделяет шеститомную «Историю Великой Отечественной войны».

Подробнее и совсем по-иному говорится о том же самом в предисловии к американскому изданию. Автор пишет: «В общем, я широко использовал недавно вышедшие русские книги о войне... Было бы опасно принимать все, что в них говорится, за непреложную истину...» Вышедшие до 1956 года работы советских историков, по его мнению, отличались «отсутствием объективности». Тем же самым, «хотя и в меньшей степени», как он полагает, грешат и работы, вышедшие позднее. «Несмотря на эти недостатки, — заключает Верт, — последние советские книги о войне все же содержат огромное количество ценного фактического материала. Я широко его использовал, но подходил к нему критически и часто занимался тщательной и кропотливой выверкой отдельных фактов. Во многих случаях я должен был сличать русские официальные сообщения и цифры с сообщениями и циф-

рами немцев». Упомянутую шеститомную «Историю Великой Отечественной войны» он называет здесь во многих отношениях «неудовлетворительной». По его словам, в ней «без конца повторяются стереотипные «героические» эпизоды, но она совершенно... не раскрывает историю этой потрясшей всю страну трагедии с чисто человеческой стороны. Она страдает тем недостатком — общим для многих, хотя и не для всех советских книг о второй мировой войне, — что показывает по существу всех русских в точности похожими один на другого».

Не беремся судить о том, в каком случае автор более «правдив перед самим собой и перед своими читателями», но нетрудно заметить, что «американский» вариант прямо связан с общей концепцией книги, и в первую очередь с пониманием и истолкованием в ней источников нашей победы.

Пытаясь понять причины, в силу которых «не вермахт оказался в Кремле, а Красная Армия — в Берлине», А. Верт не может, как мы видели выше, не обратить внимания на факт исключительного морально-политического единства советского народа в годы Великой Отечественной войны. Однако, по его мнению, такое единство сложилось главным образом не на советской, не на социалистической, а преимущественно на национальной базе. И хотя в советском издании не встречается столь прямых высказываний по этому вопросу, какие имеют место в американском издании, общая направленность книги сохраняется: всем ходом своего изложения автор старается доказать, что главную роль в мобилизации сил нашего народа на достижение победы в войне сыграл «дух святой Руси». Глава XI второй части в американском издании так и озаглавлена: «Второй этап битвы под Москвой — дух святой Руси в докладе Сталина». Правда, Верт пишет и о роли советского строя, об организаторской деятельности Коммунистической партии, но ограничивает их значение преимущественно созданием индустрии в предвоенные годы и организацией эвакуации промышленности на восток страны в разгар немецкого нашествия. По его мнению, чтобы вдохновить народ на войну, Сталину пришлось обратиться к русской национальной гордости и чувству задетого национального самолюбия, привлечь на свою сторону даже церковь, а главное — добиться того, чтобы его почти все признали русским национальным вождем. «Именно

такая патриотическая пропаганда, отождествляющая Советскую власть и Сталина с Россией, со святой Русью, скорее всего могла создать в стране настоящий моральный подъем» (стр. 172). Как только наступили лучшие времена, от такой пропаганды стали отказываться. «По мере приближения войны к победоносному концу,— пишет Верт,— концепция «советского патриотизма» все больше и больше заменяла собой концепцию «русского патриотизма» мрачных дней 1941—1942 гг.» (стр. 430).

Мы далеки от мысли оспаривать значение национальной гордости и патриотизма советских людей, проявившихся во время войны с необычайной силой и оказавших огромное воздействие на все стороны жизни и борьбы народа (более того, можно было бы обратить внимание автора, что он напрасно говорит только о патриотизме русских людей, тогда как делу победы мощно способствовал подъем национально-патриотических чувств всех без исключения братских народов Советского Союза). Но, во-первых, эти чувства пробудились отнюдь не только в результате пропагандистских усилий. А во-вторых,— что самое главное — автор совершенно неправоммерно возвел их в абсолют и противопоставил другим источникам нашей победы: советскому общественному и государственному строю, социалистической системе хозяйства, преданности советских людей коммунистическим идеалам, руководящей роли партии — всему тому, что и составило фундамент советского патриотизма, засверкавшего всеми своими гранями в годы войны.

Концепция автора сказалась на освещении им многих важных событий. Однако факты, которые он сам приводит, нередко спорят с нею. Более того, в ряде мест автор вступает в противоречие со своей общей концепцией: ему приходится отдать должное действию факторов, порожденных социалистическим строем. Например, описывая обстоятельно «ленинградскую эпопею», он подходит к вопросу, почему Ленинград выстоял. И хотя его ответ нельзя назвать вполне точным, он весьма интересен: «Война фашистской Германии против СССР была войной на истребление, и немцы никогда не делали из этого секрета. Кроме того, местная гордость Ленинграда носила своеобразный характер — горячая любовь к самому городу, к его историческому прошлому, к связанным с ним замечательным литератур-

ным традициям (это в первую очередь касалось интеллигенции) соединялась здесь с великими пролетарскими и революционными традициями рабочего класса города. И ничто не могло крепче спаять эти две стороны любви ленинградцев к своему городу в одно целое, чем нависшая над ним угроза уничтожения». И далее: «Ошибкой была бы попытка проводить различие между русским патриотизмом, революционным порывом и советской организацией, или спрашивать, который из этих трех факторов сыграл более важную роль в спасении Ленинграда; все три фактора сочетались в том необыкновенном явлении, которое можно назвать «Ленинградом в дни войны». Впрочем, автор в зарубежных изданиях проводит мысль, что такое значение всем названным им движущим силам придал только местный, «ленинградский» патриотизм.

Вопреки логике наблюдаемых им фактов, которые говорят о том, что воюет и побеждает в войне весь советский народ, автор непомерно большое место в своей книге отвел Сталину, освещая его роль в духе буржуазного понимания роли личности в истории. Основная его мысль, наиболее отчетливые формулировки которой содержатся опять-таки в том же американском издании, состоит в следующем: «Фигура отца, или, как сказали бы мы, фигура такого вождя, как Черчилль, была крайне необходима в военное время, и, несмотря ни на что, Сталин выполнил эту свою роль с большим успехом». И хотя на страницах 424—427 он делает попытку проследить зарождение и развитие культа личности Сталина в нашей стране и говорит, что те успехи в мирное и военное время, которые были делом многих людей, в том числе и целого коллектива руководителей, приписывались одному Сталину,— это несколько не меняет того факта, что он изображает его роль в духе буржуазной теории о всемогуществе сильной личности и непонимания или недооценки закономерностей социального развития. В связи с этим А. Верт пытается оправдать те поступки Сталина, ошибочность которых убедительно доказана в советской партийной и исторической литературе.

Так поступает он, например, при характеристике отношения Сталина к угрозе нападения на СССР со стороны фашистской Германии и, в частности, при оценке известного сообщения ТАСС от 14 июня 1941

года, в котором за неделю до начала войны было заявлено, что, «по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». «Сообщение ТАСС от 14 июня,— говорится в первом томе «Истории Великой Отечественной войны»,— отражало неправильную оценку И. В. Сталиным сложившейся к тому времени военно-политической обстановки. Это сообщение, опубликованное в те дни, когда война стояла уже у порога, неправильно ориентировало советских людей, ослабляло бдительность советского народа и его Вооруженных Сил». Соглашаясь с тем, что «в этот день было уже слишком поздно «прощупывать» намерения Германии», А. Верт в то же время замечает: «...с другой стороны, она («История».— В. К.), как мне кажется, преувеличивает усыпляющее действие этого сообщения ТАСС на советский народ».

Эта и другие попытки оправдать или преуменьшить ошибки Сталина вполне согласуются с буржуазно-субъективистскими воззрениями автора на роль личности в историческом процессе. Не случайно поэтому и самый культ такой личности, чужеродный в социалистическом обществе, он неоднократно истолковывает как явление положительное, как важнейший фактор наших военных успехов. Примером тому может служить его комментарий к опубликованной в газетах «Клятве защитников Сталинграда»: «Авторы клятвы не заходили настолько далеко, чтобы заявлять, что Сталинград будет удержан, однако тот факт, что они связали судьбу города с именем и личным престижем Сталина, делал поражение весьма маловероятным».

На такой односторонней, далекой от действительности основе, на формуле: отечество, сильная личность и (в меньшей степени) православная церковь — Верт и строит все свое объяснение великой победы советского народа.

В книге много места отведено рассмотрению событий 1941—1942 годов. В этой части книги автор опирается главным образом на материалы первого и второго томов «Истории Великой Отечественной войны», в которой дается обоснованное изложение субъективных и объективных причин не-

удачного для нас начала минувшей войны. Но все это не позволяет утверждать, как делает Верг, будто «вначале СССР оказался совершенно (подчеркнуто мною.— В. К.) не подготовленным к отражению германского нападения», ибо в таком случае непонятно, благодаря чему удалось все же остановить продвижение немецких войск и уже в 1941 году перейти в наступление. Известно, что советский народ под руководством партии в течение длительного времени укреплял обороноспособность нашей страны и достиг в этом отношении больших успехов, которые и позволили в ходе войны преодолеть последствия тяжелых неудач первых месяцев.

В книге затрагиваются и другие вопро-

сы (например, о взаимоотношениях между союзниками по антифашистской коалиции, о международных отношениях, особенно между СССР и Польшей), но мы не ставим своей целью разбирать их все. Мы стремились главным образом обратить внимание на основную концепцию А. Верта, выяснить особенности его подхода к освещению истории Великой Отечественной войны. Вместе с тем мы полагаем, что, при всех свойственных этой книге противоречиях и существенных недостатках, она может быть с пользой прочитана всеми, кто интересуется нашей военной историей.

В. КУЛИШ,

доктор исторических наук.

★

ИНФЛЯЦИЯ ДЕФИНИЦИЙ

С. Лаптенюк. Мораль и семья. «Наука и техника». Минск. 1967. 248 стр.

Нельзя сказать, чтобы книги о семье сыпались у нас дождем. Но нельзя и сказать, что их у нас — как дождей в пустыне. Книжки и брошюры выходят, семья их все множится. Книга С. Лаптенюка («научно-популярное исследование» — так определен автором ее жанр) — достойный представитель этой семьи. Вот один из центральных разделов книги — «Любовь как основа брака». В этом разделе автор подвергает научно-популярному исследованию чувство любви.

«Половое влечение, — пишет он в философском ключе, — ...представляет собой диалектическое единство общих, особенных и индивидуальных черт. В то же время сама по себе любовь — не только гармония чувств влюбленных, но и разноречивость. Все это делает очень трудным выделение таких признаков, которые бы подошли для четкого и неоспоримого определения любви как нравственной категории».

Задача, как видим, поставлена чрезвычайно — дать четкое и неоспоримое определение любви как нравственной категории. К тому же определение нужно не какое-нибудь. «Пытливый ум человека... — говорит С. Лаптенюк, — требует наиболее общего определения». К созданию такого определения автор приступает с истинно научного расчленения объекта. «Марксистская философия, — пишет он, — выделяет в любви как органическом единстве прежде всего две стороны — природную и социальную».

Природная сторона, изящно сообщает он, это «физиологическое предпочтение одного объекта другому для удовлетворения естественной потребности человека в половой близости». Социальная сторона любви, которой, конечно, принадлежит «ведущая роль», «характеризуется эстетическими, психологическими, нравственными, идейно-экономическими и правовыми отношениями»: «Без них невозможно раскрытие сущности любви».

Чтобы раскрыть эту сущность и выработать неоспоримое определение любви, надо также найти ее отличие от других «нравственных категорий». Очень важно, например, что любовь отличается от привычки. «Она (любовь.— Ю. Р.) — далеко не привычка», — новаторски утверждает С. Лаптенюк и обстоятельно доказывает свое наблюдение сравнительным анализом этих понятий. Однако любовь — это также и не увлечение. Увлечение «больше всего выражает элементы стихийности в любви и с большим основанием может быть отнесено к влюбленности, чем к любви...». «Но серьезное чувство никогда не исчерпывается и не измеряется случайным. После этого начинаются раздумья, размышления, без чего нисмыслима любовь».

Раздумья и размышления очень важны для любви. «Нельзя, — убеждает С. Лаптенюк, — смотреть на любовь, как на какое-то чудо, не поддающееся контролю разума». Она вполне поддается этому контролю, и даже больше того: любовь — «это обыкновен-

ное дело, которое нужно организовать». Последние слова, правда, принадлежат не самому автору, а Макаренко, но С. Лаптенюк безоговорочно присоединяется к нему.

Конечно, продолжает он, нельзя считать, что «любовь есть рассудок»,— это разные категории. Но «рассудок входит в любовь как одна из неотъемлемых частей». «Нельзя же вступать в брак «сломя голову» или как бы совершая скачок в неизвестность».

Разобрав все эти «стороны» любви и подводя итог размышлениям о содержании понятия «любовь», автор дает, наконец, четкое и неоспоримое ее определение как нравственной категории. «Любовь,— формулирует он,— специфическое социальное чувство, включающее в себя естественнобиологическую потребность, очеловеченную развитием культуры, нравственно-эстетические и психологические отношения полов. Любовь — сложное единство природной и социальной связи мужчины и женщины. В ней общественная и естественная потребность в половом общении (хотелось бы узнать, как С. Лаптенюк представляет себе общественную потребность в половом общении? — Ю. Р.) и продолжении человеческого рода преломляется через индивидуальное сознание и глубоко интимные чувства, базирующиеся на той или иной общественной психологии».

Итак, перед нами то самое «наиболее общее определение», которого требовал «пытливый ум человека». Синяя птица любви поймана в сети философских понятий, сплетенные из категорий и дефиниций. Теперь можно переходить к широким выводам: «Будучи моральной основой брака, любовь в советском обществе стала показателем гражданской зрелости нашего современника, мерилем его культуры и развития как личности. Любовь в высшей степени морально-эстетична, и в нашем обществе она является великим украшением жизни».

Можно было бы спросить у С. Лаптенюка: а в другом обществе любовь не «украшение жизни»? В другом обществе она не «показатель» культуры, не «мерило» развития личности? Неужели он думает, что любовь стала таким мерилем только у нас? Но не станем спорить, лучше послушаем еще С. Лаптенюка-социолога, который в своей книге высказывается по широкому кругу «семейных» проблем.

Переход к моногамии: она «сводилась (!) к утверждению в жизни социального инсти-

тута наследования и сохранения частной собственности».

Дети: «До Октября рождение детей в семьях рассматривалось как способ упрочения экономической независимости семьи».

Ревность: «Ревность возникла на основе частнособственнических отношений». «Муж ревностно (!) относился к поведению жены, которая должна была... рожать законных наследников. В свою очередь супруга стала проявлять бдительность к своему кормильцу, чтобы он, изменив ей, не бросил ее на произвол судьбы; она начала заниматься интригами, ревновала мужа к другим женщинам, порой неистуя (так в книге.— Ю. Р.) в отношении ко всему, что мешало ее экономической независимости, самостоятельности». В то же время «в среде угнетенных классов чувство ревности по отношению к своим возлюбленным было несколько притуплено в силу социального положения трудящихся, оно практически сливалось с требованиями борьбы за эмансипацию личности».

Так выглядит в книге «семья». А вот и «мораль» — научно-популярное исследование С. Лаптенюка в самом деле до краев наполнено «моралью».

«Долг родителей по отношению к детям заключается в том,— перечисляет автор,— чтобы содержать их материально до совершеннолетия; привить детям любовь к труду, бережное отношение к материальным и духовным ценностям народа; научить самообслуживанию; привить привычку хозяйского отношения к личным вещам и к семейному имуществу; примером своей личной жизни и соответствующими воспитательными мерами подготовить детей к будущей семейной жизни; с помощью общественных организаций и государственных учреждений, имеющих отношение к воспитанию детей, вырастить такое поколение строителей коммунистического общества, представители которого будут выше всего ставить чувство общественного долга, коллективизма, товарищества, братской солидарности, верности идеалам коммунизма».

Сколько в книге такого рода полезных градаций и рекомендаций, рецептов и правил!

Для С. Лаптенюка нет никаких проблем, секретов, неясностей. В его книге имеются ответы на все вопросы, даже самые трудные. Зашла, например, речь о счастье — и автор тут же дает его исчерпывающее опре-

деление: «Для советского человека счастье — это мир на земле; интернациональное единство народов; возможность творить, дерзать, учиться, совершенствовать свое профессиональное мастерство на благо общества; это хорошо организованный быт и т. д.».

Семейное счастье? Идет еще одно четкое и неоспоримое определение: «Семейное счастье как этическая категория лишь дополняет многогранное представление советского человека о коммунистическом идеале счастья личности, и заключается оно в ощущении нравственного удовлетворения прочностью брачной жизни, в материнстве и отцовстве, в осознании до конца выполненного долга перед обществом и детьми, воспитанными в духе новой морали, в укреплении семейной дружбы, в сочетании личных интересов с общественными».

Но, как ни грустно говорить об этом, случаются в наших семьях и «противоречия». А раз случаются — значит, их тоже нужно научно определить: «...К нравственным причинам, усугубляющим противоречия в семье, относятся: утрата супругами чувства любви, проявление ревности, неудовлетворенность чувства отцовства или материнства в связи с неспособностью одного из супругов к деторождению или нежеланием иметь детей, мещанские взгляды супругов на семейное счастье, длительное раздельное проживание мужа или жены из-за смены места работы в связи с государственными интересами и в соответствии с гражданским долгом».

С. Лаптенюк касается, как видим, многих важных тем, но в разработке их, к сожалению, почти нигде не поднимается выше букварных истин. Длинные цепочки прописей протягиваются от первой до последней страницы книги. И везде цитаты, цитаты, цитаты — из классиков и неклассиков, маститых и немаститых, известных и неизвестных. Цитата как исходный пункт, цитата как подпорка, цитата как высшая ступень решения проблемы, цитата как объект для пояснений...

Довольствуясь пересказыванием известного, С. Лаптенюк почти не задает всерьез проблем, которые рождает нынешняя форма семьи. В книге его вообще нет внутреннего, структурного анализа семьи в ее историческом движении, нет попыток по-своему взглянуть на разбираемые вопросы. Какой характер имеет нынешняя семья как хозяйственная ячейка общества? Что в ней

помогает, что мешает развитию человека, его личности, его любви? Что умирает в нынешней семье? Какой станет семья будущего? Ничем этим автор не интересуется.

Блекло и отписочное говорит он о тяготах домашнего хозяйства, почти не разбирая те конфликты, которые оно вносит в жизнь. О тяжелейшем труде в деревенском домашнем хозяйстве он пишет так: «Само собой разумеется, что выращивание на приусадебном участке овощей, фруктов, картофеля и прочего — только дополнение к тем благам, которые получают колхозники в результате труда в артельном хозяйстве». Лакировочные тенденции в книге вообще очень сильны. «Жилищная проблема на селе, — пишет С. Лаптенюк, — практически решена». Социалистическая моногамия, по его словам, устанавливает «подлинное равенство полов». О фактическом же положении вещей говорится осторожно: «остатки бытового неравенства».

А между тем многим, наверное, известно, как резко говорил о тяготах домашнего хозяйства и о положении женщины в быту Ленин: «Женщина продолжает оставаться *домашней рабыней*, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупляет, принижает *мелкое домашнее* хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расширяя ее труд работою до дикости непронизводительною, мелочною, изнуряющею, отупляющею, забивающею»¹.

Известно, что домашнее хозяйство ограничивает возможности людей развиваться свободно и разносторонне, суживает их, закрепляет людей в том положении «частичного» существа, в которое их поставило дробное разделение труда. Именно с этим и связаны гипотезы об отмирании семьи как хозяйственной ячейки общества и о рождении нового вида семьи — свободного союза мужчины и женщины, который целиком основан на любви и на родительских чувствах. С. Лаптенюк не опускается до таких глубин...

Зато как тонко в этой книге используется искусство! «О том, какие трагедии разыгрывались под флагом церковного «тайнства» венчания не только бедных, но и представителей привилегированных классов, свидетельствуют факты, один из которых запечатлен на картине В. Пукирева «Неравный брак». Автор отнюдь не ретроград: «На наш

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 396.

взгляд, не следует запрещать юношеству читать произведения Мопассана, Цвейга, Куприна и других классиков мировой литературы... Весьма полезны в этом отношении кинофильмы, такие, как «Неподдающиеся», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Алешкина любовь», «Девчата» и другие, в которых разносторонне раскрывается психология влюбленных»...

На какой бы странице ни открыли мы книгу — уровень, как в сообщающихся сосудах, везде будет одинаковым. И хотя мно-

гие места в ней вызывают улыбку, есть тут и безусловно серьезная сторона. Шаблоны и стереотипы, начетническое топтание на месте, вульгарный социологизм и расхожая публицистика, унылая дидактика и упрощение сложностей — все это столь обильно и многообразно представлено на страницах труда С. Лаптенка, что превращает его в своего рода энциклопедию характерных слабостей нынешней этико-теоретической литературы о семье и любви.

Ю. РЮРИКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. ДУБИНСКИЙ. *Летопись памятных дней. Рассказы, воспоминания. «Радянський письменник».* Киев. 1967. 222 стр.

Памятные дни. У каждого человека они свои. В жизни советских людей старшего поколения они так или иначе переплетаются с памятными датами революции, с эпизодами борьбы за советскую власть, за преодоление хозяйственной разрухи, за укрепление мощи Республики Советов.

У Ильи Владимировича Дубинского — кадрового советского воина, командира (до 1937 года) и профессионального литератора, — который ныне подошел к своему семидесятилетнему рубежу, дело обстоит именно так.

Двадцатилетним юношей встретил он Октябрьскую революцию и успел вложить свою долю усилий для ее победы на Украине, участвуя в большевистском подполье в родных местах. А потом — гражданская война, партизанский отряд, червонное казачество, военная академия, танковые войска. В эти бурные годы жизнь не раз сталкивала автора «Летописи памятных дней» с замечательными военачальниками-самородками, таланты которых в совсем еще молодые годы помогла раскрыть революция и которые стали, по его выражению, «фундаторами советских боевых сил».

Большую часть своей книги — и я, наверное, не ошибусь, сказав, что и памяти сердца — он посвятил одному из первых своих командиров и боевых друзей — участнику штурма Зимнего, организатору украинского червонного казачества Виталию Марковичу Примакову (1897—1937). «Колоколом громкого боя» называет он Примакова и подобных ему «богатырей слова и дела». И все, что он рассказывает, подтверждает эту, может быть, несколько выпендренно выраженную характеристику.

Примаков — подлинно народный герой. Недаром старики — лирники и бандуристы пели на сельских майданах по всей Украине:

Ой, почувли козаченьки тугу степовую,
Веди, батьку Приймаченко, ми степ
урятуем...

Высокообразованный и талантливый военачальник, человек тонкого ума — Примаков был направлен в 1925—1926 годах главой калганской группы военных советников в Китай для помощи китайскому народу в его революционной борьбе. Недавно изда-

тельство «Наука» выпустило в свет новое издание его «Записок волонтера» — о гражданской войне в Китае. Записки и сегодня читаются с огромным интересом.

И. Дубинский вложил много души в рассказ о своем замечательном сверстнике, командире и товарище по оружию. «Примаков ушел из жизни незадолго до Великой Отечественной войны, — с горечью пишет он и тут же с гордостью добавляет: — Но фашистов нещадно громили его ученики, питомцы славного червонного казачества — маршалы, генералы, полковники, рядовые бойцы. А разве это не знаменательно?»

Интересна и вторая мемуарная глава книги — «Владыка полей». Она посвящена годам, когда под руководством другого замечательного военачальника — И. Э. Якира — создавались первые танковые бригады Красной Армии. Автор принимал в их организации непосредственное участие. Весной 1936 года ему было поручено формирование 4-й отдельной киевской тяжелой танковой бригады. Особенно интересны страницы воспоминаний, которые воспроизводят встречи и разговоры с Якиром.

Документальная достоверность и публицистический темперамент автора делают эту часть книги увлекательной и ценной. Слабее, мне кажется, третья вещь — «Окно в мир», где автор прибегает к беллетристической форме и ведет рассказ от лица некоего Никодима Неунывако. Но и в ней, там, где автор не отрывается от реальных фактов, описывает подлинные события и говорит об им самим пережитом, — повествование о трудных и славных днях борьбы за советскую власть на Украине увлекает читателя своей достоверностью.

Л. Баша.

★

«СИБИРСКИЕ ОГНИ». Указатель содержания. 1922—1964 гг. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1967. Указатель подготовлен отделом зональной краеведческой библиографии Новосибирской областной библиотеки. Составители: А. Ф. Соустина и А. В. Суворова. 432 стр.

Эта книга, безусловно, заслуживает внимания со стороны самого широкого круга журналистов. А познакомившись с ней, ре-

дакции почти всех наших журналов (и не только литературно-художественных), несомненно, испытывают чувство зависти. Дело в том, что ни один наш журнал (да и газета) не имеет такого библиографического указателя содержания, полностью охватывающего все опубликованные в журнале произведения и материалы, начиная с его основания и кончая 1964 годом, то есть нашими днями. Такое положение, конечно, ненормально. Нечего и говорить о том, как затрудняет отсутствие таких указателей изучение истории советской печати и практическую работу в журналах и газетах. Все это тем более обидно, что в прошлом даже выходившие в провинциальных городах «Губернские ведомости» имели, как правило, указатели содержания за все время своего существования. Имели их и многие журналы.

Указатель содержания «Сибирских огней» подготовлен работниками Новосибирской областной библиотеки любовно и тщательно. В нем не только выявлено содержание 295 книжек журнала (за сорок два года), но и учтены литература и существенные отзывы о «Сибирских огнях», раскрыты псевдонимы и криптонимы, даны именной указатель и указатель художественных произведений, указана периодичность выхода журнала.

Структура указателя в некоторых частностях может быть оспорена. Так, отсутствие росписи журнальных материалов по годам, в порядке выхода очередных книжек, лишает возможности представить путь журнала в историко-хронологической последовательности. Такое построение, несомненно, увеличило бы объем книги, но в сочетании со вспомогательными указателями оно было бы, вероятно, наиболее разумным и удобным для пользования.

Указателю предпослана статья о «Сибирских огнях» известного знатока литературы Сибири, критика Н. Н. Яновского. На наш взгляд, она могла бы быть и более пространной.

Сибиряки сделали хороший почин. Его нужно подхватить нашим журналам, нашей периодической печати.

А. Д.

★

В. А. АЧАРКАН. Государственные пенсии. «Юридическая литература». М. 1967. 165 стр.

Человек потерял трудоспособность или же просто достиг того возраста, когда наш закон дает ему право уйти на покой. Государственная пенсия дает ему возможность в любой день воспользоваться этим правом. Мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. А ведь это одно из важнейших завоеваний нашей революции. Ни одно государство до Октября не обеспечивало средствами к существованию в старости и при нетрудоспособности непосредственных производителей, составляющих основную массу населения. Государственные пенсии всегда были привилегией господствующих

классов. «Одновременно с провозглашением великого лозунга революции — права на труд — был провозглашен и связанный с ним принцип обеспечения во всех случаях нетрудоспособности», — справедливо замечает В. Ачаркан.

Небольшая, но богатая по материалу и серьезная книжка В. Ачаркана содержит интересные сведения по истории социального обеспечения. Автор знакомит с идеями основоположников марксизма-ленинизма в этой области, прослеживает развитие пенсионного законодательства в нашей стране от первых декретов советской власти (только за 1917—1919 годы В. И. Ленин подписал более тридцати декретов по этим вопросам) до настоящего времени, когда решаются задачи, поставленные Программой КПСС.

Впервые в нашей правовой литературе В. Ачаркан анализирует пенсионное обеспечение всех слоев советского общества, причем делает это не с узкоправовых позиций, а на основе убедительных и весьма интересных социально-экономических данных. Он ставит вопрос о путях и методах дальнейшего совершенствования нашего пенсионного обеспечения и в этой связи рассматривает такие важные практические проблемы, как методология определения минимальных размеров пенсии, принцип сближения размеров пенсий рабочих, служащих и колхозников, материальное стимулирование пенсионеров к продолжению работы, и другие.

Прогрессивные изменения возрастной структуры нашего общества — абсолютное и относительное увеличение численности лиц старших возрастов — делают эти вопросы особенно актуальными. Люди, вышедшие на пенсию, составляют уже около 15 процентов населения нашей страны, а средства, идущие на выплату пенсий, превышают четверть всех расходов общественных фондов потребления, или около 6 процентов национального дохода. Недавно принятый Верховным Советом СССР Указ о дальнейшем повышении жизненного уровня трудящихся нашей страны, который существенно улучшает обеспечение многих миллионов пенсионеров, еще более увеличит объем средств, идущих на эти цели.

Государственные пенсии — основная форма социального обеспечения в нашей стране. Но у нас еще действуют пока специальные системы пенсий, существуют различные источники финансирования их и различные органы, регулирующие их выплату. Со временем, когда будут созданы необходимые предпосылки, все престарелые и нетрудоспособные граждане нашей страны будут обеспечиваться из единого общенародного фонда, на основе единого закона, осуществлять который будет единая система органов. Теоретическая разработка и постановка многих еще не вполне ясных вопросов в этой области необходима уже сейчас, и в этом смысле работа В. Ачаркана интересна и полезна.

Л. Лерер.

МАТВЕЙ ГРУБИЯН. Лодка и течение. Стихи. Авторизованный перевод с еврейского. «Советский писатель». М. 1967. 136 стр.

«Лодка и течение» — третья книга талантливого еврейского поэта на русском языке. Матвей Грубиян — поэт резко оригинального, «странного» дарования, умеющий при помощи неправдоподобно-смелого вымысла так «сжимать» многообразные (чаще всего трагические) явления жизни, чтобы их смысл выступил с наибольшей полнотой и наглядностью. В итоге — не картины действительности и не лирический рассказ о чувствах и переживаниях поэта, а напряженное, порой гротесковое перевоссоздание жизненного материала.

Погромы 1905 года и времен гражданской войны — кто из еврейских поэтов (особенно старшего поколения) не писал о них! Вот как говорит об этом М. Грубиян:

А где отец?
Наверно, как птенец,
Сидит и ждет
На дереве в Одессе...
Сидит и ждет.
Пока утихнет гром —
Девятый день
Кровоточит погром...

(Перевела Ю. Мориц)

Или вот еще стихотворение «Фотограф», где усвоенная М. Грубияном манера смело, чуть ли не фантастического претворения природы выразилась особенно последовательно и остро... Непривычно начинается стихотворение: «Где фотограф? Он здесь или прочь улетел?» Дальше — изображение фотографии в старом местечке, ее нехитрой съемочной техники: «Так, не двигаться!»... Выстрел и дым...» И концовка: вовсе не страшные выстрел и дым «лавильнона» внезапно, и без каких-либо поясняющих усилий автора, превращаются в огонь и дым Бабьего Яра (в стихотворении, впрочем, не названного):

На столе у меня бледный пепел семьи —
Фотография в раме... Умолкли все муки...
И фотограф сгорел, что на плечи мой
Положил материнские теплые руки.

(Перевел П. Семьин)

Известно, что поэтов, подобных М. Грубияну, с их пристрастием к необычному, гротесковому нередко подстерегает опасность сочинительства, эмоциональной зауми. Нет-нет, а такой грех случается и с М. Грубияном. В целом же он надежно защищен от подобной опасности той непосредственностью (почти импровизационной) и той естественной верностью невыдуманному, пережитому, которые составляют едва ли не самую сильную сторону его таланта.

Пишет ли Грубиян о детстве, о трагедии бесчисленных гетто, о боях на Дону и Волге, участником которых он был, о тяжелых испытаниях другого рода, о судьбах родного языка, о любви, — Грубиян всегда остается самим собой, человеком, имеющим право сказать: «Я ничего не выдумал, и вправду я такой».

И еще одна черта привлекает наши читательские симпатии к поэзии М. Грубияна: ее органическая и вместе с тем ничего не упрошающая вера в неисчерпаемость жизни, в ее могущество и самоценность:

Слон умрет —
Как не бывало.
А пичуга напевала.
Даже в горле застревала
Эта песенка ее.
Лишь при жизни, лишь при жизни
Каждый делает свое.

Раздается рог олений,
Мчат над крышами селений
Тучи разных направлений,
А внезапная беда
Подкрадется острожно —
Пережить ее возможно
Лишь при жизни, лишь при жизни.

(Перевод Ю. Мориц)

Новую книгу М. Грубияна перевели такие талантливые и опытные поэты, как Я. Смеляков, Л. Озеров, С. Наровчатов, П. Семин, Ю. Мориц, Д. Самойлов, Е. Евтушенко, В. Цыбин и другие. Переводы квалифицированы и точны. Но пусть это не прозвучит парадоксом: есть в них некий избыток квалификации, некий излишек «умения», ровно прикладываемого ко многим и разным поэтам. М. Грубиян следует переводить, стараясь не «спугнуть» той изначальной наивности чувства, которая в иных его подстрочниках звучит чище и убедительней, чем в некоторых переводах.

Г. Березкин.

Минск.

★

ПИСЬМА ФРОНТОВЫЕ. Под редакцией Р. Ф. Лобановой. Кемеровское книжное издательство. 1967. 292 стр.

Появился еще один сборник писем участников Великой Отечественной войны. Сборник составлен из писем кемеровчан. К сожалению, публикация документов, особенно освещающих советскую историю «снизу», как она осуществлялась и отражалась в умах и жизни рядовых людей, ведется у нас до сих пор очень неторопливо, притом без достаточной последовательности и систематичности. Между тем множество документов, рассеянных по государственному и частным архивам, представляет большой интерес для широкого читателя. Историкам же любого «профиля» они совершенно необходимы для создания научной истории нашего общества, где пока еще много белых пятен и где по недостатку фактов анализ живого хода событий нередко схематизируется и упрошается. Это относится и к периоду Великой Отечественной войны.

На протяжении последнего десятилетия наши писатели, художники, кинематографисты во многом по-новому подходили к изображению войны: характерным стало пристальное внимание к человеку, который не только воевал, но жил на фронте сложной, напряженной и многообразной жизнью. В этой связи письма фронтовиков, как вид

исторического документа, особенно интересны. Конечно, они, за редкими исключениями, мало помогут в объяснении хода крупных военных операций. Но письма особенно полно, непосредственно, искренне рассказывают о том, чем жил человек на войне, раскрывают ход его мыслей, чувств, настроений. Поэтому и публикация писем требует особо бережного к ним отношения. Непродуманной купюрой, даже стилистической правкой слишком легко разрушить или изменить их содержание. И тогда лишается смысла сама публикация.

Заслуживает внимания инициатива Кемеровского издательства. Составители проделали значительную работу, собрав около сотни писем фронтовиков, хранящихся в архивах Кемеровской области и у частных лиц. Большая часть писем снабжена краткими биографическими справками. Правда, комментарий составлен не всегда удачно. Неясно, например, что стало с Героем Советского Союза А. Панженским — прошел ли он всю войну и где он сейчас.

Но, конечно, ценность подобных публикаций в первую очередь зависит от того, насколько добросовестно и умело проведены отбор и подготовка текстов. В этом смысле кемеровский сборник вызывает серьезные сомнения. Прежде всего непонятно, почему при столь небольшом объеме книги, куда попала, вероятно, лишь незначительная часть из того, чем располагали составители, в ней оказалось немало писем, которые в том виде, как они публикуются, дают слабое представление и об их авторах, и о войне. Таково, к примеру, письмо Л. Щербининой от 2 февраля 1943 года:

«Лиличка, здравствуй!

...Сейчас мы снова пойдём в наступление. Я нахожусь в санроте, но при первом удобном случае уйду в стрелковую роту.

Целую крепко-крепко. Твоя Лида».

Бросаются в глаза бесчисленные отточия (как и в приведенном письме). Что составители посчитали нужным исключить из писем, — не объясняется ни в предисловии, ни в комментариях. Лишь в отдельных случаях можно догадываться, что за многоточиями скрылись упоминания о каких-либо трудностях жизни военного времени — на фронте или в тылу. В других случаях читатель остается в полном неведении, чем руководствовались составители, публикуя, например, такое «письмо» (привожу полностью): «...Мне лично моя специальность минометчика нравится больше всех других». Создается впечатление, что человеческий документ в данном случае интересовал составителя и редактора лишь как иллюстрация заранее заданного тезиса, к которому путем усекновений и оказалось годогнанным содержание письма. Вряд ли нужно доказывать, что все это весьма далеко от научных принципов публикации документов и — конечно, вопреки желанию составителей, — отзывается недостаточным уважением к тем в большинстве своем погибшим людям, кто написал эти письма.

Книга дает известное представление о жизни человека на войне. Есть в ней живые подробности фронтового быта, есть страницы, по-настоящему волнующие — например, письмо гвардии старшины Павла Ивановича Петрова о том, как на его глазах погиб его сын, командир подзделения «катуш»; или другое письмо того же П. И. Петрова — о том, как встречали наших солдат в освобожденной польской деревне и ребятами угощали их бряквой, единственным, чем могли угостить... В некоторых случаях ощутимо встает из писем человек с особенностями своего характера, судьбы, личного опыта, языка.

Но недостатки, о которых сказано выше, в значительной мере обесценивают работу составителей и полезную инициативу областного издательства.

Д. Муравьев.

★

ЕФИМ ДОРОШ. Живое дерево искусства. «Искусство». М. 1967. 270 стр.

Статьи, рецензии, очерки, появившиеся когда-то в разных изданиях и в разное время, не всегда легко объединить в книгу — они рискуют остаться необязательным соседством различных тем и сюжетов. Новая книга Ефима Дороша «Живое дерево искусства» — сборник именно таких очерков и рецензий — являет собою органическое единство. Правда, поначалу кажется, что иные страницы — к примеру, посвященные театру «Современник» — слишком близки к рецензии, слишком «преодолящи» для книги, но чем дальше следуете вы за автором, тем более попадаете во власть единого строя мыслей и чувств.

О прозе Дороша уже много писали, справедливо отмечая ее вдумчивость, внятность, емкость. Автор предисловия И. Золотусский говорит о «хорошей сухости и провечности» дорошевского языка, его добротности и надежности. Именно эта проза — первое связующее книги.

До сих пор в повестях и очерках Дороша читатель следовал за автором русскими проселками от деревни к деревне, подолгу задерживаясь в каждой и оставляя ее для какого-нибудь Райгорода, маленького древнего городка. В своей новой книге автор, казалось бы, ведет нас совсем иными, более легкими дорогами — в театры, в музеи, на выставки, раскрывает перед нами книги — художественные и научные. Но о чем бы он ни писал — о русском лубке, об игре актера Евстигнеева, об иконах или исландском писателе Халлдоре Лакнесе, мы оказываемся вновь в кругу тех же проблем — народ, земля, совесть. И мы рады этому возвращению.

Проза Дороша сочетает в себе внимание к подробности (если пейзаж, то подчас с точностью до маленького жесткого листика брусники) и философское понимание жизни. Время — вот неизменный герой этого писателя. Единственное ощущение настоящего, прошлого и будущего лежит в

основе всего, что он пишет. Этим сложным ощущением пронизана и объединена его новая книга. Театр «Современник» с его проблемами сегодняшнего дня заставляет автора вспомнить и XIX век и XVII. Подобно тому, как в фильме Хуциева «Мне двадцать лет» (о нем пишет Дорош) за ребятами, идущими по нынешней Москве, видны парни семнадцатого и сорок первого, так за современностью в этой книге встают стародавние времена, и недаром председателя передового колхоза в шутку называют Ионой Сысоевичем — именем знаменитого митрополита, строителя Ростовского кремля.

Хочется отметить главу о Загорске, в которой автор воскрешает далекие времена и давних людей, среди них некогда знаменитого и очень мало известного нам Сергея Радонежского. Но речь идет здесь не только о давнем. Автор, к примеру, рассказывает о верующих, собравшихся вокруг кликуши — немудрящих и темных людях. Он думает о той глубокой древности, из которой явились их верования и суеверия. «Мысль эта приходила мне часто в Загорске, — пишет он, — в ней не было ни поспешности, ни сознания собственного над всеми превосходства — в подобных случаях не то что неумного, а просто-таки безнравственного, — но только жалость. В большинстве своем это были несчастные люди». Точность нравственной позиции отличает эту новую книгу Дороша, как и другие его книги. Тут следует отметить и последнюю главу, где писатель вместе с историком С. Б. Веселовским, автором книги «Исследования по истории опричнины», встает против бытовавших у нас не так уж давно концепций, согласно которым казни и произвол Ивана IV оправдывались во имя благой цели. Этой проблемой, опять столь же исторической, сколь и современной, кончает Ефим Дорош свою новую книгу.

Ольга Чайковская.

★

ПЬЕР ДЕ ЛЯТИЛЬ, ЖАН РИВУАР.
С небес в пучины моря (Профессор Огюст Пиккар). Гидрометеиздат. Л. 1967. 142 стр.

Швейцарский ученый Огюст Пиккар относится к числу самых крупных изобретателей нашего времени. Он создал новые, революционные по своей сути технические средства, позволяющие людям проникать в мир неведомого. Дерзание искателя сочеталось в нем с глубоким расчетом ученого. Пиккар не только изобрел новые аппараты для проникновения в стратосферу и в пучины океана, но и сам впервые использовал их.

Заговорили о Пиккаре в 1932 году, когда замечательный швейцарец на стратостате достиг почти семнадцатикилометровой высоты. Никто до того времени не поднимался так высоко. А спустя два десятилетия после этого рекордного подъема Пиккар на другом аппарате — батискафе — достиг такой глубины океана, на которой до него не были

люди. Жизненный путь Огюста Пиккара отмечен и многими другими выдающимися достижениями в самых различных областях науки и техники. При этом главной целью своих экспериментов он всегда считал не рекорды, а прогресс науки, служение человечеству.

Предлагаемая вниманию читателей книга французского писателя-публициста Пьера де Лятиля и инженера, специалиста в области подводного спорта Жана Ривуара — первая подробная биография Огюста Пиккара, написанная при консультации с самим ученым. Для советского издания авторы написали специальное предисловие, в котором они, в частности, говорят: «Огюст Пиккар хотел, чтобы люди пошли проложенными им путями, завершили начатое им дело и превзошли его собственные достижения. Ему посчастливилось при жизни увидеть, как полностью осуществляется его желание: Жак Пиккар (сын Огюста) достиг в батискафе самых больших глубин Тихого океана, а Юрий Гагарин, совершив первый полет вокруг Земли, блестяще доказал, что человек способен покорить большие высоты».

С. Осокин.

★

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ СВЯЗИ С НОВЫМ ВРЕМЕНЕМ. «Наука». М. 1967. 392 стр.

Этот сборник показывает на конкретных примерах, как отражалась и варьировалась древняя русская литература — в литературе, фольклоре и лубке XVIII, XIX и частично XX веков.

Статьи, вошедшие в сборник, разбиты на три раздела: 1) изучение «Слова о полку Игореве»; 2) изучение литературной истории древнерусских произведений и их обработок в период нового времени; 3) новые тексты оригинальных и переводных произведений русской литературы XVII — начала XVIII века.

В статье М. Сперанского «Перевод «Слова о полку Игореве» в бумагах А. Ф. Малиновского», при жизни ученого не публиковавшейся, прослежена большая и плодотворная работа, которую провели над переводом «Слова» первые его издатели — Мусин-Пушкин и Малиновский.

Интересная статья Л. Крестовой и В. Кузьминой «Иоиль Быковский, проповедник, издатель «Истинны» и первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве» дает исчерпывающе разностороннюю характеристику Иоилю Быковского, ярославского архимандрита, у которого Мусин-Пушкин приобрел текст «Слова о полку Игореве». Статья имеет определенную направленность — она доказывает, что архимандрит Иоиль не мог быть автором «Слова», как утверждают это некоторые советские и зарубежные ученые. Иоиль был умным и просвещенным человеком, в чем убеждает и его издательская деятельность, и приложенное к статье описание его личной библиотеки, — но он не обладал каким-либо заметным ли-

тературным талантом: сохранившиеся его проповеди не поднимаются над обычным уровнем церковного ораторского красноречия.

Очень разнообразен второй раздел книги. Здесь прежде всего следует отметить работы Н. Воронина «Даниил Заточник», Н. Баклановой «Русский читатель XVII века» и Е. Колосовой «К проблеме традиции древнерусской исторической повести в литературе XVIII века («Сказание» П. Н. Крехшина о Петре I как последний этап развития исторической повести XVII века)».

Н. Воронин тщательно переосмысливает «Слово (Моление) Даниила Заточника», подчеркивая в нем неразрывное сочетание книжности и фольклора, широкое и правдивое изображение народного быта и несомненное писательское мастерство. Влияние «Моления», как отмечает Н. Воронин, явно сказалось в позднейших произведениях (в частности, в рассказах о начале Москвы).

Живая, насыщенная материалом статья Н. Баклановой наглядно знакомит современного читателя с читателем и с книготорговцами XVII века, перечисляет наиболее любимые тогдашние книги, показывает деятельность московского Печатного двора и книжного рынка, подробно описывает библиотеки книголюбов того времени.

Статьи: А. Робинсона «К проблеме «богатства» и «бедности» в русской литературе XVII века», Л. Пушкарева «Литературные обработки повести о Еруслане Лазаревиче в XVIII веке» и Л. Сидоровой «Лубочные повести о начале Москвы и их исторические источники» — посвящены тому же анализу преемственности литературы и характеристике вкусов и требований читателей на тех или иных этапах литературно-культурного процесса. Статья Л. Крестовой «Романическая повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и русские семейные предания XVII века» вводит читателя в творческую лабораторию Карамзина и обогащает ценными историческими сведениями.

Значительны и публикуемые впервые произведения «Повесть о Московском восстании 1682 года», воссоздающая в ярких образах стрельцкий мятеж (публикация и предисловие В. Буганова), и «Сказания об афонских монастырях в новгородской рукописи XVI века» — несколько изящных и картинных новелл, прокомментированных С. Шмидтом.

Польская «Повесть о графине Альтдорфской в русских переводах XVII века», тоже впервые публикуемая О. Державиной, может служить ярким образчиком придворно-куртуазной литературы, широко читавшейся на тогдашней Руси.

Необходимо отметить большую литературную культуру сборника: помещенные в нем материалы являются плодом всесторонних знаний предмета и любви к своему делу.

Ник. Смирнов.

★

И. АУГУСТА. Великие открытия. Перевод с немецкого. «МИР». М. 1967. 228 стр.

Очерки известного чешского палеонтолога Иозефа Аугуста рассказывают об эволюции человека, начиная от ореопитека (около десяти миллионов лет назад) до кроманьонцев (около семнадцати тысяч лет назад). Переход с дерева на опушку леса, а затем выход на равнину, привычка к вертикальному положению тела и в связи с этим дифференциация конечностей, уменьшение массивности челюстей, увеличение объема мозга, переход с растительной пищи на мясную, появление первых орудий, зачатки общественного устройства — так на накопительной эволюции выковывался человеческий род.

С помощью книги, обобщившей изыскания антропологов, археологов и палеонтологов, читатель словно совершает путешествие на машине времени, которая делает остановки там, где ученые находят останки предков человека, орудия труда, предметы быта, наскальные и скульптурные изображения, а в случае удачи — в буквальном смысле следы кроманьонцев. В начале каждой главы И. Аугуста живописно воссоздает климат, ландшафт, первобытную культуру соответствующей эпохи. Книга умело вводит читателя в круг проблем палеонтологии, рассказывает о судьбах ученых и их открытий, причем И. Аугуста считает своим долгом изложить полярные точки зрения на отдельные вопросы. Следует, однако, заметить, что попытка соединить в каждом очерке аргументы художественного и собственно научного плана зачастую не приводит к успеху: их сосуществование не превращается в единство.

Ю. Моисеев.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. Афанасьев Научное управление обществом (Опыт системного исследования). 384 стр. Цена 83 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. В шести томах. Том III. Коммунистическая партия — организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции и обороны Советской республики. Март 1917—1920 гг. Книга 2 (Март 1918—1920 гг.), 607 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Березко. Необыкновенные москвичи. Роман. 567 стр. Цена 84 к.

Е. Бунов. Калейдоскоп. Рассказы. Авторизованный перевод с молдавского. 219 стр. Цена 35 к

С. Залыгин. Соленая Падь. Роман. 442 стр. Цена 78 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Горький. Избранные произведения. В 3-х томах. Том I. 1892—1904. 495 стр. Цена 96 к.

Л. Лайцен. Эмигрант. Роман. Перевод с латышского. 255 стр. Цена 34 к.

К. Чуковский. О Чехове. 206 стр. Цена 67 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Астуриас. Глаза погребенных. Роман. Перевод с испанского. 608 стр. Цена 1 р. 85 к.

О. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. Перевод с немецкого. Том III. 1845—1846. 472 стр. Цена 2 р. 91 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Корсунская. Три великих жизни (Повести о К. Линнее, Ж. Ламарке и Ч. Дарвине). 703 стр. Цена 1 р. 38 к.

А. Розен. Полк продолжает путь. Повесть и рассказы. 191 стр. Цена 41 к.

К. Симонов. Третий адъютант. Рассказы. 64 стр. Цена 14 к.

«НАУКА»

С. Вишнев. Экономические параметры. Введение в теорию показателей экономических систем и моделей. 189 стр. Цена 58 к.

Записки иностранцев о восстании Степана Разина. 174 стр. Цена 85 к.

М. Перфильев. Критика буржуазных теорий о советской политической системе. 163 стр. Цена 57 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Клеандрова. Организация и формы деятельности ВЦИК (1917—1924 гг.). 127 стр. Цена 39 к.

В. Новоселов. Законность актов органов управления. 108 стр. Цена 30 к.

Речи советских адвокатов. 171 стр. Цена 49 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

П. Беспощадный. Каменная лира. Стихотворения. Киев. «Дніпро». 167 стр. Цена 59 к.

В. Липатов. Точка опоры. Повести. Рассказы. Очерки. Тула. Приокское книжное издательство. 168 стр. Цена 28 к.

Эпопея-хроника. Страницы грузинской советской литературы. Переводы. Тбилиси. «Литература да хеловнеба». 589 стр. Цена 3 р. 81 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 29/1 1968 г. Объем 18 п. л. + 1 вкл. Подписано к печати 27/III 1968 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,76 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.).
А 05236. Заказ 325. Тираж 140.100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636